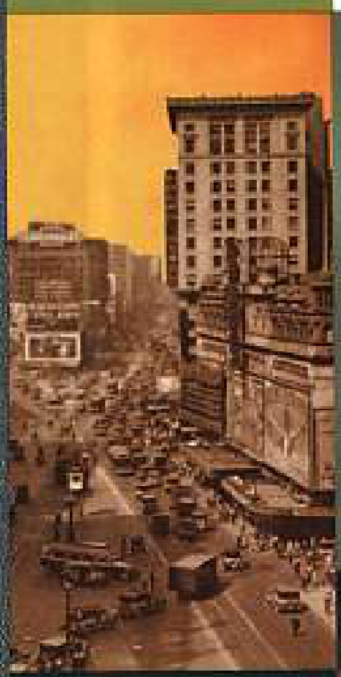
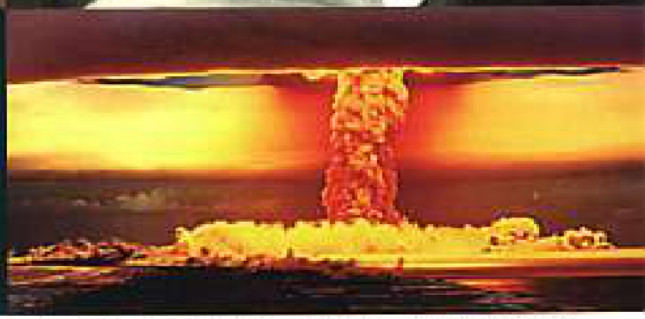
АБЕЛЬ — ФИШЕР





Николай Долгополов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Хотя Вильям Генрихович Фишер (1903–1971) и является самым известным советским разведчиком послевоенного времени, это имя знают не очень многие. Ведь он, резидент советской разведки в США в 1948–1957 годах, вошел в историю как Рудольф Иванович Абель. Большая часть биографии легендарного разведчика до сих пор остается под грифом «совершенно секретно». Эта книга открывает читателю максимально возможную информацию о биографии Вильяма Фишера.

Работая над книгой, писатель и журналист Николай Долгополов, лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского и Премии СВР России, общался со многими людьми, знавшими Вильяма Генриховича. В повествование вошли уникальные воспоминания дочерей Вильяма Фишера, его коллег — уже ушедших из жизни героев России Владимира Барковского, Леонтины и Морриса Коэн, а также других прославленных разведчиков, в том числе и некоторых, чьи имена до сих пор остаются «закрытыми».

Книга посвящается 90-летию Службы внешней разведки России.

- Николай Долгополов
  - Читать, наконец-то, подано
  - Что свершил разведчик
  - С такими генами — только на Лубянку
  - Из Лондона — в ОГПУ
  - Добро пожаловать в ЧК
  - Вот бы с ним сходить в разведку
  - Два — Абель — два
  - Сталин: в ГПУ разводили шпионов
  - Дочь навсегда ушла с отцом в разведку
  - Героев и генералов нам тогда не давали
  - Художник не терпел абстракций
  - Предательство смертельно
  - Связник полковника Абеля
  - Человек, который украл для нас бомбу
  - Герой — о героях
  - Из секретов выжали бомбу
  - Капица закапризничал
  - Даллес тащил в ЦРУ
  - Жизнь и смерть Пауэрса были нелепы

- Кто поехал на обмен
- Полковник о полковнике
- Писатель под грифом «секретно»
- Художник служил на Лубянке
- Вторая древнейшая: нелегальный вариант
- Банионис ничего не знал, но играл прекрасно
- У Абеля не было «мертвых сезонов»
- Персей всплыл в британских водах
- Рядом с дядей Вилли
- Эпилог
- Приложения
- Основные даты жизни В. Г. Фишера (Р. И. Абеля)

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

Николай Долгополов
Абель — Фишер

Всем людям из внешней разведки,
свое свершившее

Николай Долгополов

Читать, наконец-то, подано

Биография моего любимого героя разведчика-нелегала Фишера — Абеля сложна и запутанна настолько, что некоторые ее эпизоды в силу специфики профессии никогда не поддадутся полной расшифровке. Разные люди толкуют ее совершенно по-разному. Фишер — Абель прожил пять разных жизней плюс шестую — свою собственную.

Все и единодушно, что в нашу эпоху разноголосицы просто немыслимо, отдают дань его поразительной стойкости, проявленной в тюремном заключении в США. Ломать людей, выколачивать и выбивать признания американцы умеют. Но тут и близко не получилось. Человек, назвавшийся при аресте полковником Абелем, не выдал им ничего и никого.

Однако кто-то возвеличивает многолетнюю деятельность разведчика-нелегала Фишера до немыслимых высот, а кто-то сводит его до роли хорошего радиста-технаря и исполнительного, дисциплинированного, но не слишком везучего «почтового ящика».

Я полностью на стороне первых и всеми доступными мне средствами, методами и документами постараюсь разубедить последних. Начиная с июня 1993-го собирал по всему свету все, связанное с Фишером — Абелем. Плод собранного — перед вами.

Моя особая благодарность дочерям разведчика — ныне покойной Эвелине Вильямовне Фишер и приемной — Лидии Борисовне Боярской, урожденной Лебедевой. Благодарю руководителей Пресс-бюро Службы внешней разведки разных лет Юрия Кобаладзе, Бориса Лабусова, Сергея Иванова и бывшего пресс-секретаря директора Службы внешней разведки (СВР) Татьяну Самолис.

Моя искренняя признательность нескольким высоким генералам, а также директорам СВР. Это — не дежурные фразы и не традиционные реверансы. Без всех этих людей Абель — Фишер так бы и остался нерасшифрованной легендой отечественной и мировой разведки.

Я встречался с полковником СВР Дмитрием Тарасовым, который вызволял Абеля из американской тюрьмы, а потом трудился вместе с ним в Москве.

Многое, очень многое объяснил мне, непрофессионалу. Герой России, махровый, как он сам себя называл, научно-технический разведчик полковник Владимир Барковский. Наши беседы, не предназначенные для публикации, длились часами. Обычно встречались мы по выходным на троллейбусной остановке у

моего дома на Тверской. Барковский бодро добирался туда в свои под 80 пешком с теннисных кортов Петровки. Сидели потом, пили чай, вели беседы, где мне многое втолковывалось и объяснялось.

Немало внимания уделил мне Герой России Александр Феклисов. Пожалуй, именно он — советский резидент в Штатах — впервые четко и абсолютно ясно определил роль супругов Юлиуса и Этель Розенберг. Так кто же эта супружеская пара — единственная в истории США казненная за атомный шпионаж в пользу Советов? Правда ли, что работали на Москву? Были ли нашими атомными шпионами? Ответы на вопросы пытались найти уже несколько десятилетий. И хотя тема не входит в эту мою книгу, твердый ответ Феклисова: нет.

Последний связник нелегала Марка полковник Юрий Соколов, царство ему небесное, обладал завидной даже для разведчика памятью. Вот кого можно было заслушаться. Его воспоминания о Фишере — скорее личные, сугубо доверительные.

Многолетний руководитель Управления «С» — нелегальная разведка — генерал Юрий Дроздов в 1960-е участвовал в вызволении Абеля, играя роль его кузена Юргена Дривса. Вот уж действительно — впечатления непосредственного участника событий.

Ценю практическую помощь сотрудников Управления, где десятилетиями трудился Абель — Фишер. Это они помогли в определенной степени прорваться сквозь годы и секретность. Представился редчайший случай подробно побеседовать со старшим и вполне тогда действовавшим офицером одного из суперзасекреченных управлений СВР, который считал себя продолжателем дела Абеля. Имени его, по понятным причинам, не привожу, а благодарность прошу принять великую! Он не только организовывал некоторые мои встречи, но и присутствовал при беседах, поощряя иногда неразговорчивых собеседников к возможной — в таких обстоятельствах — откровенности.

Иные документы были, казалось, навсегда засекречены, многие хранятся сейчас в далеком далеке. Но в мое распоряжение были предоставлены уникальные материалы об истинном Рудольфе Ивановиче Абеле, имя которого резидент советской разведки взял при аресте в Нью-Йорке.

Мне удалось, незадолго до его кончины, проговорить около четырех часов с Питером Крогером — он же Моррис Коэн. И если опять-таки следовать правилам, принятым при написании этой книги, и называть вещи сугубо именами собственными, то именно он, Моррис, был главным связником между им самим

завербованными атомными агентами-американцами и советской нелегальной разведкой. А его жена Лесли, чудом избежав провала, доставила в Нью-Йорк чертежи атомной бомбы, похищенные агентом Персеем из атомной лаборатории Лос-Аламоса. О чем только не вспоминал американец, ведомый резидентом Марком! Тут приоткрылись такие глубины, что поведать о них мне, к сожалению, не удастся. Но и приведенного в этой книге вполне достаточно для того, чтобы переписать некоторые главы в устоявшейся истории мировых спецслужб.

Когда в начале 1993 года я только взялся за повествование о людях, выудивших у США секрет атомной бомбы, казалось, что подлинные имена американских участников этой истории канули в Лету. Кто, к примеру, тот таинственный ученый, передавший Лоне-Лесли Коэн чертежи из суперсекретной лаборатории Лос-Аламоса? Некоторые косвенные признаки заставляли предполагать, что агент, действовавший под кличкой то ли Стар, то ли Млад, дожил до наших дней. Уж очень старательно уходил от всех моих вопросов на эту тему муж Лесли-Лоны — старина Моррис Коэн. Да и в Управлении «С», курировавшем нелегалов, разговаривать со мною об этом агенте сочли нецелесообразным.

И догадки мои подтвердились, ибо время — вещь великая. То, о чем в 1994-м предпочитали молчать, вдруг выплыло наружу в конце столетия. Известно и имя ученого — Теодор Холл, и его судьба.

Но, к сожалению, многим моим собеседникам, судя по всему, еще годы и десятилетия суждено оставаться безымянными. Для меня это огорчительно. Страна, казалось бы, должна знать своих, да и зарубежных, работавших на нее, героев. А вот для разведчиков такая бездонно-кромешная безвестность — стопроцентное подтверждение успеха…

Когда книга была почти готова, огромный сюрприз преподнесла мне Лидия Борисовна Боярская. Благодаря ей в издании помещены фотографии из семейных альбомов, большинство из которых никогда не публиковалось. Она же любезно предоставила десятки писем, написанных Вильямом Фишером и его родственниками. Без этой «семейной странички» картина жизни разведчика была бы неполной.

Что свершил разведчик

Знаете, как это бывает? Кажется, что все уже написано. Использованы все архивы, на сегодня рассекреченные. Сложены в главы многолетние разговоры с людьми, знавшими Фишера — Абеля, с ним работавшими в Москве — в Центре — и там, как говорят разведчики, «в поле». А всплывают все новые и новые подробности. Открываются новые глубины. Порой я влезал в такие дебри разведки, из которых и выхода не было — ведь изначально трудно понять, о чем можно сказать, а чего и нельзя. Нельзя и никогда не будет можно…

Долгие годы Абель нелегально работал в США. Возглавлял сеть разведчиков, которых в Штатах потом заклеймили «русскими атомными шпионами». Возможно, некоторые читатели уверены, будто все в этой сверхсекретной епархии разложено по аккуратненьким полочкам. Нет! Многие деяния и люди, их свершившие, появлялись словно из небытия.

А вот наш герой родился в установленный природой срок — 11 июля 1903 года в английском городе Ньюкасл-он-Тайн. Политэмигрант Фишер и его супруга, влюбленные в революцию и великого Шекспира, назвали сынишку Вильямом, по-домашнему — Вилли.

Однако мальчику предстояло стать в этой жизни отнюдь не шекспироведом. Точнейшую характеристику его профессиональным качествам дал директор Федерального бюро расследований США Эдгар Гувер: «Упорная охота за мастером шпионажа полковником Рудольфом Ивановичем Абелем является одним из самых замечательных дел в нашем активе…» А многолетний директор ЦРУ Аллен Даллес добавил еще один лестный штрих, написав в своей книге «Искусство разведки»: «Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели таких трех-четырех человек, как Абель, в Москве».

Мы же, грешные, так бы, наверное, никогда и не узнали о существовании Фишера — Абеля, если бы не громкое дело о его аресте в США и обмене в 1962 году на сбитого в российском небе американского летчика-шпиона Пауэрса.

Постепенно даже до наших граждан начали доходить, точнее, допускаться какие-то сведения о человеке, по содеянному являющемся национальным героем. Он появился на несколько минут в начале фильма «Мертвый сезон» — и страна узнала, что шпионы и разведчики забрасываются в другие края не только подлецами-американцами. В обтекаемых газетных публикациях

стали проступать и некоторые черты его биографии.

В 1920 году семья Фишеров, глава которой знал Ленина и Кржижановского, вернулась из Англии в СССР и приняла советское гражданство — впрочем, заметьте, не отказавшись от английского. Отец Фишера в свое время был среди тех, кому Владимир Ильич давал читать рукопись одной из своих брошюр, сделавшихся вскоре коммунистической классикой. Его сын Вилли рос пареньком молчаливым, упрямым и исключительно смышленым. Любил точные науки, но успевал также учиться музыке: играл не только на пианино, но и на мандолине и гитаре. Рабочая его биография началась уже в 15 лет, когда знакомые англичане помогли Вилли устроиться учеником чертежника на судоверфь. Через год, в 16, по версиям некоторых исследователей его жизни, поступил в Лондонский университет, но проучиться там довелось недолго из-за возвращения в Россию. Вильям работает переводчиком в Коминтерне, затем поступает во ВХУТЕМАС, потом в Институт востоковедения, где, если верить архивным материалам, берется за изучение Индии. После первого курса — призыв в Красную армию. В 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа Вильям Фишер всерьез изучает радиодело. Радист из него получился классный. Даже будущие знаменитости — Герой Советского Союза полярник Эрнст Кренкель и народный артист СССР Михаил Царев, чьи койки в казарме стояли рядом, признавали первенство Вилли.

Не вступая ни с кем в полемику, не провозглашая себя истиной в последней инстанции, все же попробую поведать некоторые подробности из засекреченной жизни. Они не только чисто «разведывательные», но и плана житейского. Именно эти неизвестные детальки помогут лучше понять человека, считающегося одним из выдающихся разведчиков-нелегалов XX века.

Говорят, будто в семье младший сын Вильям был любимцем. Но родители, особенно мама, не чаяли души и в старшем сыне — Гарри. Он, как и младший, прекрасно говорил на нескольких языках. После переезда в Москву семейство старого большевика Генриха Фишера, вместе с семьями других видных революционеров, одно время жила на территории Кремля. Сыновья частенько отправлялись за город на речку. Однажды увидев едва барахтавшуюся в воде, уже захлебывающуюся девчушку, Гарри бросился в воду Девочку спас, а сам утонул. Когда Вилли с рыданиями рассказывал маме о трагедии, она чуть слышно вымолвила: «Почему не Вилли…» И Вильям услышал. Наверное, это отложило определенный отпечаток на семейные отношения. Нет, он не был любимчиком и паинькой. Жесткие

обстоятельства выковали и соответствующий характер.

У Вильяма Фишера и его жены Елены (Эли) был один ребенок — дочь Эвелина. Однако жизнь сложилась так, что Вильям Генрихович взял на воспитание Лиду — дочку брата своей супруги. На скромную зарплату сравнительно молодого чекиста семья жила очень небогато, чтобы не сказать бедно. Зато дружно. Мало мебели и много книг. Жена Фишера — Елена Лебедева-Фишер стала профессиональным музыкантом. Ее ценила преподаватель — знаменитая арфистка Вера Дулова.

После Красной армии Вильям трудится радиотехником. Но недолго. 2 мая 1927-го он, говоривший по-английски не хуже, чем на родном русском, приглашается в органы безопасности. Тоже немаловажный факт в биографии: 7 апреля того же года он сочетается первым и единственным в своей жизни браком с выпускницей Московской консерватории арфисткой Еленой Лебедевой.

В центральном аппарате разведки он работал сначала переводчиком, затем — радистом. Отправлялся в длительные загранкомандировки — конечно, нелегальные. И, несмотря на всяческие успехи, был в один день — 31 декабря 1938 года — уволен из НКВД. Ответ на естественный вопрос: «Почему?» нормальный человек не поймет. Потому что вдруг стал иностранцем. Припомнили и место рождения — Ньюкасл, да еще на реке Тайне, и немецкое происхождение отца. Полный маразм: откуда бы он иначе знал языки в изумительном совершенстве, да и чужой уклад, в котором вращался до своих семнадцати лет? Есть, правда, и другая версия внезапного увольнения, о ней — чуть позже.

Его выбросили на улицу, и он, как десятки тысяч коммунистов-честняг, мотался по инстанциям. Семья бедствовала, и офицер, специалист-нелегал подрабатывал как мог. Общество, ради которого он рисковал жизнью, рассталось со своим верным стражем без сожаления. Впрочем, могло быть и хуже: лагерь, тюрьма, пуля…

О нем вспомнили в сентябре 1941 года, когда немцы стояли в нескольких десятках километров от Москвы. Сталин или прощал «неверных», или расстреливал, иного не было дано. Сына старого коммуниста «простили».

И здесь начинается целая история, докопаться до правдивых истоков которой мне пока еще не удалось: то ли пропали военные архивы, то ли не дошла еще очередь до «открытия» новой главы. Существует версия, будто Фишер действовал в фашистском тылу под видом немецкого офицера. По крайней мере, точно известно, что он служил в Управлении генерала Павла Судоплатова и

готовил к заброске наших радистов, подрывников, короче — диверсантов. Однако в воспоминаниях другого советского нелегала — Конона Молодого — я наткнулся на фантастический, а может быть и нет, эпизод. Юный тогда Молодый, заброшенный в немецкий тыл, был мгновенно пойман и доставлен на допрос в контрразведку. Допрашивавший его изверг-фашист не слишком долго мучил Молодого, а, оставшись наедине, обозвал будущую звезду советского шпионажа «идиотом» и вытолкал чуть ли не пинками до блеска начищенного, как и требовалось, сапога за порог. С тех пор и до конца дней у Конона побаливал копчик. «Фашист» вновь повстречался Молодому во время назначенной по приказу Центра встречи уже в нелегальной командировке в Америке, где оба мгновенно узнали друг друга. Правда это или вымысел, лихо описанный Молодым, который был горазд на такие мистификации, всех повергающие в сомнения? Но, может, сознательная дезинформация?

А дальше — тишина. И только недавно завесу тайны — вернее, части ее — разрешили приоткрыть. Беру на себя смелость рассказать правду о великом разведчике и много нового, мною открытого, о его соратниках.

Кое-кто из специалистов разведки уверяет меня, что все, даже самые-самые последние, точки в этой моей книге уже расставлены. Но я не верю. Не так давно в сугубо закрытом Кабинете истории внешней разведки наткнулся я на любопытный стенд. Он, по понятным, наверное, причинам, находится неподалеку от экспозиции Абеля и Коэнов-Крогеров. Я впился глазами в старые фотографии с королевскими шляпами и сенсационными для меня подписями. Так неужели были и другие «атомные агенты», абсолютно неизвестные и до сих пор засекреченные? Мой экскурсовод — полковник Владимир Иванович — интерес этот подметил по-профессиональному быстро:

— При нашей с вами жизни рассказать об этом мы уже не успеем…

— А когда?

— Да никогда.

Ну уж… А может, все-таки?.. Только для того, чтобы поведать о еще одной группе гениальных наших разведчиков и их агентах, надо обязательно постараться прожить подольше.

Итак, первой страной, куда был отправлен в качестве разведчика Вилли Фишер, считается Англия — злейший враг молодой советской власти. В начале 1930-х Фишер обращается в посольство этой страны и получает новый британский паспорт. А почему нет? Уроженец Британии, жалующийся на советскую

неустроенность, он и в 1920-м при приезде в СССР от родного гражданства не отказывался. И начинается командировка, в которую работавший под своей фамилией Вилли Фишер взял законную жену Елену — Элю и крошечную дочку Эвелину. Получив английский паспорт, он — радист нелегальной резидентуры — жил уже в Норвегии, в качестве мелкого торговца, занимавшегося продажей радиотехники.

8 ноября 1996 года эта версия была обнародована газетой «Новости разведки и контрразведки». Но сообщался и другой любопытный факт. В статье, посвященной 25-летию со дня кончины Абеля — Фишера, предположительно названа страна его самой первой нелегальной загранкомандировки — Польша. Пребывание там оказалось недолгим. Исключать вероятность этой командировки нельзя — отношения между соседями были не просто плохими, а накаленными.

А уже позже радист-шифровальщик Фишер, оперативный псевдоним Франк, был направлен в нелегальную резидентуру в Лондон. Оттуда разведчик передавал в Центр материалы, получаемые от членов легендарной «кембриджской пятерки».

«Кембриджская пятерка»

Так она называлась по имени знаменитейшего английского университета, который закончили все пятеро — наиболее результативная в истории советской разведки группа агентов, завербованных в Великобритании. В нее входили Ким Филби, Гай Берджесс, Энтони Блант, Дональд Маклин и Джон Кэрнкросс. Все, кроме Кэрнкросса, — выходцы из семей британской аристократии. Негласным руководителем группы считался Ким Филби — агент Иностранного отдела советской разведки. Филби добрался до высоких постов в британской Сикрет интеллидженс сервис (СИС), одно время являясь даже заместителем начальника СИС. Благодаря высочайшему интеллекту, вся пятерка занимала высокие должности в государственных учреждениях Великобритании. «Кембриджская пятерка» работала на СССР исключительно по идейным соображениям, практически без денежных вознаграждений. Сведения, переданные участниками «пятерки» советской разведке, бесценны. В связи с угрозой ареста Берджесс и Маклин в мае 1951 года были вынуждены бежать из Англии в СССР. Ким Филби, попавший под подозрение СИС, был тайно переправлен в Москву в 1963-м. Блант, оставшийся в Англии, сумел избежать наказания. Принадлежность Кэрнкросса к «кембриджской пятерке» была доказана, да и признана, лишь сравнительно недавно. Сейчас ни одного из членов легендарной пятерки не осталось в живых. Последним в 1995 году скончался Джон Кэрнкросс.

По некоторым данным, его выдал англичанам предатель-перебежчик, бывший полковник советской разведки Олег Гордиевский. Тем не менее ни один из членов «кембриджской пятерки» не был арестован. Несмотря на то, что некоторые из них подвергались допросам в СИС, ни один из пятерых не выдал своих товарищей и работавших с ними советских разведчиков.

Работа в Англии косвенно объясняет, почему та, вторая командировка закончилась неожиданным отъездом в Москву, быстрым присвоением звания лейтенанта госбезопасности и внезапным увольнением из органов. Здесь я высказываю уже свою трактовку событий. Не настаиваю на ее стопроцентной достоверности, но изучение документов все же подсказывает, что она имеет право на существование. С «кембриджской пятеркой» работал резидент НКВД Александр Михайлович Орлов, принявший на связь от другого нелегала, Арнольда Дейча, нескольких уже известных нам студентов-аристократов из Кембриджа. Вильям Фишер был радистом Орлова. Именно этот нелегал И НО под псевдонимом Швед создал сеть нелегальной советской разведки, опутавшую всю Западную Европу. В кадрах ОГПУ — НКВД Орлов значился под иным псевдонимом — Никольского Льва Лазаревича. Настоящая его фамилия — Фельдбин, он родился в 1895 году в Бобруйске. Вряд ли был в И НО разведчик удачливее Шведа. Сначала — работа под прикрытием в Англии, Франции, Германии, затем, уже в 1930-х, — нелегальный резидент в Австрии, Италии, снова во Франции.

В 1937–1938 годах занимал важнейшую должность резидента НКВД и советника республиканского правительства в Испании. Там Орлов действовал решительно, успешно, жестко, иногда даже отменяя своей властью приказы советского посла.

И вдруг Швед исчез. В июле 1938 года его вызвали на советский корабль в Антверпен. Резидент не явился. Зато нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности (во какой титул выдумал Сталин для палача Ежова!), уже вовсю отстреливавший коллег Шведа по нелегальной разведке, получил письмо с парижским штемпелем. Орлов прятался где-то в Штатах, а его послание, кем-то опушенное для конспирации в ящик советского посольства в Париже, больше походило на ультиматум. Швед требовал не трогать его мать, находившуюся в СССР, и других родственников. В ответ он клялся, что не выдаст ни наших разведчиков, ни их агентов. Орлов-Никольский-Фельдбин добился своего. Подразделение, специализирующееся на отстреле предателей, его не тронуло. Не пострадали и близкие перебежчика.

Но еще более жестокой чистке подверглась разветвленнейшая

система ИНО. Чекистов расстреливали дома, выманивали из-за границы в Москву и тоже уничтожали. Побег Орлова развязал руки палачам разведки.

Орлов же мирно скончался в США в 1973-м. Он не выдал ни «кембриджскую пятерку», ни арестованного в Штатах в 1957 году Фишера — Абеля, которого не мог не узнать по опубликованным в прессе фотографиям. Даже советские спецслужбы простили беглеца в 1970-х.

Невозвращение Орлова называли личной трагедией. Но личная трагедия обернулась смертью и лагерями для десятков и десятков его коллег. К тому же существует подозрение: когда началась холодная война, то припертый американскими спецслужбами к стенке Орлов не выдержал. Быть может, сдал нескольких своих бывших сотрудников. Впрочем, эта версия оспаривается историками разведки: проваливались сами, без Шведа.

Уход Орлова — и вот уже увольнение Абеля из органов, грянувшее 31 декабря 1938 года, становится если не оправданным, то объяснимым. Но если не доверяли Фишеру, то кому же тогда оставалось доверять? Как всегда бывает в этой жизни, под подозрением оказываются абсолютно не те…

О том, как пережил Фишер эти два года и девять месяцев разлуки с профессией — позже. Пока же замечу: навыков он никогда не терял. Уже в первые месяцы войны, мотаясь в пригородном поезде с дачи в Челюскинской на работу и обратно, он ранним утром услышал на подъезде к столице тихий разговор в тамбуре. Два неприметных пассажира решали, где бы получше выйти. Один предлагал на вокзале в Москве, другой возражал: надо бы пораньше, а то поезд проскочит в другую часть города. И одеты были они по-нашенски, и акцента никакого, но Вильям Генрихович тут же вызвал патруль, и парочку арестовали. Фишер не ошибся. Вот так, между прочим, едучи с дачи на сугубо не чекистскую работу, взял и разоблачил двоих, оказавшихся немецкими парашютистами.

Как он распознал в этой паре диверсантов, потом признавшихся, что получили задание готовить взрывы в центре города при подходе немцев к Москве? Бубнили между собой тихо, на безукоризненном русском, но Фишер услышал про поезд, что «проскочит в другую часть города» — именно так организовано движение в Берлине. Акцента у них и быть не могло. Оба русские, в семьях говорили на родном, так что в разведшколе под Берлином на них нарадоваться не могли. Но благодаря Фишеру «отличников» взяли. Всему в разведшколе обучить невозможно, случаются обстоятельства разные. Одно из них и явилось в лице

уволенного из органов Фишера.

Но тут у меня другой вопрос. Откуда не бывавший, если верить документам, в Берлине Фишер знал эти берлинские тонкости, и почему так быстро среагировал, почуяв фальшь? Или судьба заносила его и в немецкую столицу? В конце этой книги высказывается предположение, что все-таки бывал. Но не до войны, а во время ее: служил там в одном штабе…

После увольнения из разведки 31 декабря 1938 года Вильям Фишер долго, около пяти месяцев, не мог найти работу. Тогда, не зарываясь головой в песок, он пишет письмо другу своих родителей старому большевику Андрееву — секретарю ЦК ВКП(б), очень уважаемому Сталиным человеку. По тем кровавым временам письмо «наверх» от уволенного чекиста было смелостью невероятной. Могли добавить к опале и тюрьму, да и что пострашнее — тут уж как бы обернулось. Дела не пересмотрели, зато дали устроиться сначала во Всесоюзную торговую палату, потом — старшим инженером на авиационный завод.

В сентябре 1941 года, когда немцы уже были под Москвой, Сталин приказывает срочно, без всякого суда, уничтожить многих еще не расстрелянных чекистов, разбросанных по лагерям. Но некоторых из них — кто-то полагает, что по представлению Лаврентия Берии, а кто-то, что Павла Судоплатова, — не только отпустили, но и вернули в органы.

Среди горстки действительно счастливчиков — будущий Герой Советского Союза и партизанский командир Дмитрий Медведев, незадолго до того отправленный в отставку «по состоянию здоровья»; боевик Яков Серебрянский, участвовавший во множестве акций возмездия, в том числе и в неудавшемся покушении на Троцкого. Яшу, как его называли в чекистским мире, доставили на Лубянку прямо из лагеря…

Вильям Фишер, в совершенстве владевший немецким и лучший радист органов, тоже оказался нужен. Снова был принят на работу и друг Фишера, будущий подполковник и создатель школы диверсантов в Серноводске, майор — внимание! — Рудольф Абель.

Но так ли уж хотелось Фишеру обратно, в органы? Свою работу на заводе он вспоминал как едва ли не самый спокойный период жизни. Наконец-то он трудился под своим именем, обходился без всяких явок, паролей и «наружек»[1]. Недавно, читая толстенную стопу писем, написанных Вильямом Генриховичем жене, наткнулся на поразившее меня откровение. Не буду выкидывать слов из песни. Вилли писал, что и думать не желает о бывшей работе, устал от ее бесконечных сложностей и никогда не вернется к прежнему. То ли минутная слабость, то ли

обида? Или чистая правда, написанная уже многое познавшим человеком? Но письмо-откровение так и осталось лишь женой полученным посланием. В военные годы еще раз мелькнуло похожее: вот отгремит, и он займется живописью, не вернется в наркомат. Но еще в 1927 году Фишер взялся за рискованное дело и счел, что бросить его, отказаться вернуться в трудный час — даже после того, как его оскорбили, унизили — будет нечестно перед собственной совестью. И в сентябре 1941 года он уже трудился у Павла Анатольевича Судоплатова — человека талантливого и безжалостного, который руководил в 1942 году не только партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в немецком тылу, но и направлял всю работу агентурной сети на территории рейха и его союзников. Фишер обучал молодых разведчиков, агентов диверсионному делу, быстро натаскивал начинающих радистов.

Среди них и Гейне — Демьянов, ставший одним из главных источников дезинформации немцев и передававший им свои донесения якобы прямо из советского Генштаба. Его Фишер переводил на ту сторону неподалеку от Москвы, да еще по не обозначенному нашими минному полю, что в глазах немцев добавило этому переходу особую достоверность.

Было разрешено «выплыть» еще одному любопытнейшему эпизоду, связанному с моим героем. В середине 1944 года немецкий подполковник Шорхорн попал в плен. Его удалось перевербовать и затеять мощнейшую по размаху операцию по отвлечению крупных сил немецкого вермахта. По легенде, подброшенной немцам ведомством Судоплатова, в белорусских лесах действовало крупное подразделение вермахта, чудом избежавшее плена. Оно якобы нападало на регулярные советские части, сообщало в Берлин о перемещении войск противника. Нападение на наши войска — сплошной вымысел, которому в Германии тем не менее поверили. А вот радиосвязь с Берлином блуждающая в лесах небольшая группа немцев действительно поддерживала. Именно Вильям Фишер, переодетый в форму фашистского офицера, проводил вместе со своими радистами эту игру. В группу входили и попавшие в плен перевербованные немцы. Операция, проводившаяся в Белоруссии, получила название «Березино». Из Берлина сюда вылетали самолеты, немцы сбрасывали в тыл для своей группировки тонны оружия, боеприпасов, продовольствия. Больше двух десятков диверсантов, прибывших в распоряжение Шорхорна, были арестованы, частично перевербованы и включены в радиоигру. Нетрудно представить, какую же дезинформацию они передавали! Ведь за все за это фюрер произвел Шорхорна в полковники, а Фишер был

представлен к высшей награде рейха — Железному кресту. За эту же операцию и за работу во время войны Вильям Генрихович Фишер был награжден орденом Ленина. Он действовал с ювелирной точностью. Малейшая оплошность — и операция была бы провалена. Однако немцев дурачили больше одиннадцати месяцев — уже совершил самоубийство Гитлер, был взят Берлин, а радиоигра все еще продолжалась. Только 4 мая 1945 года Фишер и его люди получили последнюю радиограмму откуда-то из Германии — не из Берлина. Их благодарили за службу, сожалели, что не могут больше оказывать помощь, и, уповая лишь на помощь Божью, предлагали действовать самостоятельно. Отмечу, что есть некоторые, подчеркну — некоторые — основания предполагать, что в годы Великой Отечественной Фишер действовал в определенных эпизодах как Рудольф Абель.

Непосредственно в нелегальную разведку Вильям Генрихович вернулся не в 1948 году, а раньше. В наличии судоплатовского управления нужды больше не было, и майора Фишера перевели в Первое управление Министерства госбезопасности, знакомое ему по первым годам службы. То есть — во внешнюю разведку. Его рапорт «королю нелегалов» Короткову, который привожу с некоторыми сокращениями, датируется 2 апреля 1946 года: «Я, Фишер Вильям Генрихович, сознавая важность для моей Родины — Союза ССР — нелегальной работы и отчетливо представляя все трудности и опасности, добровольно соглашаюсь встать в ряды нелегальных разведчиков. Я обязуюсь строго соблюдать конспирацию, ни при каких обстоятельствах не раскрою доверенных мне тайн и лучше приму смерть, чем предам интересы моей Родины». Комментариев не требуется.

В 1947 году руководитель отдела по работе с нелегалами Александр Михайлович Коротков предлагает хорошо знакомому ему Вильяму Фишеру, заместителю начальника отдела стран Запада, возглавить сеть советской нелегальной разведки в США, официально считавшихся тогда главным противником. Но, если опираться на некоторые свидетельства, сфера деятельности Фишера распространялась и на несколько других государств.

Как бы то ни было, Абель после войны трудился в разведке в Москве до 1948 года. А там — новая командировка. Осенью 1948 года многомиллионный Нью-Йорк пополнился новым жителем — одиноким художником литовского происхождения Эндрю Кайотисом. Вскоре у него появилось и другое, звучавшее на американский манер, имя — Эмиль Роберт Гольдфус. Он открыл свою студию, затем фотолабораторию и ателье для занятий живописью. Впрочем, Гольдфус в некоторые моменты перевоплощался в Мартина Коллинза, а для Центра и

сподвижников-американцев из группы «Волонтеры» оставался Арачем, Марком или Милтом. Забавно, что мистер Гольдфус выбрал для жительства дом 252 на Фултон-стрит — поблизости от ФБР

В Москву, не только из Нью-Йорка, но и с побережья, пошли радиограммы о передвижениях боевой техники США. Особенно интересовали Центр сведения, касающиеся оперативной обстановки в крупных американских портовых городах, доставки, перевозки военных грузов из районов тихоокеанского побережья к нашим или с ними соседним берегам. И художник Гольдфус этот совсем не искусствоведческий интерес удовлетворял…

В этой книге подробно повествуется о том, как Фишер руководил в США сетью советских атомных агентов. Это было его первой и главнейшей задачей.

Остановлюсь на задаче второй. Гораздо меньше известно, к примеру, о его связях с нашими нелегалами, осевшими в Латинской Америке. Они, в большинстве своем боевые офицеры-фронтовики, были готовы на все — и на ведение незаметных наблюдений за перемещениями американских сил, и в случае возникновения такой необходимости на диверсии. Завербовали преданных людей, и те уже знали, как и по какому сигналу пронести взрывчатку на корабли ВМС США, доставлявшие военные грузы на Дальний Восток. Необходимости, к счастью, не возникло.

Но по какой-то причине нелегалы Гринченко, Филоненко, годами работавшие в Латинской Америке с женами, иногда выбирались в Соединенные Штаты, встречались с Фишером и совсем не в Нью-Йорке. Этим нелегалам поручалось работать с ним параллельно в Латинской Америке. Видимо, были созданы две нелегальные сети, трудившиеся в тесной связке. Это подтверждается и тем, что после ареста полковника в 1957 году все контакты с Филоненко и их агентурой, имевшими выход на США, были заморожены. Связь с Центром осуществлялась уже не через тайники и связных, а только по радио. Анне Филоненко пришлось вспомнить свою первую специальность — радистки, а связь поддерживалась при помощи специального корабля, входившего в состав советской китобойной флотилии «Слава», промышлявшей ловом в Антарктике.

Есть твердое предположение, что полковник успел поработать с еще одним полковником-нелегалом советской внешней разведки — Африкой де Лас Эрас, известной также под псевдонимами Родина и Патрия (посмотрите, как переводится это имя). По национальности Патрия — испанка, по убеждениям — коммунистка, по профессии — разведчица высочайшего класса.

Она тоже прочно осела в Латинской Америке, где установила связи с руководителями некоторых стран — территориально небольших, но стратегически для нас важных. И тут не обошлось без связи с резидентом в Нью-Йорке Марком.

Была — это по моим догадкам, не более, — и третья по счету агентурная сеть, которую контролировал или с которой сотрудничал Фишер. И в Америке ему пригодилось знание немецкого. На восточном побережье США он был связан с немцами-эмигрантами, которые боролись с Гитлером еще до Второй мировой и во время нее. Это они совершали диверсии в различных захваченных фашистами странах. Тут всплывает имя боевика Курта Визеля, в годы войны помогавшего известному диверсанту Эрнсту Вольвеберу. В Штатах он сделал отличную карьеру, став инженером судостроительной компании в Норфолке. В конце 1949-го — в 1950-х доступ к самой секретной информации у этого сподвижника Фишера, организовавшего к тому же еще и боевую диверсионную группу, имелся.

Марк сумел быстро реорганизовать всю нелегальную сеть, оставшуюся в США после Второй мировой. Та война закончилась, началась война холодная, на десятилетия переросшая в мировое противостояние двух систем. И Фишер справился с поставленными перед ним задачами. Он должен был добывать сведения о возможности возникновения военного конфликта между СССР и «главным противником» — США. Нельзя было как раньше вести основную разведывательную работу по линии легальной резидентуры. Потому и возникла необходимость в быстром становлении, возрождении разведки нелегальной. Марк также добывал для Центра любую закрытую информацию.

Но главным, повторю, стала для Марка и его людей атомная разведка!

Наиболее удачными, по мнению самого нелегала, были первые годы его пребывания в Штатах. И тут дело не только в ордене Красной Звезды, к которому его представили уже в 1949-м. Награда была получена за быструю успешную легализацию. Удачно работали по атомной проблематике его подопечные, руководители группы «Волонтеры», Моррис и Лона Коэн. Это при их содействии Марк передал в Центр немало технической документации по атомной бомбе

Не собираюсь никого обижать, но все же у верных друзей, Морриса и Лоны, не хватало некого чувства настороженности, бдительности. Смелость Лоны порой творила чудеса, но могла и превратиться в серьезную помеху при работе. И тогда Марку пришлось убедить Коэнов отдать на связь ему лично ценнейшего американского источника «Млада» (он же «Стар»). Юный гений и

не догадывался о законах конспирации. Таланту, успешно трудившемуся в секретнейшей атомной лаборатории Лос-Аламоса, было не до того. Его контакты с Питером, а затем с Лоной не обеспечивались надежным прикрытием. Могли привести если не к провалу, то к серьезным неприятностям. Быть может, на короткий период времени отношения с Коэнами подверглись определенным испытаниям. Глухое, запрятанное недовольство слышалось мне в рассказе самого Морриса об этом периоде, когда он решительно не согласился выделять Марка из всех своих «кураторов», назвав его одним из многих.

Но решение оказалось верным. Подразочаровавшийся в идеях коммунизма «Млад» (он же ученый Теодор Холл) собирался совсем отойти от контактов с советской разведкой. И великий уговорщик Марк упросил его в 1949-м не рвать, хоть на время остаться.

В 1950-м пришлось-таки спасать Морриса и Лону. Уж чересчур открыто проповедовали они свои коммунистические взгляды. Маккартизм, аресты левых, а Коэн не скрывал: да, я боролся с Франко в составе интернациональных бригад. В июле последовал арест товарищей «Волонтеров» по коммунистической ячейке Юлиуса и Этель Розенберг. Заведомо ложное обвинение в атомном шпионаже закончилось электрическим стулом. А Коэнов — о чем поподробнее в следующих главах — вывезли из США. Вот кто был причастен к добыче атомных секретов…

Быть может, не предвидя того, Фишер спас тогда и себя. Через несколько лет при аресте Коэнов в Англии, работавших там под фамилией Крогеров, всплыло расплывчатое свидетельство о их знакомстве с неким американцем. Но Фишера — полковника Абеля — в том человеке их соседка не опознала. А могла бы…

Ведь в 1948-м советская разведка понесла в США тяжелейшие потери. Еще до приезда Фишера в Штаты предала своих одна из ведущих фигур в нелегальной разведке Элизабет Бентли. За арестами советских агентов последовали закрытия наших консульств и официальных представительств в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Разрушенную, а частично и замороженную сеть надо было кому-то восстанавливать. В этом тоже заключалась задача резидента Марка, которая еще больше осложнилась в 1950-м, когда в сентябре был принят Закон Маккарена — Вуда о внутренней безопасности. Срок заключения в мирное время за шпионаж против США был увеличен до десяти лет. Шла «охота на ведьм». Более десяти миллионов американцев — и левых, и просто хоть как-то симпатизировавших Советскому Союзу, были подвергнуты проверке на лояльность. Малейшее подозрение — и репрессии, вплоть до тюремного заключения.

Вот в таких условиях предстояло возрождать разведку резиденту Марку. Задача — не на пять лет, и даже не на пятнадцать. Многое успев, Вильям Фишер эту задачу в основном выполнил. Видите, какой огромный объем работы пришлось проделать. И насколько разнообразный. На фоне всего этого обвинения Абеля в том, что был он лишь «почтовым ящиком», передаточным звеном, звучат смехотворно. Да, полковник не успел совершить еще больше, хотя создал все условия для успешной работы своей собственной и агентуры. Но… Помешали предатель Рейно Хейханен, арест…

Немало неприятного, даже обидного для разведчика пишется вокруг неудавшегося отзыва в 1957 году этого связника-предателя. Этнический карел, лейтенант, а вскоре и майор Хейханен нелегально обосновался в США в октябре 1952 года. Когда дело не пошло и Вик — это его оперативный псевдоним — явно запил, майору, сообщив о присвоении очередного звания и награждении орденом, приказали прибыть в Париж, а уж оттуда — в СССР на новую работу. В принципе это общепринятая во всех разведках практика. Сотрудника не настораживают, не нервируют, а даже поощряют, чтобы избежать подозрений и добиться его возвращения домой. В Париже в разговоре с сотрудником нашей разведки Вик пообещал вернуться в Москву, о чем Фишеру, находившемуся тогда где-то на побережье, тотчас сообщили радиограммой. Успокоенный, он решил ехать в Нью-Йорк. На этот раз против него было все — даже погода. Из Центра ему радировали о предательстве Вика, а он из-за помех, сначала на побережье, потом в Нью-Йорке, никак не мог принять настойчиво посылавшиеся сообщения. Связь с Москвой была отвратительной. Так он и заснул, замученный, в отеле «Латам», не расшифровав радиограмму, где его в очередной раз предупреждали: беги, беги!

Еще одна неприятная легенда. Фишер виноват в том, что при нем найдено немало улик, доказывающих принадлежность к советской разведке. А вот тут давайте по порядку. При аресте он проявил невиданное, прямо-таки фантастическое самообладание и хладнокровие. Люди из ФБР в глаза назвали его полковником, и он понял, что предал Вик: только радист знал, какое офицерское звание у Марка. Фишер ухитрился уничтожить блокнот с кодами и так и не расшифрованную радиограмму. Попросил у фэбээровцев карандаш, чтобы написать заявление, сделал вид, будто сломал грифель, подменил бумагу и сумел скомкать, а затем спустить в туалет не отправленное в Центр донесение.

Здесь я беру минуту на размышление. Все это пишется в наших источниках, подтверждается самим Вильямом

Генриховичем. Если так, то надо признать, что работали трое арестовывавших его американцев крайне непрофессионально. Действия соответствующих групп при арестах обычно отработаны, скоординированы. Перехватывается все, вплоть до взглядов, которыми обмениваются между собой арестовываемый и домочадцы. В зарубежных источниках рассказы об уничтоженных Абелем уликах называют домыслами. Все же версия о том, что ранним июньским утром трое агентов были чересчур уверены в себе, опьянены успехом, обнаружив русского полковника голым в гостиничном номере, и потому действовали небрежно, имеет определенные основания. Есть отголосок этого и в книге «Тайная война» Санжа де Гамона, признававшего, что первые двадцать минут обыск в номере гостиницы «Латам» проводился крайне поверхностно.

Но как же тогда с найденными письмами от жены и дочерей, которые в качестве улики демонстрировал и даже зачитывал в суде обвинитель? Да, он очень любил свою Элю и дочерей Эвелину и Лиду — Лидушку. Хранил — разумеется, очень тщательно спрятав, но в нарушение всех правил, — несколько писем, и когда их зачитали в суде, то полковник вызвал еще больше симпатий, чем свидетельствовавший против него явный алкоголик Хейханен. Можно ли поставить это чувство любви в упрек Фишеру? Он столько лет прожил в Америке один. Как упрекать его за любовь к трем единственно близким людям?

Уж если мы вспомнили о родных разведчика, то вот еще сценка из жизни нелегала, связанная с семьей. Когда жена и Эвелина встречали его во Внуковском аэропорту во время одного из редких приездов в неизвестно как легендированный отпуск, Фишер сразу закурил. Взялась за сигарету и супруга. Уже вполне взрослая Эвелина сказала, что не прочь закурить и она. Фишер строго поглядел на жену: «Ну что, выучила и ее».

Девять лет работы, каждый из которых засчитывается нелегалу за два, несколько орденов, повышение в звании и арест агентами ФБР. Чтобы дать знать Центру об аресте, Марк назвал себя именем умершего (и, что понятно, известного КГБ) друга — Абель. Процесс «Соединенные Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля» закончился суровым приговором — 30 лет. Впрочем, за совершенное полковнику грозила смертная казнь или пожизненное заключение, что и случилось бы, если бы не благородные старания его адвоката Джеймса Донована. А так — четыре с половиной года в тюремной камере города Атланты и счастливое избавление: при помощи нашей внешней разведки и при содействии того же Донована, искусно исполнившего роль посредника, Абеля обменяли на Пауэрса и еще двух шпионов.

Обмен на Пауэрса произвели на берлинском мосту Глинике 10 февраля 1962 года.

А нам стоит вернуться в Штаты. Суд, Хейханен свидетельствует против советского полковника. Фишер внешне абсолютно спокоен. Его адвокат Донован с восхищением следит за подзащитным, ни малейшим жестом, ни вздохом не высказывающим никакой тревоги. А речь-то вдет о приговоре: это смерть, пожизненное заключение или 30 лет тюрьмы. При всех стараниях Донована подзащитному отвешивают 30 лет. По сути, в 54 года — то же пожизненное: в тюрьме до восьмидесяти четырех не дотянуть никак. Суровый приговор полковник встречает с внешним безразличием и лишь с достоинством благодарит Донована.

К своему адвокату Фишер проникся симпатией искренней. И когда какими-то судьбами во второй половине шестидесятых нью-йоркский адвокат выбрался-таки в СССР, он очень хотел с ним встретиться. Но запретили под каким-то предлогом, а Доновану наговорили несуразицу. Хорошо хоть, что разрешили подарить еще в 1962 году — через других сотрудников разведки — старинную книгу по римскому праву. Донован был завзятым коллекционером, и принесенные по почте на свой нью-йоркский адрес дары вместе с трогательным письмом от Абеля принял с огромной благодарностью. Тут надо сказать, что посылочка пришла из Восточного Берлина, а отправлял ее доверенный человек всех разведок социалистических стран адвокат Фогель. Так вот, по свидетельству Юрия Ивановича Дроздова, Фогель, тоже знавший толк в старинных книгах, был не прочь присвоить дар себе. Проявили бдительность, не дали, и посылка нашла адресата.

Рассказывала Эвелина Вильямовна и о другом визите в Москву. Приезжал в СССР немец — зубной техник, с которым полковник Абель сидел в тюрьме в Атланте. Они сдружились, и немец даже ухитрился помочь русскому, смастерив в тюремной мастерской из подручных средств нечто, закрепляющее сломавшийся зубной протез. Но и здесь встреча не состоялась. Тоже запретили. Ну до чего суровое было время!

Подведем первые итоги. Фишер прожил жизнь под пятью личинами. У него шесть биографий, включая одну собственную. Вильям Генрихович успел потрудиться со многими героями нашей разведки: Кимом Филби, Моррисом и Лоной Коэн, Гордоном Лонсдейлом — Молодым, Африкой де Лас Эрас… Кстати, доходили до меня сведения, что со всеми прекрасно ладил, а вот, судя по английским источникам, с Кимом Филби не слишком сработался. Не нравились они друг другу. Серьезный

Вилли Фишер и расслабленный аристократ Ким Филби были антиподами.

Да, человек-легенда Вильям Генрихович Фишер работал со множеством выдающихся разведчиков, чьи имена здесь перечислены. Надеюсь, я убедил оппонентов, что Вильям Фишер, известный под именем Рудольфа Ивановича Абеля, действительно нелегал высочайшего класса. А для предпочитающих сугубо официальные доказательства приведу список наград Вильяма Генриховича Фишера: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды, множество медалей. Учитывая, что в те годы разведчиков почестями не слишком баловали, орденская планка выглядит солидно, внушительно. И заслуженно.

С такими генами — только на Лубянку

Уж с чем не поспоришь, так это с тем, что Вильям Август Фишер, именно так записано в сертификате о рождении, появился на свет 11 июля 1903 года в субрайоне Вестгейта английского города Ньюкасла-на-Тайне. Повторюсь: эмигранты-большевики Генрих Матвеевич Фишер и жена его, Любовь Васильевна, урожденная Корнеева, назвали сына в честь боготворимого обоими Шекспира. И хотя Вильям Генрихович прославился совсем не на литературном поприще, я постараюсь рассказать о нем если не как о писателе, то уж точно — как о способном литераторе.

В последние годы почему-то разгораются споры о национальности Фишера. Раньше об этом как-то молчали, а теперь именуют его то чистым англичанином, то немцем, не всегда добавляя «обрусевшим». Сейчас вот записали в евреи, тыча в фото молодоженов Вилли Фишера и Елены Степановны Лебедевой и талдыча: «Похож, похож, точно пятый пункт, да и фамилия не только немецкая».

Спешу разочаровать — а может, обрадовать заблуждающихся. Человек с фамилией Фишер был кристально чист, когда называл себя «обрусевшим немцем».

Родословная установлена исключительно и на удивление точно исследователями из Рыбинска и досконально проверена профессором Дэвидом Саундерсом, преподающим на исторической родине Фишера в Ньюкасле. Я бы сказал, что об отце полковника, родившемся в XIX веке, известно в определенной степени гораздо больше, чем о нем самом.

Но исследование биографии папы, Генриха Фишера, вгрызание в глубины его сложнейшей биографии заставило вспомнить пословицу «Яблоко от яблони…». Отец знаменитого разведчика часть жизни занимался приблизительно тем же, что и сын. Масштабы и отдача, конечно, меньшие, но все-таки не зря Генрих Фишер считался опытным подпольщиком. Существует же такое понятие, как «гены музыканта», «гены ученого». Здесь перед нами типичный случай наследования «гена разведчика».

Но обо всем этом чуть ниже, а пока перейдем к роду Фишеров. Дедушка — Генрих Август Фишер был настоящим немцем, выходцем из северо-восточной Тюрингии. Бабушка, урожденная Эмилия Винклер, — из Берлина. Писалось, будто управляющий имением князя Куракина в Ярославской губернии выписал их и еще несколько толковых людей из Германии, чтобы навести в имении порядок. Однако, похоже, идея укрепить

большое хозяйство принадлежала еще князю Михаилу Андреевичу Волконскому, владевшему поместьем Андреевское с 1835 по 1863 год. А уж потом, в 1864-м, после свадьбы его дочери Екатерины и Анатолия Куракина, имение отошло к князю Анатолию Александровичу.

Не знаю, как остальные германцы, а дедушка будущего полковника Абеля уж точно пришелся к княжескому двору: прекрасно разбирался в лошадях, был отличным ветеринаром. Эмилия занималась разведением кур. Семейство по-прежнему сохраняло германское подданство, но уже пустило русские корни. По некоторым сведениям, Генрих Август даже принял в 1881-м православие и откликался на имя Александр.

9 апреля 1871 года в имении Андреевское Марьинской волости Ярославской губернии у трудолюбивого немца и его супруги родился сын Генрих, второе имя — Маттеус или Матвей. Местные крестьяне немецкое «Генрих» выговаривали с трудом и для простоты окрестили мальчика Андреем — на это имя он отзывался с удовольствием. Даже став взрослым, в некоторых документах называл себя именно так.

Трудно поверить, но и сын Вильям, он же Вилли, будет обращаться в письмах к папе с мамой по имени-отчеству — Любовь Васильевна и… Андрей Матвеевич. Детей у немецкой четы Генриха и Эмилии народилось немало: пять мальчиков и две девочки, хотя Эвелина Вильямовна Фишер утверждала, что было их то ли 16, то ли 17.

Но Генриха отдали на воспитание другой немецкой паре, которая его и содержала, а по некоторым сведениям, даже усыновила, дав неплохое по тем временам образование в городе Рыбинске и научив работать с металлом в кузнице. Учился Генрих-Андрей почти на одни пятерки, зачитывался считавшимися тогда авантюрными Фенимором Купером, Жюль Верном и Вальтером Скоттом. Русский для него стал истинно родным, хотя и по-немецки он говорил и читал неплохо.

Однако поступая в 1885 году, в 14 лет, после начальной школы в 1-е Рыбинское городское высшее начальное училище, указал при сдаче экзаменов свое вероисповедание как лютеранское. Получается некая нестыковка с отцом, в то время уже православным.

Был он парнем шустрым, непоседливым, схватывал все на лету. За три года учебы — почти всегда отличные оценки, изредка со знаком минус, по арифметике, истории, естествоведению, бухгалтерии… Чуть оплошал только по русскому и старославянскому языкам и физике, где получил «хорошо». А еще обучался пению и гимнастике. Только вот на Закон Божий не

ходил, получив в аттестате прочерк.

Работал скотником, потом быстренько перешел на ступень более высокую — такой юный, а уже лесничий. И уж совсем неожиданно перескочил и на вовсе почетную по деревенским понятиям должность мельника. Как сейчас бы написали — карьерный рост явный.

Но что-то не сиделось в чинном имении молодому Генриху-Матвею-Андрею Фишеру. Едва исполнилось 16, а он уже в Петербурге. Вычитал в издававшейся на немецком языке газете, что на фабрике Гольдберга требуются ученики в металлический цех — а он мог и паять, и залатать дыру в самоваре. Сразу влился в ряды рабочего класса, освоив специальность лекальщика. Поступая на работу, подробно и грамотно заполнил требуемые бумаги.

Кстати, тогда он подробнейше написал обо всех своих именах: «Меня зовут Матвей Августович. Помимо этого я — Генрих. Мама всегда звала меня Андреем, как и все мои товарищи по работе. Когда рабочие спрашивают мое имя, я говорю им — Андрей. Никто и никогда не звал меня Генрихом или Матвеем». Это похоже на историю его сына Вильяма, у которого за годы службы в нелегальной разведке набралось множество псевдонимов…

И все же, несмотря на русское имя, юный тогда Андрей-Генрих предпочитал снимать каморку у соотечественников — немцев. Занимаясь самообразованием, много читал на немецком. За аккуратность, умение поддерживать полнейшую чистоту русские друзья звали Андрея «нашим немцем».

Нашел себе Генрих-Андрей-Матвей и дело по душе. Неизвестно, какими путями, но свела его судьба со студентом Глебом Кржижановским — будущим другом Владимира Ильича Ленина и одним из руководителей Советского государства. Генрих без пропусков посещал марксистский кружок, слушатели и участники которого через несколько лет влились в созданный Владимиром Ульяновым «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», преображенный затем в Российскую социал-демократическую рабочую партию — РСДРП.

Фишер переходил с работы на работу, сменив за несколько лет семь фабрик, всегда оставаясь агитатором и пропагандистом.

Иногда пишется, будто Генрих Фишер подружился с Владимиром Ильичом. Нет, до дружбы не дошло, однако два борца за освобождение рабочего класса были хорошо знакомы. В 1890-х в Петербурге они встретились, живо обсудив вышедшую книгу «Очерки пореформенного хозяйства». Даже поспорили. Ленин сделал своему почти что ровеснику ряд толковых

замечаний и дал парочку советов, которые Фишер с благодарностью, как от старшего по общему делу, принял.

Потом в 1907 году встретились в Лондоне на Пятом съезде РСДРП, где роли уже распределились соответствующим образом: Ленин — вождь, Фишер — его верный сторонник и безоговорочный последователь. Он участвовал в съезде в официальном качестве «гостя». Хотя есть свидетельства, что Генрих, поднаторевший и в марксистской теории, тщательно анализировал новые ленинские работы, иногда высказывая если не замечания, то рекомендации по некоторым главам.

Но революционная питерская «веревочка» вилась не вечно. Фишер участвовал в работе рабочих кружков, распространял пропагандистские материалы и, ничего удивительного, попал в поле зрения охранки. Его арестовали в июне 1894-го.

Прошу обратить внимание на важнейший факт в биографии Генриха Фишера: последовали восемь месяцев допросов в Доме предварительного заключения на Шпалерной, в Санкт-Петербурге. Потом объясню, как отразились эти злосчастные восемь месяцев на судьбе старого большевика Фишера.

Сидя в 1894–1895 годах в тюрьме, стойкий боец за освобождение рабочего класса не терял времени даром. Читал в подлиннике Гейне, пытался выучить шведский язык. Затем последовала высылка Генриха Фишера на север и так уж северной Архангельской губернии, где, по некоторым сведениям, он промучился в ссылке с 1896 по 1899 год. Но и здесь он организовал в 1898 году кружок, в котором сам же и преподавал.

Потом условия для немецкого подданного несколько смягчили, сменив суровый край на более мягкую во всех отношениях Саратовскую губернию. Там Фишеру предстояло провести еще три года — по крайней мере до 1901-го.

Тут и встретил ссыльный свою любовь — молоденькую акушерку Любу, уроженку Хвалынска Саратовской губернии, которой тоже «отмерили» три года за все тот же марксизм. Вскоре Любовь Васильевна Корнеева вышла замуж за обрусевшего немца, так что если кого-то интересует, то родившиеся у них впоследствии — уже в Англии — сыновья были немцами только наполовину.

Молодая семья и в Саратове продолжила деятельность, которую иначе как революционной не назвать, и здесь Генрих Фишер показал себя незаурядным конспиратором. В Саратове обнаружили любопытные документы. Они не совсем совпадают с теми воспоминаниями о подпольной работе в Саратове, которые Генрих Матвеевич Фишер опубликовал в 1922-м, вернувшись из английской эмиграции, а затем, следуя законам суровой

сталинской эпохи, перед самой смертью здорово переделал — во втором варианте отдавалась дань не только старому знакомому Ленину, но и его сменщику Иосифу Виссарионовичу.

Так вот, оказывается, в Саратове Генрих Матвеевич Фишер жил, пользуясь современным словарем разведчика, на полулегальном положении. Постоянно менял имена. Так, по справке, выданной ему канцелярией Волжского стального завода, он трудился там с марта 1899 года по июнь 1900-го. А через месяц — уже завод Гнатке, где работал до отъезда в Англию. Но вот что интересно. На стальном он значился Матвеем Августовичем Фишером, а на втором заводе уже под своим настоящим именем — Генрихом Матвеевичем. Возможно предположить, что речь идет о двух разных людях. Или, быть может, вслед за опальным сыном в Саратов с Ярославщины приехал его отец? Однако ветеринара Фишера, политикой никогда не занимавшегося, к тому времени уже не было в живых.

Зато отыскалось досье жандармского управления «О состоящем под негласным надзором полиции германском подданном Фишере», читайте внимательно: «Матвее Августовиче». Короче, используя разные имена, поднадзорный Генрих Фишер совсем запутал полицию.

Не правда ли, напрашивается некая аналогия и с сыном Вильямом Генриховичем, взявшим при аресте чужое имя — Абель? Между прочим, отвечая на вопросы американских следователей, «полковник Абель» почему-то совершенно правдиво указал имя своей матери: Корнеева Любовь Васильевна. Наверно, сыграла роль и определенная сентиментальность. Или, тоже не исключено, что, искажая, меняя и спаривая настоящие и выдуманные факты из своей биографии, полковник еще больше запутывал американцев. Сыну Вильяму было чему учиться у папы с мамой.

Любовь Васильевна ведь тоже помогала мужу в его подпольной работе и даже имела собственные коронные приемы, чтобы запутать жандармов. Выработала свой метод хранения и перевозки секретных материалов: расшивала толстенные медицинские справочники и вставляла в корешки листы с документами, а то и номера газеты «Искра». Между прочим, в 1957 году на суде предатель Хейханен свидетельствовал, что полковник научил его прятать секретные документы в обложках толстых книг.

Царская охранка так и не смогла во второй раз засадить Генриха Фишера. Нюхом чувствовали жандармы, что варится в квартире ссыльного густая революционная каша, но доказать ничего и ни разу не смогли. Неоднократные обыски на квартире

результатов не давали. Хоть и проходил Фишер по подозрительным делам, но лишь в качестве свидетеля.

Рабочие и соратники искренне уважали Фишера, но любви, особой дружбы не возникало. По некоторым воспоминаниям, его окрестили «человеком из стали», даже «свирепым». Не слишком сходился он и с более близкой к нему хотя бы по уровню образования революционной интеллигенцией, считая, что только выходцы из рабочей среды и должны возглавлять революционное движение. Исключение делал лишь для одного Ленина, искренне считая того гением. Во всех своих биографиях и статьях, изданных уже после возвращения из Англии, с гордостью напоминал: я — рабочий. Хотя в 1920-х это уже никак не соответствовало действительности.

Кстати, рабочее происхождение и принадлежность к рабочему классу видны и в названии его книги «В России и в Англии. Наблюдения и воспоминания Петербургского рабочего. (1890–1921 г.г.)». Брошюра в 105 страниц издана «Государственным Издательством» в Москве в 1922 году «Комиссией по истории Октябрьской революции и Р.К.П. (Б-ков)». Фамилия автора — Фишер, а вот инициал стоит не «Г.» — Генрих, и даже не «М.» — Матвей, а «А.» — все-таки Андрей. И в библиографии Фишер приводит ссылку на свою же статью «В России и в Англии» с тем же инициалом «А.».

И вот тут мы подходим к важнейшему моменту в судьбе всего семейства Фишеров. Считается, будто находясь в Саратове на грани провала, обратился он к властям с просьбой о выдаче ему с супругой заграничных паспортов, чтобы уехать от греха, то бишь ареста, подальше. Однако дело обстояло не совсем так. Это власти, понимая некую свою обреченность в борьбе с хитроумным немцем, пусть и обрусевшим, потребовали его высылки. В августе 1901-го полиция сообщила Фишеру: если он добровольно в течение месяца не покинет пределов России, то будет в кандалах этапирован до самой до Германии, гражданином которой является. Но и там Фишера ждало бы практически неминуемое тюремное заключение. Да еще по немецким законам все военнообязанные должны были или отслужить в армии, или явиться в срок на призывной пункт для получения отсрочки. По абсолютно понятным причинам Фишеру было не до этого.

Этап и тюрьма маячили совсем реально, и тут на помощь Генриху-Андрею пришел рабочий-металлург Александр Хозецкий, с которым Фишер тянул срок еще в Архангельской губернии. Спасаясь от ареста, Александр перебрался в промышленный Ньюкасл, что на северо-востоке Англии, где наладил связи с местными социалистами. Туда и позвал он Генриха, обещая

помощь в обустройстве и установление связей с британскими соратниками. Других же предложений, кроме как примерить кандалы, не поступало.

Гражданину Германии Фишеру, прожившему все свои 30 годков в России, ничего не оставалось, как обратиться к властям с просьбой о выдаче ему с супругой заграничных паспортов. Получили их довольно быстро: с глаз долой, из Саратова — вон, двумя беспокойными революционерами меньше.

И тотчас Генрих с женой Любой рванули в Варшаву, откуда с пересадками добрались до Великобритании. Есть огромная вероятность, что супруга была уже беременна: их первый сын родился в Ньюкасл-он-Тайн 18 апреля 1902 года. Мальчика назвали Генри, хотя мама называла его всегда Гарри. С именами в семействе Фишеров всегда возникала некоторая путаница.

Тогда революционеры из России эмигрировали тысячами — выбор-то оставался небольшой: тюрьма-ссылка или заграница. Многие и там продолжали работу на будущую революцию, считая часы до возвращения. Некоторые ассимилировали в чужом обществе, женились на местных, теряли связь с родиной. Кое-кто уезжал в совсем уж далекую Америку. Короче, даже очень стойкие «выпадали» из революционного процесса.

Фишер не выпал. Хотя положение его было не из легких. По существу русский, по статусу — подданный Германии, он был в Великобритании инородным телом. Русских, кроме товарища Александра, в Ньюкасле оказалось совсем немного. Да и он, единственный настоящий друг, еще в 1902-м отправился в мир иной после неудачной операции элементарного аппендицита. Пропагандировать было особо некого. Двое сыновей 1902 и 1903 годов рождения требовали постоянной заботы, средств. Положение если не аховое, то вроде того.

Эта ситуация несколько напоминает ту, в которую попадают разведчики-нелегалы, внедряясь в чужую среду. Не зря их, в случае успешного вживания, повышают в звании и награждают орденами уже в первые годы чужой жизни.

Генрих старательно, правда, без особого успеха, штудировал английский. Англия, и в те времена принимавшая немало политических эмигрантов, никому не грозила высылкой. Он неожиданно быстро нашел работу. Сначала мешал цемент, потом через три месяца занял подобающее своей квалификации место неплохо оплачиваемого жестянщика на верфи. В принципе, они с женой были довольны. В 1907-м подали прошение о гражданстве — Фишер мечтал вернуться в Россию полноправным английским гражданином, которого бы не посмела выслать никакая охранка. Но прошение было отвергнуто.

Отказ не обескуражил. Он уже немало наездился за свою короткую жизнь и теперь набрался терпения. Хотелось постоянства, семейного уюта, жаль было тревожить маленьких мальчишек. В 1914-м он снова попросил о британском гражданстве, и на этот раз вожделенные паспорта были выданы. Даже когда грянула Первая мировая война и толерантную Англию залила волна антигерманизма, его немецкое происхождение не помешало получить новую, еще более престижную работу. Фишеру выдали в русском консульстве официальную бумагу, где значилось, что, несмотря на немецкое подданство, он родился в России, где жил и работал до 1901 года.

Снова обращусь к делам разведки. Родившиеся в Англии Гарри и младший Вилли росли гражданами мира. Говорили на трех языках. В семье — русский, иногда, впрочем, и немецкий. В школе конечно же английский. Росли — и без усилий — полиглотами, которых чужая среда не давила и не тяготила, ибо естественно стала их собственной.

А их отец сумел-таки установить связь с русскими соратниками. Ездил в Лондон, где познакомился с ленинским эмиссаром Алексеевым. На Второй съезд РСДРП попасть не смог, однако выручил одного из делегатов, после заседаний нелегально переправив его по своим новым английским каналам обратно в Россию. Еще до грянувшей революции 1905 года помогал распространять и переправлять «Искру». Сразу же после Кровавого воскресенья 1905 года впервые выступил на не до конца освоенном английском на митинге рабочих своей судоверфи. А еще через два месяца организовал в Ньюкасле ячейку РСДРП. Все ее члены согласились с вожаком Фишером: российское правительство по-прежнему остается самым реакционным во всем мире.

Занимался Фишер и делами гораздо более опасными. Понятно, что в британских архивах сведений о его деятельности по переправке оружия и военного снаряжения из Ньюкасла в российские порты на Балтике совсем немного. Оружие в относительно небольших ящиках перевозили как свои личные вещи латвийские моряки. А покупать и хранить его помогали соратники Фишера — британские социалисты. В 1907 году из-за небрежности моряка-латыша полиция наткнулась на оружие. Пошли и в Ньюкасле знакомые Генриху по России обыски и допросы, на которых он держался стойко. Дома у опытного революционера-подпольщика ничего не нашли, однако заварушка получилась серьезная. Фишер тогда как раз подавал прошение о новом гражданстве и просто физически не успел перевести необходимые для этого деньги. Да и власти получили от полиции

неприятную информацию о подозрительной роли немца Фишера в этой латышской афере с переправкой английского оружия в Ригу.

Вторая попытка получить гражданство, как уже говорилось, увенчалась успехом в 1914-м. Все члены семьи были признаны гражданами Британии — таким образом будущий полковник Абель был легализован с детства. Очень важно, что, возвращаясь в Советскую Россию, никто из клана Фишеров не отказался ни от паспортов, ни от гражданства. Может, старый, по стажу, подпольщик оставлял их про неведомый запас, на всякий случай. Опять напомню, что в первую свою нелегальную командировку сотрудник ОГПУ Вильям Фишер отправился по подлинному британскому паспорту, полученному в консульстве Великобритании в Москве и благодаря отцу. Конечно, даже конспиратору Генриху-Андрею-Матвею не под силу было заглянуть столь далеко и предвидеть такую карьеру родного сына. Но все же, все же…

Однако почему Фишер, настолько прижившийся в Англии, решил вернуться в родные пенаты? Во-первых, разочаровался в британском рабочем движении. Осознал, что в Британии даже основанная в 1920-м Коммунистическая партия дальше разговоров никогда и никуда не пойдет. Рабочий класс разложен и разрознен, заражен, как писал Генрих Матвеевич, собственным ложным патриотизмом. Волне мировой революции сюда было не докатиться никак. Человеку, даже изучавшему английский язык по книгам британских марксистов, с этим было не смириться. И, во-вторых, обладатель английского паспорта понял: интервенция западных стран против России провалилась. Последний корабль со снаряжением для белых отчалил от берегов Тайна в декабре 1919-го. Даже британские консерваторы отчаялись поддерживать их угасающее сопротивление. Пламенных речей в защиту молодой Советской республики поднаторевшего в английском Генриха Фишера больше не требовалось.

Он был слишком верным большевиком, чтобы задуматься, где же будет лучше его сыновьям — любимому старшему Генриху-Гарри и младшенькому Вилли, который уже поступил в Лондонский университет. Строгая жена во всем и всегда поддерживала мужа. Ребят и не спрашивали. Они хотя и говорили по-русски, но с заметным акцентом: родным невольно стал английский.

Наверное, для старого большевика решение было единственно верным. В принципе он не прогадал, вернувшись на землю, которую с полным основанием можно считать Родиной. Советская разведка от этого только выиграла.

Подгадал так, что попал на Третий конгресс Коминтерна. Он сразу обменял членский билет Коммунистической партии Великобритании на партбилет более родной ему русской Компартии.

Месяца три, по другим источникам и того меньше, трудился плотником-слесарем в общежитиях Коминтерна. Потом техником и инструктором Московского совета народного хозяйства. Упорно повторял: «Я — рабочий». Однако уже в феврале 1922-го его пригласили на работу в архив Коминтерна. Не кем-нибудь — заведующим. И прямо не отходя от архива, он был в числе первых принят в только-только образовывавшееся Общество старых большевиков.

Мне так и не удалось выяснить, встречался ли Фишер в этот свой советский период с давним знакомцем — Лениным. Есть неподтвержденные намеки, что виделись. Хотя вождь после покушения тяжело болел, находился под опекой врачей и не только. Зато внучка Эвелина Вильямовна рассказывала мне, что у строгой бабушки Любы, тоже принятой в Общество, сложились хорошие отношения с сестрами Владимира Ильича. Любовь Васильевна стала заведующей клубом Общества старых большевиков. Пост, может, и не слишком заметный, однако дававший право на житье именно в Кремле, за красными стенами, в Чугунном коридоре, поблизости от Теремов. Там же рядом и располагался клуб. Свою работу Люба Фишер выполняла старательно, товарищи по партии были ею довольны.

— Но с Марией Ильиничной и с Анной Ильиничной Ульяновыми бабушка сошлась совсем не по работе, — каждый раз терпеливо объясняла мне Эвелина. — Сестры Ленина, как и Любовь Васильевна, были страстными кошатницами. Собирали кошек по всему Кремлю. Подкармливали. Давали им клички, вот и получилось такое кошачье содружество.

Да и муж вроде тоже шел в гору. Человек не слишком открытый, он дружил только с прежними соратниками — членом Центрального комитета Андреевым и со старейшим большевиком Шелгуновым. К концу 1922-го опубликовал свои откровенные и хорошо принятые друзьями по партии воспоминания. Был избран членом бюро Общества. В Коминтерне тоже складывалось удачно.

Но в январе 1924-го ушел Ленин, невидимый, однако вполне возможный защитник, покровитель. К власти рванул народ совсем иной. Тут внезапно и наступили для верного большевика-ленинца Фишера сложные времена.

Впрочем, бед хватало и без этого. Еще в 1921-м, на глазах у младшего сына Вилли, утонул в реке Уче, неподалеку от Москвы, старший — Гарри. Вдруг в Обществе послышался ропот: Фишер

слишком вольготно тратит отпускаемые средства. Но и это обвинение было пустяком по сравнению с другим, на полном серьезе предъявленным ему старыми товарищами по борьбе.

Помните о восьми месяцах, проведенных Фишером в 1894-м в предварительном заключении на Шпалерной в Санкт-Петербурге? Тогда его допрашивали с пристрастием, даже, как намекал он сам, пытали. Группа старых большевиков, допущенная к изучению дел своих товарищей, арестованных царской охранкой, работала тщательно. Неожиданно выяснилось: Фишер держался не столь и стойко. Не то чтобы выдал охранке, но, скажем так, подвел своими признаниями нескольких — трех, по некоторым данным, соратников. Репутация Фишера как стального большевика стремительно давала трещины и трещинки. Главный тогдашний историк партии Емельян Ярославский выказывал недовольство.

До 1937-го было еще далеко, но Фишера прижали здорово. И хотя друзья по партии докопались-таки до того, что Генрих не сказал полиции всего, что знал, и его не исключили из Общества старых большевиков, относиться стали гораздо хуже.

А тут новая напасть. 13 сентября 1924 года по обвинению в шпионаже арестовали его напарника, вместе с которым он переправлял оружие из Англии в Россию. Так что уже с 16 сентября Фишер в Коминтерне не работал.

Он быстро нашел (или ему подыскали?) новую работу вдали от Москвы. Бывший член бюро Общества старых большевиков, живший в Кремле, руководил теперь небольшой бумажной фабрикой в городке Сокол, что на севере Вологодской области. Интересно, вспомнились ли ему высылки в Архангельскую и Саратовскую губернии?

Или, возможно, благожелатели таким образом выводили старого большевика из-под более серьезного удара? Эвелина вспоминает по рассказам бабушки, что дедушка иногда не показывался в Москве месяцами, а то, бывало, наезжал часто, встречаясь в основном с женой, терпеливо ожидавшей его в столице. Она его тоже навещала. Семья сохранилась, хотя волнений было немало.

Судя по всему, Фишера через несколько лет простили так же неожиданно, как и осудили. С 1928 года он снова в Москве. Возглавляет секцию в институте. Его статья, посвященная очередной годовщине ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», оценена высоко, и вскоре Фишеру предложено написать материал в журнал «Старый большевик» о Владимире Ильиче.

Годы бежали незаметно. В 1931-м его провожают, а не выпроваживают, на пенсию. Он вновь переиздает свои

воспоминания, делая их более строгими — в духе прочно обволакивающего страну сталинского времени.

Генрих Фишер скончался 22 марта 1935 года. Эвелина Вильямовна почему-то уверена, что причина смерти — не просто легочное заболевание, а застарелый туберкулез. Дедушку хоронили с почестями. В последний путь проводить его пришли старые товарищи по партии. Солидные издания откликнулись некрологами, а Большая советская энциклопедия — уважительной статьей. Учитывая, что многие его соратники уже подвергались гонениям и преследованиям, жизнь закончилась для Фишера не так и плохо. Кто знает, что ждало бы его через год-два, когда начались сталинские чистки. Он ушел вовремя.

Остались жена и сын Вильям — Вилли. Хотите верьте, хотите нет, но именовавший себя «русским немцем» Генрих Фишер путался в имени сына. На прошении в Коминтерн, помеченном 1923 годом, он пишет: «Прошу выделить путевку в санаторий моему сыну Вильгельму». Да, мешанина в именах, гражданствах, подданствах, паспортах и образах жизни в двух разных странах имела место быть. Будущему нелегалу Вильяму Генриховичу Фишеру она пошла только на пользу.

Из Лондона — в ОГПУ

Не хочется лукавить — и не буду. В некоторых статьях о Вильяме Фишере мелькали бравурные и, в принципе, оправданные штампы. Мальчик с детства помогал отцу-революционеру. Еще в Ньюкасле выполнял его поручения, раздавая листовки, бегая на явки и даже обеспечивая связь.

Кто знает, может, Генрих Фишер действительно с детства и приучал сыновей Гарри и Вилли к чему-то такому революционно-конспиративному, но серьезных документальных свидетельств этого я нигде не нашел. Не было подтверждений тому и в беседах с дочерью Эвелиной, и в разговорах с кругом людей, неплохо знавших Вилли Фишера — будущего Абеля.

Вообще должен, просто обязан еще раз написать: все, что касалось Вильяма Генриховича, собиралось по крупицам. Давалось годами и с огромным трудом. Работа в управлении «С», понятно, не располагает не только к излишней — просто к откровенности. Так, Николай Сергеевич Соколов, связник полковника Абеля (так я позволю себе называть нашего героя. — Н. Д.), после долгих расспросов иногда все же решался на некоторые откровенности, скорее лирические отступления, касающиеся личности глубоко почитаемого им нелегала. Однако потом, при новой встрече, милейший и интеллигентнейший полковник Соколов просил: «Давайте не будем. Вдруг помешает тем, кто там сейчас работает». Кто знает, могло и помешать. Все, абсолютно все пожелания подобного рода я принимал неукоснительно. Не думаю, что они как-то обеднили светлый образ Фишера. Вычеркнутые, или, точнее, не приведенные в этой книге оперативные эпизоды — не повод для огорчения.

Сам же полковник Фишер, на склоне лет составлявший по просьбе начальства некие наброски своего бытия, писал по этому поводу:

— По соображениям производственного характера некоторые подробности моей биографии должны остаться тайными. Другие могут быть опубликованы. Однако некоторая туманность в описании моей жизни не означает, что приводимые факты неверны. Я предпочитаю недосказывать, нежели врать…

Но вернемся в Ньюкасл-на-Тайне, где и родился 11 июля 1903 года второй сын революционера-эмигранта Фишера. Здесь я почти без купюр привожу то относительно немногое, что рассказывала мне о детстве и юности своего отца Эвелина Вильямовна, которая до самой своей кончины в 2007-м оставалась настоящим кладезем семейных преданий и тайн. При

этом она боялась всяческих спекуляций на имени обожаемого ею отца и порой говорила о «безнравственном выворачивании тайн»…

Своими правдивыми и детальнейшими рассказами Эвелина Вильямовна меня настолько воодушевила, что некоторые главы этой книги основаны в основном на ее впечатлениях, воспоминаниях. Изредка она давала мне копии документов, совсем не секретных или уже рассекреченных. Видимо, то были бумаги из семейного архива. За все за это и за долгие часы, на меня потраченные, низкий ей поклон и царство небесное!

Семья Фишеров жила в своем Ньюкасле в скромном достатке. Ее глава Генрих Матвеевич — в России, менял и работу, и место жительство постоянно. В одном только Питере успел потрудиться на семи фабриках. Искал новых и новых соратников в рабочей среде, сам их образовывал в своих кружках. Был уверен, что только рабочий донесет до рабочего все марксистские истины так, как не сможет сделать это в силу своего происхождения никакой интеллигент. А в Англии он лишь раз переехал с одной квартиры на другую, да и вкалывал практически все там же, на верфи. Поселились в двухэтажном домике, небольшом, но уютном.

Возможно, не хотел перемен из-за двух своих мальчишек. Им, родившимся в Англии, не пришлось менять в детстве ни жизненного уклада, ни приспосабливаться к непривычной обстановке. Все было родным, понятным.

Любимцем семьи был вне сомнения старшенький — Гарри. Любовь Васильевна, женина властная и даже суровая, этой своей привязанности не скрывала. Гарри хорошо учился, был послушен и исключительно прилежен. Все же сказывался замес кровей: немецкая педантичность и исполнительность, русская смекалка и изобретательность легко и естественно уживались с английской чинностью и консервативностью. Младший, Вилли, чувствовал, что надо тянуться за Гарри. Была тут и детская ревность, и даже совсем уж не мальчишеская обида. Соревновались братья во всем. Учиться, как Гарри, бегать — так же быстро, как он. Любовь матери он пытался завоевать, даря ей букетики полевых цветов. Не совсем получалось. Мама вбила себе в голову, что Вилли приносит цветы, чтобы загладить свою очередную шалость. Наверно, была в этом и сермяжная правда — частенько вслед за букетом в дом являлись соседи с жалобами на младшенького…

Вильям Генрихович вспоминал, что уж кем-кем, а пай-мальчиком он совсем не был. В напарники для шалостей брал не отличавшегося послушанием брата, а соседского мальчишку. Они вместе угоняли у соседей-рыбаков легкую лодку и на веслах

уплывали довольно далеко в море. Пропажа обнаруживалась, рыбаки догоняли сорванцов и тянули на буксире к берегу, чтобы там примерно наказать. А Вилли с приятелем незадолго до подхода к причалу брались за весла, отрывались от преследователей и, выпрыгнув на берег, бросали лодку на воде. Сами убегали, оставляя рассерженных рыбачков материть их неизбежными в таких случаях четырехбуквенными английскими словами. Порой за этим следовали визит рыбаков в дом Фишеров и порка в привычном исполнении папы Генриха.

Мать в этих случаях никогда не защищала Вилли. Переживала: ведь он не умел плавать, каждое такое приключение грозило последствиями серьезными. Однажды отец, чтобы хоть как-то научить сына держаться на воде, бросил его, упирающегося, в речку. Вилли побарахтался на глубине, каким-то образом выбрался на сушу. То был последний раз, когда его видели плывущим.

Зато старший Гарри был отличным пловцом, опережавшим всех сверстников. Знать бы только, чем все это для него закончится…

А Вилли предпочитал гонять на велосипеде, любил роликовые коньки. Но спортом никогда не увлекался. Не его это было, не тянуло. Уже переехав в Россию и женившись, старался освоить коньки. Супруга привела на каток, он спотыкался, падал, даже ухитрился сломать лезвие конька, прикрученного к ботинку, и, разозлившись, больше на катке не показывался.

Вместе с братом они устраивали соревнования совсем другие: кто лучше вычистит дом. Вилли надраивал все металлические предметы, Генрих — Гарри выметал мусор, а потом чуть не вылизывал полы. Изредка мама поручала им печь домашний хлеб.

В 1914 году ребята впервые познали, что такое национальная ненависть. Шла Первая мировая война, и воевавшая с Германией Британия постепенно переполнялась глубокой неприязнью ко всему немецкому. А тут прямо под боком оказалась парочка немцев. К тому же на первый взгляд беззащитных. Когда военно-морские силы кайзера потопили большое английское судно «Луизиана», забитое сугубо гражданскими пассажирами, соседи по парте полезли на Гарри и Вилли с кулаками. Братья дали резкий отпор. Отец тотчас отправился в школу, популярно объяснив, что они — немцы, но обрусевшие, являются союзниками британцев, а не врагами. Тем, кто не был с этим согласен, он пообещал доказать это лично.

Впрочем, и самому Генриху в те годы пришлось на собственной шкуре испытать настоящую неприязнь даже со стороны горячо им любимых в ту пору английских товарищей по

рабочему классу. В консульстве России, куда он официально обратился, ему выдали справку: подданный Великобритании Фишер родился, жил и работал в России 30 лет. Да и его визит в школу многим запомнился. Некоторые соседские знали кличку Генриха Фишера — «человек из стали». Связываться с таким и проверять, действительно ли кулаки у него железные, не очень-то и хотелось. Братьев оставили в покое.

Вилли не воспринимал всех этих обид всерьез. Были у него в школьные годы планы иные — для себя он решил, что станет химиком. Возился со своими опытами в темной комнатушке и как-то раз до жути напугал маму. Горючая смесь взорвалась, и хотя все обошлось, исследователя-изобретателя проучили вот уж до боли знакомым отцовским ремнем.

В химии он разочаровался. И с тех пор долгие годы не решался отдать предпочтение ни точным наукам, ни фотографии, которые тоже интересовали.

Уже потом, после возвращения из американской тюрьмы, рассказывал своему товарищу по работе полковнику Павлу Георгиевичу Громушкину, что еще в детстве много рисовал. Покупал карандаши, акварельные краски. Делал наброски знакомых, писал натюрморты. Родители не придавали увлечению сына никакого значения. Английские учителя следили за его потугами абсолютно равнодушно. Он был способным или даже талантливым самоучкой, которому наверняка требовался хороший наставник. И тогда, вполне вероятно, мы бы услышали о художнике Фишере. Увы, в школьные годы рядом не оказалось никого, кто бы оценил и помог. Вилли был словно в свободном плавании, пребывая в ожидании, куда же вывезет или на какой берег выбросит его волна.

В школе он учился хорошо. В Англии, как и в других странах Западной Европы, экзамены — только письменные. Предпочтение дается коротким, четко сформулированным ответам. Тут преподавателя на жалость не возьмешь. И Вилли отлично сдал выпускные.

Он уже работал учеником чертежника. Появлялась возможность поступить в университет: ему полагалась стипендия. Перспективы у сына рабочего открывались радужные. Он выбрал Лондон, с его престижными учебными заведениями. Сдал в 1919 году экзамены в университет… По некоторым чужим, не семейным упоминаниям, в которые мне верится с трудом, отучился там пару курсов. Никаких документальных подтверждений этому пока не найдено. В ту пору семья уже сидела на чемоданах: отец твердо решил, что пора возвращаться в Россию. Перечить ему никто не посмел, в семье этот вопрос даже

не обсуждался. Шла весна 1920-го.

Ну а как же все-таки с революционными настроениями сыновей старого большевика? Да никак. Лишь в коротких и сугубо официальных воспоминаниях Вильяма Генриховича промелькнул скромный абзац. После Февральской революции 1917-го в магазин Ньюкасла зашли русские моряки. Спросили, где можно купить марксистскую литературу. Хозяин, он случайно оказался эмигрантом из России и знакомым семейства Фишеров, указал на Вилли. Неизвестно, свел ли моряков 13-летний мальчик со своим папой или нет. По крайней мере, Вилли этот эпизод в память врезался. Помнил он и о выступлениях отца на митингах Общества «Руки прочь от Советской России».

Участвовал ли в этом движении он сам? Сомнительно. Слишком был молод.

Зато когда в мае 1920-го семья вернулась в Москву, Вилли Фишеру, сыну старого большевика, сразу нашлось дело. Оно, как и почти все то, что предстояло совершить в этой новой своей жизни будущему полковнику Абелю, отдает некой таинственностью. Как понять такую фразу из его биографии? «В Советской России я работал среди молодежи из семей эмигрантов, вернувшейся на Родину и не знавшей русский язык. Эта работа очень помогла мне в изучении иностранных языков». Как работал Вилли? Что конкретно делал? Встречаются упоминания, будто уже в самой своей юности трудился по линии Коминтерна, куда пристроил его отец — кадровый сотрудник, хранитель драгоценнейшего архива организации, откуда и вышли чуть позже почти все советские разведчики иностранного происхождения.

В книге о его товарище по разведке — нелегале Кононе Молодом приводится любопытный эпизод. Якобы Фишер — Абель был первым выпускником только-только созданной разведшколы, в которой он старательно отучился в начале 1920-х аж целых четыре года. Вильяма тут же забросили за границу. Посадили с липовыми документами в поезд Москва — Варшава. В польской столице Вилли, не выходя из вокзала, пересел на состав, благополучно доставивший его в Гамбург.

Задание — сложнейшее: установить связи со старой русской агентурой, в Германии давно осевшей, работавшей еще на проклятый царский режим и теперь затаившейся в ожидании так и не поступавших дальнейших инструкций. По приведенному Фишером признанию, таких «спящих», как говорят в разведке, агентов было полтысячи!

И направляясь ранним утром в Гамбурге по первому же адресу, юный чекист вдруг услышал окрик на чистом русском:

«Эй, а где тут можно помочиться?» И ответил, повинуясь инстинкту, тоже по-русски, мол, в первой же подворотне. Вопрос — по-русски, ответ — тоже. Гамбург, утро, исчезнувший незнакомец… Запахло провалом, которого не последовало. По утверждению Молодого, эпизод относится к 1924 году.

Но ведь в ОГПУ Фишера официально примут гораздо позже, 2 мая 1927-го. По-моему, мистификация. Их в исполнении Молодого немало, к некоторым мы еще обратимся. Но есть основания предполагать, что этот короткий отрезок между прибытием и зачислением в чекисты был определенной пробой сил молодого человека, к которому сразу после возвращения начали присматриваться люди из ЧК. Уж очень этот Вилли Фишер был нашенским, правоверным.

Он стал настоящим комсомольцем, получил членский билет еще в 1922-м. В Хамовническом районе занимался пропагандой и агитацией. Его комсомольская ячейка не знала жалости к отступникам. Вовсю боролись с троцкистами. Иногда интеллигент Фишер доказывал правоту высших ленинских принципов и с помощью кулаков. Здесь он никогда не был среди лидеров, зато ни разу не оставил поля боя.

Но и учебу, столь успешно начатую в Англии, бросать не хотелось. Увлечение живописью пересилило даже мечты о радиоделе, которым он начал активно заниматься, и пробуждающуюся страсть к математике, а также к прочим точным наукам. Он сдал экзамены во ВХУТЕМАС. Тогда это художественное училище было скопищем молодежи и преподавателей, принявших революцию и отрицавших искусство, которое было до нее. Профессура это поощряла, а Вилли Фишер — нет. Претил ему авангардизм, к которому начинающий профессиональный (фактически) художник питал явную неприязнь, скорее отвращение с юных лет. Спорил с учителями, не сошелся со студентами. Из училища, теперь известного как знаменитое Суриковское, он ушел сам. Немного обидно. Был, казалось, на верном пути. Затем последовало поступление на, почему-то, индийское отделение Московского института востоковедения и успешное завершение первого курса. Однако профессия востоковеда тоже не привлекала.

Родители этими метаниями были недовольны. Они-то в свои 20 уже твердо знали, за какие идеалы и как биться. Мать Любовь Васильевна (об этом мне постоянно рассказывала Эвелина Вильямовна) вообще была к младшему, теперь единственному сыну строга чрезмерно. Трещина в отношениях еще более углубилась, когда трагически погиб старший и любимый Гарри.

Я все никак не мог разобраться в этой путанице имен —

Гарри или Генри, Генрих, как записано в свидетельстве. Но и отец с матерью, приспосабливаясь к новой жизни после двух десятков лет отсутствия, называли своих ребят по-разному. Однако суть не в этом. Вот эпизод гибели старшего сына в подробностях.

Тогда Вилли и Гарри поехали купаться на Учу, неподалеку от Москвы. За ними увязались другие ребятишки из числа тех, родители которых, как и Фишеры, вернулись в Советскую Россию после жизни в далеких краях.

Гарри хорошо поплавал, Вилли, не умевший держаться на воде, загорал на бережку. Накупавшись, старший уже засобирался домой. И вдруг крик, суматоха: недалеко от берега тонула маленькая девочка из их компании. Гарри не раздумывая бросился на помощь. Вытолкнул ребенка из омута, а сам пропал под водой. Его относительно быстро вытащили — не так глубоко, до берега близко. Пытались откачать. Младший брат не растерялся, пытался сделать искусственное дыхание. Кричал, не давал увезти брата в морг…

Он принес домой страшную весть. И любимая мать, потеряв самообладание, выдохнула: «Почему не Вилли…»

Это «почему» мучило Вилли Генриховича всю жизнь. В чем и как провинился он перед матерью, за что не заслужил любви? Наверно, тут и закончилось детство-отрочество нашего героя. Жить в семье взрослому и не такому желанному сыну было непросто. Служба в Красной армии, на которую его призвали в октябре 1925-го, открывала новую главу в пока пустоватой биографии.

Служил больше года во Владимире в 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа. Попал туда, куда надо. Радиолюбительство стало коронным, после рисования, увлечением. Он мог собрать приемник из ничего. Тащил проволоку для катушек из каких-то старых квартирных звонков. Находил непонятно где кристаллы для детекторов. В будущем эта неимоверная изобретательность пригодилась радисту-нелегалу Фишеру. Он умел починить вышедшую из строя рацию, учил будущих разведчиков-диверсантов обходиться своими силами при поломках даже сложного радиооборудования.

Полная нехватка всего и вся помогла ему сделаться незаменимым участником победных для советской разведки радиоигр во время Великой Отечественной.

В радиороте подобрались молодые красноармейцы-москвичи, ему под стать. В казарме на пару сотен человек его кровать стояла рядом с койками двух ребят: будущего Героя Советского Союза полярника-радиста папанинца Эрнста Кренкеля и Героя Социалистического Труда народного артиста СССР Михаила

Царева. Оба они потом в своих воспоминаниях с теплотой писали о Рудольфе Абеле, как было положено называть их друга Вилли Фишера после его возвращения из США. В конце 1960-х Кренкель вновь сблизился со своим старым армейским товарищем. Кстати, Кренкель и Царев оба стали союзными Героями, а вот Фишер официально — нет.

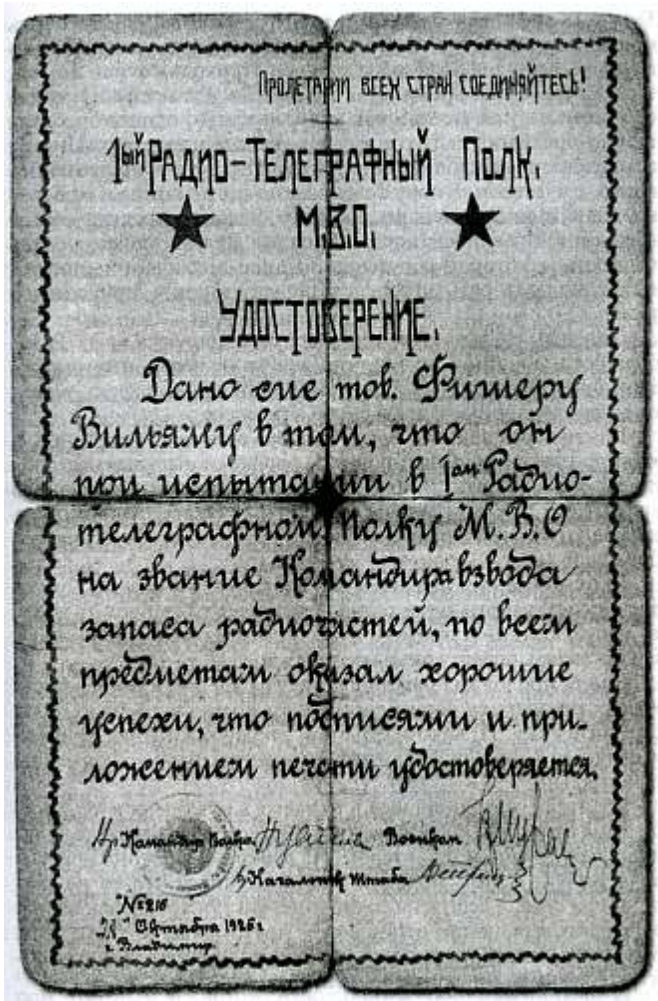
В роте новобранцам баловать не давали. Ротный, участник Гражданской войны, никаких авторитетов и детей старых большевиков не признавал. Сначала Вилли слегка ерепенился, никак не мог приспособиться к тяжелой солдатской лямке. Как-то он поразил всех, облачившись в полосатую пижаму. За такой наряд — наряд вне очереди и солдатские насмешки. Не маменькин сынок, но рвалась наружу иная культура. Только на занятиях по радиоделу и отводил душу. Тут его с Кренкелем быстро признали. И даже суровый ротный проявлял некоторое снисхождение к слабоватой строевой подготовке и иностранному акценту красноармейца Фишера.

Да, акцент проявлялся. Стоило занервничать, взяться за какое-то сложное дело, как рвались из него англицизмы, интонация становилась чисто той, что в школе в Ньюкасле. Он, рассказывает дочь, и на пенсии мог иногда выдать в минуты глубокого расстройства нечто британское, но всегда интеллигентное, «шекспировское». В армии это из красноармейца Фишера старательно выбивали. Но так и не выбили.

И все равно время службы, по признанию самого Фишера, было полезным. Он ощутил определенную самостоятельность. Приобрел, как выяснилось скоро — лишь на время, друзей.

После демобилизации в ноябре 1926-го Вилли хотел было отдохнуть. Родителям это совсем не понравилось. В эти годы пора знать, чего хочешь. Тянуло к радиотехнике, и Вилли собирался принять предложение поработать в научно-исследовательском институте радио.

Но вечеринка, устроенная одним из армейских приятелей, перевернула жизнь. И личную, и, что абсолютно неожиданно, сугубо профессиональную. Он познакомился с молоденькой студенткой консерватории Еленой Степановной Лебедевой.


Пролетарии всех стран соединяйтесь!

1-ый Радио-Телеграфный Полк.
★ М.В.О. ★

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Дано сие тов. Фишеру Вильяму в том, что он по испытании в 1-ом Радио-телеграфном Полку М.В.О на звание Командира взвода запаса радиочастей, по всем предметам оказал хорошие успехи, что подтверждается и приложением печати удостоверяется.

№216
24 Октября 1926 г.
г. Владимир

Радист из Вилли Фишера получился идеальный

Будущая арфистка была скромна, застенчива, но не очень прилежна в занятиях. Она и на свидания опаздывала. И Вилли всерьез взялся за ее образование. Приходил к ней домой, засекал по часам время музицирования. Если ему казалось, что гаммы звучат не так, как надо, вежливо, однако требовательно предлагал сыграть выученное еще и еще раз. Иногда сам брался за мандолину или гитару. Играл на мандолине неплохо, с чувством. Гитару осваивал, но так до конца и не освоил. Лене, или Эле, как он, да и все, называл предмет своего обожания, нравилось, когда играл сам Вилли, однако педантичность, с которой обрусевший немец-англичанин-русский заставлял повторять опостылевшие упражнения, приводила в ужас.

Однажды он взялся починить ее сломавшуюся арфу. Разобрал все и до конца, да так, что Эля уж не чаяла, что инструмент будет хоть как-то собран. Но Вилли нашел дефект, устранил неисправность, и арфа снова зазвучала.

Где-то перед войной, когда Фишера отлучили от органов, к нему приезжали консультироваться профессиональные настройщики: никак не могли починить дорогую закапризничавшую арфу. Даже Эля отнеслась к тому визиту со скептицизмом. А зря! Золотые руки и светлая голова сделали свое очередное доброе дело.

Сколько же ему удавалось и в большом, и в малом! Только вот нужной работы не находил. Была идея даже поехать куда-то на заработки. К примеру — радистом на далекую зимовку. Но оставлять невесту одну не решался.

Вилли продолжал регулярно являться в дом юной арфистки, третировать ее своим засеканием времени и «мало, Эля, сыграйте еще». И, как ни странно, такое ухаживание привело к свадьбе. 7 апреля 1927 года отношения были оформлены официально.

Родители, находившиеся в то время в отъезде, к избраннице сына отнеслись благосклонно. Даже суровая свекровь, славившаяся трудным характером. На всякий случай она пригрозила Вилли: если с молодой женой случится что-то не так, пеняй на себя, я всегда на ее стороне. Но тут же последовало и еще одно выяснение отношений, нечто вроде ультиматума. Мол, тебя, безработного, мы, так и быть, на своей шее продержим. А жену — нет. Пора браться за дело.

И на это у Вилли было что ответить строгим папе с мамой. Через несколько недель после женитьбы произошло в его жизни еще одно событие. Может, и более знаковое? Со 2 мая 1927 года Вильям Генрихович Фишер был зачислен в органы ОГПУ.

Добро пожаловать в ЧК

Сам он впоследствии повторял: привлекли романтика разведки и уговоры друзей, уверенных, что знание языков нужно использовать на службе родины. Наверняка это тоже сыграло роль в окончательном выборе.

Но в чекисты его определил не отец, несколько лет проработавший в Коминтерне, откуда внешняя разведка уже черпала проверенные кадры. И не командиры из радиороты, где отслужил красноармеец Фишер. На работу в ОГПУ, в отдел переводов, его по-семейному рекомендовала Серафима Степановна Лебедева, старшая сестра жены, Эли. Серафима там уже трудилась — переводчицей.

Ясно, что безработного Фишера с его необычной даже для той поры биографией проверяли. Но тут за Вилли сыграли и происхождение отца-большевика, и его комсомольский фанатизм, и освоенное радиодело, и, конечно, знание языков, особенно английского.

Сам Вильям Генрихович или его начальники, кто знает, дают этому выбору профессии трактовку несколько иную. «После демобилизации, зимой 1926-го, мне предстояло устраиваться на работу. Было два предложения — научно-исследовательский институт и отдел ИНО ОГПУ. Меня привлекала и радиотехника, и романтика разведки. Товарищи доказывали, что мое знание иностранных языков необходимо использовать на службе Родине. Наконец, выбор был сделан, и со 2-го мая 1927 года я стал чекистом».

Но все же сына старого большевика здорово помурыжили. Армейская характеристика местами была совсем нелестная: «Требует внимательного руководства. Легко поддается влиянию окружающих товарищей». Но уж очень был объект подходящим для предназначавшейся работы. За ним следили пристально и вот что выследили: «Служа в Красной Армии, Фишер общался и переписывался со своими друзьями из Англии и Германии. К нему в батальон во Владимир даже приезжал член Исполкома КИМ[2]». Но, несмотря на все эти «грехи», в отдел ИНО взяли.

Этому предшествовала личная беседа — или собеседование? — с начальником ИНО Мейером (Михаилом) Трилиссером. Грозным чекистом, наводившим собственной решительностью страх и на врагов советской власти, и, отчасти, на своих подчиненных. Зачислили помощником уполномоченного Восьмого отделения. В переводе на русский, юный Фишер с первых дней попал в научно-техническую разведку. И, внимание,

его прямым начальником был Александр Орлов — будущий резидент, у которого лейтенант Фишер служил в нелегальных командировках в Норвегии и Англии.

Считается, будто он начинал чистым переводчиком. Да, он корпел и над переводами, обрабатывал информацию, получаемую из-за границы, составлял аннотации к представлявшим интерес для ИНО научным статьям в зарубежных специализированных журналах. Но участвовал и почти сразу после зачисления в сугубо оперативных мероприятиях. Когда арестовали всех участников годами длившейся операции «Трест», белогвардейцы были ошеломлены. Их столько лет водили за нос! И два диверсанта, посланные из Парижа генералом Кутеповым, решились на отчаянный теракт: хотели взорвать здание ВЧК на Лубянской площади. Ночью пробрались в общежитие и даже зажгли уже шнур, подсоединенный к запрятанной бомбе. Планы спутал вышедший в туалет чекист, заметивший неладное. Потом бросили бомбу в бюро пропусков на Лубянке: комендатура была разрушена, стекла вылетели из витрин.

Бандиты скрылись, каким-то чудом исчезнув с Лубянской площади. Говорят, вскочили на ходу в проходивший мимо трамвай. И тогда всех, даже переводчиков, отправили на поиски террористов, выдав боевое оружие. Среди поднятых по тревоге был и Вилли Фишер. Его группа на след террористов не вышла.

Как рассказывал мне уже в 2001 году Борис Игнатьевич Гудзь, участвовавший на протяжении нескольких лет в операции «Трест» и доживший до 103 лет, на поимку были брошены все имевшие хоть какое-то отношение к ЧК. Найти диверсантов было делом чести. Их нашли довольно далеко от Москвы. Одного взяли, другой, поняв бесполезность сопротивления, застрелился…

Зато в следующий раз Фишеру повезло. В 1928-м врагами Страны Советов были запущены слухи: вот-вот начнется война, и все разменные серебряные монеты разом исчезли. Назначенному начальником группы Фишеру были отряжены в помощь младший командир и два курсанта. По наводке агента приехали в городок недалеко от Москвы. Промаялись целый день в доме подозреваемого, перерыли все, что только было можно. Бесполезно. Раздосадованные, пошли покурить на двор. Устроились на штабелях дров, и тут вдруг поленница рассыпалась и при падении растеклась целой серебряной россыпью. Собрали Фишер со товарищи урожай серебра в пять пудов.

Фишер, почти всю жизнь трудившийся нелегалом, не был эдаким «белым воротничком» разведки. Участвовал и в обысках, и в арестах. Постигал все необходимые в его профессии азы на

практике. Однако эти мелкие оперативные эпизоды главными для начинающего разведчика не были. Характеристика, данная вскоре после начала работы в органах, разительно отличалась от той, первой. Его называли «хорошим тех. работником, очень добросовестным и аккуратным. Используется не только как переводчик, но и как пом. референта». И в завершение исключительно ободряющее: «Работник перспективный. Партийно активен… Много работает над своим образованием».

С этим и перевели в Первое отделение ИНО. Так тогда именовалась нелегальная разведка. Он тщательно изучал — или припоминал — жизнь на той стороне. Читал знакомые еще по Англии газеты. Составлял по открытой печати служебные политические и экономические отчеты, отправлявшиеся начальством неизвестно куда и кому. Совершенствовался в радиоделе, хотя уже тогда его считали здесь асом.

Рядом работал народ с биографиями схожими. Среди них — бывшие политэмигранты, поднаторевшие на подпольной работе еще до революции. Встречалось немало прибалтов, говоривших на всех языках мира. На удивление много было матросов — они считались кадрами проверенными и наиболее надежными. Начальником Восьмого отделения был Яков Серебрянский, больше известный в органах, как «дядя Яша». С ним Фишер работал чуть не с самого начала, с ним и вернулся в разведку — после отлучения обоих — уже в 1941-м.

Готовили ли его специально к закордонной, как тогда называлось, работе? В принципе — да. Ради этого и брали. Первая загранкомандировка подоспела даже быстрее, чем можно было ожидать.

В конце 1930-го, по другим данным — в апреле 1931-го Фишер Вильям Генрихович, родившийся и выросший в Англии, обратился в посольство этой страны с просьбой о выдаче ему и членам семьи британских паспортов. Мол, разочаровался в СССР, хочет с женой и маленькой дочерью, 1929 года рождения, попытать счастья на родине.

Англичане не отказали своему разочарованному в Советах парню. Но непонятно: какой все же паспорт ему вручили? Тот, № 207393, с которым он въехал с семейством в СССР, предусмотрительно не отказавшись от гражданства, или новенький?

Вилли, Эля и крошечная Эвелина поселились в Норвегии.

Сначала в пригороде Осло, затем поближе к центру. Но тоже далековато. Не шиковали, домой ездили на трамвае. Англичанин Вилли Фишер занимался фотоделом, возился с радиоприемниками, что было гораздо ближе к его настоящей

профессии — радиста нелегальной резидентуры. По легенде — в Норвегии, потом в Англии, числился он радиоинженером. Легенда ни разу не подвела, сомнений не вызвала. А под руководством радиста нелегальной резидентуры Франка в странах Скандинавии заработала целая сеть радиопередатчиков.

Командировка, где Фишер трудился под своей фамилией, завершилась лишь в 1935-м. Шла оживленная переписка с оставшимися в Москве родителями и напряженная работа.

Сразу после возвращения в СССР англичанину предстояло срочно выехать в Англию. Но Эвелина, болезная, подхватила скарлатину и пролежала в Боткинской. Здесь и нахваталась русицизмов, от которых с трудом потом избавлялась уже в Лондоне. Жили в большом доме. Фишер работал все тем же радистом, под теми же прикрытиями. Все шло неплохо. Тут, вероятно, и была установлена связь с теми, кого впоследствии назвали «кембриджской пятеркой». Отношения с резидентом Орловым складывались нормальные. Швед ценил Фишера как классного радиста.

И вдруг в 1937-м — отзыв из Лондона. Снова Москва, и до войны Фишер уже больше никуда не выезжал. В отличие от Орлова-Шведа, переметнувшегося в США. Ну а 31 декабря 1938 года безвестный кадровик сообщил Вильяму Генриховичу об увольнении из органов госбезопасности.

Вот бы с ним сходить в разведку

Вот такое интервью вполне мог бы дать легендарный разведчик полковник Рудольф Иванович Абель, он же Вильям Генрихович Фишер — хотя реально на такие откровения он был не склонен. Предполагаю, что эти своеобразные записки разведчика, используемые мною для вымышленной, но искренней беседы, помогали тем, кто готовился в нелегалы. Попробуем представить наш разговор с героем таким вот образом.

— Рудольф Иванович…

— Я не люблю, когда меня называют этим так ко мне и прилипшим именем моего друга подполковника Абеля.

— Извините, Вильям Генрихович, хотел вас спросить: в чем вам видится основная задача разведки?

— Мы выясняем чужие секретные планы, направленные против нас, с тем, чтобы принять необходимые контрмеры.

Если коротко, то у нашей разведывательной политики — оборонительный характер. У Центрального разведывательного управления США противоположные способы работы. ЦРУ ведет активную политику, создает предпосылки, ситуации, при которых возможны активные военные действия вооруженных сил США. ЦРУ организует контрреволюционные восстания, перевороты, интервенцию. Достаточно напомнить вам о перевороте в Гватемале, о событиях в Доминиканской Республике, о провалившейся попытке вторжения контрреволюционных сил на Кубу и о многих других. Со всей ответственностью подтверждаю: наша разведка подобными делами не занимается.

— Вы в разведке с 1927-го. А кто тогда трудился рядом?

— Первые работники подбирались из людей, знающих иностранные языки и условия жизни на Западе. Они были проверены на активной борьбе с контрреволюцией и своим энтузиазмом и смекалкой восполняли отсутствие опыта. Учились на практике, создавая собственную школу разведывательной работы и вырабатывая ее методику. Теперь мы имеем возможность теоретически подготовить наших молодых работников и во многом оградить их от ошибок и промахов, на которых мы учились в начале нашей деятельности. Само собой разумеется, теория не заменяет практику, и в подготовке новых кадров практической работе уделяется большое внимание.

— Кто же попадает в разведку?

— Подбор очень строгий, многосторонний. Нам нужны люди со способностями к языкам, смекалистые, инициативные. Они должны быть решительными и сообразительными, развитыми и

преданными… Процесс подготовки многосторонний и длительный. Учеба продолжительна — непросто освоить не только языки, но и технику, которой мы пользуемся. Ведь разведчик не работает в пустоте. Он должен иметь связь: надо передавать добытые им сведения в Центр. Связь обеспечивает его нужными указаниями, советами Центра. Нет разведчика, который был бы одиноким, изолированным. Разведка — это коллективная работа!

— Вильям Генрихович, а как вы относитесь к произведениям на «шпионскую» тему, к фильмам с погонями и перестрелками?

— Очень часто у неосведомленных людей создаются неправильные представления о нашей работе. Писатели, которые создают популярную литературу о разведке, сами не имеют понятия о том, как мы работаем. В их произведениях герои проделывают такие фокусы, от которых у настоящего разведчика волосы становятся дыбом. Правда, не у меня — потому что их осталось совсем немного. Часто получается так, что герой утром просыпается в будуаре жены военного министра рядом с открытым сейфом, в котором хранятся военные планы наших противников. Разведчик их хватает, но пришедший министр пытается ему помешать. Начинается стрельба, погоня в скоростных авто, а также на реактивных самолетах, подводных лодках. Все это читается с захватывающим интересом и смотрится в кино с замиранием сердца. Но — это не разведка. Романтика нашей профессии совсем не в таких инцидентах. Она в том, что разведчик делает полезную работу, интересуется ею, и растет, расширяя познания и способности. Эта профессия дает работнику возможность узнать жизнь, историю, экономику зарубежных стран так, как он не смог бы узнать из учебников. Он знакомится с разными народами, их бытом. Все это требует наблюдательности, умения объективно разбираться в окружающем, трезвости в суждениях и инициативности в действиях.

Да, работа эта связана с риском. Разведчика могут поймать, осудить на длительный срок и даже приговорить к смертной казни. Соблюдением мер предосторожности нелегал сводит риск до минимума. Постоянно имеет в виду возможность провала, ареста, но не дает мысли об опасности довлеть над ним и мешать работать. Как солдат на фронте, он привыкает к опасности, умелым поведением, постоянной внимательностью доводит ее до минимума и спокойно занимается своим делом.

— А в чем все-таки особенность деятельности разведчика-нелегала?

— Если разведчик находится в стране как законно

прибывший туда иностранец или легализовался как местный житель, он по сути дела находится вне поля зрения контрразведки. Ведь он не фигурирует там как наш подданный. Благодаря знаниям языков, чужих обычаев и порядков может раствориться среди миллионов других там проживающих. Перед разведчиком стоит именно эта задача: проникнуть в страну, осесть там и быть таким, как всякий другой человек. Он строит разведывательную работу так, чтобы она не привлекала внимания, и своим поведением не выделяется из общей массы. Конечно, это не так просто, как может с первого взгляда показаться.

Есть и другая сторона, которая не всегда легко переносится разведчиком. Он находится во вражеской среде. Иногда долгое время живет в стране один, без семьи, изредка получая письма от близких. Требуется особая выдержка, дисциплинированность, чтобы сохранить спокойствие, равновесие и продолжать работу. Здесь обязательно добавлю: у разведчика бывает время, когда он должен ждать. Необходимо проявлять терпение, потому что надо дать событиям развиваться своим чередом, оказывать на них влияние никак нельзя. Такие паузы становятся тяжелым испытанием для нервов.

— И как же с этим справиться?

— В подобных случаях для разведчика полезно уметь развлечься, как бы отключиться от дел. По понятным причинам он не может позволить себе расслабиться при помощи бутылки водки или в обществе легкомысленных дам. Тут разведчик должен быть крайне выдержанным. В вынужденных паузах находит отдых в том, что занимается каким-нибудь хобби. Умение использовать время в подобных развлечениях необходимо нелегалу и в тех случаях, когда он попадает в руки чужой контрразведки. Тогда для него крайне важно суметь сохранить равновесие, не поддаться панике.

— А что изменилось в разведке за годы вашей работы?

— Многое. За 40 с лишним лет мне довелось увидеть, как развивались методы работы, расширялось применение техники. Это помогло обеспечивать нелегала необходимыми данными, бумагами и прочим, позволяющим ему спокойно проживать в стране работы. На заре нашей деятельности мы этим не были избалованными.

— Что же было на заре?

— Очень часто разведчик сам добывал себе документы — мы их тогда называли «сапогами». И, конечно, случались комические моменты. Помню коллегу, раздобывшего себе персидский паспорт. На фарси он знал только «салам алейкум» — причем не

был уверен, что это выражение принадлежит персам, а не арабам. Для внешнего эффекта он отрастил бороду и в таком виде спокойно проработал несколько лет в Европе. Правда, потом рассказывал, что от явно восточных типов он удирал, как от чумы. Лучше избегать встречи с людьми, которые могли бы тебя разоблачить. Другому нашему товарищу пришлось в те далекие годы разъезжать по венгерскому паспорту. Венгров не так много, а знающих этот язык — не венгров — очевидно, еще меньше. Его пригласили на уик-энд в загородное поместье довольно знатной английской семьи. Гостя, как и полагалось, встретил батлер — дворецкий, который проводил в предназначенную ему комнату, разложил вещи по комодам и шкафам и предоставил возможность выкупаться и переодеться, прежде чем предстать перед хозяевами дома. Ну, наш герой привел себя в порядок и спустился вниз в гостиную, где его ожидала хозяйка дома. Они поздоровались, и затем дама сообщила, что пригласила специально для него какого-то венгерского барона из посольства. «Чтобы вам было приятно и чтобы вы могли поговорить на родном языке», — обрадовала она.

Все это было, конечно, очень мило и предусмотрительно с ее стороны, но для нашего товарища прозвучало похоронным колокольным звоном. Положение аховое! Удрать невозможно: вещи разложены, да не так просто уйти. Ближайшая станция железной дороги в десяти километрах, глушь, да и удирать странно. Но главное, что для дела, ради которого он так добивался знакомства с владельцем поместья, никак нельзя было ему бежать. Что делать? Заболеть? Придет врач и разоблачит! Прибудет венгерский барон и посочувствует на родном венгерском. Нет, не годится. Оставалось только одно: напиться до потери сознания. Хорошо, что в английском обществе, даже высшем, много людей сугубо пьющих. И наш товарищ вместе с хозяином — что было удачей для этой затеи — быстро и решительно напился. Он дал отвести себя в отведенную комнату, где слуга его заботливо раздел и уложил в кровать. Проспал весь субботний вечер и большую часть воскресенья. Путем осторожных расспросов слуги он узнал об отъезде барона и только после этого снова спустился в гостиную, где принес свои извинения хозяйке, публично коря себя за собственную слабость к виски.

Находчивость — необходимое качество разведчика. Она развивается и укрепляется постоянной работой над собой. Перед любой операцией разведчик продумывает ее со всех сторон, стараясь предугадать все возможные обстоятельства, которые могут помешать ее выполнению. Трудно предвидеть все случайности, но стараться найти выход из всех мыслимых

трудностей он должен. Помимо того что такая подготовка операции способствует ее осуществлению, она развивает умение быстро находить правильный выход из непредвиденного положения.

— А случалось ли нечто подобное в вашей практике?

— Перебираясь из одной страны в другую, нам часто приходится пользоваться разными документами, паспортами. Разница между ними не только в национальной принадлежности, но и в фамилии, возрасте и других подробностях. В течение той моей поездки пришлось трижды менять документы — проживал в одной стране, ехал в другую, добирался до места назначения, где должен был получить третий, последний паспорт. Естественно, я знал все данные, занесенные в документ, всю легенду, с ним связанную. Сам придумал и фамилию, и «историю» его владельца, так как по нему и должен был завершить свое путешествие. Но память иногда играет с нами свои шутки. Так случилось и тогда. Я встретился со связником, обменял паспорта и тут же отправился в кассу аэролинии купить билет на самолет. Кассир должен заполнить бланк с фамилией и другими данными пассажира. Он меня спрашивает фамилию, а я — ее не помню! Кошмар! Что делать? Тут меня осенило. Вынимаю паспорт из кармана и даю кассиру. Он выписывает нужные ему данные, а я с раскрытого паспорта прочитал «свою» фамилию и сразу же все вспомнил. К счастью, подобные ляпсусы встречаются редко, но, наверно, каждому разведчику один или два раза приходилось попадать в такое положение. Видимо, во всех случаях мои коллеги выкручивались, потому что о таких провалах я не слышал.

— Вильям Генрихович, расскажите о вашей последней «нелегальной» командировке в Штаты.

— После смерти президента Рузвельта отношение США к СССР резко изменилось. Естественно, в число наших ответных мероприятий были включены задачи по расширению разведки в стране врага. В 1947-м мне было предложено выехать в США. Некоторое время ушло на подготовку по техническим вопросам и еще потребовалось время для подбора документов, нужных для поездки. До войны переезжать из страны в страну на Западе было легче. Ну а с США стало особенно сложно. Для получения визы в Штаты любому иностранцу нужно было подвергнуться длительной, открытой и достаточно основательной проверке американских властей. Для нас такой путь был по ряду причин негодным. Решили, что я въеду в страну как американец, возвращающийся из туристической поездки по Европе. Но и это не устраняло всех трудностей. Наоборот, возникал ряд новых.

Были и сложности с языком. Английский американцев несколько отличается от языка англичан. Мои познания, хотя и вполне достаточные, были по своей природе английскими.

— Вы же родились в Англии, учились там…

— И потому после нескольких месяцев пребывания в США мой акцент и умение применять американские идиомы не вызывали сомнения у местных жителей. Так же легко устранялись затруднения, вызванные незнанием обычаев страны. Своеобразные трудности вытекали из другой особенности страны, а именно: отсутствие прописки и паспортной системы вообще. Кажется парадоксальным, что полная свобода передвижения и выбора местожительства может породить преграды. Однако они возникали именно потому, что отсутствие учета населения по паспортам и прописке восполнялось многочисленными другими методами учета.

Как вам известно, в Америке все владельцы машин и все водители находятся на учете. Правда, он в основном местный, по городам, округам и штатам, но для общегосударственных органов — федеральных властей — это обстоятельство не являлось помехой, если нужно было кого-либо разыскивать.

Другой вид учета — широкое использование всякого рода страхования. Частные страховые общества вынуждены обследовать всех желающих у них страховаться. И клиента всесторонне изучают. Затем есть учет всех абонентов телефонов. В каждом городе публикуются их списки. Все мужчины проходят учет как военнообязанные. В любом избирательном округе имеются списки избирателей. Правда, запись в этот список добровольная.

Я не стану перечислять другие виды учета, а остановлюсь на самом важном с точки зрения моего «особого» положения в стране. Имею в виду учет плательщиков налогов. По законам США каждый гражданин, зарабатывающий деньги, должен ежегодно представить отчет в налоговое управление о своих доходах в течение предыдущего года. Там эти расчеты проверяются и в случае возникновения каких-либо сомнений вызывают налогоплательщика. Даже при отсутствии сомнений часть налогоплательщиков выборочно проверяется, их вызывают в местные отделения ведомства. При посещении налогового ведомства плательщик должен иметь при себе копии трех предыдущих отчетов и все бухгалтерские книги и денежные документы, подтверждающие его доходы.

Само собой разумеется, что мне было совершенно противопоказано иметь дело с финорганами. Будучи американцем в возрасте сорока семи лет, я по крайней мере в

течение двадцати семи лет должен был платить налоги. Появившись в стране всего лишь год назад, я не имел такой возможности. Выходило, что делами, которые бы привели меня в соприкосновение с фининспектором, мне бы лучше не заниматься.

С другой стороны, версия, оправдывающая мое существование в начале пребывания в стране, не могла выдержать длительного использования. Я говорил всем, что во время войны, работая сверхурочно, сумел скопить значительную сумму. И мне, холостяку, тратить ее было некогда и не на кого. Короче, продолжать бездельничать было невозможно. Предстояло найти занятие, которое стало бы приемлемым для моего окружения и одновременно не вызвало бы зависти соседей или интереса со стороны налоговых органов.

Наиболее подходящим с этой точки зрения мне показалось амплуа изобретателя. В США ими издавна гордятся. Изобретатель считается безобидным чудаком, не вызывает подозрения. Я стал изобретателем, и не на словах, а на деле. Проектировал и строил аппараты, познакомился со специалистами в области избранной мною цветной фотографии, делал снимки, увеличения, размножал их. Мои знакомые и случайные посетители мастерской могли видеть результаты этой работы. Вел скромный образ жизни, как подобает человеку, живущему на свои средства.

— Как вам все-таки удалось не попасть ни в какие списки?

— Я не обзавелся автомашиной, не регистрировался как избиратель и не платил налоги. Конечно, своим знакомым я об этом не говорил. Наоборот, выступал для них в качестве знатока финансового вопроса, предварительно изучив литературу по налогам.

Со временем я успел освоиться с окружающим меня миром. С языком дело быстро наладилось. Нетрудно было привыкнуть к манерам и обычаям местного населения. А обосновался я в Нью-Йорке.

— Версии того, как вы туда добрались, самые разные.

— На пароходе. Прибыл рано утром, решил оставить вещи на хранение и погулять по городу. Позавтракал, постригся и пошел искать гостиницу. Посмотрев ряд отелей, остановил свой выбор на одном, расположенном около Таймс-сквер, в центре города. Номер был небольшим, достаточно опрятным и, что было для меня важным, — белье чистое, белое и свежее. Заплатил за несколько дней вперед, привез вещи с вокзала, устроился и снова пошел в город, на этот раз в поисках ресторана, где можно пообедать. После этого посмотрел боевик в кино и вернулся в гостиницу. На следующий день продолжил свое знакомство с

Нью-Йорком, приобрел карту и систематически стал разыскивать нужные мне места.

— А не случалось ли в первые, самые тревожные дни вашего пребывания в Нью-Йорке чего-то необычного, что вас бы насторожило и чего бы сразу не могли понять, объяснить?

— Произошел один казус. Я его предвидеть не мог, даже прожив до того несколько лет за границей. Но в каждой стране свои особенности. В первый же день возвращаюсь после кино в 11 вечера. Гостиница — маленькая, все номера выходили дверями на площадку. Выхожу из лифта на плохо освещенную площадку и вижу, как открывается дверь номера и на пороге появляется особа, одетая в прозрачный пеньюар. Лампа в ее комнате светит ярко, и я мог без всякого труда обнаружить все прелести ее фигуры. Она попросила у меня сигаретку. Я ей протянул пачку и зажег спичку, но потом пробормотал «до свидания» и скрылся в свою комнату. Мне вовсе не нужно было общество легкомысленной особы в первую ночь своего пребывания в городе. И откуда она вдруг взялась? Зачем вышла и попросила закурить? На следующий вечер картинка с дамой повторяется почти один в один. Вернулся в гостиницу примерно в то же время, и опять эта особа открывает свою дверь и просит закурить. Теперь она была настойчивее и я, признаться, был заинтригован в некоторой мере: почему она мною заинтересовалась?

— Так почему?

— На этот вопрос я очень быстро получил ответ. Мне даже не пришлось ломать себе голову, как из этой истории выбраться. Зазвонил телефон, моя дама схватила трубку, несколько минут слушала внимательно и взвизгнула: «Сейчас выезжаю!» Меня она выпроводила в два счета. Эта особа оказалась девицей легкого поведения, которая получает заказы на услуги от своего дельца по телефону. Он сообщает адрес, куда ей явиться. Так что волнения мои были излишни. Но ситуации такие, реалии нам незнакомые, надо знать.

— А нельзя ли все-таки об эпизодах, связанных с разведкой?

— Понятно, что о многом рассказывать нельзя, но кое-что все же можно. Буду менять фамилии участвовавших, место и время действий. Важно сохранить и государственную тайну, и не подвергнуть опасности людей, еще находящихся в той стране. Наша работа похожа на садоводство. Мы подготавливаем почву, выискиваем лучшие саженцы, сажаем их, холим, подкармливаем, собираем плоды и даже подвергаем дальнейшей обработке, оценке качества — плохие деревья выкорчевываем, сажаем новые… Другими словами, это длинный процесс, из которого выбрать отдельные, законченные эпизоды очень трудно. Кроме

того, в нашей работе существует специализация. Очень часто тот, кто входит в лес и подыскивает подходящие саженцы, на этом и заканчивает. Он передает свою продукцию другому, который выращивает ее, а еще кто-то третий следит за плодоношением. Бывают случаи, когда находят и готовые дары природы, но такое редкость, нехарактерная для процесса нашей работы.

Иногда авторы книг о разведке выдумывают эпизоды, в которых разведчик уподобляется золотоискателю прошлого века. Имеет представление о том, где и что надо искать. Он смелый, переносит тяжелые лишения, сражается с дикими зверями и людьми, желающими отобрать плоды его работы или прогнать его с золотой жилы. Это может быть интересно и увлекательно. Кстати говоря, разведка военного времени, о которой много написано, во многом подобна золотоискательству, потому что она проводилась в условиях фронта или сравнительно неглубокого тыла.

Наша работа глубоко законспирирована и если каким-нибудь образом она становится известной, то в большинстве случаев это считается ЧП. Но мне понятен ваш интерес к теме о разведке, и я вам расскажу об одном эпизоде в нашей работе.

Во время войны один молодой немец добровольно сдался в плен. Он принес с собою очень интересные сведения и даже документы, имевшие большую ценность для данного фронта. Впоследствии он был заброшен в глубокий немецкий тыл и там успешно проработал всю войну. Перед самым концом, весной 1945-го, наш товарищ в соответствии с указаниями Центра предложил ему перебраться в расположение союзников и ждать новой встречи. Сами понимаете, что из-за разделения германского рейха на оккупационные зоны, резкого поворота политики США с этим товарищем не удалось восстановить связь сразу. Мы знали, где его разыскивать, но послать человека к нему не смогли в течение долгого времени. Когда это удалось, то его там уже не было. Осторожные расспросы родственников дали понять, что он перебрался в США. Домой не писал: родители погибли во время бомбежек в начале 45-го, и ему, по сути дела, некому было писать. Предполагалось, что он обосновался в Нью-Йорке.

Мне было дано задание его разыскать. Я получил достаточно подробные сведения и даже его фотографию 1942 года в форме немецкого солдата. Назовем этого человека Клаусом Таубе. Нью-Йорк — огромный город, и как разыскать Клауса среди десяти миллионов?

Первым делом я стал искать его по телефонным справочникам. Нашел несколько однофамильцев и даже

обрадовался, полагая, что мой Клаус окажется среди них. Увы, поспешил, все — не те. Проверка, естественно, заняла довольно много времени. Мои псевдо-Клаусы жили в разных районах. Надо было выдумать предлог для разговора с ними, причем не всегда один предлог подходил для всех. Чаще всего я спрашивал подошедшего к двери о Клаусе на немецком языке. В одной квартире к двери подошла пожилая женщина и, услышав разговор на немецком, предложила мне подождать минутку и пошла кого-то звать. Я жду у дверей. Подходит человек лет шестидесяти — явно не Клаус — и с радостной улыбкой заговорил на чистом баварском наречии. Конечно, я перешел на английский.

После проверки этих лиц, убедившись, что Клауса нет в Нью-Йорке, я расширил поиски и стал проверять телефонные справочники ближайших пригородов. Число Клаусов Таубе росло, и всех надо было проверить. И тут мне из Центра сообщили, что Клаус кому-то написал письмо в Германию, и я получил точный адрес. Он жил в Бостоне. Жалко было потерянного времени, но, что делать, подобные казусы бывают довольно часто в нашей работе.

Почему-то в Центре решили проявить осторожность и попросили меня, прежде чем встретиться с ним, попытаться выяснить, чем он занимается и каковы его настроения. Задание простое — на первый взгляд. Как же — поехал, посмотрел и выяснил! Прямо как у Цезаря — veni, vidi, vici! На практике получается сложнее. Он в Бостоне, я в Нью-Йорке. Надо отлучиться на несколько дней, и, может быть, не один раз. Но живет-то разведчик не в вакууме. Он занимается каким-то делом, у него знакомые. Нельзя уехать, не придумав причины. Знакомые могут спросить: где был? Хорошо, что моя работа изобретателя не ставила меня в зависимость от посторонних. Я нашел предлог и поехал в Бостон. Там проверил его адрес по телефонной книжке. В тот же вечер я обошел ближайшие пивные, надеясь найти его там. Какой же он немец, если не пьет пива? Но не нашел.

Около семи часов утра я уже слонялся у его дома и увидел Клауса. Без труда удалось проследить за ним: он поехал в центр города, вошел в большое конторское здание и поднялся на пятый этаж. Там я его потерял. Рассказывая это, я нарочно совместил отдельные этапы. На самом деле я потратил несколько дней на эту работу. Однако в какую контору он заходил, мне так и не удалось установить в тот приезд. Я записал названия контор — их было три. Когда я спросил у швейцара, чем занимается одна из них, он на меня посмотрел как-то подозрительно и ответил: «торговлей». Само название конторы ничего не говорило о ее деятельности.

В пять часов вечера из здания хлынул поток служащих, но Клауса я не приметил. Походя мимо здания, заметил, что на пятом этаже во многих комнатах горит свет. Я составил сводку всего, что узнал, и отправил в Центр. Через несколько дней получил указание продолжать работу и попытаться с ним познакомиться. Как это сделать, надо было подумать. Снова посылаю письмо в Центр. Прошу указать, какая его специальность, чем занимался во время войны, какие темы могут его заинтересовать. Не дождавшись ответа, я отправился снова в Бостон. Меня интересовало учреждение, где работал Клаус. Подозрительный взгляд швейцара и его лаконичный ответ подсказывали, что все не так просто. Для предположения, что Клаус мог оказаться в каком-либо секретном, замаскированном учреждении, были основания.

— Но какие?

— Скажу вам так: во время войны он работал в СД по разведке.

— Ничего себе! О таком у нас что-то не писалось.

— Да и вряд ли напишется. Когда я подходил к зданию, швейцар стоял у дверей, на улице. Он заметил меня и быстро вошел внутрь. Я же решил не испытывать судьбу и быстро завернул обратно. Страстно хотелось посмотреть, что будет дальше, но рисковать незачем. Может быть, за мною поставят слежку. Я вернулся в гостиницу, надел плащ, сменил шляпу на кепку и вернулся на улицу, где была контора Клауса. Швейцар стоял на ступеньках еще с одним человеком и внимательно следил за проходящими. Голова так и вертелась… Я перешел улицу у перекрестка и продолжал свой путь уже в другом направлении. Мне не нравилась картина. С одной стороны, не было уверенности, что в этой конторе не делалось что-то секретное. С другой — показалось, что швейцар заинтересовался мною и следит. Но разведчик не имеет права на поспешные действия. Он должен быть осторожным и осмотрительным, однако если будет пугаться всякого куста, то работать не сможет. Надо было проверить свои подозрения.

Короче говоря, я нашел моего Клауса в этом самом Бостоне. Дом, в котором он жил, в свое время был особняком, впоследствии переделанным на отдельные квартирки в одну-две комнаты. Еще в Нью-Йорке я приготовил несколько альбомов цветных фотографий видов Нью-Йорка, Бостона и их окрестностей. Они были вставлены в хорошую обложку. Внутри я нарисовал клеймо несуществующего фотоателье. Не хвалясь, скажу, что качество отпечатков было отличным и сюжеты интересными.

Вечером я взял альбомы и отправился к дому Клауса. Я стучал в двери и предлагал свой «товар». Если покупатель интересовался ценой, я говорил: «15 долларов». (По тем временам очень дорого. — Н. Д.) Естественно, они отказывались от такого недешевого товара. Один я все же продал за 10 долларов человеку, который сам был фотолюбителем и неплохо снимал; он мне показал свои снимки и лабораторию — довольно редкую среди американских любителей. У него я кое-что узнал о Клаусе и больше всего обрадовался сообщению, что он тоже хороший фотограф. Мой покупатель даже посоветовал мне не идти к другим, а подняться прямо к Таубе, что я и сделал.

Для Клауса у меня был специальный альбом. В него я включил вид улицы Нью-Йорка. На переднем плане был виден человек, очень похожий на нашего товарища, с которым Клаус работал во время войны.

Клаус открыл дверь и, видимо, не хотел со мной разговаривать, но, увидев открытый альбом, не утерпел и пригласил зайти. Он очень внимательно рассмотрел все снимки и особенно долго изучал снимок с портретом. Задавал вопросы по технике изготовления копий, но я чувствовал, что он хотел мне задать несколько вопросов именно по этому снимку. Наконец Клаус сказал, что купит альбом, и предложил зайти в соседний бар выпить кружку пива. Альбом он взял с собой. Я заказал мюнхенского, и пока мы ждали, он снова открыл альбом на снимке со знакомым лицом. Спросил, кто этот человек. Я пожал плечами: «Случайный прохожий».

Принесли пиво, и после традиционного «прозит!» Клаус стал говорить о том, что знал этого человека во время войны и очень хотел бы его снова встретить. Он неплохо говорил по-английски и очень старательно подбирал слова. Я ему задавал наводящие вопросы, на которые он отвечал осторожно, продумывая каждую фразу. Он их формулировал так, что человек, осведомленный о его прошлом, понял бы многое, что не почувствовал бы и не понял другой, не знающий Клауса.

У разведчиков очень острый нюх на своих. Много раз, встречаясь со связниками, которых никогда до того не видел, я безошибочно узнавал их среди других окружающих лиц. Возможно, Клаус чувствовал нечто подобное, разговаривая со мной. Во всяком случае, когда мы прощались на углу, он попросил меня в следующий приезд обязательно к нему зайти и, уходя, сказал по-немецки: «А если вы увидите Зигмунда, передайте ему привет от меня». В ответ я спросил: «Кто это — Зигмунд?» Вместо ответа он помахал рукой и сказал: «Ауфидерзейн».

Через месяц Центр сообщил мне, что наши считают: с Клаусом можно поговорить откровенно. Мне дали нужные условия встречи. Наше сотрудничество с Таубе продолжалось несколько лет. Он работал в учреждении, имевшем для нас большой интерес. Впоследствии мы вывели его из США, когда к нему стали проявлять слишком большой интерес американские органы безопасности.

Еще меня часто спрашивают о роли случайности в нашей работе. Мне кажется, что задающие вопрос не совсем ясно представляют, что из себя представляет «случайность». Если понимать ее как нечто непредвиденное в ходе операции, то разведчик должен убедиться в том, что он ее не мог предвидеть, и серьезно подумать о том, как повернуть эту случайность в свою пользу.

Все эти случаи характерны тем, что человек, наблюдавший «случайность», думал и осмысливал ее. Важно не только отметить «случайность», надо ее понять. В этом смысле разведчик должен быть таким же вдумчивым, как и ученый.

В своей практической работе разведчик нуждается не только в источниках информации, но также в услугах людей, могущих хранить материалы, аппараты, быть «почтовыми ящиками» и оказывать подобные услуги ему. Я вам расскажу о маленьком инциденте, где случайность помогла нашему товарищу.

Дело было в Берлине в конце 1943-го. Город ожесточенно бомбили. Поздно ночью, по возвращении домой, нашего товарища, там работавшего, настиг очередной налет. Он укрылся от осколков в ходе, ведущем в подвал разрушенного дома. Где-то между разрывами бомб и снарядов вдруг раздался слабый звук рояля. Он прислушался и убедился, что играют мазурку Шопена. Другой человек, может быть, и не обратил бы внимание на звуки рояля, тем более на то, что играют Шопена. Наш товарищ вспомнил, что Шопена фашисты играть запретили. Подумал, что играющий ищет покоя в музыке и должен быть человеком, который за девять лет существования нацизма не поддался его влиянию. Разыскал вход в подвал и нашел там двух женщин. Мать и дочь. На рояле играла дочь.

— Вильям Генрихович, что вы этим хотите сказать?

— Да то, что в итоге этого «случайного» знакомства была получена надежная квартира, где наш товарищ мог спокойно готовить свои сообщения, хранить документы и прочее хозяйство разведчика. В этой квартире он провел последние дни боев в Берлине и ждал сигнала Центра о выходе из подполья.

Я надеюсь, что эти случаи из нашей практики дадут вам представление о характере нашей работы. Внешне она не

изобилует очень большим драматизмом. Не обязательно иметь министра в качестве источника информации. Вполне достаточно завербовать доверенного слугу. А в США я проработал с 1948 года по 1957-й.

Потом тюрьма, арест, обмен…

Два — Абель — два

Не совсем понятная с первого взгляда тема: почему же арестованный в США Вильям Генрихович Фишер назвался именно Абелем? Допустим, для американцев фамилия не воспринималась чем-то отпугивающе иностранным, тем более произносят ее в Штатах «Эй-бел» с ударением на первом слоге. Сам полковник годы спустя объяснял, что, взяв имя друга, попытался дать понять нашим: да, в тюрьме именно я, и я — молчу. На Лубянке разобрались довольно быстро.

Хотя бы потому, что и настоящий Абель, тоже нелегал, трудился в НКВД.

Со временем на моем столе появились аккуратно отпечатанные странички из личного дела «Рудольф Иванович Абель» с пометкой:

«Все предоставленные в приложении документы являются выписками из дела № 308797 без изменения оригинальных текстов.

Личное дело хранится в Управлении в… области.

Дело № 31460, том 1 и том 5 хранятся в… в… области.

Начальник подразделения кадров… Подпись…»

Не изменил «тексты» и я. В них все как есть.

Самая пора поведать о нем — одном из десятков тысяч, если верить номеру досье, бойцов не совсем видимого довоенного и военного фронтов. Итак, начнем?

Автобиография, датированная 18 февраля 1943 года, написана «настоящим» Абелем собственноручно:

«Родился я в 1900 г. 23/IX в гор. Риге. Отец — трубочист, мать — домашняя хозяйка. До 14 лет жил у родителей. Окончил 4 кл. элементарного училища. В 1914 году работал мальчиком-рассыльным в Риге. В 1915 году переехал в Петроград. Вечерами учился на общеобразовательных курсах и сдал экзамен за 4 кл. реального училища».

У Рудольфа были два брата, и все они трое — коренные рижане. Вольдемар — старший, Готфрид, оказавшийся более везучим, чем они, младшенький. Вольдемар с 14 лет был юнгой на судне «Петербург», затем — слесарем на заводе в Риге. В 1916-м переехал в Петроград, а вскоре туда же из Риги перебрался к нему и Рудольф.

И тут началась революция. Рудольф Абель становится большевиком уже в 1918-м. Сказалось влияние любимого брата Вольдемара: тот, старший красногвардеец, опередил его со вступлением в партию на несколько месяцев — он член РКП

(естественно «б») с 4 декабря 1917 года. Вольдемар — железный большевик-ленинец, пользовавшийся огромным доверием у тех, кто пришел к власти. Латышский стрелок, он охранял Смольный, бился на Пулковских высотах с наступавшими на Питер частями генерала Краснова. Схлынула первая смертельная опасность для революции — и Вольдемар Абель плавает мотористом на линкоре «Гангут».

Рудольф не отстает — идет добровольцем на Красный флот:

«В должности рядового-кочегара отбыл на фронт на эскадренном миноносце “Ретивый”».

«Ретивый», относившийся к Балтийскому флоту, был переведен по Мариинской системе из Петрограда на Волгу, где действовал в составе Волжской флотилии «в боях за Казань, по очистке рек Волги и Камы от белых, ходил на операцию в тыл белых. В этой операции отбили у белых баржу смерти с заключенными».

ЦИРКУЛЯР

Штаба Амурской Военно-Речной Флотилии.

4-го августа 1921 года. Осиповский затон.

№ 39.

По строевой части.

§ 1.

Назначается: военмор (службы связи) Абель Рудольф радиотелеграфистом на к/л. «Выюга» с 1 августа с. г.

Основание: Служебная записка флаграда от 3 августа с. г.

§ 2.

Мною замечено, что в Штабе циркулируют бумаги без подписи комиссара. Сейчас все бумаги не скрепленные подписью Комиссара исполнению подлежать не должны.

§ 3.

Числить: в отпуску на 10 суток сигнальщика к/л. «Сибиряк» военмора Колесникова Василия с 3 августа с.г.

Основание: Резолюция Нашгафлота на докладной военмора Колесникова от 2 августа.

§ 4.

Назначается: в распоряжение Командира порта старшина катера «Дело рабочей руки» Лятушкин Макар с 2 Августа с.г.

Основание: Его докладная записка от 2 августа.

§ 5.

Циркуляр № 36 § 17 не числить.

§ 6.

Зачисляется: в списки флотилии военмор Кирьяк с назначением баталером Штаба, вместо военмора Лебедева, получающего другое назначение.

Настоящий Рудольф Иванович Абель начинал службу на флоте. Но вскоре «доплыл» до разведки

И понеслось: бои под Царицыном, где флотилия обороняла город, бои в низовьях Волги, затем — Каспийское море.

В январе 1920-го Рудольф Абель значился в числе курсантов класса морских радиотелеграфистов учебно-минного отряда Балтийского флота в Кронштадте. Девять месяцев учебы, и он, сдав экзамен, был назначен на плавучий маяк — гидрографическое судно Балтийского флота. Вот и первая зацепка для будущей профессии…

Потом в 1921-м в составе команды балтийских моряков выехал на формирование морских сил Дальневосточной Республики. В мае — радиотелеграфист службы связи Народно-революционной флотилии. Затем следует перевод на Амурскую

флотилию, где согласно приказу занимает должность заведующего станцией башенной лодки «Вьюга». С апреля — старший радиотелеграфист башенной лодки «Ленин». 1 ноября 1922-го — перевод на такую же должность на лодку «Троцкий». Здесь служба уж совсем скоротечна — всего 12 деньков, и Абеля в числе сорока военных моряков откомандировывают на Сибирскую флотилию во Владивосток. И сразу — новое назначение военно-морского специалиста Рудольфа Абеля на крейсер «Главком Уборевич». В декабре 1922 года именно он доставил из Владика на Камчатку отряд красногвардейцев. Гражданская война позади, а на полуострове хозяйничают белогвардейцы. Расправились и с ними. И последовала хоть какая-то, но передышка. Но можно ли назвать так работу на радиотелеграфной станции острова Беринг в 1923–1924 годах, где Абель выступал уже руководителем службы? Отдыхать и расслабляться советская власть своим верным оруженосцам не давала.

А брат Вольдемар — относительно рядом, но на ролях более заметных: он назначается комиссаром службы связи Морских сил Дальневосточной республики.

В июле 1926 года, по другим сведениям — 1925-го, Рудольфа Абеля приглашают работать комендантом в Шанхайское консульство по линии Народного комиссариата иностранных дел… Здесь дороги «настоящего» Абеля и ОГПУ окончательно пересеклись:

«Был направлен в Пекин, где работал радистом в Советском посольстве до разрыва дипломатических отношений с Китаем в 1929 году. С 1927 года работаю в органах ОГПУ в Иностранном отделе».

От себя добавлю: быть может, он и трудился поначалу комендантом. А вот в Пекине был радистом, шифровальщиком.

Мощностей у радиопередатчиков тогда не хватало. Приходилось передавать сообщения по длинной цепочке. Из Кантона в Пекин, а уже оттуда на Советский Дальний Восток и, наконец, в Москву.

Авангард Абель, племянник Рудольфа Ивановича и сын его старшего брата Вольдемара, был абсолютно уверен, что в Китае впервые и встретились его дядя Рудольф и Вильям Фишер. Как веское доказательство приводится фотография «двух Абелей» на фоне типично китайского пейзажа.

Если же отвлечься от гипотез, то в наличии остаются такие доказанные факты. Чан Кайши поднял мятеж, и в ночь с 10 на 11 декабря 1927 года советское консульство в Кантоне подверглось внезапному нападению. В истории дипломатии подобное происходит редко: консульство полностью разгромлено, убиты

советский консул (по некоторым документам — вице-консул) Грасис, четверо сотрудников и шесть работавших в консульстве китайцев. Кстати, с Грасисом, его прямым начальником, у радиста Абеля изначально были хорошие отношения, он тоже латыш по национальности…

И тогда Рудольф Иванович Абель совершает настоящий подвиг — на мощном мотоцикле он прорывается сквозь кордон захвативших консульство и, сбивая на ходу всех и вся, выбирается из обложенного здания и добирается до Пекина… Там, в посольстве СССР, он, очевидно, познакомился с молодым радистом, почти ровесником. Очевидно, именно так и пересеклись судьбы двух товарищей по профессии — Рудольфа Абеля и Вильяма Фишера.

Но дальше семи лет как не бывало. Потеря для биографов, но не для госбезопасности:

«В 1929 году был направлен на нелегальную работу за кордон. На этой работе я находился по осень 1936 года».

В какой же стране трудился сын трубочиста, свободно владевший немецким, английским и французским? В справке по архивному личному делу № 308797 — уклончивый ответ:

«В октябре 1930 г. назначен на должность уполномоченного ИНО ОГПУ и находится в долгосрочной командировке в разных странах».

В одном из источников я наткнулся на любопытную запись: «С 1930 по 1936 годы, по некоторым данным, работал под видом эмигранта в Маньчжурии». Вполне допустимо, ибо, как мы увидим из личного дела Рудольфа Абеля, именно там находились родственники его жены — сестра Нина и ее муж Георгий. Есть и другие предположения: был нелегалом в Турции и во Франции. И в этих двух странах их с Фишером пути-дорожки тоже могли пересечься.

До этого Рудольф Абель успел поработать в Особой группе ОГПУ, которой командовал начальник Фишера по Первому отделу Яков Серебрянский. В истории разведки об этой группе упоминается как-то глухо. По некоторым предположениям, она не подчинялась ИНО. Действовала на собственный страх и риск. Яша отвоевал право на самостоятельность. В зону действий входили Япония и некоторые страны Европы, считавшиеся потенциальными противниками в возможной войне. Яков Серебрянский с боевиками готовили в этих государствах агентуру, разрабатывали диверсионные операции. Агенты должны были стараться внедриться на стратегические военные объекты, чтобы в нужный момент их уничтожить. Через десять лет нелегалу Вильяму Фишеру в США была, среди прочих, поставлена

такая же задача. Учитывая, что связка Фишер — Абель немало потрудилась, готовя во время Великой Отечественной диверсантов для заброски в немецкий тыл, их совместная с другом Рудольфом работа до войны видится как полная реальность.

Как бы то ни было, если даже отвергнуть «китайскую версию», еще во второй половине 1930-х Рудольф Абель и Вилли Фишер уже были друзьями. В столовую и то ходили вместе. На Лубянке шутили: «Вон Абели пришли». В военные годы оба жили в маленькой квартирке в центре Москвы. Жены, дети были отправлены в эвакуацию, а трое вечерами собирались на кухне: и близко от работы, и, главное, вместе. Их даже окрестили, что было по тем временам оригинально и смело, «тремя мушкетерами». Кто же был третий? Когда несколько десятилетий спустя после войны разрешили выезжать за границу и навсегда, третий — радиожурналист Кирилл Хенкин, чекистом так и не ставший, — собрался и уехал. К удивлению, отпущен был мирно, без скандалов, пообещав хранить молчание.

Молчание, возможно, и хранил, однако книгу «Охотник вверх ногами» о Вильяме Фишере и его последних мгновениях написал. Ну, да бог с ним, с Кириллом, скончавшимся в возрасте под 90 в Германии. Хотя некоторые эпизоды из его книги любопытны. Выехавший из СССР Хенкин вынужден был соблюдать законы эмигрантского жанра, иначе кто бы издал книгу. Но вот момент, сомнений не вызывающий. Начались чистки, и кабинет, в котором сидели Рудольф Иванович Абель и еще четверо сослуживцев, с каждым днем пустел. Один за другим коллеги куда-то вызывались, уходили, не возвращались. На столах, затем ночью опечатывавшихся, оставались личные вещи, стаканы с чаем. А на стуле долго висела чекистская фуражка. Ее почему-то не убирали, и она служила грозным напоминанием о судьбе своего владельца.

Я рискну высказать маленькую догадку о настоящих героях этого повествования. Было в судьбах двух разведчиков — Абеля и Фишера — нечто общее, что, как мне кажется, невольно сближало. Оба не походили на баловней фортуны. Судьба их била жестоко: душевные раны от ударов своих же заживают трудно. И заживают ли? Ведь всенародно прославленного (в далеком будущем) Вильяма Фишера в довоенные годы чисток и расстрелов увольняли из НКВД. А жизненные обстоятельства Рудольфа Ивановича Абеля складывались еще сложнее. В биографии он пишет:

«Женат с 1925 года. Жена Александра Антоновна, урожденная Стокалич. Детей не имею». Друзья и родственники называли Анну Антоновну только Асей.

В справке к архивному делу Абеля супруге уделяется внимание особое:

«Жена — урожденная Стокалич, происходит из дворян, отец ее до 1917 г. имел помещичью усадьбу в фольварке Осипавка (так и значится. — Н. Д.), Витебского пригородного района, в прошлом был чиновником казенной палаты… Брат жены Стокалич Григорий и сестра жены Стокалич Нина в 1919 г. выехали в Китай в гор. Тяньзин». Я уже намекал, что, возможно, они помогли родственнику нелегалу осесть в этом китайском городе.

С братом же Вольдемаром было совсем худо:

«Родной брат Абель Вольдемар, бывший начальник политотдела морского пароходства, являлся участником латв. к/р националистического заговора и за шпионско-диверсионную деятельность в пользу Германии и Латвии в 1937 г. осужден к вмн».

«Вмн» расшифровывается трагически просто: «высшая мера наказания». Расстреляли. Был Вольдемар Иванович комиссаром Всероссийской чрезвычайной комиссии Кронштадтской крепости, крупным партработником в Ленинграде и даже делегатом XVII съезда партии. Она, партия, и кинула его в 1934 году в начальники отдела Балтийского государственного морского пароходства. В октябре 1937-го Вольдемара Абеля исключают из партии с формулировкой «за политическую близорукость и притупление бдительности», 10 ноября 1937 года арестовывают и постановлением «двойки» (Ежов, Вышинский) от 11 января 1938 года приговаривают к смерти. В верхнем углу списка приговоренных синим карандашом подпись: «КВМН» и «И. Сталин». «КВМН» расшифровывается так: к высшей мере наказания. И через семь дней, 18 января, Вольдемара Абеля и еще 216 человек, членов «контрреволюционной латвийской националистической организации», не стало. Тела сбросили в котлован Левашовского кладбища в Ленинграде.

Такова судьба брата. И как же понятна строка, собственноручно выведенная Рудольфом Ивановичем в автобиографии: «В 1938 году в марте м-це уволен из органов НКВД в связи с арестом моего брата Вольдемара».

Чуть позже уволили и приговорили к расстрелу и непосредственного начальника Рудольфа Абеля — Якова Серебрянского. Он оказался врагом народа и шпионом сразу двух стран — Франции и Англии. Однако приводить приговор в исполнение почему-то не торопились.

И пошли скитания: в 1938 году в 38 лет Абель — стрелок военизированной охраны. Уволен. Дали устроиться цензором. В

отличие от практически всех уволенных, ему даже положили крошечную пенсию. А дальше, как и у Вильяма Фишера, предложение вернуться в НКВД. 15 декабря 1941 года, когда немца от Москвы немного отогнали, Абель вновь встал в строй — опять в невидимый. Без опытных работников разведке не обойтись, и Яков Серебрянский вспомнил хладнокровного латыша Рудольфа. В обязанности дяди Яши, которого самого вернули на должность начальника 3-го отдела Четвертого управления прямо из лубянской тюрьмы, помимо прочего входили диверсии, вербовка агентуры, подготовка агентов для глубокого оседания, заметьте, не только в Германии, но и в государствах Западной Европы, а также и… в Соединенных Штатах. Смотрели далеко! Своим замом по 3-му отделу Серебрянский взял майора Абеля.

Далее опять много неясного, чему никогда не сделаться слишком понятным. «Аттестация от 16.04.45» заполнена вроде бы понятными, однако недосказанными фразами:

«Обладает одной из специальных отраслей агентурной оперативной работы. Тов. Абель на практической работе успешно выполнял порученные ему ответственные задания».

Видимо, Абелю доверяли. Впрочем, и тут «подвели» родственники:

«В отдел кадров НКВД СССР.

Рапорт.

Довожу до сведения, что на временно оккупированной немцами территории Латвийской ССР в г. Риге остались проживавшие там мои родители и младший брат.

О судьбе моих родных мне ничего не известно.

Зам. нач. 3 отделения 4 управления НКГБ СССР, майор Госбезопасности Р. Абель».

К счастью для майора, он был крайне нужен:

«…С августа 1942 г. по январь 1943 г. находился на Кавказском фронте в составе опергруппы по обороне Главного Кавказского хребта. В период Отеч. войны неоднократно выезжал на выполнение специальных заданий».

И ключевая фраза, дающая ответ на вопрос, чем же он, хотя бы приблизительно, занимался:

«Выполнял спецзадания по подготовке и заброске нашей агентуры в тыл противника».

Здесь можно предположить — лишь предположить, что и сам Абель действовал в немецком тылу и, еще одна гипотеза, вместе с Фишером. А если и дальше идти по скользкой тропинке догадок, то не исключается еще и его военное знакомство с другим знаменитым в будущем разведчиком Лонсдейлом — Кононом

Молодым. По крайней мере, английские авторы книг по истории разведки-шпионажа полагают, будто связка Фишер — Лонсдейл впервые возникла в годы Второй мировой войны. Высказывается такое предположение и в моей книге. Кто скажет, так ли это было, и не числился ли в связке третий — Рудольф Абель? Кстати, по некоторым неофициальным и документально не подтвержденным сведениям, Вильям Генрихович Фишер еще в период войны время от времени работал под фамилией Рудольфа Ивановича Абеля.

Судьбу отца — Вольдемара Абеля и родного дяди Рудольфа — изучал сын и племянник Авангард Вольдемарович. В дни ареста ему, пареньку 1925 года рождения, шел лишь тринадцатый год. Выжить помог родной дядя Рудольф — человек не из робких. В воспоминаниях Авангарда Абеля приводится такой эпизод: в феврале 1938 года его вместе с матерью выслали в Туркмению, как ЧСИР — членов семей изменников Родины. «Оттуда, из города Ташауза, — пишет он, — в 1941 г. меня вызволил дядя Рудольф». По пути в Туркмению, при пересадке в Москве, мать Авангарда, Эльза Юрьевна Абель, ухитрилась каким-то образом дозвониться до Рудольфа. По счастливой случайности тот был в городе. Рудольф Иванович успел предупредить жену брата: «В Ташаузе ни в коем случае никому не отдавать свидетельство о рождении Авангарда. Иначе конец, не помочь — никак». И рижанка Эльза Юрьевна Абель, урожденная Рохи, в 1918 году медсестра Латышской советской стрелковой дивизии, за сыновью метрику держалась, не отдавая никому. Спустя несколько месяцев благодаря стараниям Рудольфа Ивановича племянник через город Чарджоу оказался в Москве. Увы, судьба Эльзы Юрьевны сложилась трагично. Сосланная в Ташаузский округ Туркменской ССР, она провела в ссылке долгие десять лет и скончалась в неволе в возрасте 48 лет, в 1948-м. Да и вся семья латышских большевиков Рохи, основателей Рижского добровольческого полка, была истреблена. Ее брата Вильяма расстреляли в 1938-м, супругу Марию репрессировали. Эльза и родственники были реабилитированы только в 1957-м.

Конечно, Рудольф Иванович Абель рисковал, вытягивая племянника из туркменской ссылки. Дядя поселил его в своей коммуналке, где жили еще 16 семей. Запросто могли стукнуть, сообщить «куда надо». Даже идти для этого было недалеко: жили на углу улиц Мархлевского и Кирова — в двух шагах от Лубянки. Но пронесло. Или уважали Рудольфа Ивановича и не хотели портить жизнь бывшему чекисту, висящему буквально на волоске?

В квартиру на Мархлевского, по воспоминаниям Авангарда

Вольдемаровича, заходил и друг дяди Рудольфа — Вилли Фишер. Иногда они отправлялись на дачу в Челюскинскую. Там же неподалеку отвели в свое время участок земли и Рудольфу Абелю, но ничего путного построить как-то не удалось. Так что жили с семьей у друга Вилли. Дочь Фишера Эвелина называла Авангарда «Авкой».

В 1943 году подросшего Авангарда призвали в армию. Закончил военное пехотное училище в Подольске. Воевал в составе 43-й гвардейской стрелковой Латышской дивизии, освобождал Ригу от фашистов, тогда дивизия получила почетное наименование «Рижская». После войны лейтенант Авангард Абель служил помощником военного коменданта в родном отцу городе. В 1956-м перебрался в Волгоград, где работал фотографом в «Волгоградоблфото». Был заместителем председателя правления областной ассоциации Всесоюзной ассоциации жертв незаконных репрессий. Ездил в 1990-м в Ленинград, где несколько дней изучал дело незаконно репрессированного и расстрелянного отца, реабилитированного в 1957-м. Примечательна и дата реабилитации — 9 мая.

Авангард Вольдемарович помимо русского знает латышский и немецкий. Возникла идея переехать в Ригу, на родину предков, но, хотя все формальности при подаче заявления были совершенно точно соблюдены, он получил отказ.

А третий из братьев Абелей — уже упоминавшийся младший Готфрид — всю жизнь провел в родном городе. Закончил университет, работал на мебельной фабрике. Одна из его дочерей, Марута, вышла замуж за популярного в Латвии спортсмена Иманта Бодниекса, олимпийского чемпиона по велоспорту. Сложности большой политики обошли Готфрида стороной.

Рудольф Иванович Абель наезжал после войны в Ригу, встречался с братом. После освобождения из американской тюрьмы побывал в Латвии и Вильям Генрихович Фишер. Отдыхал в Юрмале, встречался со знакомыми. Человек совсем не публичный, он отказывался от шумных встреч, бесед и интервью. Если все же настойчивые журналисты на него выходили, то вежливо, не отказывая, просил их обращаться с просьбами о встрече к его московским начальникам.

Благодарю племянника за присланные материалы и особенно за уникальные фотографии дяди. Я уж не чаял их отыскать. Лицо у Рудольфа Ивановича Абеля симпатичное, он русоволос, плечист. Внешность, я бы сказал, весьма приятная, типично арийская. Так что догадок по поводу того, как же использовала его наша разведка, возникает немало.

Благодарность и коллегам из владимирской газеты «Всполье». После моей газетной публикации о «настоящем» Рудольфе Ивановиче Абеле заместитель главного редактора Елена Смирнова прислала мне статью из своей газеты. Полковник Шевченко, участник обмена на мосту Глинике, который тогда сопровождал Пауэрса, передал во «Всполье» фотографию, на которой сняты два Абеля — истинный, Рудольф Иванович, и Вильям Генрихович Фишер — Абель. Фотографию Шевченко подарил сам Фишер в знак признательности.

А если возвратиться к «настоящему» Абелю, то замечу, что боевые награды вручали Рудольфу Ивановичу уже в конце войны: орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа» и «Партизану Великой Отечественной войны» I степени. А еще он — почетный сотрудник НКВД СССР.

Потому совсем неожиданно выглядит приказ МГБ СССР № 1867 от 27 сентября 1946 года:

«Уволен из органов безопасности по возрасту».

Хорош подарок «почетному сотруднику», которому накануне исполнилось всего 46 лет.

В отставку он ушел в звании подполковника. Говорят, что устал, болел… Или все же припомнились кадровикам брат — «враг народа» и жена-дворянка? Да и замолвить словечко за Рудольфа было уже некому. Судоплатова перевели в другое управление, а Якова Серебрянского еще в мае 1946-го отправили в отставку. Потом снова арестовали, и по сегодняшний день глухо пишется, будто умер легендарный Яша в тюремной камере. Может быть, и во время допроса с пристрастием?

Дружба Рудольфа Ивановича Абеля с семейством Фишеров оставалась неизменной — он даже встречался с Фишером, когда тот вырвался из Штатов в отпуск. Но окончательного возвращения товарища из нелегальной командировки в 1962 году так и не дождался — он скоропостижно скончался в декабре 1955-го. Так что Рудольф Иванович не узнал, что арестованный Вилли Фишер взял его имя и что был такой судебный процесс: «Соединенные Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля». Даже уйдя из жизни, Абель помогал и Вилли, и тому Делу, которому служил.

Он покинул этот мир, не дожив и до шестидесяти, безвестным и честным, никак не предполагая, что имя «Рудольф Абель» войдет в учебники разведки всех стран… Эта глава — крошечный комочек памяти, сотканный из секретных архивных бумаг и коротких воспоминаний: был такой разведчик, Рудольф Абель. Настоящий Абель.

Все вышеизложенное — официальная версия, частично подтвержденная документами, любезно выданными выписками из

архивов.

А мне по душе и сердечный рассказ дочери Эвелины. К «дяде Рудольфу» она относилась с теплотой для нее, человека суховатого, даже не свойственной. Прислушайтесь к Эвелине…

— Точно судить не берусь, но встретились они с Рудольфом Абелем, вероятно, в году 1937-м, когда оба служили в органах. И появился он у нас, на Втором Троицком, после нашего возвращения из Англии, приблизительно в декабре. И вскоре стал приходить часто.

Папа был выше дяди Рудольфа. Папа — тощий, темный, плешь у него приличная. А дядя Рудольф — блондин, коренастый, улыбающийся, с густой шевелюрой. Третий друг появился гораздо позже — Кирилл Хенкин. В военные годы он у них учился в школе радистов и отец с дядей Рудольфом с ним в ту пору сошлись. Так, Хенкин рассказывал, что их там никто не различал. Были совершенно не похожи, но тем не менее их путали. И потому, что очень много свободного времени проводили вместе. Они были Абель с Фишером или Фишер с Абелем и ходили в основном парой. Видимо, делали одно и то же дело. Но какое — не знаю, мне судить трудно, и не касается это меня ни в коей мере. Их работа — это их работа. А дружили они очень.

Сначала, до войны, они дружили еще с Вилли Мартенсом — звали его Вилли Маленьким. Он был моложе дяди Рудольфа, поэтому назывался Маленьким. У меня даже есть подозрение, хотя какое тут подозрение: дядя Вилли одно время тоже работал в Комитете. Потом всю жизнь, и во время войны тоже, в военной разведке. Отец дяди Вилли и мой дедушка, оба старых большевика, друг друга хорошо знали. У Мартенсов дача тоже была в Челюскинской. Я и с Мартенсом-старшим, Людвигом Карловичем, была неплохо знакома: типичная немецкая личность с хорошим таким брюшком.

Вот они втроем, еще до Хенкина, и дружили.

Собирались у нас и до войны папины друзья. Всегда регулярно накануне выходного. Как назывался тот день — не имею ни малейшего представления. Не думаю, чтобы субботой, потому что тогда воскресений не было: шестидневки и выходные. Но можно сказать, если хотите, что по субботам. Приносилась бутылка белого «Напареули» — их любимого вина. И приходили тетя Валя, жена дяди Вилли, и тетя Ася — жена дяди Рудольфа. Начиналось застолье.

Потом к ним присоединился четвертый — Женя Андреев, тоже сотрудник безопасности. Вот он, это я знаю, был в Китае. А папа — никогда, несмотря на то, что вы дважды уже подсовывали мне эту фотографию с азиатскими видами. Дядя Рудольф

действительно много про Китай рассказывал. Где именно там работал — ничего не говорилось.

Опять же в Китае вместе с Рудольфом Абелем был Яриков — дядя Миша Яриков, тоже сотрудник. Так что, быть может, найдутся в архивах по фамилиям Яриков, Абель и Андреев какие-то материалы о Китае. Хотя очень сомневаюсь. Вряд ли что сохранилось.

Дядя Миша Яриков принимал граммов по 150 — и ничего. Дядя Рудольф тоже любил и умел выпить. И не дай бог было папу посадить за столом рядом с дядей Мишей. Яриков его обязательно напаивал. То ли незаметно папе подливал, то ли не знаю, что он там делал, но, во всяком случае, доставить потом отца домой было очень трудно.

Однажды году в 1943—1944-м мы шли от Яриковых пешком с их Третьей Мещанской, транспорта не было, к нам домой на Второй Троицкий. Папу там напоили, и он всю дорогу рассуждал, что когда идешь пешком, то кратчайшее расстояние между двумя точками лежит не по прямой, а по линии наименьшего сопротивления. И идти надо, как идется, можно от тротуара к тротуару. И когда мама предупредила: осторожно, патруль, отец среагировал: какой патруль? Пусть подойдет. Я сам себе патруль. Редкий, единственный даже случай. Никогда больше такого не позволял.

До дома мы все-таки добрались благополучно, но мама всегда очень внимательно следила, куда и с кем папу сажают за столом. Чтобы дядя Миша Яриков был на всякий случай подальше.

А дядю Рудольфа в довоенные годы я больше запомнила по даче. Был он человеком очень веселым. С нами, с детьми, с удовольствием играл во всякие игры, выполнял наши просьбы. Мне, например, сделал прекрасный деревянный меч, ну до чего хороший! И лук со стрелами нам смастерил.

И мне это в том возрасте было очень важно. Умел он с детьми ладить, общаться с ними, разговаривать, чего у папы не получалось: он к детям относился, как к взрослым, и предъявлял к ним такие же требования. Поэтому с ним сложно приходилось. С папой такого понимания, как с дядей Рудольфом, не было. С папой отношения близкие начались значительно позже, когда появились общие интересы. А пока я была маленькая, общих интересов не было, только общие конфликты. У нас с папой похожие характеры, и поэтому мы с ним часто конфликтовали. В общем, Рудольф Абель был душой нашей детской компании вплоть до самой кончины. Отношение у меня к нему всегда оставалось теплое.

Я хорошо и ярко помню его уже в военное время, когда мы вернулись из эвакуации. Отец был в армии, а дядя Рудольф и Кирилл Хенкин приходили. Я была постарше, считала себя взрослой. И поэтому принимала участие в их сборищах. Соответственно и впечатлений у меня больше.

Детей у дяди Рудольфа с тетей Асей не было. Был племянник — Авка, Авангард Вольдемарович Абель. Перед самой войной дядя Рудольф получил участок у нас в поселке Челюскинская. Но там ничего не построили, и жить было невозможно. И Авка оставался на даче у нас в 1941-м уже во время войны — месяца полтора или около того. Он тушил в Москве зажигалки на крыше, кусок зажигалки отломился и прямо ему на ногу: получился сильный ожог. С больной ногой его к нам на дачу и прислали. Сильно сомневаюсь, что дядя Рудольф сделал это из чисто альтруистических соображений. Скорее всего, хотел, чтобы племянник находился под присмотром, да и опасно было оставлять его, сына «врага народа», одного в Москве. Вдруг проверка какая или документы не в порядке, немцы опять же близко, а парню-то лет 15–16. Не тот возраст, чтобы можно оставлять на волю-вольную в Москве, да еще с обожженной ногой. Делом-то никаким заниматься Авка не мог. Вот и жил у нас. Я до этого и после с ним никогда не встречалась. Только письма от него получала. Переписка была, но редко.

А перед войной дядя Рудольф с папой купили гитару и еще хотели мандолину. Но мандолины у них не получилось, и купили домру. С папой играли дуэтом и менялись инструментами. Сегодня папа мог на гитаре, дядя Рудольф на домре, а завтра — наоборот. По слуху исполняли какие-то вальсы, польки, песенки. Одним словом, развлекались.

Рудольф здорово танцевал и нас тоже учил. Хотя главным учителем танцев оставалась мама, но и дядя Рудольф принимал участие.

— А был еще и третий их товарищ — тот, что учился на разведчика, но так и не выучился — Кирилл Хенкин. Вы к нему хорошо относились?

— К Кириллу — да. Я до сих пор хорошо к нему отношусь.

— А книга его о вашем отце «Охотник вверх ногами» не вызывает никаких эмоций?

_ Нет. Местами она меня раздражает, но как буквоеда.

_ А Хенкин жив?

— Две недели назад был жив (встречались мы в тот раз с Эвелиной Вильямовной 1 марта 2005-го. — Н. Д.). Если мне 75 значит, ему 88 (Кирилл Хенкин вскоре скончался; наверное, практически все герои этой книги ушли. — Н. Д.).

— Где он сейчас обосновался?

— В Германии, в Мюнхене.

— И что он теперь делает? Или уже ничего не делает?

— Сейчас — уже ничего. Пытается писать какие-то мемуары, но говорит, что пишется плохо. А я в свое время очень дружила и с ним, и, несмотря на огромную разницу в возрасте, с матерью Кирилла, Елизаветой Алексеевной — умная, толковая, очень хорошая женщина. Кирилл часто бывал у нас в доме. Во время войны, когда мы с мамой жили в Куйбышеве, дядя Рудольф и Кирилл Хенкин жили втроем в нашей квартире. Потому что у дяди Рудольфа окна в его доме, по-моему, номер 3 по улице Мархлевского, были выбиты: напротив упала бомба, вставить стекла было невозможно, и он перебрался к папе на Троицкий. А Кириллу, который учился у них в разведшколе, вообще негде было жить. И он тоже приходил к папе на квартиру. Спал вот на этих двух стульях — им лет по 300, вероятно, середина XVIII века. Кирилл связывал их веревочками и спал. Но почему спал на креслах, я не понимаю, кроватей там было достаточно. Может, матрасов не хватало, а кресла — более или менее мягкие. Во всяком случае, эти трое мужчин жили, как умели, вели хозяйство. Завесили окна, так они у них завешанные и оставались, чтобы не возиться. Папа рассказывал, что когда они стали нас ждать и затемнение сняли, то пришли в ужас от того, какого цвета стены. Тогда была как раз клеевая краска, обоев не было, и стены они помыли, дядя Рудольф помогал. А он к тому времени, к марту 1943-го, уже вернулся к себе, на Мархлевского. Там и после его смерти тетя Ася жила, до тех пор, пока на склоне лет, уже когда сама себя никак не могла обслуживать, не перевезли ее в пансионат для престарелых.

Кирилл тоже уехал: в Москву вернулись его родители, и он поселился с ними. Квартиру в Старо-Пименовском им устроил его дядя, знаменитый народный артист Владимир Хенкин. Спустя какое-то время перебрались на Котельническую набережную, где получила квартиру мать Кирилла, Елизавета Алексеевна. Но во время войны я помню в основном их музицирование — и музицировали они регулярно. Очень любили и слушать музыку, включали радиолу. И я так подозреваю, что дядя Рудольф к тому времени уже успевал слегка выпить. Человек он был серьезный, хотя большой любитель пошутить.

Дядя Вилли Мартенс — ну, это предмет поклонения девчонок нашей квартиры. Моя двоюродная сестра Лида и две соседки ее возраста — все они были влюблены в дядю Вилли. Драли друг друга за косы, потому что одна другой доказывала, что именно ей дядя Вилли улыбнулся. Вот так выясняли отношения. А он

улыбался, видя, как девицы возраста 13–14 лет устраивали засаду в переулке в ожидании, когда он пойдет к нам в гости с женой. И потом с гиканьем бегали из одной подворотни в другую. Не заметить их было трудно. И улыбался он не кому-то из них, а потому что было ему смешно.

Я и еще одна соседка и мамина ученица были влюблены в Кирилла Хенкина. Он и подозревать об этом не мог. Но когда Кирилл приходил к нам в гости, мы сидели в соседней от взрослых комнате и устраивали такой шум. Дверь к нам была закрыта. Но у нас падали стулья: надо же было обратить на себя внимание. Заканчивалось это тем, что папа открывал к нам в комнату дверь и упрекал: «Господи, мы даже мыслей своих не слышим. Уймитесь». А позже мы с Кириллом тоже были большими друзьями, с ним было всегда интересно: человек он остроумный, очень неглупый. Но, как многие журналисты, верит только в свои собственные идеи. Бежит впереди паровоза или впереди лошади и кажется ему, что все происходит именно так, как он предсказывает.

Но все-таки давайте о дяде Рудольфе. Во время войны они с папой, когда совпадали в Москве, тоже играли на домре и на гитаре. Может, по очереди бывали в командировках по партизанским всяким делам, а иногда, вероятнее, и вместе. Но в войну мы с дядей Рудольфом общались часто.

Наш дом во Втором Троицком переулке, это около Самотеки, сейчас хорошо виден с Олимпийского проспекта. Если въезжаете на проспект с Садового кольца, то по правой руке на горке стоит церквушка, а сзади — дом, где мы жили. Второй балкон слева, сверху на 4-м этаже — наш. Квартира 48. Иногда, сыграв что-то, папа и дядя Рудольф брали бинокль и смотрели, оборачивались ли люди на той стороне Самотечного бульвара, слышат ли они, насколько хорошо играет музыка. Да, бывали у них такие моменты.

А после встреч у них или у нас дома они все время ходили друг друга провожать: между нами и домом дяди Рудольфа никакого прямого транспорта не было. По Сретенке тогда троллейбусы не ходили, их пустили позже. Можно ехать на трамвае с пересадками, но в этом, с пересадками, не было никакого смысла. Они были молоды, и было им проще по Сретенке пройтись пешочком. Да и к бабушке в гости мы ходили пешком, а жила бабушка на углу улицы Мархлевского и Бобрового переулка.

Подозреваю, что по дороге у папы и дяди Рудольфа бывали какие-то разговоры, которых мы слышать были не должны. Они доходили до дома Абеля, и выяснялось: чего-то не договорили. И

тогда дядя Рудольф шел провожать папу. И так они могли провожать друг друга довольно долго.

Да, это была настоящая большая дружба. И, видимо, именно поэтому папа при аресте и назвался именем дяди Рудольфа. Знаете, как тогда в СССР это было поставлено? Никаких людей у нас за границей нет, и на самом деле все это провокация. Ну, а дядя Рудольф, узнав об аресте, мог подтвердить: никто кроме папы его именем назваться не мог. Понимаете?

Никто всего этого не знал, но, говорят, у них была между собой договоренность. Не думаю, потому что не считаю, будто папа заранее строил какие-то планы на случай ареста. Мне кажется, человек не может ехать на работу, рассчитывая, что у него будет провал. Он тогда не сможет работать.

Во всяком случае, уже после, дома, отец сетовал: если бы знал, что Рудольф умер, никогда бы его именем не назвался. А умер Рудольф Абель в 1955-м, и мы боялись написать, что дяди Рудольфа больше нет.

А когда папа уехал, дядя Рудольф бывал у нас все время. Понимаете, постоянно. Ну, очень большую моральную поддержку нам оказывал. И темы для разговора всегда находились.

Он даже модой интересовался. Мог дать совет, какой мне выбрать фасон платья. Папу же эти дела абсолютно не трогали. Мог, правда, глядя на кого-то, сказать красиво — не красиво, не больше.

Дядя Рудольф — он был более земной, что ли. Они друг друга дополняли и прекрасно понимали.

Он 1900 года рождения и умер в 55 лет, внезапно. Пошел проведать своего друга, который вернулся из заключения. Тот жил где-то в начале улицы Мархлевского. Декабрь месяц, мороз. И пока дошел до дома своего друга и поднялся к тому в квартиру, ему стало плохо. Обширный инфаркт.

— Он был сердечник?

— Да нет, не жаловался.

— Почему так рано, в 1948-м, ушел на пенсию?

— Спросите его начальников. Я не думаю, что сейчас кто-нибудь вам на этот вопрос смог бы ответить. Даже если бы еще были живы люди, которые знали причину, они бы вам все равно ничего не сказали.

— Может, мешало, что жена его была дворянского происхождения? А на Лубянке заботились о чистоте рядов.

— Он не был никаким дворянином. А что жена… Нет, не думаю. Я полагаю, дядя Рудольф, как и папа, тоже был не очень удобным человеком. А был он очень порядочным, принципиальным, совершенно не любил лизоблюдов. Например,

могу вам сказать, что когда в 1948 году началась вся эта эпопея борьбы с «безродными космополитами», то это его, настоящего интернационалиста, интеллигента, страшно возмутило. Помню, как одна женщина пришла к нам и заявила с порога: «Бей жидов, спасай Россию!»… Ой, что было, что было! Дядя Рудольф ей так врезал. Он ее буквально… Очень популярно объяснил все, что он по этому поводу думает.

Мама тогда работала в цирке, в оркестре, ее уволили в 1951-м. А я помню совершенно нелепый эпизод. В стенной газете цирка было написано о популярных тогда артистках — воздушных гимнастках сестрах Кох. Какое безобразие! Надо лишить их звания заслуженных, потому что выступают они в костюмах из страусовых перьев, а ведь всем известно, что в России страусы не водятся. И напечатали на полном серьезе.

Или еще. Вход в оркестр был через помещение, где на втором этаже размещалось Управление цирками. Музыканты вечером приходят на работу, а стулья всегда поломанные. Пора играть, а сидеть не на чем. Они бежали в Управление Госцирка и тащили оттуда в оркестр стулья от письменных столов. Утром эти стулья утаскивали у них обратно. Ну, в конце концов, купили для оркестра венские стулья. Я в шутку: братцы, написать бы статейку о том, что вот, поощряют космополитов. Закупили венские стулья, хотя всем известно, что в России никакой Вены нет — это австрийский город. И что — напечатали в стенгазете. Потом уже было и «дело врачей»…

— Маразм был крепкий.

— Маразм совершенно жуткий.

— Вашему отцу с этим маразмом примириться было сложно.

— Он в это время уже был в Америке, но, наверное, до него какие-то отголоски доходили. Не знаю, я вам говорила — мы эти темы никогда не затрагивали, они были под запретом. Кроме взрыва негодования со стороны отца разговоры на эту тему ничего не вызывали.

— А Рудольф давал гневную отповедь?

— Давал. Но философствовать вместе с тем мы тоже не философствовали. Если мы с дядей Рудольфом вели откровенные беседы, то понимали — человек он очень теплый.

— Правда, что у него были родственники в Польше? Или у жены? Целый помещичий род, оставшийся за границей.

— У него не в Польше, в Латвии жили отец и родственники. Мать жены — в Москве. Пребывала в полном маразме — в совершеннейшем, клиническом. Обычно люди со старческим маразмом быстро погибают, а она — на редкость живучая. И, надо сказать, что у тети Аси, жены дяди Рудольфа, наследственность,

видимо, была не особенно. Тяжелый человек. Мы поражались…

— Но это была нормальная супружеская пара?

— Вы знаете что — да. Хотя дядя Рудольф к нам приходил довольно часто один. Не могли они иногда вдвоем выйти из дома: там мать устраивала скандалы, нельзя ее было одну оставить. Но, честно говоря, без тети Аси наши не скучали. С ней сложно было общаться. Об ушедших либо хорошо, либо ничего, так что Бог ей судья. Но жили они вместе и прожили, как ни странно, всю жизнь. Пусть часть ее оставалась где-то за завесой. До чего она была говорлива. И не очень умна. У нее прозвище — «бараний бочок». И прозвали ее так потому, что однажды в какую-то из суббот, когда они собирались, целый вечер рассказывала о том, какой вкусный бараний бочок с кашей. Бесчисленное количество вариантов слов «бараний бочок» и «каша».

Когда вскоре после войны дядя Рудольф поехал в Латвию повидаться со своими, то тетя Ася не дала ему там как следует побыть, напугала, будто у нее начался рак пищевода и глотать она ничего не может. Заставляла, чтобы папа вызвал дядю Рудольфа из отпуска. Отец был категорически против. А так я знаю, что Абель иногда туда ездил по делам. Но нам об этом — никогда. И мы соответственно не спрашивали.

— А конец лета — осень 1955-го, ваш отец в отпуске, они с Рудольфом общались?

— Да.

— И активно?

— Конечно.

— Ваш отец наверняка же рассказывал другу о работе — там?

— Не знаю.

— Но они вели какие-то разговоры?

— Они вели свои разговоры, и это совершенно естественно. Но не с нами. Это не та работа, о которой можно рассказывать. И потом даже смешно представить, чтобы отец со мной и с мамой обсуждал какие-то свои рабочие проблемы. Ну как можно! И что мы могли ему сказать? Ничего не могли.

— Рудольф Абель и Вильям Фишер долгое время работали в одном управлении и одном отделе. Верно?

— В одном, в Четвертом управлении. А потом, когда дядя Рудольф ушел в отставку в 1948-м и папа уехал — я уж не знаю. Не в курсе, что с Рудольфом было перед отъездом, и когда отец был там. Поскольку дядя Рудольф все равно к нам в гости приходил, они общались. На одной ли они работе, на разных, нас это абсолютно не интересовало. На их отношениях это не отражалось, на отношении с нами — тоже, а все остальное нас совершенно не касалось. Их дружба оставалась неизменной.

— А что еще вы бы могли рассказать об Абеле? У вас и самой несколько раз проскальзывало: на этот вопрос вам теперь никто не ответит, этого уже никто не скажет. Так что, Эвелина Вильямовна, приходится все собирать по чайной ложечке…

— Запомнилось мне, как уже совсем взрослым начал дядя Рудольф учиться играть на аккордеоне. После войны привез себе откуда-то из поездок аккордеон — купил небольшой, трехчетвертной, называют такой неполным. И поскольку мама — профессиональный музыкант, а он с нотами, как бы это сказать, не шибко, чего-то там знал, чего-то — нет, приходил к маме. Я в это не вникала: всяких самоучителей терпеть не могла. Они с мамой его учебу обсуждали, дядя Рудольф демонстрировал, что он выучил, и она ему советовала. Он этим очень дотошно, серьезно занимался. С немецкой такой обстоятельностью, со стороны казавшейся даже немножко забавной. Латыши какими-то корнями — славяне, но долго жили под немцами и переняли у тех немало.

Он в документах «Рудольф Иоганович», но отчество себе, так сказать, сфальсифицировал на русский лад. «Иоганович» произносить трудно, «Иванович» гораздо легче. А то бы моего отца звали бы еще и Иогановичем.

Сталин: в ГПУ разводили шпионов

Фишер и Абель — что побратимы. Оба чудом остались живы, не перемолоты в сталинских жерновах, как тысячи других чекистов. Ведь если по большому счету, то, кажется, Иосиф Виссарионович вообще терпеть не мог разведку — и резидент Орлов здесь относительно ни при чем. Недоверие, подозрительность всегда были среди главнейших, пусть и не провозглашаемых, сталинских принципов. А кого было брать на подозрение, как не разведчиков, невольно, по роду своей работы, но общающихся с иностранцами? И ведь не только под неусыпным взором стукачей дома, но и за столь ненавидимым вождем «железным занавесом», где за ними не уследишь. Так что как их не подозревать, по сталинской логике, в предательстве да в измене?

Неправленая стенограмма выступления Иосифа Сталина на расширенном заседании Военного совета при Наркомате обороны 2 июня 1937 года посвящена в основном раскрытому заговору маршалов. Тут розданы безжалостные оценки «политическим руководителям», как их называет выступающий, — Троцкому, Рыкову, Бухарину, Карахану, Енукидзе, Рудзутаку. Последний «всего-навсего оказался немецким шпионом». А «дальше идут: Ягода, Тухачевский, по военной линии Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник — 13 человек». Герои Октября, полководцы Гражданской войны, прославленные орденоносцы? Нет, по Сталину, «это — ядро военно-политического заговора, которое имело систематические сношения с германскими фашистами, особенно с германским рейхсвером, и которое приспосабливало всю свою работу к вкусам и заказам со стороны германских фашистов».

Сталин клеймит военных «патентованными шпионами», что и является «подоплекой заговора». Во время пламенного выступления свои «голоса», поддерживающие сталинскую линию, верно и в нужный момент подают Ворошилов, Буденный, а также расстрелянные немногим позже кровавый палач Ежов и, что особенно неприятно, герой Блюхер, которого вскоре постигнет трагическая судьба Тухачевского.

Но особо поражают в неправленом сталинском издевательстве и явные нападки на Дзержинского. Мой давний знакомый, старейший чекист Борис Игнатьевич Гудзь, ушедший от нас уже в этом, XXI веке, на 104-м году жизни, предлагал написать книгу о, как он говорил, «настоящем Дзержинском». Гудзь был уверен: протяни тяжело больной основатель ЧК еще

несколько лет — и ему бы не миновать сталинского молоха.

Впрочем, и при жизни к Железному Феликсу уже подбирались. Витали в воздухе некие обвинения. Сначала приспешники Ягоды пытались записать его в «двойные агенты», а чуть позже — и в шпионы. Какой же державы? Учитывая корни — в польские. Гудзь показывал мне кое-какие «обвинительные документы», приводил высказывания соратников Сталина. Эту полную туфту мы и собирались разоблачить. Но успели лишь написать книгу о самом Борисе Игнатьевиче…

И вот подтверждение слов бригадного комиссара, счастливо избежавшего расстрела и «лишь» уволенного, как Вильям Фишер и Рудольф Абель, из разведки. Привожу отрывок из тов. Сталина полностью и без всякой редактуры.

«Дзержинский голосовал за Троцкого, не только голосовал, но открыто Троцкого поддерживал при Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не был человеком, который мог бы оставаться пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист, и все ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему не удалось».

Ну что? Прав был Гудзь? Что ждало всех, хоть в какой-то мере с Троцким связанных, хорошо известно.

И здесь же, поразительное дело, на этой же строке идет пассаж о старом коммунисте-ленинце Андрееве, которому — вот же стечение обстоятельств! — отправил послание с просьбой о помощи сидевший без работы Вильям Фишер. Итак, без абзаца сталинское: «Андреев был очень активным троцкистом в 1921 году.

Голос с места: Какой Андреев?

Сталин: Секретарь ЦК, Андрей Андреевич Андреев».

Правда, потом Сталин несколько смягчает тон, говоря, «что такие люди, как Дзержинский, Андреев, и десятка два-три бывших троцкистов, разобрались, увидели, что линия партии правильна, и перешли на нашу сторону».

А я и не подозревал, что Феликс Эдмундович был на другой стороне.

Далее Сталин переходит к Ягоде, а уж через него и к разведке. «Ягода шпион и у себя в ГПУ разводил шпионов. Он сообщал немцам, кто из работников ГПУ имеет такие-то пороки. Чекистов таких он посылал за границу для отдыха. За эти пороки хватала этих людей немецкая разведка и завербовывала, возвращались они завербованными. Ягода говорил им: я знаю, что вас немцы завербовали, как хотите, либо вы мои люди, личные, и работаете так, как я хочу, слепо, либо я передаю в ЦК, что вы — германские шпионы. Те завербовывались и подчинялись Ягоде, как его личные люди. Так он поступил с Гаем — немецко-

японским шпионом. Он сам это признал. Так он поступил с Воловичем — шпион немецкий, сам признался. Так он поступил с Паукером — шпион немецкий, давнишний, с 1923 года».

И эта полуграмотная болтовня радостно воспринималась высшими чинами Красной армии. Анонимные «голоса» с мест выкрикивали слова поддержки, осуждения, восхищения сталинской бдительностью. Даже дирижера не требовалось — оркестр играл по сталинским нотам не только самостоятельно, но и внешне охотно.

Неужели сам Сталин не понимал всего убогого примитивизма сказанного? Неужто сам верил в тупость толп чекистов, послушно вербуемых немцами или японцами? Ну а уж о том, как ведутся допросы и выколачиваются признания, он не мог не знать, поэтому исправно повторяемые «сам признался» выглядят дурацким рефреном.

А в конце выступления Иосифа Виссарионовича прорвало. Его ненависть к разведке сравнима разве с патологическим неприятием Троцкого. Обливал грязью и без всяких доказательств — случалось ли хоть нечто похожее в мировой истории? «Во всех областях разбили мы буржуазию. Только в области разведки оказались битыми, как мальчишки, как ребята. Вот наша основная слабость. Разведки нет, настоящей разведки… Наша разведка по военной линии плоха, слаба, она засорена шпионажем. Наша разведка по линии ГПУ возглавлялась шпионом Гаем, и внутри чекистской разведки у нас нашлась целая группа хозяев этого дела, работавшая на Германию, на Японию, на Польшу сколько угодно, только не для нас. Разведка — это та область, где мы впервые за 20 лет потерпели жесточайшее поражение. И вот задача состоит в том, чтобы разведку поставить на ноги. Это наши глаза, это наши уши».

Да это же прямой призыв к уничтожению всей разведывательной службы! И он был услышан, воспринят как призыв к действию. Вслед за Ягодой положил голову палач Ежов. Но сколько же людей преданных, невинных были обречены на смерть этой сталинской подозрительностью. Выбиты целые подразделения и отделы. Заменены на новичков опытнейшие, отправленные на тот свет кадры. Вызываемые из-за границы резиденты шли под расстрел. Закордонные резидентуры пустели, закрывались на год-два после массовых чисток, по существу убийств, своих же разведчиков, прекращали в 1939–1940 годах работу.

Так что судьба Фишера и Абеля в какой-то степени была предопределена отношением Сталина к чекистам. Грешно писать, будто Вильяму Генриховичу повезло. Но отстранение в

определенной степени вывело из-под смертельного удара.

Дочь навсегда ушла с отцом в разведку

Рассказы о полковнике-нелегале Фишере его дочери Эвелины Вильямовны я считаю если не истиной в последней инстанции, то наиболее достоверными свидетельствами о Вильяме Генриховиче.

Иногда Эвелина была резковата, частенько язвительна, зато всегда правдива. В последние перед кончиной годы она слегка оттаяла, сделалась более откровенной. Чувствовала себя единственной хранительницей непростой, иногда даже волею судьбы и разведки намеренно запутанной семейной истории.

Жизнь таких людей, как ее отец, неизбежно окружена недомолвками, тайнами, легендами, домыслами. Эвелина Фишер была способна развеять их, а иногда наоборот — подтвердить, добавить свежий факт к, кажется, уже хорошо известному.

В том-то и суть нелегальной разведки, что многое в ней скрыто навсегда. Потому можно часами спорить о достоверности того или иного эпизода в судьбе разведчика-нелегала Фишера, но я больше всего верю Эвелине. И позвольте в этой главе именовать мою собеседницу именно так — с некоторой фамильярностью, которой в наших долгих беседах не допускал.

Она не скрывала своих лет, чувствовалось, что ее одолевали недуги. Страдала тяжелейшим заболеванием кожи, и, кажется, поэтому иногда ее словно жгли изнутри раскаленные угли, жар которых доходил и до меня.

Мы впервые встретились еще летом 1993-го на их фамильной даче. Потом она заезжала ко мне в редакцию. Тяжелые и ломкие годы, когда жизнь складывалась иногда непредсказуемо и неизбежно трудно для таких, как Эвелина. Служба, по обычаю своему, ее не оставляла, но все равно, жить-то как тяжко! Уходило старое — годное и негодное. Нарождалось нечто новое, отыскать свое место в котором для людей ее возраста казалось непосильным. Она, до чего же это было видно, нуждалась, но оставалась сама собой. Получила скромные гонорары за публикацию наших с ней газетных бесед, аккуратно пересчитала деньги. И тотчас потратила их в киоске на фолиант о французской живописи. Я попытался отговорить, что-то бурчал, но в ответ получил такой взгляд…

Бывала довольна и недовольна моими статьями. Любой уход от ее и только ее трактовки событий виделся Эвелине неуважением к памяти отца. Дулась, обижалась, случалось, корила меня сурово и незаслуженно.

Но нас тянуло друг к другу. Я вгрызся в тему, и Эвелина поняла: быть может, мне удастся сделать то, чего не успеет она —

смогу когда-нибудь рассказать о ее отце настоящей книгой.

Мы изредка виделись на каких-то мероприятиях, посвященных Абелю — Фишеру. Кстати, всегда и везде Эвелину сопровождала очень милая и приятная женщина приблизительно ее же возраста. Незнакомка, которую никогда не представляли, излучала дружелюбие, хотя всегда была и скромна, и молчалива. Чувствовалось, что в этом дуэте Эвелина если не старшая, то уж точно — главная. Потом, уже после смерти Эвелины Вильямовны, мы познакомились с этой женщиной — ее двоюродной сестрой, приемной дочерью Фишера Лидией Борисовной Боярской, также очень много давшей мне для работы над книгой.

Отмечая 100-летие со дня рождения Фишера, мы сидели за столом с соратниками по его родному управлению, где Вильяма Генриховича ценят, отлично помнят, но уже не знают лично. По-моему, тогда и пришло к нам с Эвелиной Вильямовной понимание: надо встречаться. И наша работа возобновилась.

Она согласилась на мои приходы в отцовскую, а теперь ее, квартиру на проспекте Мира. На утомлявшие беседы. На то, что появлялся я только по субботам-воскресеньям. Эвелина подстраивалась под мое жесткое рабочее расписание. Надо было передавать кому-то свои знания об отце.

Больше всего, это уж точно, Эвелину мучила безысходная, как она полагала, несправедливость. Когда я нечаянно называл Вильяма Генриховича фамилией «Абель», разговор мог и оборваться. И сам Фишер, и семья переживали: до конца дней не мог разведчик освободиться от чужого имени, потому как… не разрешало начальство.

Эвелина считала, что из ее квартиры «постепенно исчезал дух отца». Странно, но мне так не казалось. Было в ней нечто от него, из той эпохи, и это скромное жилище представлялось мне именно обиталищем нелегала.

Понятно, что картины, рисунки, открытки, сделанные в Штатах, подписаны по-английски — *Abel*. Но так же, только на русском, подписаны и некоторые литографии, рисунки, полотна Вильяма Генриховича, сделанные уже в Москве, после возвращения. Он щедро дарил их друзьям и знакомым, подписываясь — Абель. И под этим же именем согласился сняться в фильме «Мертвый сезон». Если б уж очень не хотел, то вряд ли бы уговорили. Как Абель выступал он перед доверенными людьми, встречаясь с самыми разными, большей частью все же специфическими, аудиториями. Другое дело, что две свои книги и пьесу он подписал совсем другими именами. Таковы были законы жанра — совсем не писательского, а его, нелегального, разведывательного. И Абель, и все прочие имена были данностью,

которой не избежать. Но Эвелина с мамой, Еленой Степановной, воспринимали все это несколько по-иному.

— Ну запомните, мой отец — Фишер Вильям Генрихович, полковник Фишер, — эмоциональность Эвелины Вильямовны порой перехлестывала через край. — Рудольф Абель, дядя Рудольф — это ближайший папин товарищ. Больше всего в конце жизни отец переживал, что чужое имя так и прилепилось к нему до конца дней. Начальство никак не разрешало с ним расстаться. Народу он должен был быть известен только как Абель. И лишь за день до похорон мы с мамой подняли восстание: хороним на Донском под собственным именем.

Это было единственное поднятое ею восстание. Эвелина ни дня не служила в разведке, но жизнь сложилась так, что она беспрекословно подчинялась ее суровым правилам. Отец в 1930-х впервые вывез ее с матерью в Норвегию, затем на собственную родину, в Англию, где маленькая девчушка служила нелегалу-радисту отличным прикрытием. Кстати, даже когда места боевых заданий лейтенанта госбезопасности Фишера были частично рассекречены, Эвелина Вильямовна все-таки не слишком охотно раскрывала подробности жизни в Англии и Норвегии.

А времени нам на беседы, как оказалось, было отпущено совсем мало. Эвелина Вильямовна Фишер скончалась на 78-м году жизни.

И нет уже той крошечной, 27-метровой, как она говорила, квартирки на проспекте Мира. Перешла в иные руки. Вряд ли новый хозяин даже догадывается, что здесь, в двух комнатках и кухоньке, с 1962 по 1971 год жил с женой и дочерью человек, ставший легендой мировой разведки.

Та комната, что поближе к входной двери, напоминала о Вильяме Генриховиче его развешанными на стенах картинами. Были они разные. Русская наша природа мирно соседствовала с чисто американскими пейзажами и портретами. Мне почему-то больше всего запомнился здоровенный черный-пречерный негр, тщательно выписанный масляными красками. В цвете он выглядел особенно впечатляюще.

Показывала мне Эвелина и несколько книг, от отца оставшихся. Разговоры об устройстве здесь какого-то музея, мемориальной комнаты хозяйка пресекала: папа ненавидел помпезность. И потому многое она отдала в Кабинет истории внешней разведки. Тот самый, что, как и должно быть, открыт не для многих. Там, искренне считала дочка, им и место.

Детей у Эвелины Вильямовны, вышедшей замуж в 1956-м и через два года разошедшейся с первым и последним мужем, не было. Она души не чаяла в племяннике Андрюше. Впервые увидел

я его в этой маленькой квартирке. Вот кто ухаживал за теткой трогательно и прямо с сыновьей заботой. Продукты, лекарства, даже уборка — все было на нем. Я удивился, узнав уже после ее ухода, что Андрею Боярскому за 50. Моложавый, подтянутый, светловолосый, сделан он из несколько иного теста, нежели род Фишеров. Похож на маму — двоюродную сестру Эвелины и приемную дочь Вильяма и Эли Фишер — Лидию Борисовну Боярскую.

Теперь Андрей — единственный славный продолжатель рода Фишеров по мужской линии. Правда, остались родственники в Рыбинске. Они даже выставки устраивают, чтят Вильяма Генриховича, но это, как говорят Боярские, все-таки иное ответвление. Андрей же тянул и вытягивал тетю Эвелину, как только мог.

Управление, где работал Фишер, тоже помогало. Консультации врачей, лекарства…

Болела она долго и тяжело, а умерла среди своих. Есть в необъятном Подмосковье уютное и тихое место, где трогательно заботятся о честно отработавших на СССР, а теперь вот Россию, разведчиках, большей частью — нелегалах. Незаметный особняк вдали от шумных дорог принимает их, усталых и замученных болезнями, как родных. Рядом вежливые искренней вежливостью сестры, опытные доктора вместе с частенько наезжающими прикрепленными — так называют молодых и не очень сотрудников, годами, а иногда и десятилетиями, помогающие «своему» ветерану. В этой Службе нет бывших, здесь не бросают отслуживших.

А у живущих в особнячке особые разговоры, которые не дай бог услышать кому-то чужому, хотя чужих тут по строгим законам не может быть и на километры в помине. Лишь изредка в размеренный ритм уходящей жизни врывается гул пролетающих где-то самолетов, словно напоминая обитателям о былых рискованных скоростях, которые им так хорошо знакомы.

Конечно, Эвелине Вильямовне было тут спокойнее, чем в двухкомнатной квартирке на проспекте Мира, «выбитой» разведкой для полковника.

Ее личная жизнь, как мне кажется, не сложилась из-за все той же секретности, в которую полностью погрузили сотрудника Управления нелегальной разведки Вилли Фишера. Даже в несколько разболтанном по советским временам институте иностранных языков Эвелина держалась особняком. Нельзя чересчур сближаться с сокурсниками. Нельзя приглашать к себе домой. И уж совсем нельзя упоминать, где трудится отец. Одним из редких дозволенных ей развлечений была игра в шахматы. Она

познакомилась с будущим мужем за шахматной доской. Но и с ним еще до акта бракосочетания провели соответствующую беседу.

Тема развода оказалась запретной, но, как я понял во время наших общений, Эвелина Вильямовна через каких-то пару лет рассталась с супругом потому, что невольно, но постоянно сравнивала его с Вильямом Генриховичем. А в чью пользу могли быть сравнения с отцом, умственный уровень которого тестировавшие его в тюрьме американцы оценили, как «близкий к гениальности»? Когда я все-таки просил поведать немного о бывшем муже, то Эвелина, задумавшись, лишь припомнила, что «к обстоятельствам работы моего папы он относился с пониманием». Аттестация скромная. И понятная.

Вместе с мамой они покорно, годами дожидались отца из затянувшейся командировки в Штаты. Терпели ворчание соседей-недоброжелателей по даче, в глаза им твердивших, что глава семейства сидит как враг народа или бросил их и живет с другой. А что оставалось? Лучше мерзкие слухи, чем признание: «Дурачье, да он советский резидент в Штатах». А когда отца выдал предатель, они тоже ждали. Сказали написать письмо президенту США об обмене на американца Пауэрса — написали. Но не раньше, чем сказали. Таковы законы жанра. Приказали поехать на обмен, чтобы еще раз удостоверились американцы, что Абель действительно хороший отец и муж, — собрались за несколько часов и поехали.

О существовании советского разведчика Абеля внимательная публика могла узнать не из фильма «Мертвый сезон», а на несколько лет раньше. Тогда в газете Верховного Совета СССР «Известия», а не в стопроцентно официозной «Правде», в коротеньком письме в редакцию жена и дочь благодарили правительство страны за возвращение на родину своего мужа и отца.

По-моему, настоящая жизнь и началась для нее тогда, после его освобождения. Вот когда они могли быть вместе. Ездили по всему Союзу, ходили на концерты и в музеи. Она училась у него новому делу — шелкографии и старому — фотографии. В обоих нелегал Фишер был силен. Обустроили дачу так, как позволяли скромные средства и как хотел он. Эвелина вместе с ним ездила на съемки фильма «Мертвый сезон», где Фишеру разрешили назваться Абелем и поприветствовать зрителей с нашлепкой на волосах. Не для конспирации, а чтобы прикрыть лысину. Она любила смотреть за отцом, рисующим скромную московскую природу. Все было хорошо и никого и ничего было не надо. Но счастье, как обычно, коротко: отец умер. За ним ушла и мама.

Родственников осталось — двоюродная сестра и племянник Андрей. Друзей и вещей нажито не так много. А нужны ли они были ей?

…Не было за долгие десятилетия моих журналистских хождений собеседницы сложнее, чем Эвелина Вильямовна Фишер. То встречала меня радостно: «Ну, где вы? Я жду-жду. И книги ваши уже прочитала». А бывало, словно по живому резала: «Как вы осмеливаетесь задавать такие вопросы?! Неприлично!» И я в сердцах уходил из квартиры на проспекте Мира. Но я никогда не хлопал дверью, и в конце жизни даже «железная» Эвелина начала кое-что рассказывать.

На их фамильной даче в Челюскинской ее ирисы росли даже за забором. А перед небольшим деревянным домиком — целые островки цветов. Хрупкая, невысокая женщина холила своих любимцев нежно и со знанием дела, пусть и не сбылась мечта побывать в ботанических садах разных стран. В этой непростой жизни дочери разведчика была уготована роль, которую я бы назвал так: терпеливое благородство…

Теперь время Эвелины Вильямовны истекло. По ее воле она кремирована и воссоединилась с отцом в фамильном склепе на Донском кладбище.

Но сейчас, на страницах этой книги, Эвелина вновь вспоминает об отце и семье. Я сознательно сохранил здесь некоторые повторы, не сократил упоминавшееся в первых главах. Ведь это ее интонация, во многом — ее книга, по крайней мере — ее глава. Здесь — взгляд дочери, а не писателя и не историка. Пусть ее неправленая прямая речь передаст и интонации, и правду в изложении дочери. Эвелина Вильямовна, как мне кажется, напоминает полковника Абеля не только внешне. Вот запись нашей беседы:

— Эвелина Вильямовна, судя по всему, ваш отец все же общался с журналистами?

— Был период, когда отец встречался с кем-то из писателей. И домой приезжал раскаленный. Он никогда не рассказывал, о чем они говорили, потому что к нам это не имело отношения, но раздражения и чертыханий хватало.

— А кем вы работали?

— Всю жизнь редактором. В «Прогрессе», потом двенадцать лет в одном техническом институте, переводчиком английского в агентстве печати «Новости», последние годы в журнале «Новое время». И в 1984-м ушла на пенсию.

— И со своим знанием английского вы нигде не были и никуда за рубеж не выезжали?

— Сейчас я, наверное, могу поехать. Да, мне хотелось

поездить по ботаническим садам мира. Но в Штаты почему-то не тянет, даже совсем нет.

— Это обида за отца?

— Не знаю. Нет. Хотя, может, и да. Мне там далеко не все нравится. А раньше понимала, что не надо мне никуда ездить и не надо даже пытаться. Для меня был ясен вопрос: есть вещи, которые мне недоступны. Просто купить загранпутевку и поехать нельзя.

— Такая жизнь в семье разведчика-нелегала — вне зависимости от того, в Москве он или где-нибудь далеко, накладывала на вас определенный отпечаток. Вы все время оставались и даже сейчас остаетесь частью какой-то цепочки, разорвать которую сложно.

— Считала, что в этом и смысла никакого нет. Я, можно сказать, родилась в этой ситуации, в ней росла, развивалась и поделать тут ничего не могла. Да, наверное, было бы проще, если бы папа работал инженером, художником. Возможно, я тогда была бы другим человеком.

— Чего-то в своей жизни вы были все-таки лишены, правда?

— Однако от того не страдала. Хотя да, были неудобства, и на жизни моей это сказалось, особенно в том плане, что я не очень охотно заводила контакты.

— Избегали их чисто подсознательно?

— Не могу судить, как складывалась жизнь у других детей разведчиков, а меня мама учила много не говорить.

— И когда поступили в Московский институт иностранных языков, друзей тоже не заводили?

— Нет, я мало с кем общалась, близких подруг не было. Был, правда, один парень и одна девочка — мы играли в шахматы.

— А ваш муж догадывался, на чьей дочке женился?

— Ну, более-менее. Когда выходила замуж, я сочла нужным поставить его в известность. В этом смысле мой бывший супруг был вполне лояльным человеком, вел себя достойно. Но вопрос в другом. Когда отец с 1948 года находился там, здесь у нас было столько сложностей. Заявлялась на дачу комендантша поселка и стращала маму: «Мы все равно выведем вас на чистую воду. Скрываете, что муж репрессирован». Или приходили, говорили, что папа вовсе ни в каких не командировках, что у него вторая семья, дети. Это вызывало у меня одну реакцию: смотреть на этих людей и вообще не замечать. Ничего я им возразить не могла. Потом, они великолепные психологи и поняли бы, если бы я соврала. Вы полагаете, после таких эпизодов желания общаться с населением у меня прибавлялось?

— Что вообще вы говорили людям?

— Что отец в командировке. И тут же: а где, а в какой? Или, когда папы уже не стало, сюда пришел настырный такой мужик: «Я все о вашем отце знаю. Он был лучший агент-двойник во всем мире». Наглая рожа. Я была готова его просто избить.

— Эвелина, что, если обратиться к воспоминаниям, вероятно, более милым — совсем детским? Вы бывали с отцом в командировках. Что-нибудь о том периоде помните?

— Мама рассказывала, что пыталась на уровне моего детского сознания нечто такое мне растолковать. Во всяком случае, внушила категорически не разговаривать с посторонними…

— А на каком языке вы могли бы это делать?

— Там были немецкий, французский, русский. А первым языком дома — английский. Судьба так распорядилась. Когда меня первый раз увозили, мне было два года. Тот возраст, когда все равно, на каких языках говорить. И был период, когда я болтала на всех одновременно. Какое слово знала, то и пихала, не понимая, что это разные языки. Я скажу вам другое: по-русски я говорила с акцентом, и, когда мы вернулись обратно, мне пришлось поучиться.

— А в тех странах, где работал отец, на каком языке вы общались с детьми?

— Мало общалась, хотя и не думаю, что мне, масенькой, говорили, почему мы в командировке и кем работает мой папа. Это бы наложило бремя на любого ребенка: он знает какой-то секрет. Чем меньше человек знает, тем легче ему выжить. Во время последней поездки, когда я была постарше, надо было идти в школу. Потому что если бы я в школу не пошла, было бы заметно. И там, помню, я очень переживала: у всех детей куча всяких кузин, дядей, бабушек, а у меня никого.

— И никаких подозрений?

— Абсолютно.

— Но вы же могли вставить какое-то слово, сказать что-то не то.

— У детей срабатывает великолепный инстинкт, с кем на каком языке разговаривать.

— Но, насколько я осведомлен, ваша мама говорила по-английски с акцентом.

— Мама говорила по-русски, но я уже понимала, что дома я общаюсь с ней так, а в школе между собой так не общаются, и, следовательно, я должна говорить с детьми, как говорят они.

— А были какие-то случаи, когда вы чувствовали, что помогаете отцу в работе?

— Нет. Но, может быть, в детстве я бессознательно и

оказывала какие-то услуги. Ребенок этого не помнит. Зато я помню, какого цвета обои были в том нашем доме или конструкцию сушилки на кухне. Но о детских поездках я никогда не упоминала.

— И даже сейчас о них не расскажете?

— И даже сейчас.

— Вы очень тактично и ловко обходите конкретные вещи. А я нетактично пытаюсь вас о них расспросить…

— Надо вам признаться, что обходить всякие словесные тонкости мне помогает моя редакторская профессия.

— Хорошо, а когда отец уезжал в 1948 году, вы знали, куда и зачем?

— Сказать, что знали, не могу. Но мы догадывались, что всерьез и надолго. Уже появилась способность как бы читать между строк.

— Читать, но не спрашивать?

— Естественно, это не принято. Ну хорошо, я спрошу — и в ответ ничего, кроме неприятностей. Мой отец был человек вспыльчивый, и если бы я настырно лезла с расспросами, то наткнулась бы на хороший втык. У нас сложилась система: многих тем мы никогда не касались. Например, отец терпеть не мог разговоров о политике.

— А о работе?

— Тем более. Задавать вопросы было некорректно. Хотя что-то он вдруг мог рассказать. Приехал с работы недовольным, о чем-то буркнул. Приехал еще раз, буркнул снова. И я делала выводы. Но, возможно, совершенно неверные. Помню, папа был очень огорчен, когда ему не разрешили встретиться с его адвокатом Донованом.

— Вы знаете, я попытался разыскать его в США. Оказалось, адвокат умер, юридической конторы больше не существует.

— Донован скончался давно, кажется, в 1968 году. Мы с мамой общались с ним в Западном Берлине при обмене в 1962-м. Запомнился мне тем, что весь был цвета свеклы. Помогал при обмене отца, но боялся пересекать границу Западного и Восточного Берлина. Опасался, что в Восточном его возьмут. А красный был от напряжения и высокого давления.

— Ваша семья не поддерживала с ним связи?

— Нет. Он никогда не верил, что мы с мамой действительно жена и дочь полковника Абеля. Но с отцом у него были дружеские отношения, и потому, приехав однажды в Москву, он попытался с ним встретиться. Но…

— Но все же вам никогда не хотелось пойти по стопам отца? Вы уж извините за словесный штамп.

— Однажды возникло такое желание. В 1955 году, когда он приезжал из США в последний отпуск. На что папа сказал мне: одного на семью хватит.

— Вы тогда догадывались, откуда он приехал?

— Мы знали. Потому что он привез фотографии. И папа уже кое-что рассказывал.

— О чем?

— О природе, о некоторых вещах.

— Но почему идея пойти в разведку родилась именно в 1955-м?

— Просто у меня возникла мысль, что было бы хорошо быть вместе с моим папой. В детстве у меня с ним были конфликтные отношения. И характеры у нас похожие: независимые, вспыльчивые, достаточно сложные. Поэтому мы оба топали ногами и громко кричали, пока не прибегала мама и не гасила ссору. Но я подрастала, перестала лепетать «не буду» и сделалась ему интересной. Я была папиной дочкой. Дай-то бог, чтобы у всех детей были такие отношения, как у нас с отцом. И вот я подумала: а что, если отец возьмет и меня с собой? Поговорила с мамой. Она высказалась не слишком конкретно, и я решила, что могу проявить инициативу. Но то ли отец чувствовал сложность ситуации, то ли действительно не хотел. Потом, когда он вернулся, мне предлагали пойти туда на работу. И как-то мы с папой поговорили и согласились, что нет. Я болела, лет уже было немало, да и новая специфика, аттестация, строгая медкомиссия. И кем бы я стала — старшим лейтенантом, а через несколько лет в отставку в чине капитана. Не нужно было это все, да и поздно уже.

— Об аресте отца вы узнали из газет?

— Нет. Мы с мамой приехали из отпуска, и тогда были разговоры, что он должен возвратиться вот-вот, буквально этим летом. Мы даже оставляли ему весточки, как найти нас в Кувшинове — на родине мамы, куда наведывались летом. Но была тишина. Тогда я позвонила по оставленному отцом телефону, и мне сказали бодрым голосом: «Эвелина, вас хочет видеть наше начальство». Я перетрухнула не знаю как. Думала, ляпнула на работе кому-то что-то не так и не то и меня будут драить. Я туда приехала, и они мне все рассказали. Спросил Виталий Григорьевич Павлов, почему, с моей точки зрения, отец взял псевдоним — Абель. И я объяснила: это имя папиного друга.

— И что вы с мамой в этот период делали?

— Зачем эти наивные вопросы? Что тут можно было делать? Да и маму я решила поберечь и сразу ей об аресте не сообщила. Но у дурных вестей длинные ноги. Все говорят — железный

занавес, железный занавес, а люди чужие голоса слушали, и пресса иностранная, хоть Главлит ее и кромсал, на глаза попадалась. Подруга по инязу видела портрет папы у нас дома на столике. Работала она в Управлении дипломатического корпуса в каком-то посольстве. Туда советская цензура не добиралась, и ей попался английский журнал с описанием процесса. Все мне выложила, даже журнал ухитрилась на денек вынести. И тогда я обо всем рассказала маме: лучше уж я, чем посторонние.

— А как вообще относились окружающие к вам после ареста? Пусть после XX съезда, но все равно — время суровое.

— Я этим съездам внимания бы такого не придавала. При чем здесь этот съезд и людская сущность? По-разному относились. Очень и очень по-разному. Меня это, признаться вам, поразило. Нет, шокировало. Сотрудники управления, где работал папа, — народ не пугливый. Все знали, на что шли. Тут никаких дипломатов не было и зелененькие паспорта бы не помогли. И здесь даже не трусость вылезла, не страх, все-таки не 1937-й, а какие-то гадливые чувства. Исчезли несколько знакомых, некоторых я даже друзьями считала. Они изредка после папиного отъезда и дома у нас бывали, и 11 июля, и 8 октября (дни рождения полковника и самой Эвелины. — Н. Д.) позванивали. И вдруг — молчок. Звоню и понимаю, что «попала не туда».

— Может, на Службе так порекомендовали?

— Не думаю, не уверена — на Службе-то как раз в это время к нам особое внимание. Хотя, кому-то, кто знает, и порекомендовали? Но все равно же нормальные люди разных званий общались. А те, на пять лет исчезнувшие, когда отец вернулся: «Ой, Вилли, привет!» Никого не осуждаю, но отцу все рассказала, и хотя он к этому отнесся сдержанно, по-философски, я старалась, чтоб эти люди у нас дома не появлялись.

— Понимаю, что наивно, а спросить осмелюсь. Когда ваш отец сидел в тюрьме, вы принимали какое-то личное участие в его судьбе?

— Мы писали письма. С самого начала, еще до ареста Пауэрса, шли они через Международный Красный Крест. Папино начальство все это непонятно как, но организовало. Они вообще в тот период нас поддерживали — и не только морально.

— Вы с мамой обращались к нему по-русски?

— Через Красный Крест — я сразу по-английски, а маму переводила. Сначала у папиных руководителей возникли сомнения: вдруг подстава, то есть кто-то чужой. И мы с их одобрения вставляли факты, которые никому кроме членов нашей семьи известны быть даже теоретически не могли. Убедились, что отвечает точно папа, да и почерк его — четкий, для нас понятный.

— А правду ли писали американские авторы, когда утверждали, будто полковник даже из тюрьмы передавал некие секретные сведения?

Эвелина задумалась. Присутствовавший при разговоре полковник из управления, где когда-то служил ее отец, покачал головой. Но ответ его вполне удовлетворил:

— Это мы сообщали папе нужную информацию — в форме несколько завуалированной. Тяжело все это давалось. И мы, и люди из папиной Службы переживали, что фразы эти, как бы мы ни старались, выпадают из общего стиля. И уже после возвращения отец подтвердил, что некоторые, видимо, нужные ему строчки было не разобрать — вымарывала американская цензура. Но кое-что все равно проходило.

— Сотрудники ФБР нашли ваше к отцу письмо. И часто цитировали, уверяя всех и себя тоже, что шифровка: «Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения. Огромное спасибо за посылку, которую ты нам прислал. Папа, дорогой, как мне тебя не хватает». Видимо, зацепились за присланную посылку.

— Уж не знаю, за что они там цеплялись. Но это было как раз посланное через Службу письмо, отправлено еще до ареста. Одно из многих. По-моему, прислал нам что-то из вещей. И мы благодарили — вот и вся секретность.

— А на тех самых ваших с мамой письмах с какими-то фразами участие в разведиграх закончилось?

— Ну, подумайте сами, какое активное участие мы могли принимать? В период суда было по-настоящему страшно. Могли и… А через некоторое время затеялась переписка с адвокатом из ГДР, по-моему, Фогелем, кажется, Вольфгангом. Тут уж писалось все в определенных рамках, без вольностей.

— А то письмо президенту США Кеннеди действительно писала ваша мама?

— Письмо писалось так, как очень часто пишутся многие письма в редакцию. Зато я его переводила: это все-таки да, а мама своим почерком переписала. Но по своей инициативе — никогда бы в жизни. Мы были хорошо воспитаны.

— Тем не менее родственники сидевшего у нас во Владимирском централе летчика Пауэрса к Хрущеву обращались.

— Я не думаю, что и в другом государстве семья, оказавшаяся в нашем положении, могла бы действовать самостоятельно и лихо. Такова система этой службы. Иное — только в художественной литературе.

— В те четыре с лишним года, что отец провел в тюрьме, вы верили в его возвращение?

— Чисто на уровне веры — да.

— А какие чувства к человеку, который отца предал?

— Я его вычислила. Когда папа в 1955 году приезжал на отдых, он говорил: «У меня две заботы: добиться, чтоб отозвали одного очень больного сотрудника и другого, который беспробудно пьет». Заболевшего, по-моему, отозвали. А второй волновавший отца человек его выдал. Какое отношение к предателям? Ведь даже на бытовом уровне предательство — подлость.

— Когда отец вернулся, он рассказал вам, как все это было?

— У нас было много других тем для разговоров. Мыс ним вместе занимались шелкографией, фотографией, печатали, проявляли, рисовали. Вот об этом у нас и были постоянные разговоры. Он меня учил: любое увлечение должно быть на достойном уровне. Отец мог часами стоять и смотреть, как нам печник кладет печку. Если садовник, печник или художник был хорошим профессионалом, то одно наблюдение за ним доставляло ему удовольствие.

— У вас несколько раз вырывалось, что в семейных делах отец был человеком вспыльчивым.

— Да, сложным.

— Но читаешь книги о нем, беседуешь с соратниками — и везде: «спокойный, выдержанный, уравновешенный».

— Как вы не понимаете? Это был выход — дом, семья, родные. Он страшно любил мать. Но даже ухаживание его было очень своеобразным. Являлся к ней каждый день и в определенный час: мама начинала дрожать, потому что тогда страшно его боялась. Приходил и спрашивал: «Сколько часов, Эля, вы занимались сегодня на инструменте?» И если мамин ответ не удовлетворял, говорил: «Садитесь играть». Доставал газету и по часам следил, чтобы мама занималась сколько положено. До войны, как раз когда отца уволили из органов, мама много гастролировала, ездила по стране. Играла в оркестре детского театра после приезда из той, второй командировки. После войны — арфистка в оркестре цирка на Цветном бульваре. В 1951-м ее уволили.

— За что?

— За честность. Мама громко выступила против финансовых махинаций директора цирка. Пришлось уйти. Продала инструмент и с тех пор больше не работала.

— У вашего отца было много друзей?

— Как вам сказать… Насколько я понимаю, когда отец вернулся в 1962-м после четырнадцати лет отсутствия, стариков, которых он знал, осталось мало. А с довоенных времен почти никого: все в отставке или поумирали. Однажды случайно у

Лубянки встретил Кренкеля. Помните, был такой знаменитый полярный радист? Они с папой служили еще в двадцатых годах в радиобатальоне. Кренкель спросил: «Ты что здесь делаешь?» И отец ответил: «Работаю музейным экспонатом». Восстановилась дружеская связь. Очень хорошие отношения были с Кононом Молодым.

— Но Лонсдейл был гораздо моложе вашего отца.

— И моложе, и совершенно другой по характеру. Папа — сдержанный, а Конон — экстравагантный, но были на «ты», дружили. Из Конона красноречие било фонтаном. И вот он о своем деле много говорил. И на «Мертвый сезон» они вместе ходили.

— Тогда народу впервые показали полковника Абеля и в общих чертах рассказали, чем он занимается. А как его уговорили в этой картине сняться?

— Отец был не слишком доволен. Говорил, что ничего из этого не выйдет, что смешно разучивать текст. Но ему было безумно интересно.

— Конечно, все-таки фильм о судьбе разведчика.

— Да нет, он обожал хотя бы в общих чертах осваивать что-нибудь новое. Это было потребностью. Новизна его волновала, притягивала. И если в новом деле удавалось приобрести некий профессионализм и самому, то интересовало вдвойне. Ему было любопытно, как его начнут снимать, как это происходит на самом деле. У нас дома часто бывал сценарист фильма Владимир Вайншток — остроумный, ехидный человек, прямо сплошное удовольствие. Он снял как режиссер фильмы «Дети капитана Гранта» и «Остров сокровищ». Кто их не видел! С Вайнштоком и только с ним и общались. Все вспоминают режиссера «Мертвого сезона» — Кулиш, Савва Кулиш. Но я его в жизни не видела. Ездили с Кононом на съемки, смотрели какие-то эпизоды. Они с Вайнштоком втроем приезжали на дачу, разбирали по косточкам. В основном чертыхался Конон, а папа ему подпевал-поддакивал. Вайншток хорохорился: «Вы оба ничего не понимаете в жанре. Драка и погоня — обязательная принадлежность». А эти в два голоса: «Драк быть не должно. Погоня — это уже не разведка. Не та проба». Я знаю, что Конон с папой были в восторге от первой серии. Там посещение бегов, музыка с одними и теми же пластинками. Как я понимаю, это хотя бы приблизительно походило на то, что обоим в действительности приходилось делать и потому им нравилось. А вторую серию — боевик папа назвал «клюквой развесистой». Но что меня поражало: папа — многолетний профессионал из всего чтива предпочитал детективы. Смеялся, что так «чистятся мозги. Прочитал. Забыл.

Отдохнул. Опять прочитал».

— Эвелина, осталось здесь, на даче, что-нибудь сделанное отцом?

— Беседка — моя семейная реликвия. И больше ничего. Его рисунки, картины — в Москве. А те из них, с которыми у меня душевной связи не было, отдала. Он их делал там, и я их не хотела держать.

— Но почему?

— Вот приходит человек и спрашивает: «А кто это на картине? А гдей-то такая природа? Это негр?» Отец всегда отвечал: «Да, бродяга». И остальное его просто не волновало. А я не знаю, что сказать, и эта ситуация раздражает и меня, и людей.

— Несмотря на некий налет таинственности, мне почему-то кажется, что о вашем отце народ знает немало. Мы в поселке заблудились, но на дачу вашу нас выводили дружно и точно.

— Верно. К нам как-то приезжал директор Ботанического сада, с которым мы познакомились у Кренкелей. Он тоже плутал и искал: «Где тут дача Фишеров?» А ему: «Так это к знаменитому шпиону Абелю — вам вон туда». И отец от этого страдал по-настоящему. Он-то надеялся, что вернется и от псевдонима освободится. Но так и не удалось.

— Да и как, если имя стало легендой. Эвелина, и вы сохранили фамилию отца?

— Я ее никогда не меняла. И полагала, что именем Вильяма Генриховича Фишера могу всегда гордиться. Своего тоже не стеснялась. Дедушка по паспорту — Генрих. Отец — Вильям. А я — Дуня?

Бабушка и дедушка

После возвращения из Англии семья одно время даже обосновалась на территории Кремля. Но это как бы попутно: бабушка, мать отца, была секретарем Клуба старых большевиков, и потому жили там, где и располагался Клуб. А дедушка работал директором Сухонского бумажного комбината — это на реке Сухони, в поселке Сокол Вологодской области. Почему после нескольких лет кремлевской жизни не остался в Москве? Возможно, появились какие-то сложности: у старых большевиков тоже возникали свои отношения и претензии друг к другу. А бабушка постоянно ездила к деду. Иногда в Москву наезжал и сам дедушка. Но я об этом знаю только по рассказам: помнить почти ничего не могу, родилась в 1929-м, и мы вскоре уехали в первую командировку. Дед умер в 1935-м от воспаления легких, бабушка

в июле 1944-го на следующий день после открытия второго фронта.

Избежали они всех этих страшных чисток. Да и когда началось все то сталинское и ежовское, бабушка уже была страшно больной: полиартрит — руки и ноги скрюченные. И ни в каких партийных делах участия уже не принимала. Может, им в чем-то и повезло. А насчет лояльности деда… Не берусь утверждать, что был он человеком независимым. Но считаю, все-таки не случайно работал где-то у черта на куличках в Вологодской губернии, подальше от всего этого.

А то, что Ленина знал — ну да. Был в кружке в северном Союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Кружком руководили Ульянов, Кржижановский, Мартенс, еще кто-то…

Знаю, бабушка дружила с сестрами Ленина, но как? На кошачьей основе. Те кошек любили, и бабушка тоже. И знакомство у них в основном было кошачье. О близости с партийным руководством в семье нашей никогда никаких разговоров. И все они — и дедушка с бабушкой, а потом и папа — похоронены в одном склепе на Донском.

Вильям и Генрих

У отца был родной брат. В некоторых книгах его называют Гарри, но это — по-английски. Правильнее — Генрих. Он постарше отца года на два.

И однажды, уже после их возвращения в Москву, Генрих был на речке. Увидел тонущих детей, бросился их спасать. Девочку какую-то вытащил, а сам утонул.

Когда мама узнала об этом, у нее, оглушенной горем, вырвалось: «Почему не Вилли…» Это известно из семейных легенд. Первенец — Генрих — был ее любимцем.

А папа, насколько понимаю, рос сорванцом, доставлял много хлопот. Это и бабушка рассказывала. Постоянно попадал в переделки. Однажды еще в Англии врезался на велосипеде в стадо коров, а вернее, овец. Велосипед погнулся, и дома — недовольство.

Плавать папа не умел. Еще в Англии, когда был маленький, отец и старший брат решили, что младшего надо научить плавать. И ничего лучше не придумали, как просто бросить в воду. Отцу это страшно не понравилось. И, как он говорил, с тех пор желание купаться исчезло у него на всю жизнь.

Лида — кузина и приемная дочь

Лида — моя старшая двоюродная сестра. Племянница моей мамы, дочь ее брата Бориса, который в молодости до войны здорово пил — всё, вплоть до денатурата. Он первенец, старший любимый сын, избалованный родителями. Учиться не захотел и в империалистическую сбежал на фронт совсем мальчишкой, оттуда и пристрастился. А Лидина мать, жена Бориса, была очень красивой женщиной. Моя двоюродная сестра — третий ребенок от третьего мужа. Родители были, но она им оказалась не очень нужна. И когда ее мама умерла, она жила у нас. Потому что наша бабушка по линии мамы была против того, чтобы мать Лиды делала аборт. И Лиду привезли к нам, сказали: вы ее хотели, вы с ней и возитесь. Моя мама и папа считали ее приемной дочерью. Тоже поступок, о чем-то говорящий.

Лида старше меня на шесть лет. У нас разные типажи. Я пошла в фишеровскую породу, она — шатенка, сейчас, вы же видели, седая.

Как папа попал в разведку

Когда папа женился на маме, то дома ему сказали, что коль скоро ты женился, так изволь сам зарабатывать. А делать ничего он, естественно, не умел. Образования у него высшего не было, профессии — тоже. Никогда ни одного института не кончал. До 1926-го служил в Красной армии, в радиобатальоне. Потом приехал и какой-то период вроде занимался комсомольской работой. Ничего путного не делал. Пытался где-то Учиться, но ему ничего не нравилось. Вот вы говорите, что изучал Индостан. Я об этом не слышала.

Но вот что мамина сестра, Серафима Степановна Лебедева, работала в ОГПУ переводчиком, знаю. И она папу туда же переводчиком порекомендовала. Он в то время отлично говорил только на двух языках — английском и русском, хотя знал и немецкий. Совершенная случайность, что в 1927-м попал в разведку, в отдел переводов. Совсем не потому, будто родители посоветовали. Это все выдумки.

А почему его в разведке решили использовать далеко не переводчиком, этого я вам не скажу. Подозреваю, конечно, что представлял он огромный для разведки интерес: родился в Англии и по их законам считался британским подданным.

Эвелина помогала, как могла

Иногда пишут, что будто бы я забыла английский, когда между первой и второй командировками отца провела какое-то время с дедушкой и бабушкой. Это абсолютная трепотня. Дело в том, что английскую речь я забыть не могла, скорее, могла подзабыть русскую. Я русский язык выучила уже после того, как окончательно вернулась в Россию из Норвегии. И по-русски тогда говорила с сильным акцентом. Дома с папой — только по-английски. С мамой, у которой язык похуже, почти всегда на русском.

Слышала, будто я одергивала родителей, когда они путали во время переездов из страны в страну свои новые имена. Я лично такого не помню, но мама мне об этом рассказывала: если на каком-то коротком промежутке времени у них были липовые документы и они друг друга называли не так, то я их поправляла. Наверное, при посторонних прерывать не могла, вероятно, что-то говорила папе с мамой с глазу на глаз. Я же не полной идиоткой была, чтобы при полицейском офицере упрекать маму.

По мере своих способностей я, безусловно, понимала некоторую двойственность нашего положения. Во всяком случае, когда в Норвегии наша домработница в отсутствие родителей привела домой каких-то деятелей и водила их по квартире, я за ними ходила по пятам. Папа с мамой вернулись, я им доложила, что наведывались неизвестные дяди, заглядывали туда-то, смотрели и трогали то-то. Когда я папе об этом рассказала, он даже засвистел: признак того, что мною доволен. Свист был высшим проявлением радости. А по поводу неведомых дядей дальнейших подробностей не знаю, они никогда в доме не обсуждались, но, во всяком случае, домработницу уволили.

Вот вы спрашиваете, был ли в Норвегии отец радистом. Мне никто об этом не докладывал, а я не спрашивала: слишком была маленькой. Хотя понимала, что мы — в чужой стране.

Мы там жили под своими именами. Папу и маму и в Норвегии, и в Англии звали Вилли и Эля Фишеры. И у меня было мое собственное имя, я всю жизнь — Эвелина.

Когда я общалась с местными детьми — норвежскими, и с английскими тоже, было, конечно, обидно, что у них полно родственников, а у меня — никого. Но я знала, что у меня и дедушка есть, и бабушка, только они пока не с нами.

Я уверена, что если бы сейчас приехала в Норвегию, то узнала бы ту троллейбусную остановку, на которую мы из центра Осло приезжали домой. Я бы и дом нашла, где жили. А из дома я бы отыскала дорогу к морю. Тоже помню, как туда идти. И шторы в нашей квартире не забыла: узоры на них необычные.

Что я еще хорошо помню, так это мои танцевальные опыты.

Мама вместе с какой-то знакомой, возможно, и русской, попыталась открыть танцевальную студию. Записалось в нее много детей. Меня учили танцевать классику. Одевали в белые пачки, и мы, малышня, выбегали на сцену. Но танцы раз и навсегда закончились, когда мы неожиданно — и уж точно для всех нас троих — собрались и уехали в Москву.

А за границей мы дома с мамой общались в основном на русском, а с папой по-всякому: по-английски и по-русски. Я в Норвегии действительно говорила со всеми местными на норвежском. Сейчас остались в памяти кое-какие слова. Да и то в основном кулинарные. Оттуда, примерно с года 1934-го, у меня сохранилась маленькая брошюрка, как печь всякие торты. Книжечке уже за 70. А история ее такова. Решили мои родители устроить прием и спечь пасхальную бабу. Взбили дюжину желтков, белков — и отдельно, и вместе — поставили ее в духовку, а плита у нас в Норвегии была электрическая, исключительно нежная — жантильная — и на ножках. Сначала баба нормально поднималась, а потом, видимо, кто-то хлопнул дверью или еще что, и она села. Даже наша собака есть бабу отказалась! На что папа страшно рассердился и купил маме эту вот брошюрку. С тех пор книженция в нашем доме и существует. Вот в объемах этой брошюрки я способна разбираться по-норвежски. Но вы спрашиваете меня о той вечеринке, а я ее, естественно, не помню…

Фишер и Капица

Много ходило слухов, что когда отец был в Англии, то встречался там с Капицей. И уговорил знаменитого ученого вернуться в Советский Союз.

Встречался он с Капицей в Англии или нет? Мне было тогда лет семь, и нам с мамой папа не докладывал. Но уже перед уходом отца, когда он болел, однажды он даже не признался, а вымолвил, что взял грех надушу. Приказали ему выполнить задание самого товарища Сталина: вернуть Капицу на Родину. Сначала ничего не выходило, хотя и письма Капице из Москвы писали, и посланцев всяческих засылали. Но Капица в СССР и не собирался. Понимал, к чему у нас катится. И вождь прикрикнул, чтобы вернули, а повесили на папу. Для него задание нетипичное: со своими, с советскими, он не работал.

Петр Леонидович в Англию уехал в начале 1920-х. Талантливый и молодой, он понравился уже тогда великому Резерфорду[3], и тот взял его к себе в лабораторию: не куда-

нибудь — в Кембридж. Карьера блестящая, многообещающая. Какая Москва, когда уже приходила к Капице всемирная известность. Но отец, он рассказывал об этом без всякой радости и гордости, уговорил. Встречался, нажимал на то, что ждет Петра Леонидовича Капицу в Москве огромная и захватывающая работа над новым и амбициозным делом, может, нечто, связанное с атомом? У отца получилось. И отношения какие-то сохранились. Хотя Капицу за границу больше не выпускали. Догадался он потом, не догадался, кто же такой поживший в СССР инженер Вилли Фишер? Кто знает.

Но был период в 1939-м, точнее 31 декабря 1938-го, когда папу выперли из органов, и он сначала вообще без работы, а потом два года — на заводе. Тогда, до 1941-го, у нас дома в Москве фамилия Капицы мелькала в связи с переводами. Конечно, они были знакомы. Капица, который никого не боялся, был связан с Патентным бюро, и папа через него получал переводы. Отец сидел без работы, это очень помогало. Папу это искренне радовало и удивляло. Многие от него тогда отвернулись. Но не Капица.

Версия Орлова

Слышала разговоры, что отца уволили в 1938-м после бегства в США его бывшего начальника, резидента. А Орлова этого я даже один раз видела. По дороге во вторую командировку отца. Был он то ли рыжеватый, то ли блондин с оттенком рыжеватости. Вроде еще у него были усы. Но что я могу еще о нем помнить? Я была маленькая, шести лет не исполнилось. Мы зашли к нему в гостиничный номер — большущий, шикарный, я таких больше никогда не видела. Орлов ел что-то очень дорогое из серебряной посуды. Нам ничего не предложил, разве что присесть. Отцу такое было не свойственно. Тогда даже фамилию не запомнила. А всплыла она «Орлов, Орлов…» после ареста папы, и мы с Кириллом Хенкиным обсуждали разные, так сказать, варианты.

Мой отец дружил с Кириллом Хенкиным. И тот, уехавший сначала в Израиль, потом в США, а затем в Германию, в своей книге о моем отце «Охотник вверх ногами» с уверенностью пишет, что одной из задач Вильяма Фишера в Штатах была проверка Орлова. Подал бы тот голос после ареста «полковника Абеля» — значит, все-таки Орлов предатель…

Я в эту версию, естественно, не верю. Ну, хочется Хенкину так думать. У журналистов вообще особенность: верить в собственное печатное слово. Пусть верят. Только других туда же зачем

впрягать? Дело в том, что Орлов был действительно единственным человеком, который знал в лицо обоих — Фишера и Абеля. И Фишер был у Орлова в подчинении. Так что мог и сказать, что-то заработать. Но не сказал, промолчал. Я бы назвала его, не как вы, «относительно честным», а просто честным человеком. А бежал туда, спасая жизнь. Если бы не ушел, была бы тут ему вышка, что вычислить совершенно не трудно. Он — настоящий чекист, разведчик, все прочувствовал, предвидел, вычислил. И спасся.

Террор начался такой… Масштабы поражают. Орлов его оценил верно. Гениально обвиняют во всем Сталина. Но он только его развязал. Убирал верхушку, лучших людей. А остальные 70 процентов были посажены, расстреляны и сгинули абсолютно без его участия, потому что так воспитали: подхватывали и сажали на кол с радостью. Сталин и не подозревал о существовании какого-нибудь Петра Ивановича Гусева или еще кого-то, жившего в Урюпинске. Но кому-то была нужна квартира Гусева или его жена, а может, должность. Писался донос. И неслось. Но какой нюх был у Сталина — действительно чудовищный. Он понял, что может вести жутчайшую кампанию чужими руками, которая на руку будет только ему. Вождь делал свои дела, а в этой волне террора, всю страну залившую, он легко прятался, был над схваткой, сотни тысяч расстреливал, а десятки показательно, вот какой добрый и справедливый, миловал. И волна эта, от которой не скроешься, накрыла всю нашу разведку. За границей, я же не только с папой общалась, резидентуры перед самой войной на год-два закрывались. Чекисты в лучшем случае по лагерям — по тюрьмам, агенты — в недоумении, в простое.

И Орлов ушел. Никого не предал. Вы мне опять о его записках, изданных в США перед смертью. Не верю я, что по ним могли кого-то из наших вычислить. А в книге этой он ничего и никого, кроме своих отношений со Сталиным, не касался.

Три года на передышку

Те почти три года после увольнения текли по-разному. Почти весь 1939-й папа оставался безработным. Ну да, чуть террор этот схлынул, но приходит в отдел кадров человек: родился в Англии, служил в ЧК, теперь не у дел, да еще и фамилия иностранная. Кадровики шарахались, потому что работать он мог только переводчиком или, по правде говоря, на военном заводе. С постоянной работой ничего не получалось. Мы с двоюродной

сестрой, наша бабушка со стороны мамы и папа жили на одну мамину зарплату. Она здорово выручила. Ездила со своей тяжеленной арфой по всему СССР на гастроли. Отец и мы скучали, папа все время писал ей письма, а что делать?

Хорошо еще, что не выселили из нашего дома. Он-то был ведомственный, должны были в нем по дурацкому уразумению жить только верные сотрудники. Правда, тут уже после чисток этих непонятно было даже им, кто чистый, кто — нет. Повисели мы на волоске, но столько народу из дома посадили-пересажали, что внезапно всех, не только нас, оставили в покое.

Отец связался с другом дедушки и бабушки. Написал письмо, позвонил. И старый большевик Андреев, непонятно как оставшийся членом ЦК, не дрогнул, помог. Папу взяли на завод. Вы не представляете, как он был счастлив. Все письма маме, которая на своих гастролях, о работе, изобретениях, премиях. Я вам правду говорю. Никуда он с этого своего завода уходить не хотел. Инженер, изобретатель, работа «от» и «до». Я больше никогда после тех двух лет не видела папу таким спокойным. Да, с деньгами трудно, за дачу нечем платить, но они с мамой не отчаивались. Да и поняли, что от нас отстали.

Но началась война…

Война у каждого своя

Отца в сентябре 1941-го вернули в органы. Позже, уже в 1946-м, в доме ходили разговоры, будто поручился за него любимец Берии генерал Павел Судоплатов. И вот в это я склонна верить. Судоплатову, о котором отзывались как о суровом профессионале, нужны были опытные и проверенные люди. Отец сразу пошел на работу, исчезал из дома, не показывался сутками. Мама не слишком волновалась, наверняка знала, где он и что он.

Но 8 октября 1941-го мы с мамой и папой выехали из Москвы в Куйбышев. У меня впечатление, что по этому поводу возникла путаница. Некоторые люди уверяют, будто папа во время войны долго работал в Куйбышеве. Его теперешние коллеги из Самары даже приписывают отцу организацию там специальной разведывательной школы. Это не так.

Мы уезжали в эвакуацию. Целый состав, семьи чекистов в теплушках, а с нами еще и Спот. Совершенно замечательный, изумительный игристо-шерстный фокстерьер с типично английским именем. Папа сказал: если Спота не согласятся взять в теплушку, то я его пристрелю, потому что иначе он все равно погибнет. Но согласились, и наша теплушка оказалась

единственной, которую на всем том долгом пути не обворовали — благодаря собаке никто посторонний подойти не мог. Кроме меня в теплушке ехали еще двое детей, они были в диком восторге от того, что у нас собака.

В конце октября состав дотащился до Куйбышева, но высадиться не дали, хотя у мамы была договоренность с местным театром оперы и балета, что она останется работать там, как арфистка. Высадили в Серноводске — маленькая курортная дыра километрах в ста. Папа с нами пробыл, по-моему, дня два, уехал обратно в Куйбышев — и пропал. Мы сидели без всего — ни карточек, ни денег. Выгрузили нас и забыли.

И тогда мама развила бурную деятельность. Ехала с нами в теплушке жена одного сотрудника — профессиональная певица. И они вдвоем организовали для летной части, которая была поблизости, концерт. Участвовали в нем все, кто мог. Я играла на виолончели, а моя двоюродная сестра Лида читала стихи «О советском паспорте». Лида мне — двоюродная сестра, но росла в нашей семье, потому она как родная.

Руководство части осталось очень довольно концертом: было им в Серноводске довольно неуютно. В благодарность они маму на своей военной машине отвезли в Куйбышев, потому что к тому времени туда можно было попасть только по пропускам. Маму сразу взяли в театр. Но она, жена разведчика, тут же решила отыскать, где там местные органы: хотела найти папу. Вместо этого попала в милицию, откуда ее вытащил директор театра. Встречались же и тогда смелые люди.

А потом на улице мама случайно встретила дядю Рудольфа Абеля. Они страшно обрадовались, потому что Абели уезжали из Москвы сами по себе. Дядя Рудольф и сказал маме, что он остался в Куйбышеве, а папа в командировке: поехал в Уфу за каким-то оборудованием. Отдал маме бутылочку спирта и сказал, что когда Вилли вернется, мы ее с ним разопьем. Спирта было немного, и пошел он на совсем иное. На обратном пути из Уфы или откуда-то из тех краев отец провалился под лед речки Уфимки. Приехал в Серноводск мокрый, грязный и весь во вшах, потому что когда из реки выбрались, то пустили их обогреться в деревенскую избу. Там и набрались всей этой живности. Маму к себе даже близко не подпустил. Что они везли, понятия не имею, может, вы это узнаете в других местах. Ну а весь спирт ушел на то, чтобы устроить папе санитарную обработку.

Пробыл отец в Куйбышеве после этого еще недели две. Потом уехал в Москву и обратно больше не возвращался. А мы оставались в Серноводске очень недолго. Жили в основном в Куйбышеве, сначала немножко на улице Горького, потом на

Кооперативной, на углу Фрунзе и, по-моему, Льва Толстого. Но долго там не задержались. Вернулись в Москву в марте 1943-го, когда отцу удалось оформить нам полагавшийся для этого пропуск.

А дядя Рудольф оставался в Куйбышеве дольше, чем папа. И так как оба занимались одним и тем же делом — готовили партизан, то, я думаю, куйбышевские товарищи перепутали и приписали организацию специальной разведшколы моему папе. Нет, в школе в поселке Серноводск работал Рудольф Абель. Может, отец, возвращаясь из своих командировок, тоже ему помогал. Преподавал радиодело, с которым оба были отлично знакомы. Потом их учеников забрасывали в тыл к немцам.

Их часто путали. Но чтоб один из них выдавал себя за другого, как пишется в некоторых книгах, — ерунда. Господи, ну чего только не навыдумывают! Говорят, будто папа использовал имя «Абель» еще в военные годы — неправда. Чушь все это.

Вообще, если верить молве, то где только мой отец в войну не работал. Даже в Англию и в Германию его отправляли. Нет, в военные годы папа ни в какие Великобритании и Берлины не ездил.

Я знаю, что папу послали в партизанский отряд в Белоруссию, а врачом у них был один из братьев — знаменитых бегунов Знаменских. У папы был фурункул, и отцу очень нравилось рассказывать, что вскрывал его хирург и спортсмен Знаменский. Хотя спортом отец абсолютно не интересовался. Но на велосипеде, на роликах ездил. А вот на лыжах — не умел.

После войны узнала: отец участвовал в операции «Березино», даже получил за нее награду, по-моему, орден. Но все тихо, без всяких литавр.

Отец уезжал довольно часто и надолго. А на сколько, я тогда не подсчитывала и сейчас мне трудно сориентироваться, хотя жили мы, конечно, вместе. И после войны он мало о своих военных делах рассказывал.

Что у меня еще из военных воспоминаний? Вот как-то врезалось: у папы было двое учеников — два брата-немца. И он с ними занимался, готовил. Единственный раз они у нас появились — красавцы светловолосые, лет по двадцать или еще меньше. Пришли почему-то за швейной машинкой — что уж они с ней делали? Я потом нарушила негласный семейный запрет, спросила отца, как у них, у этих антифашистов, сложилось. Он расстроился, потому что сложилось очень даже плохо. Оба погибли, когда их сбрасывали в Югославию.

Еще один случай связан с боевым оружием. Я после возвращения из эвакуации увидела в первый и в последний раз у

отца пистолет. Могу и ошибиться, но, кажется, «ТТ». И отец куда-то ночью торопился, и пистолет оставил дома. Показывал мне, как его собирать-разбирать. И очень гордился, что у него это быстро и ловко получается. Но мама этот оставленный пистолет моментально у меня отобрала. А так, я и не знаю, стрелял ли отец когда-нибудь из боевого оружия, нет ли. Разговора никогда не заходило.

Вся его настоящая жизнь была в работе, шла вне дома. И о ней — молчание.

Я вам скажу, что даже 9 мая 1945 года мы особенно не отпраздновали. Папы, как почти всегда, не было дома — очередная командировка. Где он, что он — мы не знали. И садиться без него за стол, поднимать бокалы не хотелось.

Из войны еще такой эпизод. Поскольку со светом случались всякие неполадки, и спички тоже превратились в крупный дефицит, а в доме к тому же все курящие, принес отец зажигалку. Я в то время еще не курила, но бабушка, мама, сам отец… Зажигалка была предметом его гордости, у нее была платиновая спираль. История этой зажигалки оказалась довольно интересной. Пришел кто-то из сотрудников и сказал: «Ой, Вилли, какая у тебя хорошая зажигалка. Ты должен такую же сделать нашему начальнику». На что папа возразил: «С какой стати? Начальник наш сам умеет все это делать. У него и возможностей достать необходимые детали гораздо больше, чем у меня». На следующий день приходит папа на работу — зажигалки нет. Он быстро сообразил, в чем дело. Пошел к начальнику, а она там на столе. Отец сразу: «А, привет, к тебе попала по ошибке моя зажигалка». Забрал ее и ушел. И потом принес домой.

Вообще, начальство — особая категория. Если уж совсем честно, то папа не любил начальства. Старался с ним не связываться. Почему и отчего — не знаю. Не любил. Фамилия Коротков[4], конечно, у нас дома звучала, но сказать, что у отца были какие-то отношения с Коротковым вне службы — нет. Сахаровский[5] звучал еще реже. А вот фамилия Фитина[6] произносилась — но в военное время. До войны главным там был Шпигельглас[7]. Но кроме фамилий — ничего…

Коммерсант он был неважнецкий…

Пробивные и коммерческие способности у папы были на нуле, я бы сказала, даже хуже. Это у нас такая фамильная особенность.

А иногда требовалось проявить умение, очень даже было

нужно. В начале августа 1947-го украли у нас продуктовые карточки. Поехала домработница их отоваривать, вернулась вся в горьких слезах, плачет — заливается, что украли. Как проверишь? Осталось хлебных карточек на одну декаду. Но зато в Челюскинской был урожай яблок — солнечных, спелых, летних августовских. Какое-то время мы ели яблоки утром, днем и вечером. И еще пол-литра молока в день: молочницы косили у нас на участке траву, а за это приносили молочко. Но, как вы понимаете, яблоками с молоком можно питаться день. Можно — два. На третий уже не захотите. И мои родители решили поехать на Клязьму, на рынок: продать яблок и купить что-то более серьезное.

Папа набрал самых красивых яблок, в те времена они продавались исключительно поштучно, на вес. У нас был кожаный чемоданчик, размерами больше, чем кейс. Уложили они аккуратно в него яблоки и поехали. Вернулись расстроенные и озадаченные. Потому что не успели открыть чемоданчик, как налетела на них толпа народа, образовалась очередь. Кто-то им заплатил, кто-то — нет. Короче, денег у них почти не оказалось. Вот вам и все коммерческие способности.

Или еще о том же. В 1945-м в конце лета отец поехал в командировку в Винницу. И пропал. Вернулся как раз в мой день рождения — 8 октября. У нас, как всегда, на мой день рождения пришел дядя Рудольф, а так особых гостей не было. Папа приехал злой как черт, он кипел, на нем можно было зажарить мамонта. Поссорился с таможней на аэродроме. Оказывается, когда приехал в Винницу, увидел хороший лук. Готовить папа любил и решил купить. Купил. Выяснилось, что в Виннице ему делать нечего, надо ехать в Румынию. Приехал, когда там еще ходили наши деньги, чему отец очень обрадовался. Понадобилось ему мыло, и он страшно удивился, когда ему в магазине за трояк или пятерку дали коробку с двенадцатью кусками туалетного мыла. Возникли грандиозные планы сходить на барахолку, купить железяк-радиодеталей, потому что у нас они — дефицит. Иных коммерческих планов в голове не возникло. И тут он на несколько дней слег — то ли простудился, то ли заразился. Пока болел, советские деньги прикрыли, и покупать надо было все на румынские леи. На леи ему никто рублей не менял. Пошел на черный рынок — но и там неудача, все от него шарахались. А тут уже пора возвращаться обратно. И на аэродроме в Румынии он за рубли купил у какого-то мальчишки шоколадные конфеты домашнего приготовления. С этим и приехал из зарубежной командировки. А еще во Внукове с него содрали пошлину за лук. Доказывал, что купил его в Виннице, но заплатить все равно

заставили.

Дядя Рудольф над ним от всей души потешался. Он, конечно, был к жизни более приспособленный, чем отец. Когда спустя какое-то время поехал туда же, понавез своей жене тете Асе массу подарков, а нам с мамой по паре чулок — по тем временам роскошь.

Как-то принесли мне «достоверную новость»: у твоего папы в Центральном парке в Нью-Йорке закопано 20 миллионов долларов. У отца, сам мне рассказывал, были накопления. Но часть конфисковали американцы, и даже когда после возвращения на Службе предложили за них побороться, он отказался. А все остальное, хотя и из Центра на это тоже как-то через ГДР переводили, ушло на судебные издержки. Потому что в США всё, даже служебные материалы папиного процесса, печаталось на его деньги. Не осталось ничего от личных сбережений. Он не был бизнесменом, как Конон Молодый, который в Англии даже от денег из Москвы отказался, так наладил свои торговые автоматы. Есть у человека талант, а у папы — нет. Сначала что-то в Нью-Йорке пытался, но ничего кроме неприятностей. Он понял и больше не лез. Не любил бизнес, и не умел, не его это было амплуа. Деньги копить мог только самым примитивным способом — не тратить. Особенно после того, как где-то году на третьем-четвертом тамошней нелегальной жизни остался на полной мели. Он же на государственную службу не ходил, зарплату ему они не платили, и вдруг — со связью перебои. (Об этом подробнее в главе о связнике Фишера — полковнике Ю. С. Соколове. — Н. Д.) Вот и решил копить — это после того, как полгода насиделся без денег. Если опять что-нибудь случится, то хоть не голодать. А то говорил нам с мамой, что наступали дни, когда денег хватало на покупку в дешевом супермаркете хлеба и джема — не больше 200 граммов. Но появлялись деньги, и он покупал себе хорошую вырезку, любил маринованные овощи, хотя для скорости предпочитал готовить из полуфабрикатов.

Но я должна сказать честно, что папина Служба его в денежном вопросе не оставляла. Может, видела тут некоторую его даже не бескорыстность, а беспомощность? Выделили после возвращения из США 25 тысяч рублей в виде компенсации. Пошли у нас в семье разговоры, как получше использовать. Я говорю прямо: никогда ни до, ни после денег таких в семье не было. Новая квартира на проспекте Мира ему не понравилась. Получили мы ее, когда он находился там: сами въехали, сами, как смогли, оборудовали. И остался папа без своего уголка, где в старом жилище копался в радиодеталях и прочих железяках.

Хотели было перегородить, но вы же видите, что в этих двадцати семи метрах выгородишь.

Возникла идея купить машину, которой у нас в жизни не было, чтобы ездить на дачу. В случае чего можно и продать. Вклад денег в те годы хороший.

А папа настоял: переоборудуем дачу. Несколько раз повторял: «Зачем мне с этой вашей машиной еще одна лишняя головная боль». И мы все согласились. Ведь мы же по натуре — люди дачные. Наняли рабочих, они долго корпели над надстройкой. И получилась она практичной, нужной, была для отца как убежище, где он проводил много времени.

…Зато повар — отличный

У нас дома праздники отмечали особо. Отец знал, что ему предстоит быть здесь главным не только за столом. В самый нужный и решающий момент он появлялся и на кухне. Но до этого мы с мамой обеспечивали ему фронт работ. Вряд ли папа, вечно занятой, даже догадывался, каких усилий стоила закупка продуктов.

Ведь после войны с этим было худо. Только по карточкам или в коммерческом магазине. Цены там — ужасные. Не по нашим зарплатам. Приходилось набирать заказы. Вязали всё, что нам заказывали, — и платья, и жакеты… А потом занимали очередь в коммерческий. Отстаивали и покупали сахар, масло и мясо. Обязательно брали баранью ногу или телячью.

Жарить ее в духовке доверялось папе. И он, и мы считали это его святой обязанностью. А так он появлялся на кухне только тогда, когда требовалось что-то прокрутить или взбить.

С мясом отец любил поэкспериментировать. Всегда пробовал что-то новое, необычное. Я помогала ему с рецептами.

А в обычные дни мы собирались в Москве за столом только вечерами. Обед был общий, за стол садились все вместе. И если блюда запаздывали, то папа успевал еще и решить пару кроссвордов из «Огонька».

Когда он был там, еще до тюрьмы, мы с мамой волновались за его желудок. Но в отпуске папа нас успокоил. Оказывается, покупал полуфабрикаты и быстро сам готовил. С чем с чем, а с продуктами у него в командировке проблем не возникало.

Но сразу после возвращения случился казус. Возвращаюсь с работы, а дома — настоящий чад. Мама от всех переживаний приболела, и за готовку взялся папа. Но за годы отсутствия от наших реалий отвык. Съездил на рынок, купил вырезку и жарил в

духовке. А она у нас не такой конструкции, как в Нью-Йорке, где он у себя на кухоньке хозяйничал. И вместо мяса — угли. Дым рассеялся, и отец со свойственной ему дотошностью на следующий день во всем разобрался. С его точки зрения, нашенская модель была для приготовления мяса непригодной. Однако со временем приспособился, и вскоре мясные блюда снова появлялись на столе в основном в его поварском исполнении.

У нас была даже книга семейных рецептов. Вела ее в основном я, но и отец туда заглядывал. Некоторые рецепты, по понятной причине, на английском языке. И в фунтах, унциях и иных непривычных для многих, но не для нас с папой, мерах.

Перед приходом гостей он утверждал предложенное мною и мамой меню. Все работали, и по заведенному порядку блюда готовились накануне праздника, обычно поздно вечером, случалось, и глубокой ночью. Если торжество, а так в последние года чаще всего и бывало, устраивали на даче, отец терпеливо сидел у себя наверху. Мы заканчивали, звали, он спускался и снимал пробу. На полном серьезе, приходилось иногда что-то добавлять, подсыпать.

А уже прямо перед приходом гостей папа сам жарил картошку. Резал всегда острейшим ножом и быстро-быстро. Но сначала в сковородку наливалось подсолнечное и только подсолнечное масло, сковородка разогревалась. Туда бросались толстые брусочки картошки толщиной в палец. Закрывалось все это крышкой, и папа содержимое встряхивал, будто сбивал коктейль. И под крышкой из этого получалась его поджаристая, но не сухая картошечка.

К приему гостей относились с почтительным уважением. Дом наш был хлебосольным. И отец любил принимать гостей. И все же выходило почему-то всегда так, что приезжали только люди с его работы. Смотришь, народу много, и прямо одни чекисты.

Давайте без сантиментов

Мы не чувствовали в 1948-м, что отец готовится к отъезду. У нас в доме никогда не было разговоров на эту тему. Он у нас так часто уезжал, правда относительно ненадолго, что еще одна командировка, пусть и длительная, была частью его работы. Никогда, ни в каких ситуациях бесед на эту тему не велось. Даже когда предстояла разлука на годы.

Правда, позже я поняла, что не случайно он все чаще стал наезжать в Прибалтику. (В США нелегал приехал по паспорту литовца Кайотиса. — Н. Д.) Но это уже когда я поняла, что он в

Америке. И почему-то не припомню, когда я об этом узнала.

Быть может, мама догадывалась. Возможно, они вели между собой какие-то разговоры, но какие именно, не знаю. Я их не слышала.

Однажды отец сказал нам просто и даже буднично, как само собой разумеющееся, чтобы не было охов и ахов: уезжаю в командировку. И все. Хотя никаких сетований быть и так не должно было.

Даже не предупредил, что на годы, а вышло — на 14 лет. Уехал, и потом шла только очень редкая переписка. Тоже своеобразная, но вполне нам с мамой понятная. Сначала даже не звонили — у нас и телефона не было. Потом поставили и стали звонить с папиной службы: завтра придут. Когда разрешали, писали папе письма. Короткие, как рекомендовали. И человек всегда приходил. Сейчас я затрудняюсь сказать, насколько часто эти люди появлялись — периодически. Мы с ними разговоров не вели. Да и менялись они с ходом лет. Кто год, кто больше. Я подсчетов не вела. Но посланец обязательно объявлялся, по-моему, раз в месяц. Приносил папину зарплату и, что важнее, письма от отца. Мы отдавали им свои. Но вот здесь, в его письмах, регулярности не было. И фотографий оттуда он никогда не присылал.

Мы читали, но без всяких сантиментов — у нас не сентиментальная семья, не принято в доме разводить слюни. Изредка заходили сослуживцы. Бывали три мамины давние подруги. Очень часто — дядя Рудольф Абель.

Сложно было. И на работу надо устраиваться — с моей фамилией и с непонятным местом нахождения отца. Но помог бывший сослуживец отца Маклярский. (Даже все знающая Эвелина тут ошибается или сознательно темнит: Маклярский не был «бывшим». Опытный чекист, он «работал по интеллигенции». Судя по отзывам, был человеком не только понимающим, но и доброжелательным, искренним. Так что попала Эвелина Вильямовна в надежные руки. Помогла в ее трудоустройстве отцовская Служба. — Н. Д.)

Отец уехал в 1948-м, в отпуске за все эти годы был только раз — в 1955-м. Скучали? Да, скучали.

За неделю или, может, за две до отпуска нам сказали, что приезжает. Самолет опоздал по случаю плохой погоды. Но все-таки мы его встретили во Внукове. Рейс был почему-то из Вены. Понятия не имею, как он туда приехал, под какой фамилией. Нам разрешили его встретить уже в общем зале, где все.

На служебную машину — она тоже опаздывала — и сразу домой. Пока ждали, отец с мамой закурили. И я — тоже. Тут папа

недовольно буркнул маме: «Вся в тебя». Я даже удивилась, ведь уже взрослая, иняз свой закончила, работала.

Но как радовалась — семь лет без папы! Только вида не подавала. Нельзя было, не принято. И не сказала бы, что выглядел он тогда плохо. Только усталый очень.

Дома потом встретился с товарищами. Сначала несколько человек, затем осталось лишь двое. Какой-то сотрудник, фамилии которого я не то что не помню — просто не знала. (Как выяснилось — давний друг, еще с 1938-го Павел Георгиевич Громушкин[8]. — Н. Д.) И дядя Рудольф Абель.

Бурных чувств никто не проявлял. Все — обыкновенно. Папа был человеком очень сдержанным, и мы тоже старались. Единственное, когда становился вспыльчивым, когда возмущался, то делал это исключительно бурно. А все остальное — нет.

Привез нам всем подарки. Часы — маме, мне и Андрюше, сыну моей двоюродной сестры Лиды. Часы отличные, швейцарские, где-то они у меня на даче до сих пор ходят-бродят.

И никаких рассказов, особых тем. Полный молчок о работе. Да мы и не ждали. Даже не помню, на каком языке мы с ним говорили — кажется, сразу на русском. И особого акцента — говорят, он у нелегалов, на годы от дома оторванных, появляется — я не заметила. По-моему, по-русски отец говорил с удовольствием. Схватился за газеты, поначалу читал все подряд. Но через несколько месяцев как-то пресытился, остыл.

А вот к концу отпуска папа, сидя в шезлонге на даче, вдруг разговорился. Очень переживал: просил отозвать одного сотрудника, который был серьезно болен, и второго — связного Вика, который пил горькую и, в конце концов, его предал.

Он приехал в конце июля или, постойте, в начале августа. И мы в основном жили на даче. Добирался он на работу и возвращался в Челюскинскую электричкой. Что-то не припомню, чтобы присылали за ним служебную машину.

Успели съездить в любимые его места — в Осташков, в Кувшиново. Какое-то время оставались в Москве, видимо, готовился к отъезду.

Потом уехали в Ленинград недели на две. Отец привез фотоаппарат «Лейка» и учил меня в Питере им пользоваться. Много мы там снимали. Есть питерская фотография: моя двоюродная сестра из Ленинграда — дочка маминого брата, мама и папа сидят на берегу Невы спиной к воде. Это я снимала, той самой «Лейкой». И еще одно известное фото, которое во многих книгах. На даче, в шезлонгах. Там папа, дядя Рудольф, дядя Вилли Мартенс. И мама, жены Мартенса и дяди Рудольфа — тетя Ася. Это тоже я снимала. А вы наверняка и не знали. Теперь вот и

авторство установлено, а для вас еще важнее, что и персонажи.

Отец, по понятным причинам, общался с кругом людей довольно узким. Приходили дядя Рудольф и дядя Вилли Мартенс. Да и больше друзей у нас особенно не было. Слишком широкий круг при его профессии не поощрялся. Только свои. Но нам хватало, да тогда я, да и никто об этом не думали.

Мы и по театрам не ходили. Театралов у нас в семье не было, все любили сидеть дома. Поэтому никаких проблем с премьерами, с походами по ресторанам и прочими развлечениями не возникало. Мама, я вам говорила, раньше трудилась в оркестре арфисткой. Совсем тяжелое занятие, которое не располагает к тому, чтобы потом возникало желание шататься еще и по премьерам и всяким таким вещам.

Но вот в Питер поездом съездили хорошо. В купе были втроем. Думаю, это в папиной Службе его на всякий случай поберегли, выкупили и четвертую полку: отец, мама и я. В Ленинграде обошлись без гостиниц: жили у маминых родственников.

Отец был такой человек, что проявлений специального внимания не терпел. Предполагаю, отказался и от опеки ленинградских коллег. Никто нас никуда не возил, по ресторанам не таскал и ничего нам не показывал. Всё сами. Ходили несколько раз в Эрмитаж: только в картинную галерею. Смотрели Рембрандта, в основном самые любимые картины папы. Ну и маминых драгоценных итальянцев тоже посмотрели.

Никаких новых знакомств. Не нужны они были, нельзя, да и ни к чему. Ну, встречались с маминым другом детства. Он — художник, преподавал в Академии художеств. И с ним папа очень дружил, у них была масса разговоров на живописные темы. А на политические он в ту пору совсем не говорил.

После Ленинграда папа сказал, что настает время отъезда. Я даже немного растерялась. Спросила — когда, оказалось — уже на следующий день. Сообщил вот так накануне, может, чтобы не было ненавидимых им соплей. Шел, если не ошибаюсь, декабрь 1955-го. Четыре с лишним месяца дома, с нами. Мы были научены так, что и это — счастье. Провожать его нас не пригласили. Провожать — это не встречать. (Провожать поехал все тот же Павел Громушкин. — Н. Д.)

Вскоре после его отъезда, в 1956-м, я вышла замуж. В 1957-м ждали, что отец должен скоро вернуться. Но прошло немного времени — и трагическая весть об аресте.

Обмен

— Эвелина Вильямовна, а как вы узнали об обмене, и каким образом он происходил? Об этом множество раз рассказывалось, но хотелось бы понять, что в те дни испытывали вы с мамой? Да и версии об обмене гуляют самые разные. Давайте начнем с того, как вам сказали: надо ехать в Берлин.

— Позвонили мне на работу и сообщили, чтобы я срочно возвращалась домой: в Берлин вы с мамой выезжаете завтра. На работе в ЦАГИ мой начальник успокоил, чтобы я не волновалась и оставила ему заявление об отпуске за свой счет, а он все сделает, и я могу идти домой. Моментально мне все подписал. Надо сказать, он был человеком не только приятным, но и понимающим. И тут тоже быстро сообразил, что тут нечто такое будет происходить…

Мы поехали, и сразу началась масса всяких приключений. В Бресте выяснилось, что в Штутгарте оспа, а у нас нет прививок. В Бресте на вокзале нас заставили привиться — маму, меня и папиного начальника, куратора Владимира Дмитриевича Капранова, который нас сопровождал. У меня, как всегда, оспа не привилась, а у Владимира Дмитриевича даже очень хорошо, и он потом основательно чесался.

Приехали мы в Берлин. Возили по городу, и я почему-то обязана была запоминать, как, откуда и куда проехать: вдруг мне бы пришлось с кем-то из американцев встречаться одной.

Я с трудом, однако твердо запомнила, где живет наш адвокат. Оказалось, это тот самый Фогель, которому мы с мамой писали. Правда, выяснилось, что он не говорит по-английски, и как в случае чего общаться с ним, я понятия не имела.

Была масса всякой суеты. Нас готовили: через несколько дней должен был заявиться из США Донован — папин адвокат. Приехал он в советское посольство перепуганный до смерти. Очень переживал, боялся, что с ним что-нибудь произойдет. Я так и не поняла, за что он переживал, а спросить не решилась. Не к месту пришлись бы мои расспросы. Но объяснили мне: боится.

— На английском с ним говорили?

— А на каком же еще?

— И напрямую, без переводчика?

— Да. Я сказала Доновану, что я — дочь полковника Абеля, мама — что жена. Но он не поверил, решил, что я сотрудница КГБ, а мама — актриса, нанятая для исполнения роли.

— А какую роль играл Юрий Иванович Дроздов?

— Он изображал моего кузена Юргена Дривса. Но это вы его спросите.

— Существует знаменитое фото — вы, мама, ваш «кузен» Дроздов на пороге советского посольства.

— На этом фото, между прочим, и Донован. И он сразу сказал, что может доставить папу в Берлин — уж не помню, через сутки или через двое, как только договорятся об условиях обмена. А наши думали, будто Донован приехал в Берлин зондировать почву. И, насколько я понимаю, были абсолютно не готовы к разговорам об обмене, полагали, все работают по тем же нашим методам. Оказалось, что не все.

Всех провели к послу. Там и начались переговоры. Потом мы встречались с немецким адвокатом Фогелем, который представлял там наши интересы.

— И какое впечатление на вас произвел Донован?

— Сказать, что я была как-то потрясена его личностью — не могу. Я с ним почти не разговаривала. Он был толстый, красный. Лицо — цвета свеклы. Наверняка с давлением, да и со здоровьем не в порядке. И напряжение огромное. Я задавала ему вопросы, которые мне было поручено задать. Спросила, зачем он приехал, и он ответил, что вести переговоры об обмене. Других вопросов у меня в запасе не было, о чем дальше с ним разговаривать, я не знала и пыталась, как это принято у англичан, поговорить о погоде.

— Он поддержал погодную тему?

— Как вежливый человек.

— И был он интеллигентен?

— Ну, в общем, более или менее — да.

— Настроен доброжелательно? Это же всегда чувствуется.

— Чувствовалось, что он не в своей тарелке, поэтому чувствовать ничего другого я не могла. Да и я была не в своей тарелке.

— А как все это переживала ваша мама?

— Точно так же. Мама была на встрече один раз — в посольстве. А потому у адвоката Фогеля не присутствовала.

— Эвелина Вильямовна, а не припомните Юрия Ивановича Дроздова — то бишь вашего кузена? Значит, и общаться с вами он должен был при Доновaне по-семейному.

— На Западе по-семейному — совсем не то, что в России. Там это не обозначает, что нужно все время обниматься, лобызаться, хлопать друг друга по плечу и повторять — ах ты моя лапочка или нечто в таком духе. Там это не принято.

— Юрий Дроздов, он же кузен Дривс, — по легенде немец. Дроздов знал немецкий в совершенстве, вы — говорили по-английски. А на каком языке вы с кузеном общались при Доновaне?

— При Доновaне — ни на каком.

— Тогда с какого бока возник кузен?

— Вы спросите Дроздова. Но мы с ним в присутствии Донована не разговаривали. Поймите, у нас не было разговоров на троих. Мы не сидели за столом…

— Но не стоя же шли переговоры в посольстве? Тема серьезнейшая: далеко не каждый день СССР и США меняют своих разведчиков.

— Мы сидели в посольстве в какой-то прихожей. Была небольшая комната. Набились непонятные люди — довольно много народу, сотрудников посольства. И на нас с мамой обращалось мало внимания.

— А что обсуждалось у адвоката Фогеля? Ведь, по идее, он обязан был вас инструктировать, наставлять, да и вы тоже должны были что-то спрашивать.

— Фогель по-английски не говорил, Дривсу Юргену, по-моему, тоже было здесь сложновато. Я тоже вроде как немка. Насколько американец Донован знал или не знал немецкий язык — нам было неизвестно. Значит, задача заключалась в том, чтобы Дривс переводил мне с немецкого на английский, а я переводила с английского нашему адвокату Фогелю и этому Доновану. Деталей переговоров я не помню, потому что все это было безумно сложно.

— Представляю.

— Вряд ли. Ведь мне нужно было еще понять, что говорит Фогель, потому что я не была уверена в том, что Дривсу в этой сумятице удастся в подробностях перевести мне слова адвоката на английский.

— Какой наворот!

— Конечно, ведь русский исключался.

— Хорошо, но прошли тяжелый день и вечер, а дальше?

— Дальше начались ожидания решения из Москвы. С самого начала наши неправильно поняли, и когда я намекнула, что поняли неправильно, на это внимания не обратили.

— Что неправильно поняли?

— На сколько человек меняют папу. Потом выяснилось, что американцы хотят менять не на двоих, а на троих. Не только на Пауэрса и содержавшегося в тюрьме в ГДР американского шпиона Прайора — тот получил восемь лет. А еще и на третьего — в Киеве сидел какой-то их студент, тоже попался на шпионаже. Ну, тут и началась суета. Уже вроде и день обмена назначен, но у нас со стороны Москвы — неправильное решение: на двоих, а не на троих. А перерешать — нужно беспокоить Хрущева, а Хрущев отдыхает, и все боятся к нему обращаться, когда он на отдыхе. В конце концов позвонили Хрущеву, он дал добро. И все обошлось. Воспоминания у меня обо всем этом…

— Тяжелые? Неприятные?

— Не то что тяжелые… Меня многое тогда раздражало. Хотели, как лучше, получилось — как всегда.

— Не были готовы к жестким требованиям — троих за одного?

— Не в этом суть. Дело в том, что с самого начала они не были готовы. Еще в Москве решили, что Донован уполномочен лишь вести переговоры. Но выяснилось: ему доверено и принимать решения, так что обмен — через два дня. Вот тут и оказалось, наши — не готовы. Потому что мы — не собирались. А собирались мы делать так, как у нас принято — полгода чесать в затылке. Потом еще полгода размышлять. Потом лет пять — зондировать почву. Как вообще всегда у нас делалось. Зато потом быстро и раз-раз, а сделать надо было — позавчера. Значит, тяп-ляп и как получится. Поразительно просто! Однако больше всего меня поражает: никакого опыта не приобретается.

— Но все-таки кто-то позвонил Хрущеву, решился. Не знаете — кто?

— Кто-то решился. Подробностей не знаю. Думаю, их не знает сегодня никто.

— Давайте вернемся чуть назад. Вы поговорили с Фогелем и Донованом. Что-то решилось. Вы передали, что хотят менять на троих. Хрущеву позвонили. А дальше? Вы жили в гостинице?

— Мы жили в Карлсхорсте. Понимаете, нам никто ничего не докладывал. Но мы чувствовали, что-то там идет, движется.

Потом нам стало известно, что на завтра назначен обмен. Но нас туда не взяли, а повезли по магазинам. Хотя мы с мамой совсем не большие любительницы. Да и до магазинов ли нам? И приехали мы с большим запозданием. А там все бегают по переулку в панике. Мы с мамой получили большое удовольствие. Вышла маленькая такая месть. Машина наша остановилась, мы вышли — и встретились с папой.

— Долго еще оставались в Берлине?

— Уехали на следующий день поездом. Вместе с кем-то из его Службы быстро купили папе какую-то относительно приличную одежду. Не ехать же в Москву в тюремной.

— А что было в дороге?

— Ехали мы и ехали. Он был рад, что наконец дома.

— Были с отцом какие-то откровенные разговоры?

— Что вы называете откровенными разговорами?

— Ну хорошо, как вы нашли отца? Здорово исхудавшим?

— Похудевший был, да. Но он сказал, что это невкусно кормили.

— Рассказывают, американцы так боялись, что он и из

тюрьмы, из плена что-нибудь привезет, добудет — даже костюм на нем весь изрезали.

— Это абсолютная ерунда. Когда он приехал с обмена, на нем был костюм новый и пальто новое. Но, как бы это вам объяснить, одежда та, что выдают при освобождении заключенного, даже не какая-то тюремная, а казарменная что ли, дешевая. И коричневого цвета. А отец ненавидел коричневый цвет.

Абель и Кренкель

В одной из книг известного полярника Героя Советского Союза Эрнста Кренкеля приводится вполне достоверный эпизод. Случайно столкнувшись в 60-е годы со старым товарищем еще по Красной армии чекистом Абелем около здания на Лубянке, Кренкель спрашивает моего папу: «А ты кем здесь работаешь?» И получает в ответ: «Музейным экспонатом». Конечно, Кренкель, служивший с отцом в радиобатальоне, знал его настоящую фамилию. Он бы с удовольствием написал, что жил в казарме с Вилли Фишером и были они друзьями. Но нельзя было. И Кренкель, необычайно понятливый и очень умный, пишет в своих воспоминаниях «Абель». Может, отсюда и пошло какое-то непонимание: еще во время военной службы в 1925-м Вильям Фишер взял имя Рудольфа Абеля? Даже профессионалы меня об этом спрашивают, да так часто, что устала и разубеждать… Встретившись спустя много лет, Кренкель и папа снова стали дружить. Он приезжал к нам, мы были у них на даче. У меня от Кренкеля осталось великолепное впечатление, как от человека интеллигентного, независимого.

Конечно, не без комплексов. Эрнсту, к примеру, страшно нравилось, что у него всего лишь незаконченное гимназическое образование, а вот в жизни добился все-таки многого. Даже любил этим прихвастнуть.

Рассказывал, что он и еще один знаменитый полярник, академик Федоров, с которым мы тоже познакомились, недолюбливали своего бывшего начальника Папанина и никогда с тем не общались.

Со слов Кренкеля помню, что когда они вернулись со льдины, им было предложено звание почетных академиков. Но они отказались: академическое звание прилипает на всю жизнь, а они рассчитывали стать академиками настоящими…

Новые хобби нелегала

Раньше отец собирал из всего, что только ни попадалось под руку, радиоприемники, столярничал, изобретал. Однажды на моих глазах из электрического нагревателя мгновенно изготовил решетчатый прибор для поджаривания хлеба. Часто сам хлебцы и поджаривал. Получались они у него тонкие, хрустящие.

Только вот сил у него после возвращения поубавилось. Я была поражена. Ему все знакомые по-прежнему, как до отъезда, тащили радиодетали, еще чего-то всегда такое любимое. Он вежливо благодарил, в первое время пытался что-то мастерить. И, знаете, бросил. Зрение и без того слабое, подсело. Уставал от физической работы быстро. Радиодетали выбрасывать запретил, он вообще терпеть не мог что-либо выбрасывать, расставаться с чем-то, что еще могло пригодиться. Есть в этом что-то немецкое, правда? И лампочки, транзисторы… так и пылились по коробкам. После его ухода я годами раздавала все это, от него оставшееся. По-моему, брали скорее в качестве сувенира, на память. Потому что в Америке он все-таки отстал от всего нового, от всей этой радиоэлектроники, наверстывать не слишком и хотелось.

Рубанок оставался непременной частью его убежища наверху. Только брался за него все реже: повредил руку электрической пилой и перестал чувствовать пальцы. Сделал на своем втором этаже книжные полочки. Спустил вниз, и все мы — папа в первую очередь — расстроились. Не такие они были изящные и выточенные, как раньше. И на этом столярничание почти прекратилось.

И игра на гитаре, которую неплохо освоил в Нью-Йорке, тоже. Признавался: «Не чувствую я струну».

Или появились иные интересы? Меня обучал освоенной в американской тюрьме шелкографии. Давал читать по ней книги на английском. Рассказывал и показывал. Однажды даже пригласил нескольких знакомых художников. Не лекция, а так, агитационный курс: при шелкографии можно обойтись без тяжелых прессов, печать в домашних условиях более удобна, не требуется литографии… А сколько возможностей для экспериментов, поисков нового, за которым отец всегда гнался! Все слушали, кивали. И никто, ни один не клюнул. Папа, возможно, не сознавал, что просто боятся. Художники были профессионалами в своем деле, понимали: ну его, вдруг нарвешься, множительную технику, без которой шелкография не мыслима, в частных домах иметь без специального разрешения запрещалось. Чуть что — и затаскают, пойди оправдывайся.

Зато отводил душу в математике. Он и к ней особо пристрастился в тюрьме, в Атланте. Алгебра, доказательства недоказуемых уравнений, теория чисел. Упражнения для гибкого

ума и никакого физического напряжения, дававшегося ему с каждым годом все труднее. Зато сколько закупленных тетрадей в клеточку, все — от начала до конца — с типично его аккуратностью исписаны столбиками выведенных папой чисел.

Чаще по вечерам раскладывал пасьянсы. У нас они считались увлечением семейным. И тут папа по-настоящему пристрастился и внес свое, как обычно, новаторское. Придумал методики, правила. Если честно, мне не всегда понятные. Очень уж непростые, чересчур сложные.

Занимались и фотографией. В дальние походы с нашей «Лейкой» отправлялись реже, но если уж куда-нибудь выезжали — в отпуск или на выступления по приглашению его коллег из областей или республик — отец брал фотоаппарат всегда. Качество — всегда отличное, но с течением быстро идущих лет проявленных и отпечатанных снимков становилось все меньше.

Годы, болезни, переживания… А что вы хотите?

Писателя легко обидеть

А когда папа уже вернулся (из США — ну ни разу за наши встречи не сказала Эвелина «вернулся из США» или «отправился в Штаты»! — Н. Д.), случилась такая история. Потянуло его на литературную деятельность. Тогда только начали издавать журнал «Кругозор». И вот в первых номерах он написал повесть. Вместо имени автора — «Полковник ***». Там описывалась та самая радиоигра, которую они вели с немцами. Если не ошибаюсь, сюжет таков: кажется, в партизанский отряд попадает взятый в плен немецкий офицер. И его уговаривают вести радиоигру со своими. В результате наши получают оружие, посылки, им высаживают немецкий десант. Прямо как в той, настоящей, операции.

Но с повестью получилось нехорошо. Потом некий человек написал по ней сценарий, и на телевидении сняли фильм. И без всякого отцовского ведома. Папа попытался возникнуть и возмутиться. Но ему сказали: подумаешь, «Полковник ***», тоже мне, псевдоним! И на этом вопрос был закрыт. Отец был очень недоволен. Конечно, обидно.

Я считаю, что это был плевок в лицо и совершенно нахальный. Попался бы мне этот сценарист, я бы ему пару слов сказала, причем с большим удовольствием. Что воровство — занятие нехорошее и наглое. Но вступать в ссоры, доказывать что-то жуликам… Все это было ниже отцовского достоинства. Да и дел у него всегда было много.

Потом в журнале «Пограничник» была еще одна повесть — «Конец черных рыцарей». Но совершенно другой сюжет, разные истории. А затем и пьесу по телевидению поставили. Отцу и пьеса, и особенно актриса из театра Моссовета, в ней сыгравшая, понравились.

Полковник хмурился

Отец очень болезненно воспринимал отставку. Все произошло абсолютно неожиданно. Он пошел подавать заявление об отпуске, а ему мимоходом так, хотя и вежливо, говорят: вам надо не в отпуск, а на медкомиссию и на пенсию. И сказала чуть не какая-то мелкая секретарша, кто-то совсем незнакомый из кадров. Приехал на дачу совершенно ошарашенный. Был очень огорчен именно этой фразой. Тяжелейший наступил момент. Уходил и вроде оставался преподавать, учить. Не его это было.

Мама ему всегда, когда он приезжал грустный с работы: «Вилли, что случилось?» И он начинал рычать. Я никогда ни о чем вопросов никаких не задавала. Зачем мне нужны были его рыки? Приспичит, и сам скажет. Промолчит — значит, не надо.

Мы были очень близки как раз тогда, кое-что стало просачиваться. Иногда даже произносилось некими туманными фразами. (В конце своей жизни Вильям Генрихович стал откровеннее — как и многие другие люди, в конце своей… — Н. Д.) Мне он ничего не докладывал, но ощущения, домыслы мои такие: отец вообще был недоволен тем, как складывалась у него судьба после возвращения. Какие-то нотки этого, или мне кажется, прозвучали еще во время отпуска в 1955-м. Отпуску был рад, но возникло у него чувство, будто новое начальство решило посмотреть на него, удостовериться, понимаете, не усомниться, а удостовериться в благонадежности. Уезжал-то он в 1948-м…

Его прямой, уже после возвращения, начальник Дмитрий Петрович Тарасов в книге «Жаркое лето полковника Абеля» всех этих моментов избегал. И почему Абеля? Уж Тарасов-то знал, что папа — никакой не Абель! Я на полях его воспоминаний поставила немало пометок, потому что отец и жизнь учили меня точности.

(На книге, которую полковник Тарасов подарил моей собеседнице, посвящение каллиграфическим почерком: «Эвелине Вильямовне Фишер — любимой дочери прославленного разведчика, товарища “Марка”. Дорогая Эвелиночка! Прошу принять на добрую память эту книгу, как свидетельство моей глубокой благодарности и сердечной признательности Вам за

консультации, позволившие лучше узнать незабвенного Вильяма Генриховича и всю Вашу замечательную семью. Большое Вам спасибо! От всей души желаю Вам доброго здоровья, успехов в Вашей творческой работе, полного благополучия во всем. С сердечным приветом и неизменным искренним уважением к Вам, Д. Тарасов. 7.III.1998». Искреннее и не придумаешь. — Н. Д.)

Отец мог остаться на прежней должности, а занимался передачей опыта — так говорили у него на работе. Но папа считал, что как раз-то его опыт используется недостаточно. Ощущалось в нем чувство неудовлетворенности.

Ни одной фамилии никогда не называлось. Но вырывались какие-то обрывки, по которым и судила. Иногда вроде мелочи. Они с Кононом Молодым что-то там делали по общественной линии, вроде как профсоюзы или нечто похожее, хотя не знаю, какие у них там профсоюзы. И вот под праздник, то ли 7 Ноября или Новый год, им поручили распределение продуктовых заказов: палка дефицитной колбасы салями, несколько коробок лосося, шпрот, бутылка сладчайшего «Советского шампанского» и даже почитаемые в нашей семье крабы. Распределили, получили, а потом выяснилось: заказы кроме начальства достались только папе и Конону. Они оба пошли куда-то выяснять. Но куда и что? Им объяснили: руководителям и им двоим, наиболее заслуженным. Оба вернули свои заказы. Почти уверена, зная отца: заводилой был Молодый. Тот в разговорах никогда и не скрывал, что все это ему не нравится. Отец больше молчал, хотя, я видела, в душе переживал, тяготился. А тут по местным отработанным понятиям чуть не восстание. Как же, два обмененных нелегала, и вместо благодарности — «возьмите обратно». Начальству исключительно неприятно!

Между собой они с Кононом вели некие философские споры. Хотя Конон рубил сплеча, а отец осторожно сомневался. Они много чего повидали, и папу занимали скорее экономические размышления. Долго обсуждалось: как это «перевыполнять план»? Непонятно им казалось, особенно Молодому, почему за его выполнение выдают премии. Отец добавлял: «Это ж не изобретение». И третий пункт экономической платформы: как можно реально изготовить нечто из сэкономленного? Оба — марксисты, коммунисты, но Конон считал, что так государство имеет шанс и разрушиться. Но эти беседы, в которых отец был крайне сдержан, осторожен, велись только ими вдвоем, изредка в нашем с мамой присутствии.

Бывало, приезжали генералы к нам домой на проспект Мира. Всех усаживали за стол вот в этой большой комнате. И отец тщательно следил, чтобы за столом помещались все: помощники,

сопровождающие. Однажды спросил: а где же шоферы? Узнав, что там, внизу, спустился, привел их, усадил с нами. Нельзя сказать, чтоб это вызвало восторг у начальства, но уразумели, поняли и с тех пор к нам в двухкомнатную стали подниматься с водителями.

Однако отец не был таким неисправимым романтиком, как до конца дней коммунизму верный его подопечный из «Волонтеров» Моррис Коэн. Тот всерьез умилялся, какие чудесные в Советском Союзе дети: сидят спокойно с кучей авосек, никуда не бегают, ждут терпеливо, когда мать отстоит в очереди в гастрономе за очередным батоном колбасы. У отца было иное мировоззрение: правильное, но свое. А Коэн оставался до последних дней человеком идеи (это уж точно — верил в коммунизм свято и меня убеждал: все равно победа — скоро. — Н. Д.). Его жена Лона тоже поначалу была такой же. Когда отец с Кононом им что-то тихо, деликатно втолковывали, Коэны прямо им говорили: «Мы вам не верим». Но Лона, как женщина практичная, в житейском плане более сообразительная, адаптировалась к нашей действительности быстрее. Когда их с Моррисом засовывали в стеклянную двушку на проспекте Калинина (сейчас Новый Арбат. — Н. Д.), она не постеснялась поспорить с председателем КГБ Андроповым: «Юра, мы столько лет отсидели в тюрьме, и что?» Им дали нормальную трехкомнатную квартиру на углу Большой и Малой Бронной, где хоть жить было нормально. Пусть там лестниц не было и на второй этаж к ним мы всегда только на лифте. Сломался лифт, и жди, когда откроют пожарные лестницы. Или не убирали даже в престижном доме площадок, жильцы развели тараканов, и нелегал Лона Коэн вытащила их всех звонками на лестничную клетку: «Что ж вы делаете? Давайте мыть пол по очереди». И не терпела, когда ей хамили в магазинах. А кассирша видит, что иностранка, следовательно, никакой сдачи. Возьмет Лона лишнюю бутылку кефира, и все на нее набрасываются: не положено. И Лона все относительно быстро раскусила, трезво смотрела на вещи, хоть она так и ушла коммунисткой, а Морис — идеалистом.

А мой отец — нет. Как-то смотрели по телевидению «Операцию “Трест”», и папа, когда что-то ему не понравилось, отпустил пару колкостей по поводу сегодняшних отношений. В то время «сотрудники были поинтеллигентнее». Еще заметил: «Сегодня бы в “Трест” поверили вряд ли. Тут не вина разведки. Люди верить разучились».

Кренкель правильно замечает, что Абель с горечью сказал, что работает «музейным экспонатом». Его в последние годы действительно таскали, как экспонат. Не его это роль — «свадебного генерала». Были мы раз на Лубянке, там подальше

огромный клуб имени Дзержинского. И не помню уж, на каком торжестве папа даже пошутил, но горько: «Ты тут останься. Иду украшать президиум». Сидел там, читал доклад. Подозреваю, что половину текста, нужного для произнесения, ему писали, а ему приходилось озвучивать. Например, «Я, Абель Рудольф Иванович, родился в Петербурге в семье рабочих». Липа и вранье, бред собачий — но даже в некрологе в «Комсомольской правде» та же ложь. Не давали рассказать, где родился, кто отец с матерью. Он надеялся, что вот приехал, вернулся и перестанет быть Абелем, очень хотелось снова превратиться в Фишера. Ему не дали, и это очень тяготило. Не понимал: почему? Повторял: «Мне больше никуда не поехать. Пора жить под своим именем». Сердился, стараясь не показывать вида, когда соседи по даче, знавшие его еще с довоенных времен молодым Вилли, начинали величать «Рудольфом Ивановичем». Терпеть не мог, когда вдруг так обращались сослуживцы по новому отделу.

Однажды, но это уже в самом конце, на даче долго сидел на диване расстроенный. И вдруг рубанул, но чтобы слышала только одна я: не нравится, как оценивают работу разведчиков. Почему по количеству завербованных агентов? Ведь это ж ни в коей мере не определяет, насколько успешно идет работа. Я промолчала, и на этом разговор закончился.

Никогда, клянусь, не говорили, не упоминали двух тем: о присвоении генеральского чина и звания Героя Советского Союза. И я вас прошу, если высидите, выпишете свою элегию, то обязательно про это упомяните! Это прямое мое условие! Что бы там ни писали уже после о представлениях и промедлениях, эта тема была даже не запретной. Ее абсолютно не существовало. Ни единого словечка, ни полунамека и в воздухе не витало. Вот что совершенно не интересовало, так не интересовало.

Зато после лет непривычного для него затворничества разрешили съездить для передачи того же «опыта» в ГДР, и папа, поначалу к командировке отнесшийся с долей скепсиса, вернулся довольный. Дома ничего конкретного рассказать не мог, а там немцы отнеслись к его приезду по-своему. Велись с ним вполне профессиональные беседы, и опыт действительно пригодился. К тому же узнали о его увлечении живописью и показали хорошие галереи. Персональный экскурсовод папы, молоденькая женщина, приезжала потом и в Москву. С ней, в отличие от Донована, встретиться разрешили. Наверное, девушка была из «Штази»?

Ездил он и в Венгрию. О ней впечатления поскромнее. Там больше приемов и катаний по Дунаю.

Отец из Венгрии и ГДР, кажется, и из Румынии тоже, из всех поездок по Союзу всегда привозил тяжеленнейшие фолианты с

видами стран и городов, хозяевами ему преподносившиеся. Даже советские сопровождающие из его Службы советовали: «Да бросьте вы все это в гостинице, так все наши поступают». Но отец молчал и доставлял огроменные альбомы домой, хотя никак ему было нельзя таскать тяжелого. Считал, что оставит — и проявит неуважение к принимавшим, а они-то встречали и дарили искренне. Его знали, и папе это было приятно.

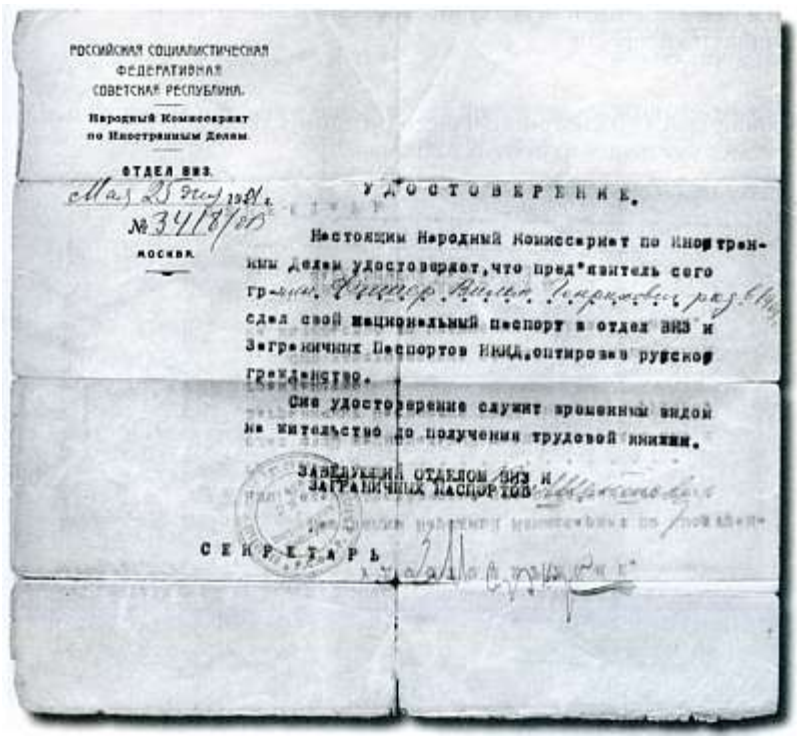
Он трезво оценивал свою роль в разведке. Быть может, в первые годы там ему удавалось больше, чем в последующие? Не каждый год доводится раскрывать секрет изготовления атомной бомбы. Но невод, им закинутый, приносил улов. Какой? Не знаю. Начатое им продолжали другие, которых он не выдал, и на смену ему пришедшие. Только не надо конкретных вопросов. Разведка — область деликатная и должна приучать других, с ней пусть и не связанных, к этому же. Но цену себе отец знал…

(слева) Фото в типично английском стиле: мама Любовь Васильевна Фишер (Корнеева) с первенцем Генрихом и младшеньким — Вильямом

(справа) Сыновья— уроженцы Ньюкасла-он-Тайн с детства любили животных. Особенно младший — Вилли

Не правда ли Вильям Фишер (справа) пошел в отца — Генриха (на фото слева)?

Возвратившуюся в Россию семью старого большевика Генриха Фишера с почетом поместили в самом Кремле. Любовь Васильевна здесь и работала



РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

Народный Комиссариат
по Иностранным Делам

ОТДЕЛ ВИЗ.

Мая 25 дня 1921 г.
№ 3418/05
МОСКВА.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим Народный Комиссариат по Иностранным Делам удостоверяет, что предъявитель сего гр-нин. Фишер Вильм Генрихович, раз. 1[illegible]
сдал свой национальный паспорт в отдел ВИЗ и Заграничных Паспортов НКИД, оптировав русское гражданство.

Сие удостоверение служит временным видом на жительство до получения трудовой книжки.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ВИЗ И
ЗАГРАНИЧНЫХ ПАСПОРТОВ

СЕКРЕТАРЬ

Никогда ранее не публиковавшийся документ о сдаче Вильямом

Генриховичем Фишером своего национального паспорта. Как мы теперь знаем, британского

Армейская служба для Вильяма Фишера (крайний слева) в 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа начиналась непросто

К концу срока красноармеец Фишер (второй слева) считался уже одним из лучших радистов

российский ленинский
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОЮЗНЫЙ БИЛЕТ № 18625

1. Фамилия Фишер
2. Имя и отчество Вильям Генри
3. Год рождения 1903
4. Время вступления в союз 1922
5. Партийность (время вступления в партию и № билета)
6. [illegible] положение Рецун

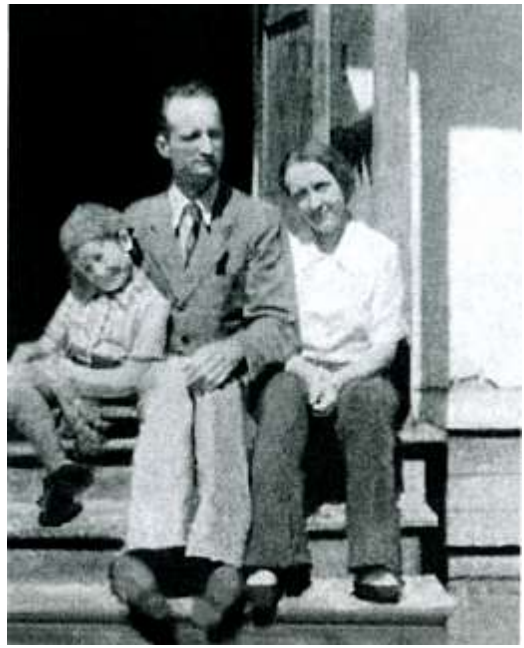
М. П.

Уплата членск. взносов 1925 г.

Месяц	Месячный заработок	Членский взнос	Подпись секретаря ячейки
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			

Он был настоящим комсомольцем

Отец Генрих Матвеевич и мать Любовь Васильевна младшего сына особо не баловали, относились к нему строго



Эти два снимка никогда не публиковались. Вилли Фишер с женой Элей и дочкой Эвелиной во время первой командировки в Норвегии

А это бабушка и дедушка с внучкой Эвелиной, по-семейному — Эвуней

Вильям Фишер и дочка любили походы. Почему бы действительно не пройтись по Скандинавии в местных нарядах

А это — настоящий Рудольф Иванович Абель. У сына трубочиста и подполковника разведки внешность вполне аристократическая

Рудольф Абель с приехавшей из Риги мамой и женой Асей

Дядя Рудольф с племянником Авангардом на даче у друга Вилли Фишера

Очень похоже на Китай, где служил радистом Рудольф Абель — он стоит, облокотившись на поручни. Рядом — жена Ася. На корточках — Вилли Мартенс, тоже из разведки. А сидит на поручнях человек, очень напоминающий Вильяма Фишера

Эта любовная идиллия продолжалась со дня бракосочетания Эли Лебедевой и Вилли Фишера в апреле 1927-го и до 1971-го

Дочь Эвелину брали в две заграничные командировки. В Норвегии она занималась в детской балетной школе, открытой Элей Фишер. Кто бы мог придумать прикрытие надежнее?

Кто мог предполагать, что принятый в 1927-м на работу в ЧК Вилли Фишер превратится в легенду мировой разведки и что его изображение появится даже на почтовых марках?

Отдых для Вильяма Фишера всегда был понятием условным. Выдавалась свободная минута, и он рисовал, читал, решал кроссворды. И делать это любил, сидя в шезлонге. Здесь Вилли Фишер отдыхает, но уже в первой своей заграничной командировке

Из беззаботного Вилли он превращался в человека серьезного, отца семейства, готовящегося к отъезду на работу в Скандинавию

(слева) Так выглядел разведчик Фишер, уже работая в Англии

(справа) А это фото перед нелегальной командировкой в США. Да, годы шли, бежали…

„ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг."

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За участие в Великой Отечественной войне

Фишер Вильям Генрихович

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью

„ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг."

От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена

21 июня 1946 г.

Председатель Управления НКВД СССР

(должность, воинское звание и подпись лица, вр. д. Генерал-лейтенант

выдавшего жетон)

Среди многих его высоких наград и эта, которую Вильям Генрихович ценил особо

Нелегалы почти никогда не фотографируются в военной форме. Фото

майора Фишера сделано для служебного удостоверения

Если бы не разведка, из него мог бы получиться хороший художник. Одна из последних фотографий перед отъездом в США: он дома, в родном лесу

Эти две фотографии сделаны дочерью Эвелиной «Лейкой», привезенной отцом из Штатов. Во время отпуска нелегала летом 1955-го на даче в Челюскинской собирались только свои. Справа налево сидят: Вильям Фишер со своей Элей, близкие друзья Рудольф Абель и Вилли Мартенс с женами. И, как всегда, у ног любимая собачка

А две последние недели отпуска они втроем провели в Ленинграде

Приглашение к танцу

А еще в Германии произошел любопытный эпизод. О нем папа упомянул вскользь, зато участвовавшая в нем сотрудница разведки Марина Ивановна Кирина рассказывала с удовольствием. В ГДР, в Потсдаме, закатили в честь отца прием в старинном замке. По обычаю главный участник торжества должен был открывать вечер не чем-нибудь, а сложным полонезом. Отец мой никогда не танцевал. Но отказываться — неудобно. Только и успел шепнуть партнерше: «Марина Ивановна, я в этой жизни много умею, но на полонез это не распространяется». И вот вышли они с Мариной на центр паркета первой парой: она наряженная в бальное платье, он — в белоснежной рубашке с галстуком и вечернем темном костюме, по случаю командировки нами с мамой вопреки отцовскому сопротивлению в ГУМе закупленному и в чемоданчик отчаянно всунутому. Быстро перемолвились с партнершей, фигур полонеза тоже не знавшей. И медленно, соблюдая ритм, вышагали весь не короткий тот танец, ни разу с такта не сбившись. Кирина, как говорят, была хороша собой и танцевала неплохо. А отцу, музыку любившему и понимавшему, тоже удавалось держать ритм и даже понравилось. Говорю же вам, любил пробовать все новое.

В зале, заполненном не только сотрудниками двух родственных разведывательных ведомств, старания оценили: заканчивали полонез под овации.

Кстати, говорили, что каким-то образом эта Марина Кирина участвовала и в обмене моего отца. Но как? Может, играла роль моей мамы, временно поселившейся в Лейпциге в ожидании визита американцев? Немецкий она знала отлично. Но не знаю, не знаю, остаются только догадки. Есть только один человек, который мог бы тут вам что-то рассказать, но, боюсь, Юрий Иванович (генерал Дроздов. — Н. Д.) предпочтет промолчать.

Перед самой смертью

Уже в 1971-м (год кончины. — Н. Д.) папа вдруг пожаловался мне: в принципе мог бы в Нью-Йорке сделать и больше. Слишком много уходило на согласования, на ожидание ответа. Пришел ответ — а момент уже ушел.

Отец мне буквально перед смертью, может, за день — за два, сказал по-английски: «Помни, что мы, так или иначе — немцы» — «Don’t forget that we are Germans anyway». Что он имел в виду, я не знаю.

— Кирилл Хенкин сделал из этого целое дело.

— Любой бы сделал из этого целое дело, потому что

действительно кровь немецкая есть, деваться некуда. Папа не был ни идеалистом, ни сентиментальным человеком. И по характеру был скорее англичанин, чем немец, хотя нет в нем английской крови — русская и немецкая. Ну, может, от его бабушки еще какая, он этим не интересовался. Да и не у кого было об этом спрашивать.

Конечно, отцу приходилось много чего слышать за свою жизнь про собственную фамилию Фишер. В кого только его не превращали! А с немецкой кровью доходило до смешного. Мама, папа, дядя Вилли Мартенс, его жена Галя и сын Людвиг сидят за столом. К ним присоединяюсь я с другом Львом Витте. И все в один голос критикуют немцев. Даже те, кто сами на три четверти или наполовину. И только мама, в которой ни капли немецкой крови, их защищает. Но это понятно и не так обидно, когда свой своего, это еще можно. Посторонним — нельзя, такой закон: полный запрет.

Немцы из ГДР немало потрудились над его освобождением. За это он им всегда был благодарен. Тоже повод для фразы о немецкой кровушке. А она в нем была, была…

Терпеть не мог, когда опаздывают. Насчет связных своих и прочих агентов не знаю, а всех домашних и знакомых приучил к строжайшей пунктуальности. К нам даже гости всегда приходили вовремя. И мы не имели права опаздывать или приходить к кому-то раньше. Однажды приехали на электричке в гости на четверть часа раньше, так отец нам с мамой устроил променад, ходили под окнами чужой квартиры, пока не пробил час назначенный. Что это, как не национальная педантичность?

А акцент отца, внешний вид, манеры, да и все остальное? Вслушайтесь даже в его вступление в «Мертвом сезоне». Конечно, даже в нем, отрепетированном, и не знаю, с какого дубля записанном, слышится акцент. Чисто фонетический. У папы к русскому языку было исключительно трогательное отношение. Никак не мог понять, почему нож — он, а рожь — она. В немецком все ясно. Более того, оба слова заканчиваются на букву «ж», но рожь пишется с мягким знаком, а нож — без. Если в письмах отец доходил до слова «нож», он всякий раз задумывался, и несмотря ни на что, на всякий случай приляпывал новенький мягкий знак.

Когда начинал нервничать, проскакивали ошибки. И в падежах, если разозлится, мог запутаться. Моей двоюродной сестре Лиде, когда была маленькой, несмышленой, очень нравилось дразнить папу и доводить до белого каления. Делалось все очень просто, приходила и говорила: дядя Вилли, у меня не выходит задача. Дядя Вилли объяснял. Поняла? И она всегда

говорила, что нет. Втолковывал второй раз. Поняла? Нет. Папа начинал кипеть, объяснял в третий раз. Поняла? Нет. Отец разражался потоком негодования, путался в падежах. И Лида радостно убегала, говоря: «Спасибо, я уже давно все поняла!» Но все равно жили мы дружно.

Отец старел. Но я, даю вам честное слово, не видела, чтобы он отдыхал, как другие люди его немолодого возраста — пришел и на диван. Всегда чем-то себя занимал. Читал сидя, спать ложился довольно поздно, вставал рано.

И до последних месяцев была невиданная жажда к получению информации, чего-то нового. А на склоне моих лет я поняла: это — сугубо профессиональное. Столько лет в разведке — отпечаток, прямо генный, отложился, проник в сознание.

Болтать не любил. К нашим разговорам относился терпимо, с пониманием, но сам в них предпочитал не участвовать. Больше слушал. Или это так немецкая кровушка в нем на русскую разговорчивость реагировала? Зато со специалистами, с мастерами своего дела до чего же любил беседовать! Но и тут, по-моему, тоже брало в нем вверх нечто профессиональное. Впитывал ими сказанное, ему неведомое, будто губка. И чем сложнее тема, тем больше молчал, слушал, подбадривал собеседника своими короткими, точными, уважительными вопросами. И люди это ценили, раскрывались. Нет, это все-таки говорил в нем нелегал-разведчик.

Чего не было, того не было

Я всю жизнь была поборницей точной информации. Поэтому когда мне попадаются на глаза какие-то непонятно откуда взявшиеся вещи, я этого очень не люблю.

Появились какие-то публикации, где утверждается, будто мой отец работал радистом в Китае вместе с дядей Рудольфом. Никогда в Китае он не был — это на сто процентов выдумка. И даже фотография, которую вы мне сейчас опять показываете — не его. Это и тетя Ася, и Рудольф Абель, и другие разведчики. Только отца здесь нет — есть человек, на него похожий, что совсем не одно и то же.

Из семейных отношений в нашей семье делают идиллию. Прямо Эдем. Но это не совсем так. Семья — крепкая, верная, любящая, но ссоры не исключались. Отец, я говорила, дома бывал вспыльчив. Когда приехал из Штатов, то за 14 лет от заведенных порядков отвык. Маме же нравилось пришедшее после его отъезда всевластие. И в первые месяцы после возвращения ссоры

случались чаще, чем когда-либо на моей памяти. Отцу приходилось ко многому привыкать заново. И из всего этого к «Беломору», к которому я его в 1962-м приучила, ему было вернуться легче всего. А уклад жизни, еда, некоторая наша тутошняя безалаберность коробили, раздражали. Мамины естественные потуги прибрать его заваленный бесполезными, с ее точки зрения, вещами столик доводили до белого каления: найти ничего не было возможно. У него появились чисто американские привычки. Маму они обижали.

И тут я вставала стеной. Клялась уехать, оставив их обоих. Они приходили в себя, отыгрывали назад. Постепенно все улеглось, утихомирилось. Я бы сказала, вернулось на прежние любимые места.

Теперь о том, что раздражает меня. Многие люди называют себя хорошими знакомыми и даже друзьями папы. Они и в вас эти мифы вбили… Вы знаете: количество людей, которые несли бревно с Владимиром Ильичом, приближается к тысяче. А число пивших у нас на даче чай из самовара тоже достигает нескольких сотен. Причем чай из самовара мы не пили очень давно: последний раз еще до войны, при бабушке. Папа предпочитал в основном кофе, самовар даже никогда не ставился. Так что если попадется вам где-нибудь чаепитие на даче Фишеров в Челюскинской, можете говорить сразу — вранье!

После смерти папы все кому не лень принялись читать о нем доклады. И легенды никак не состыковывались. Вылезали нелепости. Потом они превращались в части якобы настоящей биографии. Ей-богу, издадите вы, наконец, эту свою книгу, и тогда я скажу, что не зря мы с вами тратили эти наши с вами субботы-воскресенья.

Некоторые чуть не обвиняют нас с мамой: при аресте у отца были найдены письма из дома. В иностранной прессе об этом тоже писали. Но было ли так на самом деле? После возвращения отец об этом ни разу в жизни не заговорил.

Чем была занята Эвелина

Я и сейчас кое-что делаю для журнала «Цветоводство». Давно уже ничего туда не пишу, но раньше писала. Если говорить о том, чем я занималась в цветоводстве, то интродукцией. Есть такой термин. Никакой ландшафтной архитектуры. И никаких садов и парков я нигде не проектировала.

Вот на даче в Челюскинской с детства составляли гербарии. Иногда, когда чувствую в себе силы, собираю соседских детей, учу

тому же.

Бывает, мы с Лидой участвуем в выставках. Как-то и призы какие-то нам вручили. Люблю цветы. У отца любимые — ирисы.

И не надо, ради бога, меня снимать. Ужасно не люблю, когда меня снимают.

— Хорошо, не буду.

Но все-таки я сфотографировал ее украдкой. Уже уходящую, уже неизлечимо больную…

Героев и генералов нам тогда не давали

Дмитрий Петрович Тарасов не склонен был много рассказывать о себе. Позволю сделать это за него. Полковник, родившийся в 1911-м, долгие годы работал в контрразведке, дослужившись до начальника отдела. Затем был переведен на ту же должность уже во внешней разведке. Занял ее, когда будущий подчиненный Вильям Фишер находился в американской тюрьме. С 1971-го полковник Фишер — на пенсии, Тарасов, моложе его на восемь лет, дослужил до 1974-го. На мой вопрос, в каком отделе они вместе трудились, Дмитрий Петрович уклончиво ответил, что «в одном, название которого значения не имеет, во внутреннем». Наверное, так.

Работу же Марка в США в самые успешные годы курировал Виталий Григорьевич Павлов, дослужившийся, что в разведке в те годы случалось нечасто, до звания генерал-лейтенанта. Именно он возглавлял Четвертый отдел Четвертого управления нелегальной разведки — американское направление. Под его руководством и готовились нелегальные разведчики для отправки в резидентуру Марка в Штаты.

Предположительно в первой половине 1950-х Павлов лично инспектировал нелегальные резидентуры. Заехал в пять-шесть стран Западной Европы. В тот раз в напарницах Павлова была уже знакомая нам Лона Коэн. По легенде он был американским антикваром высокого полета, приглядывается к рынку во Франции, Италии и еще нескольких странах.

К Марку — Фишеру Павлов относился с глубоким уважением, часто приводя в пример молодым сотрудникам его стойкость при аресте. А после возвращения начальником Вильяма Фишера стал Дмитрий Петрович Тарасов.

Когда мы познакомились, полковнику Тарасову было за 80. Позади три инфаркта и десятки лет службы. В истории полковника Абеля Дмитрий Петрович — фигура немаловажная: сначала он вызволял разведчика из американской тюрьмы, потом Фишер трудился в его отделе. В 1997-м, за год до кончины, выпустил книгу «Жаркое лето полковника Абеля».

Я бы назвал Тарасова типичным представителем старой школы. Давность лет не служила для Дмитрия Петровича ни малейшим поводом для раскованности. Его степенная и медленная речь была полна выражений, которые сегодня услышишь редко.

И страшная усталость. Она во всем — в жестах, в манере выражать мысли… Позволю себе маленькое замечание. Люди его

профессии изношены чрезвычайно. Груз, который накладывает на плечи Служба разведки, пригибает к земле? Что же, тем ценнее свидетельства…

— Дмитрий Петрович, для простоты все же буду называть Вильяма Генриховича полковником Абелем. Почему именно он стал символом нашего разведчика-нелегала? Чего же нужно было добиться и что совершить, чтобы войти в легенду и получить у американцев 30 лет тюрьмы?

— Дать огромную отдачу — государственную, научно-техническую, политическую. Перед ним поставили три задачи. Первая, главная: выявлять степень возможности вооруженного конфликта США с Советским Союзом. Далее — создать надежные нелегальные каналы связи с Центром, чтобы исключить рискованное использование разведкой официальных советских представителей. И третья — добывать любую полезную информацию, представляющую интерес для разведки по вопросам внешней политики, экономического положения и военного потенциала Соединенных Штатов. И Марку это удалось. Въехав в Штаты в 1948 году, он уже в 1949-м получил орден Красной Звезды.

— Вы хотите сказать, что его отдача была моментальной?

— Я вам объясню так: легализация разведчика-нелегала — вопрос очень деликатный. И если она проходит быстро, это уже большое достижение.

— А если еще поконкретнее: что было дальше? И почему появился этот псевдоним — Марк?

— Его он взял сам. Просто для сокращения. Быстро, коротко, очень удобно. Марк поддерживал контакт с руководством группы «Волонтеры» — с гражданами США Луисом и Лесли. Это сотрудники нашей внешней разведки Моррис и Леонтина Коэны. Известные как Питер и Елена (Лона) Крогеры, они сумели обеспечить передачу нам всей секретной информации о разработках американской атомной бомбы, проводимых в лабораториях атомного центра в Лос-Аламосе.

— Как такое могло удаться? Наверняка городок этот был засекречен не хуже нашего Арзамаса-16?

— Тем не менее они поддерживали связь с учеными. Иногда все проходило гладко, но случалось и смываться. Город действительно закрытый, режим в нем строжайший, и проживали там только научные работники да больные, лечившие легкие. И еще те, кто непосредственно создавал атомную бомбу. А на Лесли, туда попавшую, выходит, наконец, с важными данными источник информации. И вдруг перед отъездом, уже при посадке в поезд, — проверка пассажиров и багажа. У Лесли все спрятано в

коробочке из-под салфеток. Она, женщина находчивая, тут же сымитировала насморк, вытащила салфетку. И когда ее вещи начали досматривать, сунула эту коробочку прямо в руки проверяющему. А сама роется в своих вещах и дорылась до того, что поезд тронулся. Ее быстро подсаживают, и проверявшие машинально, на ходу, отдают ей коробку.

— И Абель имел непосредственные контакты с этой группой?

— Какие контакты? Они ему подчинялись, были у него на связи.

— Значит, он — одно из главных действующих лиц?

— Руководитель группы.

— То есть именно Марк направлял действия тех, кого в Штатах называли «русскими атомными шпионами»? Ведь супругов Розенбергов, с которыми, как считает тот же Донован, якобы были связаны Коэны, казнили на электрическом стуле. Правильный я делаю вывод?

— Выводы — за вами. Розенберга атомными разведчиками никогда не были. А Коэнов мы тогда вытянули — успели их вывезти. И Марк бы выехал. Если бы его связной Рейно Хейханен не отправился после встречи с нашим сотрудником прямо в американское посольство в Париже. Все им выложил. А ведь для Марка мы подготовили все отходы. Он должен был перебраться поближе к Мексике. Потом в Мехико и оттуда — домой.

— 1957 год — время еще суровое. После ареста не потеряли доверия к Марку?

— Абсолютно нет. Не было никаких сомнений. Какая потеря доверия, когда дело продолжало крутиться и многие его люди оставались на местах?

— Но почему тогда страна отказалась от Абеля? Публиковались в наших газетах статьи со знакомым припевом: никакого разведчика, сплошная провокация американских спецслужб. Не слишком этично.

— Может быть. Особенно сегодня. А возьмите срез времени, тот период — какие были отношения со Штатами? Но наш отдел начал искать возможность его выручить.

— Как ваш отдел назывался?

— Сложно. Он наш, внутренний. После возвращения в нем до последних дней работал и Вилли.

— Дмитрий Петрович, как все-таки родился этот псевдоним — Абель?

— Мы знали о его дружбе с Рудольфом Ивановичем Абелем — нашим бывшим сотрудником, к тому времени, к несчастью, из жизни ушедшим. После ареста Вилли надо было как-то выбираться изданного положения. Он в руках американцев и

прекрасно понимает, что они могут начать с нами радиоигру, ввести Центр в такое заблуждение. И Вилли решился: признал себя советским гражданином, чтобы страна знала, чтобы его выручали. И взяв известное нам имя, помог понять Службе, что он находится в тюрьме. Американцам заявил: «Буду давать показания при условии, что разрешите написать в советское посольство». Те согласились, и письмо действительно поступило в консульство. Но консул попался не тот. Завел-таки дело, но американцам ответил, что такого советского гражданина у них не значится. По-своему он был прав: откуда ж Абель мог обозначиться в консульстве? Ошибка состояла в ином: надо было сообщить в Центр, хотя бы как-то проверить. А так мы только потеряли время и узнали, что Марка взяли, когда американцы объявили об аресте Абеля и начале процесса.

— И в нашей печати, и в зарубежной утверждалось, что Абеля обменяли на летчика Пауэрса плюс еще двух их разведчиков только благодаря усилиям ФБР и семьи Пауэрсов, обращавшейся и к Хрущеву, и к Кеннеди…

— Пусть говорят что угодно. Занимался этим наш отдел: три года шла такая возня, были исписаны горы бумаги. В ГДР мы наняли толкового адвоката — Фогеля, переводили ему гонорары от нашей Службы. Я возглавлял группу и потому знаю, о чем говорю.

— А что за всеми этими не видимыми миру усилиями стояло?

— Как всегда, работа… Во время процесса его американский защитник Донован довольно смело заявил в суде: «В такой ситуации, как Абель, может оказаться и наш человек. И тогда русский полковник может пригодиться». Американцы тогда думали, что такого не может быть. Но случилось.

— Ну вот, в Восточном Берлине вы наняли адвоката…

— Еще до того товарищи из нашей Службы нашли в Лейпциге женщину — якобы родственницу Абеля, и на адрес этой фрау Марк начал писать из тюрьмы.

— Эту женщину подобрали лично вы?

— Нет. Товарищи из нашей Службы в ГДР. Американцы ездили проверять, существует ли такая женщина в действительности. Очень осторожно навели справки у жильцов, осмотрели дом, увидели ее фамилию в списке квартирантов, но в сам подъезд войти не решились. Ведь Лейпциг, находившийся в ГДР, это вам не западногерманские Бонн или Гамбург, где они чувствовали себя полными хозяевами. Подозрений не возникло. Но внезапно американцы в переписке отказали.

— Этот самый адвокат Донован в книге «Незнакомцы на

мосту» намекает, будто в своих письмах Абель ухитрялся передавать секретные данные даже из камеры.

— Они просматривали его письма и так и эдак, но никакой тайнописи, никаких данных не обнаруживали. Абсолютно чистые послания. Однако обмен затягивался.

— Не потому ли, что раньше таких обменов не было?

— Такие обмены в принципе были. Но американцы тянули. Питали какие-то надежды перевербовать Марка, завязать с нами игру. Даже сам адвокат Донован, когда Вилли сидел в тюрьме Атланты, к этому пытался приложить руку. Между прочим, адвокат до последнего момента не верил, что имеет дело с настоящими родственниками Абеля. Когда в Берлин приехали жена и дочь Вилли, он к переговорам отнесся настороженно.

— Возможно, имел какие-то основания? Ведь фигурировал там и некий кузен Дривс.

— Кузеном Дривсом был наш оперативный сотрудник Юрий Иванович Дроздов. Немецким он владел в совершенстве. Потом Дроздов стал руководителем Управления советской нелегальной разведки.

— Дмитрий Петрович, известно, что обмен, или размен, Абеля на Пауэрса происходил на берлинском мосту Глинике. Вы не помните подробностей?

— Пауэрса привезли из Москвы — с ним выехали два наших оперативных работника — и поместили в прекрасном особняке. А нашего Вилли американцы засунули в какую-то клетуху — холод страшный. И вышел к нам Вильям Генрихович такой худющий…

— Он там чем-то болел?

— Просидеть четыре с половиной года в тюрьме и остаться в силе? Но, к счастью, ничего такого не было. И прежде чем выпустить его на мост, всю одежду у Вилли распотрошили: искали что-то. Резали, кромсали пиджак, брюки. Прямо из тюрьмы выпустили, а все равно боялись. Ну, вышли на мост по три человека с каждой стороны, и произошел обмен. Потом купили Вильяму Генриховичу одежду, устроили хороший прием — и в поезд. Вместе с ним ехали его супруга, дочь, наши товарищи. Встречаем его на Белорусском вокзале: «Ну что, Рудольф Иванович?» На самом-то деле мы все его звали, как вы уже поняли, Вилли. И помчались мы по улице Горького, потом на нашу Лубянку. И еще он попросил проехать мимо Кремля.

— И что же Рудольф Иванович? Выступал перед коллегами, славил профессию. А что было после всего этого? Как сложилась жизнь дальше?

— Жизнь Вильям Генрихович прожил интересную. В органы разведки поступил в 1927 году, а умер в 68 лет в 1971-м. Рак.

— Вы с ним дружили?

— Ну как же, он находился непосредственно у меня в отделе. С этим высокопорядочным, интеллигентным и образованным человеком мы были рядом, вместе. Даже коллег, привыкших к дисциплине, поражали его пунктуальность и полнейшая выдержка. Не припомню, чтобы хоть разок вспылил, разнервничался. И такой характер, что никогда ни на что не жаловался. Терпеть не мог трепачей, болтунов. Физически не переваривал пьяниц.

— И сам не пил?

— Очень мало. Только по большим праздникам. Постоянно копался в каких-то радиоприемниках. Ходил на рынок, покупал всякие железки и так здорово из них мастерил приемники! Любил столярничать, паял. Рисованием тоже занимался. В американской тюрьме рисовал поразительные картины, открытки. В его квартире на проспекте Мира висело несколько работ. Такая была творческая натура. И дочка Эвелина от отца очень многое унаследовала. Как и он, делает разные картины из цветов, рисует. Вилли покупал много книг по искусству и на это денег не жалел. Поверьте, его шелкография — рисунки на шелке — это маленькие шедевры.

— Дмитрий Петрович, а возвращение Абеля — Фишера после четырнадцати лет отсутствия было хоть как-то отмечено?

— Отмечено орденом Красного Знамени. Наш министр Семичастный пообещал дать ему трехкомнатную квартиру. И Вилли поразил всех. Сказал, что трехкомнатная ему не нужна: есть две комнаты, и еще дача от отца осталась… Он был не материалист. Проблемы быта, вещи не волновали. Вот вам штрих. В Штатах у него были личные накопления — около десяти тысяч долларов. И эти деньги американцы у него забрали. Как-то я говорю: «Слушай, Вилли, все-таки пропала крупная сумма денег. Может, поставить вопрос? Какую-то компенсацию здесь дадут». Отказался категорически. Но мы без него через жену и дочь этот вопрос самостоятельно решили. Одевался скромно: плащик, беретик. Товарищи подсказали жене: «Что он у тебя ходит в одном костюме? Надо бы новый». А Вилли удивился: «Зачем? Ведь у меня уже есть». Но уговорили, и вроде бы он остался доволен.

— Дмитрий Петрович, а как было с работой? Человек, уехавший еще при жесточайшем сталинизме, возвращается в совершенно новую жизнь. Как он все это воспринял?

— Спокойно. Вы одного не понимаете: Фишер, или как вы говорите Абель, служил не режиму, а Родине. Вилли приехал — его сразу определили: «К медикам, и пусть отдыхает». А он: «Чего

там, я здоров». Правда, месяц пробыл в госпитале, но даже от санатория отказался. Скучно ему там было, дома лучше. Принял его Семичастный, была четкая беседа. Ему выдали причитающиеся деньги. Присвоили звание «Почетный чекист». И он приступил к работе: встречался с молодыми сотрудниками, занимался их подготовкой, инструктажем. Вильям Генрихович имел такой авторитет! Часто делился своими воспоминаниями, и я обычно его представлял. Выступал в наших клубах, во всех почти управлениях госбезопасности. И в ЦК партии, в Кремле перед работниками охраны. Потом в Министерстве иностранных дел и в Министерстве внешней торговли, перед студентами МГИМО.

— За границу ему позволялось выезжать?

— Где-то в конце жизни выезжал в ГДР, Румынию. И в Венгрию. И встречался там с сотрудниками их служб.

— Он не превратился в некоего «свадебного генерала»?

— Он прекрасно рассказывал — без бумажек, конспектов. Обходился без всяких жестов, никогда не эпатировал. Был откровенен — в пределах допустимого. И потому его всегда слушали внимательно, воспринимали серьезно.

— Дмитрий Петрович, я помню свои детские впечатления. Когда он появился на экране в «Мертвом сезоне», говорили, что разведчик загримирован. Правда или ерунда?

— Ему наложили немножко волос. Голова была совсем голая. А лысины в кино как-то не популярны.

— За что Абелю вручили высшую награду — орден Ленина? За подготовку вашей чекистской смены?

— Путаете. Орден — по совокупности после войны. Фишер был в подразделении, которое занималось заброской наших в тыл противника. Это были боевые группы, которые проходили тогда как бы по партизанской линии.

— Он учил их немецкому? То были ваши сотрудники?

— Там разное было, он обучал радиоделу, агентурной работе.

— Он говорил по-немецки так же хорошо, как и по-английски?

— Нет, хуже, потому что непосредственно в Германии бывать ему почти не приходилось, а французский знал очень хорошо.

— Не догадывался, что Вильям Генрихович был к тому же и полиглотом. Французский пригодился ему и в работе?

— Давайте об этом поговорим как-нибудь попозже.

— Скажите, Дмитрий Петрович, а вы никогда не беседовали с Вилли по душам?

— Беседовали.

— И что рассказывал Вильям Генрихович о тех своих годах —

с 1939-го по 1941-й, когда от работы в органах он был отстранен?

— Говорить о таком у нас не принято. Да и человек он был в этом отношении очень сдержанный. Но я знаю, что это случилось в последний день 1938 года. Даже приказ об увольнении довели до него не начальники отдела, в котором он работал, — они ничего не знали. В отделе кадров объявили Вилли, что это решение руководства — и все, даже сейчас этих документов в архивах не оказалось.

— Вы не обижайтесь, вопрос-то естественный. Человек мог отчаяться.

— Он отчаялся: долгое время не брали никуда на работу. Везде отказывали, когда видели, что уволен из органов. Написал письмо в ЦК. Рассказал, кто он такой. И только тогда взяли на завод радиоинженером.

— Интересно, с каким же чувством он снова к вам пришел?

— Об этом у нас никто никогда не говорил. Отец Вилли встречался не только с Лениным, со многими деятелями партии. Старый революционер, когда в 1920 году семья вернулась из Англии, написал много книг по истории. Всю жизнь Генрих Фишер посвятил России, поэтому и Вилли считал себя русским. Он и в анкете указывал: отец — обрусевший немец, мать — русская, жена — урожденная Лебедева, по профессии арфистка.

— Дмитрий Петрович, и еще из той же серии неприятных вопросов. Имя Абеля превратилось в легенду, однако ваш подчиненный так и оставался полковником…

— …Было представление на генерала перед его болезнью. Не успели, к несчастью.

Художник не терпел абстракций

Художник Бертон Сильвермен считал соседа по нью-йоркской мастерской Эмиля Роберта Гольдфуса близким другом.

Прошло несколько лет после ареста его таинственного соседа, и Сильвермен решился на откровенность. Набиравший популярность живописец рассказал в журнале «Эскуайер», и, кажется, довольно искренне, о человеке, которой уже отбывал свои 30 лет в американской тюрьме.

Эти откровения имеют особую ценность. Сам Вильям Генрихович о годах в Штатах предпочитал не вспоминать, хотя фамилия Сильвермен, по словам дочери, нет-нет да всплывала. Полковник считал его порядочным человеком. Ведь когда на суде известному американскому живописцу пришлось давать показания в качестве свидетеля, то Берт не испугался. Рассказывал о своем приятеле Эмиле Гольдфусе только хорошее. Хотя и видно было, что вся эта шпионская история, в которую попал и он, восходящая звезда, Сильвермену крайне неприятна.

Вот несколько вопросов судьи Байерса, на которые «моральный свидетель» Сильвермен ответил честно и, прямо скажем, «в пользу русского шпиона». Хотя мог бы и приложить друга, но стенограмма подтверждает: художник не оболгал, а, наоборот, выгородил Эмиля Гольдфуса, вина которого была для правосудия пусть не доказана, но практически очевидна.

— За время вашего знакомства с обвиняемым заходили ли вы к нему?

— Да.

— Часто вы с ним разговаривали?

— Да.

— Какова была репутация обвиняемого среди жильцов вашего дома касательно его честности и прямоты?

— Она была безупречна.

— Не слышали ли вы когда-нибудь нечто плохое об обвиняемом?

— Нет. Никогда.

Воспоминания Сильвермена о «полковнике Абеле» отыскались лишь в 2009-м. Наткнулись мы на них с Лидией Борисовной Боярской, разбирая ее домашние архивы.

Каким же виделся наш разведчик соседу-американцу?

Молодой талант Сильвермен снял мастерскую в Бруклине. Высокий старинный дом без лифта на Фултон-стрит неподалеку от Бруклинского моста уже 90 лет служил прибежищем для многих художников. Здесь и находились «Орвингтонские студии».

Огромные окна пропускали потоки бьющего света, заставляя забывать о скрипящих полах, постоянно ломающемся лифте и других мелких неудобствах.

Сильвермен вообще ничего этого не замечал. Служба в армии отняла у выпускника Художественной школы в Коламбии несколько драгоценных лет, хотя даже там он пытался рисовать, когда по выходным его отпускали из солдатских бараков в увольнение. Окончательно освободившись от осточертевшей солдатской лямки, скинув военную форму, Берт мечтал только о живописи — о другом даже думать не хотелось, он наверстывал упущенное и довольно успешно.

Друзья и критики в один голос твердили, что в его картинах появилась глубина и что будущее у художника — многообещающее. Берт про себя решил не тратить времени на разговоры с коллегами, светские рауты и презентации. Тем более что иногда все же приходилось отвлекаться, подрабатывать, выполняя чьи-то заказы, приносящие так необходимые для настоящего творчества деньги, но не радость. Главное, что на белый хлеб с маслом и чистое творчество вполне хватало.

Говорят, первое впечатление — самое верное и запоминающееся. Так вот, однажды Берт поднимался в лифте, быстро просматривая почту, только что вынутую из ящика на первом этаже. Подняв глаза, он увидел немолодого человека, зашедшего в лифт вслед за ним. Вообще-то Берт предпочитал не заводить новых знакомств, к чему отвлекаться? Но взгляды встретились, пожилой незнакомец кивнул, поздоровался, и Сильвермен ответил тем же.

Почему-то Берт его сразу запомнил. Не из-за выделяющейся одежды, как раз нет — тот был одет весьма скромно. Довольно высок, худощав, с явной лысиной, а держался с каким-то непонятным, просто необъяснимым благородством. Сколько ж ему было в конце 1953-го? Для себя Берт решил, что незнакомец лет на 30 постарше. Однако от него исходил такой заряд энергии и уверенности, что они невольно передавались окружающим.

Ну подумаешь, встреча в лифте. Сколько таких в жизни! Исчезают из памяти без следов и сожаления. Эта же — врезалась, засела в голове. Наверное, оттого, что вскоре незнакомец прочно вошел в жизнь Сильвермена.

Официальное знакомство состоялось всего через несколько дней. Берт как раз убирал свою захламленную мастерскую, когда услышал, что в дверь тихо стучат. Открыл. На пороге стоял человек из лифта.

— Меня зовут Гольдфус, Эмиль Гольдфус, — представился он.

Длинным вытянутым в форме клюва носом и умными глазами он напоминал птицу. Не хищную, не домашнюю, а всего лишь очень любопытную. Гольдфус быстро осмотрел студию. Осведомился у хозяина, что тот думает о современной живописи. Сильвермен ответил, что его стиль говорит за себя сам. Он реалистичен по сути. И сразу же пошло обсуждение тенденций и направлений современного мирового искусства, которое продлилось не меньше часа.

Оказалось, что сосед тоже занимается живописью, а его студия — совсем рядом с мастерской Сильвермена. Потом Берт заглядывал в нее, совсем небольшую, в первые месяцы знакомства еще не заставленную появившимися вскоре кистями, подрамниками, холстами… На стенах — несколько картин, сделанных, по мнению Берта, рукой совсем не бесталанной, и уж точно с чувством.

Вот так и началось знакомство, переросшее затем в дружбу. Особенно часто говорили об искусстве. Гольдфус был категоричен: оно скатывается все ниже, заходит в тупик, из которого нет выхода. Впрочем, беседовали, соглашаясь и споря, также и о многом-многом другом.

Познакомился Гольдфус с другими соседями-художниками, а дружил только с Бертом. Да и Сильвермен давал волю чувствам лишь с Эмилем. Вскоре Гольдфус превратился для него прямо в исповедника. Быть может, Берт даже перегружал его заботами и признаниями. Иногда Эмиль подбадривал соседа шуткой. Был заботлив, внимателен, умел утешить. Его манеру говорить, его голос Берт про себя называл шотландскими.

Сильвермен чувствовал, что коллега безнадежно одинок. Но друг друга они понимали с полуслова.

Однажды Берт повел себя невежливо. Эмиль явился без предупреждения. Ему хотелось высказаться, облегчить душу. А Берт — у художников, да и не только, такое бывает — жаждал рисовать, не отвлекаться и закончить ставшей вдруг податливой картину. Гольдфус принимался говорить, а Сильвермен молча работал, словно не замечая его присутствия. Гольдфус это почувствовал, ушел быстро. Это стало уроком для обоих. Теперь они всегда договаривались о встречах заранее.

Как-то Берт понял, что сочувствия, сострадания ждут и от него. Тогда Эмиль появился у него поздним вечером. Шляпа сдвинута на бок, вид — измученный. Берт встревожился: неужели у всегда спокойного, уравновешенного Эмиля случилась беда? Спросил, все ли в порядке, и услышал традиционные: да, все о’кей. Но Берт уже учуял, что сейчас должны политься откровения.

«Знаешь, — сказал Эмиль своим тихим глухим голосом, — бывают в жизни времена, когда хочется крепко выпить». И Берт предложил заняться этим прямо сейчас.

«Нет, такие времена наступают ранней весной, — не согласился Эмиль. — Я бы напился и сейчас, но не хочется. Не то на дворе время года».

Сильвермен ощутил тоску, тревогу, вдруг вырвавшиеся наружу. «И часто на тебя наваливается такое?» — не переставая рисовать, спросил он.

«Бывает. Бывает так, что становится очень плохо, — и сосед попытался улыбнуться. — Надо закурить, и поменьше говорить об этом», — с наигранной грубостью выдавил из себя

Эмиль и протянул пачку сигарет Сильвермену. Посидели еще, помолчали. И Эмиль ушел в ночь.

Сильвермен был удивлен. Не ожидал от Эмиля слабости. Что это было? Быть может, уже немолодой Гольдфус почувствовал, что нечто в этой жизни ушло от него безвозвратно? Но почему не поделился тогда сомнениями с другом? Берт был уверен: с Эмилем что-то не так. Возможно, умер кто-то из близких? Горечь была и на лице, он ощущал ее как художник и в сорвавшихся с губ соседа словах. Но Берт твердо знал: в этих случаях помочь невозможно, боль необходимо преодолевать только самому, в одиночку.

Не правда ли, любопытные свидетельства? Раньше считалось, что в США о своем общении с полковником Абелем воспоминания оставил лишь его адвокат Донован. Но нет.

Художник, несколько далекий от жизни, но часто с Эмилем общавшийся, заметил у соседа если не акцент, то необычный для американца тембр голоса. Для себя он назвал его «шотландским». Хорошо, что в Америке такая мешанина национальностей и привычек.

Абель, как видно, не был человеком из железа, не высказывающим чувств. И в общении с чужими из него лишь раз, но вырвалось отчаяние. Что тогда с ним случилось? Неприятности в Штатах? Тревожные вести из дома? Подвел Вик? Или одолела тоска? Уже никогда нам этого не узнать. В записках американца нет никакой временной ссылки.

И творчество своего друга Берт, вскоре выбившийся в знаменитости, оценивал довольно высоко. Заметил если не мастерство, то набитую профессиональную руку, глубокие чувства. Легенда у товарища полковника была правдоподобной

Но что же заставило Сильвермена запомнить все, связанное с Гольдфусом? Память эта, как признается художник, осталась с ним на всю жизнь. Эмиль, как называл себя сосед по мастерской,

был исключительно живым человеком. В нем чувствовалось внутреннее напряжение, но был он тих, и его профессия преданного своему делу художника чувствовалась в каждом слове, в каждом движении.

И что интересно: иногда в общении двух друзей происходило то, что Сильвермен называет необычным, порой труднообъяснимым. Однажды Берт принес в свою маленькую студию гитару. Пару лет назад он научился играть на ней, предпочитая простые мелодии.

Иногда, заскочив в гости, дурачился с гитарой и Эмиль. А постепенно так втянулся, что стал поигрывать струнами чуть не каждый день. Вскоре он пришел к Берту со своим собственным инструментом. Промелькнуло всего месяцев шесть, а Гольдфус уже играл Баха. Он приходил в студию с пластинками знаменитых гитаристов, внимательно слушал их игру, пролетала пара недель — и чувствовалось, что он не только вникал в трепетную музыку, но и осваивал технику игры великих мастеров. И как же критически относился к себе! Сначала играл сам, записывая на магнитофон, потом вслушивался в звуки пластинки, сравнивал, анализировал, иногда на лице его появлялась улыбка, чаще — легкая гримаса недовольства. Частенько жаловался Сильвермену на нехватку слуха, всячески высмеивая этот свой недостаток — то ли явный, то ли просто ему кажущийся. Но во всем этом виделся Сильвермену и талант его друга Эмиля Гольдфуса, и его интеллигентность, и умение зубами вгрызаться в дело, работать над собой. Да и занятие это, было видно, доставляло Эмилю настоящую радость. Сильвермен чувствовал, что здесь, в музыке, ему далеко до товарища.

Но вот к поп-музыке относился Гольдфус с некоторым предубеждением. Считал ее чересчур прямолинейной, несколько сентиментальной.

Как-то Гольдфус признался, что взял в руки гитару случайно: научился играть на ней, когда был лесорубом где-то на северо-западе. Там он играл вещи попроще, ограничиваясь в основном маршами. И тут Берту показалось, что концы с концами не совсем сходятся. Его друг был слишком глубок и серьезен для того, чтобы играть нечто наподобие маршей, да и признание о том, что был лесорубом, как-то не вязалось с его внешним обликом, так и бросающейся в глаза интеллигентностью.

Да и вообще, все, что узнавал Сильвермен о прошлом Эмиля, исходило только от него самого. Говорил о себе он не слишком часто. Удивляло, что никогда не упоминал о своем жилище, ни разу туда не приглашал. Это подметил не только Сильвермен, но и другие молодые ребята-художники.

Как-то вырвалось у Эмиля, что в Бостоне был он воспитан тетушкой-шотландкой и суровым дядюшкой. В жизни перепробовал множество профессий. Был и бухгалтером, и инженером-электриком, работал в фотоателье.

Здесь, в фотоателье, и настигла его скромная удача. За несколько лет он накопил немного деньжат и после коротких раздумий бросил дело, вышел на пенсию. Почему? Да потому что всю жизнь мечтал рисовать. Возможно, он без радости вспоминал свои годы, потраченные на проявку пленок бездарных фотографов-любителей. И в конце концов был счастлив заняться тем, что любит, что знает…

Был ли Гольдфус настоящим художником? И здесь один из признанных американских мастеров Сильвермен выносит свой объективный вердикт. Эмилю не слишком нравилось рисовать пейзажи и обнаженную натуру, что считал он уделом начинающих. Его амбиции, стремления простирались гораздо шире и выше. Любил сложности и залезал в них с головой. И еще важное: Гольдфус был уверен в себе. Больше всего любил рисовать опустившихся пьяниц из известного в ту пору своей нищетой нью-йоркского района Баури. Порой появлялись на его полотнах нищие и отверженные. И это подмечал не только Сильвермен. Один из коллег-художников как-то заметил: «Видно, жизнь Эмиля была такова, что оставила на его теле те же шрамы, что и на его персонажах. Быть может, в последнее время где-то и в чем-то ему повезло. Что из того? Он не стал толстым сытым котом. А шрамы — все равно остались». И Сильвермену казалось, что лучше не скажешь и не оценишь.

Никто ни разу не слышал, чтобы Гольдфус выставлялся на выставках. Ни разу не заходило разговора и о том, без чего никогда не обходилась ни одна пирушка художников: о проданных картинах, о вырученных деньгах. Эмиль предпочитал работать над техникой рисунка. И здесь всегда ставил в пример коллегам русского художника Исаака Левитана, восхищаясь его пейзажами русской природы, незнакомой для него и североамериканцев. Да и о других, хорошо ему знакомых русских живописцах, имен которых в США и не слышали, отзывался с ноткой восхищения. Но венцом всей живописи был для Гольдфуса Рембрандт.

Ну а уж то, что Эмиль сам был талантлив во всем, за что ни брался, — вылезало буквально на каждом шагу. Но постепенно, не броско, а как-то естественно, своим ходом. Сильвермена поражало, с какой неимоверной скоростью решал он кроссворды из «Нью-Йорк тайме». И тут Сильвермен замечал за немолодым коллегой особенность: взявшись за кроссворд, он во что бы то ни

стало «добивал» его до конца.

Однажды рассказал другу Сильвермену историю о том, как обхаживал юную даму-арфистку, игравшую в маленьком оркестре. И для того, чтобы привлечь ее, привязать к себе, сам научился играть на арфе. А когда Сильвермен удивился, то объяснил: тогда у нас с ней появилось общее занятие, это сближаю.

А еще как-то он проявил себя в занятии совсем ином. Частенько старинный лифт, устало сновавший между этажами, наотрез отказывался работать. Починить его никак не могли. И, к всеобщему удивлению, на помощь растерянным техникам пришел Эмиль. Он покопался в механизме, покачал лысеющей головой, быстренько принес из студии свои слесарные инструменты. И починил лифт чуть не мгновенно, вогнав в краску вызванных техников.

Был и другой похожий случай. Знакомый Сильвермену инженер однажды поведал Гольдфусу о сложных технических проблемах. И, о чудо: Эмиль решил их, не глядя, быстро, прямо во время разговора.

Частенько Эмиль приглашал Сильвермена и в свою мастерскую попить кофейку. Готовил напиток, с точки зрения Берта, но не нашей, российской, довольно необычно. Засыпал его прямо в кипящую воду, кипятил, а потом давал содержимому пару минут отстояться. Сильвермен признавался, что такого вкусного кофе он никогда не пил.

Пришел момент, когда именитый художник не выдержал, воздал хвалу Эмилю за все его многочисленные таланты. И тот ответил так, как мог ответить лишь он: «Берт, то, что сможет сделать один дурак, вполне по силам и другому».

Был Гольдфус человеком скромным и добрым. В любой момент, и даже без всяких требований, одалживал соседям проекторы, краски, кисточки. Мысль о том, чтобы предупредить — мол, верните поскорее, никогда не приходила ему в голову.

А что его картины? Было видно, что с каждым годом он рисует все лучше и лучше. И в то же время тщеславный Сильвермен замечал, что в этой гонке он опережает немолодого соседа. Все чаще рецензенты «Нью-Йорк тайме» восхваляли поднимающего голову мастера. Его персональная выставка в «Дэвис Гэллериз» пользовалась успехом. А Эмиль был не слишком доволен собственным творчеством. Зато всегда успевал и восхищаться Сильверменом, и подбадривать его. На открытие персональной выставки в «Дэвис Гэллериз» он явился в своем неизменном старом твидовом пиджачке — кем-кем, а уж щеголем он точно не был. Зато после выставки довел мать Сильвермена до

метро, поразив Берта этой своей несколько стародавней, выходящей из моды галантностью.

Вообще, это пронесенное через годы достоинство, мудрость, десятилетиями просоленная и проперченная, чувствовались во всем, что бы ни говорил Гольдфус. Но больше всего в своем товарище нравилось Сильвермену иное. Случается, что друг постарше всячески демонстрирует коллегам некое превосходство. Бывает, явное — чаще вымышленное. Так вот, такого между ними никогда не было. Они всегда говорили на равных.

Как-то пришлось входящему в моду Сильвермену монтировать огромное полотно из четырех фрагментов. В принципе, проблема была одна: как сделать картину четко квадратной. И Сильвермен обратился за помощью к Эмилю.

— Ну-ка, дай мне взглянуть и подумать, — моментально ответил тот.

На изучение вопроса ушло у него времени совсем немного. И скоро работа была сделана, несмотря на то, что Сильвермен, он потом признавался в этом сам, всячески мешался и лез под руку. Так что Берту оставалось только удивляться и благодарить.

И, естественно, Эмиль оставался экспертом в фотографии. Сильвермен поразился, когда дал соседу несколько негативов и попросил напечатать их как можно четче. Зайдя через пару часов в студию Эмиля, он увидел на полу чуть не полсотни своих фотографий, увеличенных в восемь, а то и в десять раз.

— Эмиль, ну какого черта ты тратишь на это столько сил! — только и выдохнул Сильвермен.

Гольдфус улыбнулся:

— Кончай причитать, лучше скажи, нравятся ли тебе фото?

Лишь однажды за годы знакомства Сильвермен увидел его несколько раздраженным, даже рассерженным… Это уже после ареста полковника Абеля Америка узнала, что в студии художника Эмиля Гольдфуса стоял отличный коротковолновый радиоприемник. Случалось, радио выходило из строя, и Эмилю приходилось его чинить. Однажды январской ночью 1957-го, незадолго до свадьбы Сильвермена они с невестой Элен заскочили в студию пообщаться с Эмилем. Его радиоприемник был настроен на короткие волны. Сидели, слушали, болтали, как вдруг неожиданно в мастерской Берта напротив зазвонил телефон. Он бросился на звонок. Поднял трубку, услышал голос своего приятеля: «Привет, Берт, с трудом до тебя дозвонился. Что долго не подходишь? Чем занимаешься? Ночь на дворе». Неожиданно Сильвермен увидел, что к нему в мастерскую зашел и Эмиль. Решил пошутить и бросил в трубку: «Да знаешь, дружище, мы с Элен заскочили к Эмилю, а у него радио на

полную катушку. Вот мы и поболтали с Москвой».

Откуда же Сильвермену было тогда знать, что в мастерской его соседа действительно находился радиопередатчик? Еще пару минут разговора, и Берт повесил трубку. Оглянулся и увидел Эмиля. Тот был явно расстроен. Его голубые глаза метали молнии. «Слушай, никогда не произноси такого даже в шутку, — в голосе звучал нежданный металл. — Особенно когда говоришь по телефону».

Такая вспышка гнева, нехарактерная, необычная, удивила Сильвермена. Но никакого внимания он ей, конечно, тогда не придал.

Они встречались часто, много говорили, спорили. И все же, подводя итоги, Берт, уже после ареста Гольдфуса, вдруг понял, что знает о друге совсем мало. Где он живет? Неизвестно.

Хотя создавалось впечатление, что снимает квартирку где-то неподалеку от студии. Изредка из уст Эмиля вылетало что-то о «моем друге», или «парне, которого я знаю». Однако ни разу в жизни ни парень, ни друг не появлялись на свет божий. Иногда Берт и Эмиль вместе обедали. Редко, но говорили о политике. И тут Гольдфус показывал себя стойким либералом, иронично, а порой и с цинизмом отзывавшимся о политических деятелях.

О своих личных делах рассказывал сдержанно, и таким образом, что задавать вопросы, как стало понятно Сильвермену, было нетактично. Лишь изредка вырывалось из него нечто личное. Берт понял: лучше во все эти детали даже и не вникать. Например, как-то упрекнул его Сильвермен за одинокую холостяцкую жизнь. Гольдфус только пожал плечами: «И что здесь страшного?» Бертон все-таки полез в спор: «Ну, ты же и женат-то никогда не был?» Эмиль насмешливо улыбнулся: «Потому что женщина всегда за чем-то гонится. За деньгами, за статусом. Тебя самого они редко признают и почти никогда не любят».

Все же возникало у Сильвермена чувство, что он мог бы и разговорить своего всегдашнего собеседника. Но делать этого как-то не хотелось, к чему было давить? Некоторые другие люди, которые тоже были знакомы с Гольдфусом, вообще и не подозревали, что он холостяк. Иногда на вечеринки в доме Берта собиралась разношерстная публика. И здесь, в общении с женским полом, Эмиль вел себя и застенчиво, и с большим уважением. Да, он говорил с дамами, но не часто. Впрочем, в разговоре с ними мог отпустить и шутку, и отвесить комплимент, но все это в тоне ироничном, несколько сдержанном.

Где-то в году 1955-м Эмиль вдруг признался товарищу, что с деньгами у него совсем неважно. И для того, чтобы поправить делишки, отправляется в Калифорнию. Было у него одно

изобретение, над которым он работал еще в фотомастерской. Что-то связанное с копиром, который мог бы печатать множество цветных фото одновременно. Даже показал часть прибора соседу, объяснив, что это и есть новое электронное оборудование. У него действительно было множество инструментов для работы, которые он хранил в кладовке на их общем с Бертом этаже. Иногда доставал, что-то крутил, подтягивал. И вот как-то весной или в начале лета 1955-го под дверью своей мастерской Сильвермен нашел короткую записку: «Берт, вернусь через несколько месяцев. До встречи».

Несколько месяцев растянулись надолго. Сильвермен, не слыша о Гольдфусе ничего чуть не до конца года, даже забеспокоился. Вроде стали друзьями, сблизились, а исчез — и никакой открыточки, коротенького письмишка. Но Берт был так занят собой, еще одной открывающейся персональной выставкой, что все это ушло куда-то далеко, на второй план. И все же в начале 56-го он обратился к смотрителю здания: не слышал ли тот новостей от Эмиля? Смотритель ничего не слышал, кроме того, что если к концу января Гольдфус не появится, то хозяева здания выкинут его вещи из мастерской.

Тут Сильвермен разволновался не на шутку: что делать? Возникла идея даже обратиться в «Бюро по розыску пропавших». Но не пришлось, потому что как-то после обеда в его студии раздался телефонный звонок. «Привет, Берт, — услышал он знакомый голос. — Это Эмиль». Объяснение его исчезновения, да и молчания, оказалось простым и понятным. Закончив дела в Калифорнии, решил Гольдфус немного попутешествовать. Сердечный приступ настиг его в Техасе — пришлось пролежать три месяца в больнице.

— Чего ж ты, чертяка, даже не написал мне? — возмутился Сильвермен.

Ответ был типичен для его друга Эмиля:

— К чему сваливать свои беды на тех, у кого и без меня хватает забот?

О том, что он делал в Калифорнии, почти не рассказывал. Разве что с подробностями поведал о госпитале, где его так долго лечили.

Потом, после ареста Гольдфуса, все это приобрело для Сильвермена иную окраску. А в то время он просто был рад тому, что его добрый дружище, с которым так приятно рядом, наконец вернулся.

Той ранней весной 1956-го Берт сделал несколько набросков Эмиля. А в конце концов даже написал его огромный портрет. Гольдфус всегда ворчал, что приходится долго позировать. Но

все-таки сидел, терпел, не хотел обижать товарища. Картинка получилась вещей. Эмиль Гольдфус в своей студии, окруженный и собственноручно написанными произведениями искусства и какими-то техническими приборами, главным из которых оказался почему-то сам собою вылезший на передний план коротковолновый радиоприемник. Почему картина получилась именно такой? Быть может, смешав технику с искусством, Сильвермен инстинктивно хотел показать глубокий интеллект человека, на полотне изображенного. Картину он назвал «Любитель». Объяснял это так: «Здесь нарисован человек, который любит то, что делает».

Эта картина позже, в феврале 1957-го, выставлялась в Национальной академии дизайна. Чувствовалось, что самому Гольдфусу она нравилась. Художники, не только Сильвермен, находили лицо изображенного на ней персонажа исключительно интересным. Острый птичий нос, глубоко посаженные глаза, всюду проникающий пристальный взгляд давали Берту возможность как следует изобразить не только натурщика, но выразить и себя тоже. Было в этой картине и нечто мягкое, написанное с уважением к пожилой уходящей натуре, и в то же время преклонение перед напряженным взглядом, в котором чувствовалось что-то запрятанное, наружу не выходящее.

Та пора выдалась плодотворной для двух друзей. Они мотались по нью-йоркским продуктовым базарам, фотографируя продавцов с их богатой утварью. Потом проявляли пленку, и материал появлялся такой, что рисуй прямо сейчас. Было за что зацепиться, что изображать. При съемках приходилось прикидываться фотографами-любителями. И тут все разговоры вел в основном Берт. А Эмиля охватывала полная застенчивость. Но со временем и он научился выдавать себя за фотографа, иногда даже заговаривая с объектом будущей съемки.

Частенько при этих походах Эмиль жаловался на то, что его старые ноги еле тащатся. Сильвермен предлагал подвезти до квартиры, но Гольдфус лишь пожимал плечами и просил подбросить до ближайшего метро.

Скорый арест Эмиля стал полным сюрпризом для Бертона Сильвермена. И тут, задним числом, накатились воспоминания. В 1956-м произошла их помолвка с Элен. В это время Эмиль занялся закупкой всяческих приспособлений, чтобы сделать новобрачным свадебный подарок. Иногда он заглядывал в студию к Сильвермену — показать все чудеса, смонтированные из деревяшек, металла и прочих подсобных средств. Тут были и сережки, и брошки, да чего только он не изготовил своими волшебными пальцами! Некоторые изделия даже покрывал

серебром. А как-то удивил и видавшего виды Сильвермена красивейшим маленьким ящичком для драгоценностей из розового дерева. Сколько ж времени ушло у него на эту работу! На ящичке были серебряные ручки, а в середине блестел серебряный медальон. И все своими руками, по собственным чертежам. Во всем этом виделась Сильвермену тихая, не бросающаяся в глаза, но какая же богатая на таланты душа! И как были растроганы Сильвермен с будущей супругой, когда накануне свадьбы они получили этот самый ящичек с надписью, выгравированной изнутри: «Элен и Бертону от Эмиля».

Конечно же Эмиль был приглашен на свадьбу. Сильвермен знал, что на такие сборища ходит его друг с большой неохотой. И потому предупредил: «Зайди хоть на свадьбу, а на ужин можешь и не оставаться». Ответ прозвучал типично для Эмиля: «Да не могу я идти, ведь надеть мне нечего». Не смешно ли для человека, живущего в самом центре Нью-Йорка? Сильвермен нахмурился: «Да это же не прием, где нужно быть одетым с иголочки. Соберутся просто друзья, родственники. Мы ждем тебя и твоего “да”». Эмиль вздохнул: «Приду, если уверен, что здесь можно обойтись без всяких этих формальностей».

На приеме Гольдфус появился. К удивлению, здорово приложился к шампанскому, и весь вечер проболтал с друзьями-художниками. Уходил одним из последних и с явным сожалением. На пороге признался: «Берт, мне так у вас понравилось».

А на свадьбе случилось нечто неожиданное. В зал вошел безупречно одетый молодой человек, и мама жениха, не зная, кто он, приняла его задруга невесты. Осведомилась о его имени, чтобы представить гостям. Но молодой человек, внимательно осмотрев всю компанию, выдавил из себя нечто вроде извинения и моментально исчез. Кто это был? Откуда?

Берт задним числом полагал, что это один из тех, кто следил за Гольдфусом. Считал, будто спецслужбы уже «вели» его друга. Но нет. Всего лишь случайность. К ФБР — никакого отношения.

Зато в истории, написанной американцем, проскальзывают моменты, которые могли бы привлечь внимание. Выскочившее из уст Гольдфуса признание о том, что был лесорубом на северо-западе, никак не гармонировало с обликом Эмиля.

Непонятно, откуда взялись шотландские тетушка и дядюшка из Бостона. Или припомнились строгие родители, сурово воспитывавшие его в Ньюкасле-на-Тайне? К тому же полковник подстраховывался, прикрывал кое-какие огрехи в произношении.

Не перебарщивал ли Эмиль, словно заправский критик из журнала «Советский художник», превознося реализм — хорошо

еще, что не социалистический? Может, так его и не именовал, но тенденция проскакивала.

Не слишком ли легкомысленным выглядит неожиданно длительная отлучка Гольдфуса, уехавшего продавать изобретение весной-летом и вернувшегося в конце года? Отпуск в Москве был проведен не без пользы. Но, может, уж если завел друга Берта, то и открыточку ему стоило подготовить и отправить? Вдруг встревоженный американец действительно бы принялся искать пропавшего Эмиля через розыскное бюро? Хотя понятно из подробных историй о госпитале в Техасе, куда якобы попал, что легенда, оправдывавшая длительное «выпадание» из нью-йоркской действительности, была припасена и отработана.

Как вздрогнул, пусть и при дурацкой шутке друга о том, что «поболтали с Москвой». Не был ли озабочен возможной прослушкой или боялся — спецслужбы могли заложить некие кодовые слова, при которых во время разговора по телефону включалась запись? В некоторых странах Западной Европы подобное случалось, но гораздо позже.

Все же каким хорошим человеком — не стану рыться в поиске иных более сложных эмоций — был полковник Фишер! Верный семьянин, припомнивший историю о романе с юной арфисткой и навыдумывавший кучу правдоподобных небылиц, лишь бы оправдать свое одиночество. Трогательный и, пусть не покажется странным, верный друг, приходящий на выручку Берту и другим не таким и близким приятелям. И, конечно, мастер на все руки, к тому же мгновенно обучаемый и до самых глубин добирающийся. Он ни разу не вызвал подозрений у Сильвермена.

В отличие от почти всех героев этой книги, Бертон Сильвермен прожил жизнь долгую и счастливую. За плечами более ста персональных выставок. Последняя не без успеха проходила в сентябре 2010-го в Аризоне. Он академик всех возможных академий. И лауреат множества национальных и международных премий. Его картины стоят бешеных денег и издаются в толстенных, дорогущих и тем не менее неплохо расходящихся фолиантах.

Не без удовлетворения замечу: на склоне лет национальная гордость Америки начал рисовать в манере, еще в начале 1990-х именуемой «социалистическим реализмом». Неужели сказалось влияние старинного друга — Эмиля Роберта Гольдфуса — полковника Абеля? Внимательно изучив творчество Сильвермена, делаю твердый вывод: действительно сделался стопроцентным реалистом. И каким продуктивным! На продажу выставлено немыслимое количество полотен разных периодов творчества. Только вот картины «Любитель», на которой изображен

профессиональный разведчик Фишер, нет.

Я и звонил в мастерскую Сильвермена в Нью-Йорке, и безуспешно отсылал ему по указанной электронной почте письма с просьбой об интервью в любой форме… Не давал он ответа. Художнику 1928 года рождения, возможно, больше думается о вечности.

Хорошо, что в нужное время и в суровый для друга Эмиля — Вильяма — Рудольфа час он оказался честным и благородным парнем. Но помимо таких, как Берт, на пути полковника встал и Рейно Хейханен.

Предательство смертельно

Предательства могло бы и не быть, если бы фортуна оказалась благосклоннее к Вильяму Фишеру. Никакого связника Вика не предвиделось, что подтверждает в своем приведенном ниже рассказе и полковник Юрий Соколов, которому пришлось временно осуществлять связь с нелегалом. Марк с нетерпением ждал приезда в Штаты Роберта, хорошо ему знакомого по прежней работе. В начале 1950-х тот через третью страну выезжает в США. И вдруг катастрофа в Балтийском море — корабль, на котором плывет Роберт, тонет. Еще долго его ждали в Нью-Йорке, рисовали на мосту над подземкой условные знаки… Что ж, пришлось подыскивать нового связника.

Мы уже немного касались личности предателя. Не люблю писать об этих отбросах, однако придется. Ведь именно Рейно Хейханен сломал судьбу полковника. Хочется понять, докопаться, в чем и где оступился карельский паренек, родившийся в 1920 году в местечке Каскисари неподалеку от Ленинграда.

Мечтал стать учителем и его желанию помогли осуществиться. Способности не выдающиеся, а поступить в институт, окончив деревенскую школу, вообще сложно, зато приняли в педагогический техникум. Но поработал на ниве общественного образования Хейханен недолго. Деревенского учителя-карела заметили в органах: требовались национальные кадры, потому как началась советско-финская война. В конце 1939 года девятнадцатилетнего учителя, проработавшего в школе всего три неполных месяца, взяли в НКВД. После десятидневных курсов, где учили, как допрашивать пленных, Хейханен переквалифицируется в переводчика и в составе разведывательной группы действует на территории Финляндии.

Потом возвращение в Карелию, где продолжает службу сначала переводчиком, а затем оперативным работником. Ему присваивают звание лейтенанта, следуют женитьба и рождение сына.

Наверняка приглядывались. Но чем таким понравился или отличился Хейханен, не ясно. Однако в 1948-м вызванный в Москву Рейно проходит собеседование в том самом отделе, откуда отправился в США нелегал Марк. После девяти лет работы есть предложение перейти из территориальных органов МГБ — НКВД Карелии не куда-нибудь, а в нелегальную разведку. Совершенно разный уровень! Как тут не согласиться?

Хейханен отправляется «по местам» своего будущего шефа Марка — в Прибалтику. Учеба в Эстонии длилась около года. Его

готовили к работе радистом нелегальной резидентуры. Затем переброска в знакомую уже Финляндию, где он, по легенде Юджин Маки, якобы живет с 1943 года.

С финским языком проблем, ясно, никаких, но с английским сразу возникают сложности. Мало кто из наставников предполагал, что столь непреодолимые. И хотя Хейханен уже знал, что ему предстоит работать в Штатах, языковой барьер штурмовать не спешил. Его торопили. Летом 1951-го последовало обращение Юджина Маки в посольство США в Хельсинки с просьбой о предоставлении американского паспорта. Документы были «чистыми». В свидетельстве о рождении указывалось: 1919 год, штат Айдахо, мать — Лилиана Маки, коренная американка из Нью-Йорка, отец Август — из финского города Оулу, умер еще в 1933-м. Зато появился братишка Ален. Вместе с ним и мамой они жили в эстонской Валге до кончины мамы в 1941-м, а потом уже он перебрался в Финляндию. Документ, склонивший в качестве дополнительного аргумента посольство США к выдаче разрешения на жительство, именовался выпиской из американской регистрационной книги.

Но тут Вик обзавелся новой семьей. В конце 1951-го женился он на подданной Финляндии Ханне Хурике, забыв, что уже успел связать себя узами брака в СССР. Неясно, как отнеслись в Москве к факту двоеженства — ведь со своей первой супругой Хейханен официально не разводился. Решили, наверное, что женитьба сделает легенду еще правдоподобнее.

Простецкий и неуклюжий вид обратившегося в посольство США просителя свидетельствовал о его сермяжном происхождении. Плохое знание английского не насторожило проводившего собеседование сотрудника генконсульства в Хельсинки: финнам языки даются трудно, освоит в Штатах. И паспорт в 1952-м был получен — настоящий, американский.

Двоеженец возвращается в Москву. Последние штрихи подготовки, и под именем Юджина Маки он снова оказывается в Финляндии.

В начале октябре 1952-го — отплытие в США, там Вик будет радистом у резидента Марка. В ноябре Хейханен дает знать в Москву, что прибыл. Обосновался в штате Нью-Джерси поблизости от Нью-Йорка. В отличие от Марка следует относительно длительный период легализации — на связь с резидентом он выходит лишь в середине 1953-го. Ранним утром начертил красным мелком, как это и принято у разведчиков, заметный лишь для ищущего глаза крест на столбе около ресторанчика «Грин Таверн». Так он дал знать ожидавшему его резиденту, что готов приступить.

И началась работа. Первое время Марка он не видел ни разу. Тот передавал ему указания через тайники. Маки, находя их то в ямке под деревом Центрального парка, то в прикрепленном пластиком пакете у почтового ящика, исправно выполнял приказы. Оставлял резиденту, известному ему лишь под именем Марк, свои микрофильмы с текстами расшифрованных радиосообщений из Центра. Вик не совершал никаких выдающихся подвигов, трудился в меру своих скромных сил.

Первая личная встреча была назначена ему лишь в августе 1954 года. В восемь вечера, как было оговорено в вынутом из тайника приказе, он появился в туалете кинотеатра РКО в сине-красном галстуке и с трубкой в зубах. Повторял пароль, чтоб не забыть, когда подошедший к нему незаметный худощавый человек вдруг обратился с непредусмотренной фразой: «Пароль не нужен. Вы — тот, кто мне нужен». Так произошло знакомство с Абелем.

Марк ждал связника. Купил ему аппаратуру для цветной фотографии, объяснил, как она действует. Квартира Вика находилась прямо рядом с будущей лабораторией. Марк надеялся, что это прикрытие будет не только надежным, но и прибыльным. Некоторые приборы он разработал сам. Хейханен воспринял новое для себя дело с интересом, тем более Марк дал и денег. Вик вроде бы проникся энтузиазмом. Еще в марте 1953-го он подписал договор о найме подходящего помещения, закупил нужные для ремонта стройматериалы. На встречах докладывает, что уже скоро, осталось немного — и открытие. Но Марк, заглянув в магазин, ужасается: сплошной обман. Никаких работ не ведется. Замазанные краской витрины да сваленные в углу мешки с цементом — вот и все, на что хватило…

За год они встречались по несколько раз. Однако Хейханен так и не узнал настоящего имени начальника, а чем тот занимается в США, догадывался по передаваемым в Центр шифровкам. Вик и сообщил Марку о присвоении звания полковника.

Резидент попытался получить от своего радиста необходимую помощь. Послал его в Массачусетс, где помощнику предстояло разыскать судостроителя — шведа с типичной фамилией Карлсон. Затем весной 1955-го Вику было поручено найти завербованного еще в Москве сержанта из военного атташата посольства США в Москве Роя Родса. Тот попался на «медовую ловушку», давал кое-какую отдачу. В СССР перед отъездом договорились о продолжении сотрудничества, но, вернувшись в Штаты, сержант никак не проявлялся. Впоследствии Вик сдал ФБР и его. И на суде Родс свидетельствовал о русских шпионах, что

все равно не помогло ему избежать длительного тюремного срока.

Последовало и несколько совместных с Марком поездок по стране. Пытались найти удобные точки для установки радиопередатчиков. И все три раза ни одно из предлагавшихся мест не показалось резиденту подходящим.

Вик все чаще выпивал. Однажды, по обычаю хорошенько набравшись, потерял полую десятицентовую монетку — «никель» — с вложенным в нее Марком микрофильмом. И надо же — монетка просто так не исчезла. Попалась на глаза американскому мальчугану. И «пионер» — бойскаут — проявил бдительность: отнес эту слишком легкую по весу монетку в ФБР. В Штатах его подвиг вошел в историю под именем «полого никеля». Историки их разведки убеждены, что монетка с микрофильмом и вывела на полковника Абеля. Нет, не вывела. Но, что правда, то правда, заставила насторожиться людей из ФБР. А несколько повзрослевший мальчик в дни суда над полковником отыскался и даже давал под присягой показания в суде. Мерзавец Вик признал монетку своей.

Марк еще до этой потери начал сомневаться в способностях Вика. Английский его оставался на том же пещерном уровне. Стало известно Марку и о постоянных пьяных ссорах с женой. Доходило до рукоприкладства, вызовов полиции. Хотя такое поведение иных подозрений, кроме как в беспробудном пьянстве, у американцев не вызывало. Ну как предположить, что запойник-финн — русский разведчик?

Марк, и без того осторожный, держал Вика от себя все дальше. Тот не знал даже, где живет резидент. Догадывался, что каким-то образом полковник связан с ремеслом фотографа — не более. Но встречаться все равно приходилось. Вик изредка передавал предназначенные Марку радиограммы из Москвы. Видя, как постепенно все ниже опускается подчиненный, полковник перешел на внушения. Говорил и по душам, и в приказном тоне. Не действовало ничего. Презирающий стукачество на своих, Фишер сообщил в Центр о спивающемся связнике. Да и попыток как-то вытянуть радиста из запоя Марк не прекращал.

Однажды он все же показал Вику свое обиталище на Фултон-стрит. Обстоятельства буквально вынудили. Помощник не смог выполнить поручение, сослался на нехватку материалов, и Марку пришлось вести его в район своей квартиры.

Хейханен засасывает алкоголь, а алкоголь засасывает его. В итоге — чисто уголовное преступление. Марку передают из Центра пять тысяч долларов, которые Вик должен срочно вручить

родным Мортона Собеля. Тот состоял в одной коммунистической ячейке с казненными Розенбергами и получил долгий срок, как один из их помощников. Крупная по тем годам сумма предназначалась для помощи жене, на поиски хорошего адвоката. Дело Собеля не виделось Центру безнадежным.

Надо было помогать, выручать. Но взятые Виком деньги бесследно исчезли.

В отпуске во второй половине 1955-го Марк уже вовсю хлопочет об отзыве Вика. Удивительно, однако, почти на полтора года просьбы зависают в воздухе. В Центре считают, что у Вика железные документы. Пьяные срывы, уверены некоторые, явление временное, связанное с перенапряжением.

Даже в конце 1990-х пара моих собеседников предполагала, будто Вик «развратился под влиянием американского образа жизни». За месяцы, что Фишер находился в отпуске, Рейно Хейханен окончательно спился. Но лишь весной 1957-го с ним началась игра: сообщили о присвоении майору звания подполковника и вызвали в качестве поощрения в Москву.

Вик в дорогу не торопился. Но все же, соблюдая видимость дисциплины, отправился морским путем во французский Гавр, оттуда в Париж, где в светлый праздник Первомая убедил сотрудника советской резидентуры во Франции, что завтра улетает в Западный Берлин, а оттуда, как и требуется, в Москву.

Далее — поход в посольство США, просьба о политическом убежище, признание в работе на советскую разведку в Нью-Йорке под руководством резидента-нелегала Марка, которому недавно присвоено звание полковника. Перебежчику — от него постоянно тянуло алкоголем — сначала не верили. Но он настаивал на своем. 11 мая 1957-го Вика отправили самолетом в Нью-Йорк, где он вместе с ФБР уже искал то самое здание на Фултон-стрит, куда заглядывал с Марком. Даже номера дома — 252 — алкаш не запомнил. Где-то рядом с Фултон-стрит и Кларк-стрит. Запутался и с этажами: квартира то ли на четвертом, а возможно, и на пятом…

Люди из ФБР, раскручивавшие его на допросах, поначалу сомневались в правдивости признаний. Психиатры, в распоряжение которых Вик был представлен на несколько дней, пришли к твердому выводу: они имеют дело с законченным алкоголиком. Да еще склонным к суициду. И показания воспринимали сначала с некоторым недоверием. Однако именно благодаря перебежчику исчезнувший было на несколько недель художник Эмиль Гольдфус был найден, а когда в ФБР поняли, что русский полковник готовится к бегству в Мексику, последовал и арест.

В операции участвовали несколько десятков детективов. И квартиру все же отыскали. Она была закрыта. Ничего не подозревавшие соседи вспомнили, что их милый сосед мистер Гольдфус уехал отдыхать куда-то на Запад еще в конце апреля. В те же дни, когда Вик отплыл во Францию.

ФБР попыталось вытащить Марка на встречу. Вик поставил условный знак, однако русский разведчик у тайника не появился. Крутившиеся рядом с Виком агенты прождали его напрасно. Хейханена использовали на всю катушку. Приставленный к нему сопровождающий чуть не бил по рукам, когда тот добирался до бутылки. Но и не давать пить было уже нельзя, иначе предатель скисал, впадал то в ярость, то в депрессию. Полная патология!

А ФБР работало профессионально. В доме напротив 252-го, на двенадцатом этаже отеля «Турейн», установили пост. С окон комнаты № 505 не сводили глаз, как и за подходами к дому. Бинокль с десятикратным увеличением, рация — все было под рукой. Однажды проворонив Марка, пост в следующий раз тотчас отреагировал на зажегшийся в квартире свет. Включили рацию, наружка была наготове. Так зафиксировал визит Марка. Поблизости от отеля «Латам» его сфотографировали. Тут же установили личность. Привели в чувство Хейханена и он, увидев фото, радостно кивнул: «Вы отыскали его».

Несмотря на всю его ничтожность, «именно Вик дал ключ к тайне Абеля». Так считал директор ФБР Гувер. Свидетельство приводится и в его воспоминаниях. Что лишний раз подтверждает: если бы не предатель, американцам на след нелегала не выйти.

Но даже в тюрьме полковник нашел способ «достать» Хейханена. Посоветовал адвокату Доновану нанять частных детективов, чтобы те побольше разузнали о Юджине Маки. Указал его точный адрес, привел некоторые детали. Компрометация, назовем все своими словами, главного свидетеля обвинения была подготовлена по предложению Абеля. 1600 долларов, выделенных им на детективов, предоставивших любопытные и им ожидаемые факты, были потрачены не зря.

Соседи подтвердили: пил беспробудно. Хозяин магазинчика поблизости от дома признался, что Юджин вместе с женой закупал в день бутылок по десять. Пьянка иногда завершалась ссорами, порой драками. Вечерами из квартиры доносились ужасающие крики. В скорой помощи подтвердили: да, однажды перевязывали Хейханена — кровь хлестала из нанесенной ножом раны.

Отзывы о Юджине Маки поразили Донована: бездельник, опустившийся пьяница. Никогда нигде не работал. И на что жил и

пил — непонятно. Как на что? На деньги разведки. Все-таки здорово задержались с Виком. Чересчур с ним завозились. Слишком верили. И непонятно, как проморгали.

16 сентября суд под председательством федерального окружного судьи Мортимера Байерса отклонил просьбу Донована о месячной отсрочке слушаний. Дали всего десять дней, за которые ознакомиться со всеми подробностями дела полковнику Абелю было физически нереально. Скорость для американских судов необычная. Байерс спешил, что выяснилось позже, только из-за Вика. Свидетель был в таком тяжелейшем состоянии, что у спецслужб возникли сомнения, дотянет ли он до начала процесса.

Из шестидесяти девяти свидетелей обвинения 32 — сотрудники ФБР, основные надежды на Хейханена. И Донован снова прислушался к совету Абеля. Выбил, несмотря на сопротивление суда, разрешение на встречу с Виком. Она проходила в комнате, набитой сотрудниками ФБР. Линия поведения, единственно возможная, была выбрана руководителями этого ведомства верная. Хейханена заставили затвердить несколько английских фраз, основной из которых стала: «До суда с вами говорить ни о чем не буду». И все же адвокаты полковника нервы Вика потрепали.

В 38 лет выглядел стариком. Большая лысина, оставшиеся волосы выкрашены в цвет чернее черного. Усы и брови — тоже черные. Лицо пытался закрыть очками — и они черные. Полный, неряшливо и безвкусно одетый — таким «главный козырь обвинения» Рейно Хейханен, он же Вик или Юджин Маки, появился в зале в первый день процесса.

Внешне не вызывал никакой симпатии. Антипатия усилилась, когда свидетель раскрыл рот. Его акцент и безграмотный английский невольно пробуждали раздражение.

Вик преподнес суду отрепетированную вместе с ЦРУ историю. Он финн, а не карел, как значилось в советском паспорте. Хейханен вызвал улыбку у сидевших в зале сотрудников спецслужб: «После войны меня мобилизовали на разведывательную работу». Мобилизовать на разведработу — забавно. Такой фразе в ЦРУ его явно не учили. В 1948-м его переправляют в Финляндию под именем американского гражданина Юджина Маки. По чекистской легенде, вкалывал в Финляндии сначала как кузнец, потом как автомеханик. Однако в этой стране ни разу не голосовал и в финской армии никогда не служил.

Как-то, по утверждению Хейханена, которому, по крайней мере у меня, нет оснований не верить, «полковник привел на Фултон-стрит, где вручил коротковолновый радиопередатчик

новой усовершенствованной конструкции (об этом в отечественных материалах ни слова. — Н. Д.) и фотопринадлежности». Фатальная ошибка Вильяма Генриховича Фишера и привела к разоблачению.

Хейханен говорил путано. Перескакивал с одной тему на другую. Выручал и направлял на нужную суду дорожку прокурор Томпкинс. Его вопросы были явно наводящими. Подобные «leading questions» по законам США запрещены, но судья Байерс с отрепетированным постоянством отклонял протесты адвоката Донована. Вик, на счастье Абеля, не помнил точных дат встреч, фамилий, географических названий. Но среди 220 заданных вопросов было немало и тех, что умело подготовило обвинение. В книге генерала Тишкова, изданной пусть и сравнительно небольшим тиражом, зато почти сразу же после возвращения Абеля, они признаются непрофессиональными. Да, конечно, вопросы — наводящие. Однако назвать их бесполезными не решусь. Затверженные ответы Хейханен с трудом, но выдавливал. На большее был умственно неспособен. Лепетал на своем наречии о применявшейся советским резидентом технике. Вспоминал оперативные эпизоды, связанные с Абелем. Всячески себя выгораживал. Но это от него и требовалось. По третьему пункту обвинения — нелегальный въезд и проживание в США — доказательств против полковника набиралось с лихвой. А остальное было уже во власти Байерса, еще того мракобеса, предлагавшего в свое время ставить на руках иностранцев, живущих в США и не принявших американского гражданства, специальное клеймо.

Вик пытался представить свой переход на чужую сторону как веление проснувшейся совести, нежелание работать на Советы. Все было банальнее — сгубила пьянка. Как такой человек попал в разведку? Все время задаю себе этот вопрос, который можно тоже посчитать наводящим. Неужели действительно «морально разложился» лишь в США?

Донован слабостями Хейханена воспользовался блестяще. После десяти дней слушаний он выступил 2 октября 1957 года с потрясающей речью. Предатель был изничтожен. Не могу отказать себе в удовольствии привести небольшой отрывок из пламенной отповеди: «Хейханен по любой оценке ренегат. Первоначально велись разговоры о том, что он — человек, который, цитирую, “перешел на Запад”. И может создаться впечатление, что это высокоидейный человек, который в конце концов “избрал свободу” и тому подобное. Нет, вы видели, вы поняли, что это за человек. Бездельник, ренегат, лжец, вор. Профессиональный обманщик. А теперь, как вам известно и как

он показал, ему платит наше правительство. Оценивая показания этого свидетеля, постоянно задавайте себе следующий вопрос: говорит он правду или ложь, при этом, возможно, настолько серьезную ложь, что она может спасти его собственную шкуру.

Как вы знаете, этого человека “вели” — я именно хочу сказать “вели по сотням страниц показаний его деятельности”. Рассказанное им можно справедливо назвать хорошо отрепетированной историей. В двух случаях его спросили: “Зачем вы прибыли в Америку?” Он ответил: “Я прибыл в Америку, чтобы помочь Марку в шпионской деятельности”. В другом случае его спросили: “Какого рода информацию вы пытались добыть?” Его ответ, фактически совпадающий с формулировкой из сборника наших законов, гласил, что это была информация, “затрагивающая национальную безопасность США”. За исключением этих двух тончайших нитей, представленным самым жалким из свидетелей, которые когда-либо выступали в суде…, в деле нет никаких доказательств, говорящих о передаче информации, затрагивающей национальную безопасность и секреты в области атомной энергии. Да, таких доказательств в деле нет. Однако именно на основе именно этих доказательств вам предлагают послать человека, возможно, на смерть».

Привожу эту цитату для того, чтобы читатель понял, насколько точно расставил все точки в истории предательства адвокат. И, тоже немаловажно, как серьезны, иным словом смертельны, могли стать последствия предательства. Здесь Донован «потоптался» одновременно на самом сильном и наиболее слабом пункте обвинения. Он добился своего. Свидетельства Вика были восприняты именно как показания обреченного на презрение «ренегата».

Как выяснилось, Хейханен был обречен не на одно лишь презрение, но и на смерть тоже: погиб в феврале 1964-го. Был пьян, и его машину раздавил огромный грузовик-трейлер. СВР категорически отрицает причастность Службы к смерти Вика. И сколько я ни расспрашивал людей разных, все подтверждали одну и ту же версию — рук марать не стали. Да и не было уже ко второй половине 1960-х подразделения, каравшего предателей. Склонен верить, что меня не обманывают. Жил Хейханен в районе бедном. Американцы, не очень-то любящие возню с такими, как он, ограничились назначением скромного пособия. Ни к какой работе окончательно спившийся Вик оказался неспособен. Смерть в автокатастрофе видится логическим концом бессмысленно-пьяной жизни.

Но не верится и в другие рассказы — мол, Хейханена хлопнули сами американцы. Надоел, да и постоянно

подкармливать пьяницу накладно. Судьба Вика типична для предателя: выдача своих, суд, высасывание всего, что только можно, чужими спецслужбами, денежные подачки, чтобы хватало на жизнь и виски, и полное забвение, ненужность… Алкоголик Хейханен прошел этот путь даже быстрее, чем можно было представить.

И все же смерть Хейханена загадочна, так как есть и третий вариант. Жил он в Нью-Гемпшире, погиб 17 февраля 1964-го, но ни единого визуального свидетельства о его кончине, кроме сообщений в печати, нет. На дороге, где, как писали газеты, и произошла смертельная авария, как раз 17 февраля не зафиксировано никаких происшествий. Следов аварии в указанной точке не обнаружено. Неужели их спецслужбы, обозначив смерть Вика, таким вот образом увели его от ответственности за предательство? Перевезли в другой штат? Изменили внешность? Дали шанс без страха присасываться к бутылке в новом обличье и под новой фамилией?

Вильям Генрихович Фишер на эти темы размышлять не любил. Если заводили такой разговор в Москве, то он уходил в другую комнату, на даче — поднимался к себе наверх.

Связник полковника Абеля

Полковник Службы внешней разведки Юрий Сергеевич Соколов был связным легендарного Абеля. Кажется, когда мы встретились в середине 1990-х, он оставался последним из тех, кто работал с символом нашей разведки не в кабинетах Лубянки, а рисковал «на поле» тогдашнего ГП — главного противника, в Штатах. Его фамилия известна лишь в узком кругу коллег.

Соколов словно исчез, растворился в зоне повышенной секретности, где людей знают лишь под оперативным псевдонимом. Во времена Абеля он звался Клодом. Родился в 1921 году, а с 1947-го работал в США под дипломатическим прикрытием, занимался научно-технической разведкой. Затем последовали командировки в Швейцарию, Австрию, другие страны. Юрий Сергеевич Соколов, всегда оставаясь разведчиком, работал в крупных международных организациях. Долгие годы — и даже после выхода в отставку — занимался с молодыми разведчиками. Ушедший от нас Юрий Сергеевич — автор многих стихов и песен, посвященных внешней разведке.

Каюсь, но и я, пытавшийся разобраться в немыслимых хитросплетениях советской атомной разведки, внес свою постыдную лепту в эту покрытую мраком историю. В одной из статей публично «похоронил» Соколова-Клода.

Юрий Сергеевич сам позвонил, представился, принял мои извинения, и мы познакомились. Знаете, что поражает в людях той, к сожалению, уходящей когорты? Они, будто на подбор, скромны и интеллигентны. Не совсем уверены, что уже можно рассказывать, а чего никогда нельзя. И еще — весьма не богаты. Офицерская пенсия плюс крошечные блага, никаких сбережений. Но при этом гордость за свою профессию — не выставляемая напоказ, однако весьма заметная.

К Соколову и его супруге я ездил на самый край Москвы. Он шутил: «Найдете самый последний дом в конце улицы — мой». Из окна видны были подмосковные леса. Иногда выходили на балкон. Он любил вздохнуть полной грудью. Тяжело заболел, но сумел победить даже инсульт. Вернулся на работу. А трудился, готовя юную поросль последователей — своих и Абеля.

Юрий Сергеевич всегда принимал радушно. Иногда, попросив выключить магнитофон, вспоминал эпизоды заведомо запретные, припоминал лиц, которые навсегда так и останутся безымянными, а жалко: они заслужили известность и почет. Но Соколов обязательно предупреждал, что это «ни в коем случае не для печати».

Натура тонкая, отличный рассказчик, из которого не нужно выцарапывать детали клещами, Соколов немало писал. Показывал мне свои стихи, всегда посвященные коллегам. Где-то в архивах Службы внешней разведки есть и его — не решаюсь назвать написанное «книгами» — откровенные воспоминания. К сожалению, полковник сознавал: все это для сугубо служебного пользования, тут ничего и никогда не рассекретить… С ним было интересно говорить на любую тему. Таких величают интеллектуалами. Он прожил долгую жизнь, не выходя из тени. Но есть же на свете светлые люди — с ними легко всем! Обидно, конечно, что недополучил полковник славы, но уж так сложилось.

Святой был человек… Уж сколько лет, как ушел, а вспоминаю его почему-то все чаще и чаще и очень жалею, что не могу рассказать о Юрии Сергеевиче всего, что знаю и чего бы так хотелось. Прямо ощущаю недосказанность, ловлю себя на том, что его интонации были более искренни и задушевны, нежели то, что получилось… Но что никак нельзя, то нельзя.

Что ж, Марку — Фишеру было с таким связником спокойно.

— Юрий Сергеевич, сколько же лет вы проработали в США?

— С 1947-го по 1952-й. У меня был дипломатический ранг — третий секретарь. Сначала консульство, потом перевели в представительство при ООН. Столько годков — и без всяких отпусков…

— Напряг наверняка огромный. Теперь, по-моему, так не бывает: дают передохнуть.

— Да, сегодня это кажется невероятным. Но тогда было так. Оглядываясь назад, анализируя прошлое, чувствую удовлетворение. Не сочтите за нескромность — полное. Начало было захватывающим! Пусть огромное напряжение, риск, но положительные результаты давали радость, уверенность. Если что-то удавалось сделать, значит, все усилия не зря.

— У вас были ценные источники информации?

— Серьезнейшие. Достаточно много интересных людей, от которых я получал материалы по тому же атому. А когда и наши взорвали свою бомбу, интерес все равно не угас: дело совершенствовалось, ученые двигались уже к бомбе водородной, возникал трудный вопрос о средствах доставки оружия массового поражения.

— Откуда вы брали агентов? Вербовали? Кем были эти люди? Где находятся сейчас?

— Они мне достались от предшественников. А кем они были и есть сегодня, говорить не буду. Меньше всего наши помощники нуждаются в славе.

— Ну, Юрий Сергеевич, ведь столько лет прошло…

— Хорошо. Например, в Штатах я работал с Моррисом и Лоной Коэн. Имена в нашем мире известные.

— Да, это одна из самых прославленных семейных шпионских пар.

— Слово «шпион» здесь грубо и неуместно.

— Простите. Моррис и Лона добыли для СССР чертежи атомной бомбы.

— В США меня как раз и отправили, чтобы восстановить связь с ними. Встретились, познакомились, подружились. С ними мы оставались друзьями до конца. А первым в Штатах установил связь с Моррисом Коэном, давшим в Испании согласие работать с нами, Семен Маркович Семенов. Оперативный псевдоним — Твен. Затем контакт с Коэнами и их группой «Волонтеры» поддерживал Анатолий Яцков. Тот самый пакет с документами по атомной бомбе, переданной Лоне в Лос-Аламосе нашим агентом Младом, она доставила в Нью-Йорк как раз ему. И за это тоже Яцкову уже посмертно было присвоено звание Героя России. А тогда из США Яцков уехал в другую страну. С ними работал Абель. И я тоже. Я с Коэнами встречался один-два раза в месяц. Но обстановка сложилась такая сложная, что рисковать «Волонтерами», передававшими ценнейшую секретную информацию, мы не могли. И подключилась группа нелегалов во главе с Абелем.

— А как получилось, что вам пришлось стать связником и Абеля? Ведь вы трудились в посольстве.

— Тогда — в ООН.

— Все равно — легально. Но он-то был нелегал, а контакты между разведчиками, действующими под какой-то официальной крышей, и нелегалами запрещены.

— Правильно. Я в США, да и после, всегда был в легальной резидентуре. Поручили поработать с нелегалами — надо было срочно налаживать связь с Абелем. Требовали, чтобы информация передавалась быстро. И вот отыскались мои молодые крепкие плечи.

— Ничего похожего раньше в вашей жизни не было…

— Как вам сказать, все же определенный опыт имелся. Был удачный и счастливый шанс испытать себя и в некоторых смежных областях. Вспоминаю начало 1945-го, Ялтинскую конференцию. Послали туда меня, юного оперативного работника, под прикрытием Министерства иностранных дел. Сначала в Пресс-службу, а затем быстренько в Протокольный отдел. Решалась на Крымской конференции в определенной степени судьба мира, и мы это в полной мере понимали, ощущали. Считали себя сопричастными. Не буду вас мистифицировать: на конференции, проходившей в Ялте, не

пришлось побывать ни разу. Работал я, как мы говорим, на объекте «Воронцовский замок». В нем — резиденция премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. И там имел я возможность встречаться с самыми различными людьми, наблюдать их. Понятно, больше и чаще всего общался с англичанами. Хотя и с американцами — тоже.

— И с самим Черчиллем?

— Да, с самим. Такая была работа в Протоколе, что встречался с ним каждый день. Он ежедневно проходил мимо меня. Моего стола, стоявшего при входе во дворец, ему было никак не миновать. Иногда обращался с просьбами — формулировал их точно, коротко, исключительно сжато. Занят — страшно, весь в делах, но никогда не забывал обратиться с приветствием: «Как, молодой человек, себя чувствуете? Как дела?»

— Ей-богу, не вяжется с образом грозного премьера, вскоре произнесшего речь в Фултоне, которая, как у нас считают, и положила начало холодной войне…

— Из Алупки, из Воронцовского дворца, до Фултона было еще далеко. Однажды Черчилль вдруг завел какой-то общий разговор — о конференции, о погоде, о молодых людях типа меня, знающих английский. Остановился около нас, куря сигару. Слышать, признаюсь, было лестно, особенно о молодых, на английском говорящих. Знаете, тогда я по одному его виду мог судить, как проходит конференция и доволен ли ею премьер. Бывало, возвращался с заседаний хмурый, походка быстрая, кивок — холодный. Для нас даже непривычно. Проходил, как-то сгорбившись, к себе в апартаменты. Но чаще — в хорошем настроении, чувствовал, значит, Черчилль, и заодно я тоже: на конференции все нормально.

— Правда, что постоянно курил сигару?

— Да, точно. Не все время, но частенько. А когда приезжал в хорошем настроении, то изо рта ее не вынимал. И во дворец входил с сигарой, как правило, только начатой, до конца недокуренной. Один раз оставил сигару у меня в пепельнице. Наверно, привык это делать. По-моему, это пенилось окружающими — такой сувенир расхватывался мгновенно.

— Хранится в вашей коллекции?

— Должен признаться, что сигару я взял, долгие годы хранилась у меня дома. Но потом столько поездок, переездов… Жаль, но не дожила до наших дней.

— А окружение Черчилля — они догадывались, что вы… не совсем из Протокола?

— Что вы, нет, конечно! Мы старались — я, к примеру, даже

очень. Был примерным работником Протокола.

— Без формы?

— Какая форма, господь с вами! Никогда в жизни. Хотя нет, всего несколько раз на удостоверения в связи с повышениями в звании. На конференции мне приходилось встречать и провожать некоторых высокопоставленных людей из английской делегации. Однажды встретил и привез во дворец дочь Черчилля Сару. В другой раз дочь Гарримана — был такой посол США в России, потом достиг в Штатах высоких постов, был очень близок к Рузвельту, стал его ушами и глазами. Так вез я Сару из Ялты в Алупку, и она, любознательная, всем интересовалась, спрашивала. Были мы неплохо подкованы, отвечали на все вопросы, и я удостоился комплимента от дочки премьера. Она мне запомнилась моложавой миловидной дамой, приятной в общении. И фанаберии — никакой. А когда ехал встречать, немножко волновался. Но знаете, мы были готовы тут же всем гостям помочь, быстренько все устроить. Оперативной работы, как таковой, настоящей, практически никакой — у меня уж точно. Но плотное общение, контакт, обеспечение безопасности — стопроцентное. Ялта — это вам не Тегеран 1943-го, когда на тех же руководителей трех держав-союзниц немцы во главе с бандитом Скорцени пытались устроить покушение. Но вдруг и в Крыму чего — диверсанты какие, недобитки, оставленные немцами, или просто неосторожность, разгильдяйство? И мы были начеку.

— Юрий Сергеевич, а какие-то ЧП все-таки происходили?

— Бог миловал — ни разу ничего похожего. Время от времени подходили ко мне члены английской делегации, были среди них и военные в высоких чинах. Просили: а нельзя ли посмотреть Алупку, местечко живописное. И мы обязательно устраивали экскурсию. Я как-то даже возил британского генерала, который потом меня долго благодарил. Но разговоры шли только о местных красотах. Все так наедались конференцией, решавшей послевоенную судьбу Европы и определившей зоны оккупации Германии союзными войсками, что о делах старались хотя бы на короткое время забыть, отвлечься. Ну, и просьбы поступали соответствующие, проходили протокольные мероприятия… Я о той работе вспоминаю с удовольствием. Вот он — опыт живого общения, он мне здорово пригодился. Был и еще один своеобразный ознакомительный эксперимент. В конце 1945-го, уже после войны, ездил в Лондоне в составе белорусской делегации на Всемирную конференцию демократической молодежи. Тогда образовалась и мировая молодежная организация. Ну а в мае 1947 года, ровно пол века тому назад, я

отправлялся в США, но через Париж.

— Мы с вами далеко отъехали от Абеля. Но сейчас, чувствую, снова к нему приближаемся.

— Конечно, ибо Париж — лишь точка и короткая остановка на пути в Штаты, куда меня послали в первую долгосрочную командировку. В Париже предстояло встретиться с двумя разведчиками, моими предшественниками, до того работавшими в США. То были Семен Маркович Семенов и Анатолий Антонович Яцков… Сначала встреча с Яцковым в посольстве СССР, потом с Семеновым. Оба прекрасные люди, выдающиеся разведчики. Столько совершили — я перед командировкой читал их донесения в Центр, думал: как же можно так много успеть! Личные дела — увесистые, переписка — внушительная. О их методах и привычках я знал многое.

— Вы хорошо готовились…

— Да, меня готовили серьезно. И счастье — долгие беседы с ними в Париже. Они старательно и исключительно добросовестно стремились как можно глубже посвятить меня в смысл будущей работы. Ничего не таили. Так что о Лоне и Моррисе я узнал из уст их ближайших друзей.

— Вы называете Яцкова и Семенова не связниками, а друзьями?

— Сознательно. Так и есть.

— Встреча с «Джонни» и Семеновым была запланирована в Москве?

— Меня предупреждали в Центре, подготовили к ней, чтобы не тратить драгоценного времени на ненужные вопросы. Только наиболее важное, сплошная конкретика. Понимаете, обойтись без этих бесед в Париже мне было просто невозможно, и два аса по существу благословили меня на деятельность в нью-йоркской резидентуре. Это было первое благословение — запомните этот момент!

— И вы по заданию резидента в Нью-Йорке встретились с Абелем.

— Да, помощь Абелю нужно было ускорить, он в ней нуждался.

— Какую помощь?

— Всевозможную. Дожидаться связников? Потеря времени. И решили, что без связи через посольство не обойтись. Я как-то в резидентуре услышал разговор двух своих начальников. И один из них, Владимир Барковский, который работал по линии научно-технической разведки, рекомендовал нашему резиденту использовать в этом сложном деле Глебова.

— При чем здесь Глебов?

— Глебов, как и Клод, это тоже я. Эти имена не я изобрел. Со мной не согласовывали, сказали только: ты будешь называться так.

— Сколько лет вам тогда было?

— 27 лет. Мне только лейтенанта дали. Так вот, слышу разговор, а потом мне объясняют: установить связь с нелегалом, помогать ему в решении оперативных вопросов, и срочно, срочно…

— А вы знали, чем занимается Абель?

— В общих чертах сведения о нем я получил. Но сразу же пришлось преодолеть один серьезный момент. С ним связались по радио из Центра…

— …Из Москвы?

— Да, и встречу назначил Центр, а не резидентура в Нью-Йорке, как это обычно принято. Оказалось — что в трех кварталах от моего дома! Значит, дополнительный риск. Предстояло несколько раз провериться, нет ли наружки. И задачу мне поставили такую: мгновенно установить контакт, только сообщить ему о месте нашей ближайшей встречи уже в каком-нибудь другом районе — и сразу разойтись. Проверялся я долго. Несколько раз менял автобусы, кружил — нет, чисто. Подъезжаю к кинотеатру, где должен стоять Марк, выхожу резво из автобуса, естественно, первым. За мной — никого, и чуть не бегом, а бегал я быстро, к тому месту, и так мне было легко. Вижу: он, узнаю его еще на подходе.

— Вам показали фотографию?

— Никаких фото. Это был человек с острыми чертами лица. Иду, прыгаю себе, а проходя мимо него, что-то как бы уронил, нагнулся, шнурок поправляю, подбираю на землю упавшее и попутно говорю ему по-русски: «Товарищ Марк, через пять минут в кинотеатре, внизу, в туалете».

— А как нелегал понял, что вы — свой?

— Для него это было совершенно ясно. Во-первых, говорю по-русски, во-вторых, обратился «товарищ Марк», в-третьих, назвал его оперативным псевдонимом. Ну, я смотрю, он спокойно идет к кинотеатру, а я на всякий случай еще разок проверился. Забежал в том же темпе в маленькую лавчонку и быстро-быстро купил себе фруктов, конфет. Все нормально, и я мигом в кинотеатр, спустился в туалет. Там — никого, кино началось, и Марк увидел меня, подошел, обнял. А я немножко откинулся и говорю: давайте сначала обменяемся паролем. Марк мне: да-да, назвал пароль, я — отзыв, и теперь уже полная гарантия: мы как раз те самые, что и должны. Он теплые слова, я ему тоже, что рад видеть. Я ведь знал, что он выдающийся нелегал. Показываю на записочке:

встречаемся тогда-то и там-то. Он кивает, мол, знаю, знаю. Я ему никаких бумажек, записочку уничтожаю и передаю только письма от родных и говорю гудбай. Собираюсь уходить, но Марк на прощанье попросил: «Целый год своих не видел. У меня совершенно нет денег. Заложил все, что только мог. Нет ли у вас?» У меня с собой около ста долларов, отдал. До новой встречи оставалось два дня, и я потом принес ему уже нормальную сумму. Так что Марку как раз крайне надо было, просто необходимо встретиться. Связника у него не было. И легальная резидентура могла и оказала товарищу Марку необходимую помощь.

— И никакого роскошества?

— Что вы, какие там роскошества.

— И вы пошли на встречу как атташе?

— Для других — атташе. А так — я был оперативный работник. Для Марка — разведчик.

— Вы с ним сразу на «ты» или все-таки на «вы»?

— Только на «вы». Это теперь ведущие на телевидении всем «ты» да «ты». А мы уже только потом, когда хорошенько поработали.

— Долго ли еще пришлось выступать в роли связника?

— С Вильямом Генриховичем довелось работать около двух лет. Были личные встречи, безличные, тайниковые операции. Личные встречи были не частыми, скорее редкими, но запоминающимися.

— Юрий Сергеевич, поясните, пожалуйста, эти ваши термины — личные, безличные, тайниковые…

— Личная — это, понятно, когда я вижу, с кем встречаюсь. Но злоупотреблять ими нельзя, потому что каждая требует сложнейшей подготовки, огромного внимания, напряжения, в том числе и нервного. Главное тут — обеспечение безопасности нелегала. Я же прекрасно понимал, что значит его провал. Любая моя оплошность может обозначать бегство Абеля или даже что похуже.

— Что?

— Страшнейшее — арест. И потом я понимал, что это такое — подготовить человека к нелегальной работе. Поэтому вопросам безопасности уделялось первостепенное значение. Личные встречи были редки, ну, раз в квартал, и я их все помню.

— Может, расскажете о самых запоминающихся?

— Расскажу, но сначала отвечу на другой ваш вопрос — о встречах безличных. Встречи безличные, безличная связь, это, к примеру, когда я закладываю контейнер в какое-то условное место. Называется — тайник. Ставлю определенный сигнал, обозначающий, что я заложил информацию, материал в каком-

нибудь контейнере. Нелегал или другой мой коллега это видит, принимает сигнал. Идет к тайнику и изымает из него материалы. Это и есть тайниковая операция. Но можно также действовать и с помощью сигналов различного типа, условных меток, знаков, которые ставятся, а затем считываются в условленных местах и служат для нелегала определенной информацией.

— Допустим, крестики-нолики.

— Это — дело изобретательности. Каких-то стандартов здесь не бывает. Многое зависит от оперативного работника, от страны, в которой трудишься, от ее обычаев. Поставленный сигнал должен не бросаться в глаза окружающим необычностью или чем-то еще. Чтобы какой-то случайный человек или совсем неслучайный — из контрразведки — не обратил внимания на этот сигнал и не поставил около него своего наблюдающего. Вы говорите «крестики-нолики»? Хорошо, допустим, кнопка, воткнутая в определенное место. Или фигурка, кружочек, тоже обозначенные мелом в заранее договоренном местечке. А может быть изменение положения какого-то предмета.

— А какие варианты были у вас?

— Различные, их — бесчисленное множество, и одного какого-нибудь я не придерживался. У каждого оперативного работника — свое. У меня была метка мелом, очень удачно получалось с гвоздем. Например, шляпка вверх — все нормально. Вниз — значит, подожди, не делай.

— Юрий Сергеевич, а где были тайники? Как их готовили? Что закладывали?

— Тайники устраивали в местах разных — в лесу, в парке, где деревьев побольше, только не в Нью-Йорке и не на открытой местности. А с Марком у меня однажды случилась история своеобразная. Это было на краю Нью-Йорка, в парке, на горе. Природа красивая — внизу играют в футбол, бейсбол. И я должен был заложить ему там шифрованные материалы — текст на тончайшей бумаге. В тайниковых операциях Марк проявлял невероятную изобретательность. Контейнеры изготовлял — прямо товарное производство: и болтики, и гайки, и чего только не вытачивал. Он их внутри просверливал и вкладывал материалы. И я попробовал отреагировать, чтобы показать: я тоже умею. Решил изобрести нечто оригинальное. Тем более что как раз накануне операции подходит ко мне мой коллега с куриной косточкой. Она не маленькая и не броская, я ее поскоблил, почистил, просверлил, и действительно получилось внутри этакое хранилище толщиной в палец. Помочил в керосине, чтобы была гарантия: собака или кошка случайно не утащат. И всунул туда тонюсенькие листочки, заделал аккуратненько отверстие

пластилином, получилось нормально. Эту самую косточку я и бросил в тайник. Через день — тревога. Подхожу и смотрю: Абель выставил наш сигнал, что контейнера не нашел.

— Какой сигнал?

— Наш, условный. У нас же все на сигналах. Опасность! Если кто засек, то им надо бы и меня накрыть. Хочу пойти, проверить, может, где-то моя косточка рядом валяется и над нами с Абелем смеется. Но не могу, права не имею. Я обо всем резиденту. Он тоже предположил, что Абель контейнер просто не узнал. Запросили Центр.

— Неужели даже по такому незначительному поводу — и сразу в Москву?

— У нас все на нюансах, на тончайших деталях, и повод как раз серьезнейший. Немедленно был получен ответ. Другого сотрудника Центр вводить не стал, разрешил проверить тайник мне. И, не доходя до него, нашел я эту свою злосчастную косточку: лежит себе в высокой траве около каменной гряды и в глаза никому не бросается. Тут же проверил: контейнер никем не вскрывался.

— Почему вы в этом были настолько уверены?

— Мы обычно меточку оставляем. Но перенервничал я страшно — ошибку допустил явную.

— Так чья ошибка? Разве не Абеля? Мог бы догадаться, что послание в косточке…

— Я не предупредил его о новой форме контейнера. Потом он мне рассказывал: «Я действительно взял косточку, подержал в руках. На контейнер не похожа. И отбросил ее в кусты». Абель был человек исключительно тактичный, представляю, чего только не натерпелся, а мне, молодому, только и заметил: «Ну, ты меня и перехитрил». Пунктуальности и огромной выдержки у него всегда хватало. Я лишь раз видел его не таким.

— Когда же?

— Однажды мы встречались с Абелем в другом городе, не в Нью-Йорке. Я хорошо проверился, мы встретились, поговорили на общие темы, и я передал ему письма от жены и от дочки Эвелины. Марк замялся, хотел раскрыть и что-то засомневался. Я успокоил, все в порядке, обстановка вокруг нормальная. Он читает, и смотрю — лицо у Марка краснеет, задумался глубоко, по щеке капельки слез. Видно, чем-то расстроился. Больше никогда не видел, чтобы он давал волю нервам, ни до этого, ни после. Слезинка у нелегала — не бывало. И тут я проявил бестактность, осведомился, не случилось ли чего печального. А он мне: «Что ты! Совсем наоборот. Но я очень скучаю. Расчувствовался. Мне снятся мои, Родина. Знаешь, я все время один, совсем один. Очень

тоскую по дому». И тут Абель попросил меня узнать, нельзя ли устроить так, чтобы встретиться с женой. Я спросил: а как ему это видится? Он подсказал, что его жену могут принять на работу, допустим, в наше представительство в ООН, посмотрю на нее хоть издали, как она идет. Я понимал, что дело это очень сложное, вряд ли кто способен устоять, увидеть жену и не подойти. И надо ли вообще предпринимать попытки для таких вот личных встреч. Я задумался: сначала он, бедняга, посмотрит на жену, потом мы устроим ему встречу с выездом на конспиративную квартиру, и где-нибудь нас тут могут и прихватить — вдруг неприятности? Видимо, об этом же подумал и Абель. И сказал тихо: «Как бы мне на нее посмотреть хотя бы издали… Остальное — несбыточно, приходят, лезут в голову иногда такие мысли. Не обижайся, желание вполне понятное». Подобные случаи, предложения, просьбы, я узнал позже, много позже, бывали и у других нелегалов, надолго от Родины, от семей отлученных. Так что в принципе удивительного здесь ничего не было. А Марк попросил купить жене, арфистке, музыкальный инструмент. Вот так…

— Такая была любовь?

— И любовь, и тоска — все вместе. Не уверен, но когда Юлиан Семенов описывал в «Семнадцати мгновениях весны» встречу Штирлица с женой в маленьком ресторанчике, он, наверное, все же намекал и на то несостоявшееся свидание, о котором упоминал я. Может, слышал и об этом случае с Абелем.

— А где вы об этом писали? В какой-нибудь книге? В воспоминаниях?

— В своих отчетах в Центр. Возможно, Семенов видел это в архивах, куда был допущен. Похоже, читал — очень похоже. Да, романов я не сочиняю, а стихи… Некоторые посвятил Абелю, Моррису и Лоне Коэн.

— Не прочтете?

— Мы как-то встретились на одиноком пустынном берегу океана. Обсудили всевозможные наши вопросы, и я смотрю, Марк будто окаменел, взобрался на камень и стоял, словно памятник, как статуя, всматривался в океан. Молчал долго. Я не решался заговорить с ним, он задумался, ушел в свои мысли. Подождал, и Марк спустился со скалы, подошел, вздохнул: «Знаешь, а там, за океаном, мой дом». И снова мы долго молчали. Чувства глубокие, говорить сложно. Подобное испытывает каждый разведчик — тоска по семье, по Родине. И со мной тоже случалось. Я к тому времени уже несколько лет работал в Нью-Йорке. Как я все это понимал! Эти мои стихи я посвятил Абелю, той нашей встрече. Преподнес ему в 1963-м к нашему празднику, 20 декабря, когда он уже вернулся из тюрьмы. Вот отрывочек:

Я стою на краю синевы океана И любуюсь его необъятной красой…
Отпусти же меня,
Ты,
Земля, окаянная,
Дай забыться, глаза напоить бирюзой.
Ощутить, как меняются блики и краски,
Шум и буханье волн и спокойствия миг,
И побыть одному хоть минутку без маски,
Неизбежной, не нашей, к которой привык…
…Я здесь нужен. Работе обучен, натаскан,
И об этом мечтал еще дома юнцом…
И я снова надел ненавистную маску,
Как хоккейный вратарь,
Защищая лицо.

Мне очень не хотелось бы, чтобы наши чувства показались вам наигранной банальностью. Нервы, напряжение, отрыв от родного. Любой разведчик постоянно рискует. Нелегал рискует вдвойне. Все это изматывает, иссушает. И у многих, как у Абеля, долгое одиночество.

— Юрий Сергеевич, а как вообще складывается личная жизнь нелегала? Ведь одному же действительно тоска смертная. Не возникает ли мысли обзавестись связями, может, и семьей? Мне как-то звонила читательница — наша россиянка, выехавшая в 1980-е в Германию. Уверяла, что у Абеля за время его странствий родилась за границей дочь. Даже имя приводила — Патриция с какой-то немецкой фамилией типа Пюклинг. Я эту тему развивать дальше не стал.

— И правильно. Чушь и выдумки! Мне сейчас об этом трудно говорить. Но представьте себе, что мне как связнику приблизительно такой вопрос был задан руководством из Центра — попросили, чтобы я выяснил у самого Марка, нет ли у него кого-то рядом. И я, испытывая колоссальную неловкость, был вынужден спросить его. Марк мое смущение заметил. Сказал, не смущайся, вопрос этот вполне понятный. Но я могу твердо ответить, что верю, вскоре встречусь с семьей, и никаких других наклонностей или желаний у меня не было и нет. А потом, когда уже садились в машину, взявшись за ручку двери, вдруг обратился ко мне с вопросом: «А что, у нас в Центре начальство опять сменилось?» Я подтвердил, да, совсем недавно, но как

догадались? Марк улыбнулся: «Да когда они меняются, то ко мне обязательно с этим вопросом. Не красней, я уже привык».

— Да, тема деликатнейшая. А вот еще одна. Юрий Сергеевич, вы считаете, что Абеля арестовали только из-за предательства Хейханена?

— Да. Ведь он так ждал другого связника!

— По имени Роберт…

— Тот должен был приехать, и я, десятки раз проезжая по наземной линии метро, чуть ли не сверлил глазами телефонную будку на одной из станций. На ней связник должен был поставить фигуральный сигнал — прибыл.

— Что это за символ?

— То ли треугольник, то ли черточка, сейчас уж не помню. Или более сложный сигнал: встречаемся в такой-то день и час. Я ездил по этой линии месяц — бесполезно. А потом исчезла и сама будка. Ее снесли. Нервничали, переживали. Неужели Роберт пропал, провалился? Через какое-то время из Центра сообщают, что связник погиб в Балтийском море: его корабль затонул. Словом, роковые обстоятельства.

— А вы знали этого человека?

— Я — нет. Абель знал и очень горевал, очень.

— Если бы Роберт добрался до Штатов, быть может, не было бы и тех проклятых лет, которые Вильям Генрихович Фишер — Абель просидел в американской тюрьме?

— У него были большие возможности и самые разнообразные связи. У этого общительного человека сложился широкий круг знакомств.

— Какую все-таки информацию он получал? Только ли по атомной бомбе? И какова ее ценность? На сей счет существуют мнения несхожие, иногда даже диаметрально противоположные.

— Я судить не берусь. У нас свой этикет. В чужие дела лезть не принято. Не собираюсь и не могу вдаваться в подробности. Основной круг агентов, с которыми довелось сотрудничать, навсегда останется безымянным. Но считается, многие данные экономили нашей стране по два-три года работы в закрытых лабораториях и по 18–20 миллионов рублей в тогдашнем денежном исчислении.

— Потом, в Москве, вы встречались с Абелем, дружили?

— У нас были хорошие отношения, он меня всегда был рад видеть. Но дружить, ходить друг к другу семьями… Такого не было. Он и постарше все-таки. И понимаете, то спецуправление, где Абель работал, держалось несколько обособленно: многое у них не поощрялось…

— Юрий Сергеевич, ваша командировка в США была, как

понимаю, далеко не последней?

— На научно-техническую разведку за рубежом я работал 25 лет. После Штатов были Англия, Австрия, Женева…

— Вы извините за этот вопрос, но не задать его тоже нельзя. Знаете, такое ощущение, что награды вас как-то обошли.

— Как вам объяснить? У меня, полковника, есть 50 лет выслуги и несколько орденов. Еще на рубеже 1948–1949 годов в Нью-Йорк, где я служил, приехала представительная делегация — писатель Фадеев, кинорежиссеры Герасимов и Чиаурели, академик Опарин… Мне, как молоденькому сотруднику представительства Советского Союза при ООН, куда меня тогда уже перевели, поручили всю эту знаменитую компанию сопровождать. И однажды Сергей Герасимов, он взял на себя роль главного, попросил показать им китайскую часть Нью-Йорка. Столько о ней слышали! Вечером сели, дружно потеснившись, в мою машину, приехали, побродили по Чайна-тауну. И попросил Герасимов зайти в китайский ресторан. Я предупредил, что блюда могут оказаться дорогими. Тогда была у нас такая бедность — командировочные у всех крошечные, их и на столовую-то посольскую не всегда хватало, и иногда у членов даже высокопоставленных делегаций вообще не было денег, случались конфузы, не могли иногда рассчитаться. Но тут вступил в разговор Александр Фадеев и сказал, что «будем тратиться в соответствии с имеющейся наличностью». Зашли в маленький ресторанчик, и Фадеев, которому я перевел меню, все быстро понял. Заказали чай, а потом — бисквиты. Разговор был оживленный, люди эти столько знали… Неожиданно Фадеев мне говорит: «Смотрите, товарищ Соколов…»

— Юрий Сергеевич, неужели так официально друг к другу обращались?

— Так было принято. «Товарищ» — слово хорошее. И Фадеев — мне: «Разрезал я этот их бисквит, а там какая-то ленточка. Что там на ней написано?» Перевожу: «Вас ждет успех». Товарищ Герасимов сразу: «А у меня?» Тоже нечто похожее. И тогда все обращаются ко мне: «Что в вашем бисквите?» На моей ленточке значится: «Never be afraid!» — «Никогда не бойся!», да еще с восклицательным знаком. Прямо дали мне американцы, второе после Яцкова с Семеновым — помните? — благословение. Очень оно было кстати. Я им воспользовался.

— Вы всегда верили в приметы и спокойно шли на операции?

— У нас с вами разговор получился честным. Скажу вам, что я в приметы не верю, никаких зарубок для себя не делал. Но приятные воспоминания облегчают жизнь. Разведчик не должен быть самоуверенным, а вот оптимистом — обязан. Меня будущие

профессионалы спрашивали о волнении. Правда ли, что его можно подавить, избежать? Я волновался всегда, когда готовил операцию, волновался перед тем, как проверяться — есть ли наружное наблюдение, обеспечена ли безопасность перед встречей. Волновался, но до порога. Как только уходил из нашего «прикрытия», из резидентуры, из представительства или посольства, то сказать, что я чего-то боялся или так уж волновался — нельзя. Я весь уже был в другой работе, я полностью ей был посвящен. Остального на данный момент не существует. Концентрировался на определенной задаче, сосредоточивался на конкретных шагах, которые были запланированы. Все мое внимание — лишь туда, есть план, который необходимо выполнить. Иначе в разведке нельзя.

— Вы женаты полвека. Жена с первых шагов знала, чем вы занимаетесь?

— Знала и переживала. Иногда очень глубоко. Старался ее беречь. Если предполагал быть дома к 12 ночи, то заранее предупреждал: буду в два часа, спи. Но нервов тратилось немало, супруга успокаивалась, только когда я поворачивал ключ в двери. Могла и притвориться, что спит. Однажды американец — комендант нашего дома убил своего соотечественника — жильца из соседней с нами квартиры. Убийцу нашли, подъехала полиция, мигалки, прожекторы. Я в тот момент — на встрече, и супруга подумала, что ждут как раз меня. Подъезжаю к дому, вижу всю эту картину, но остаюсь спокойным. Ничего у них на меня нет, со мной — никаких улик, документов. Да в конце концов и дипломатический иммунитет. Вхожу в подъезд, никто не обращает внимания, поднимаюсь… И тут жена бросается в объятия. Но беспокоиться, сами понимаете, у нее основания были. Тем более у нас дети — три дочери.

— А хоть что-то успевали видеть кроме разведки?

— Удивительно, но успевал. В кино мы ходили, в театрах бывали, иногда самых тогда модных. Слушал Кросби — вот это голос! Бенни Гудман все поднимался и поднимался, и вдруг на наших глазах его джаз начал сходить. Меня успокаивали Фрэнк Синатра и Дорис Дэй. Еще тогда раздражало, когда отсутствие голоса компенсируют прыжками, миганием света и другими скучными эффектами. А встреч сколько! Особенно с людьми культуры — с Полем Робсоном часто. Когда он пел нам в посольстве о катящей свои воды Миссисипи, брало за душу. С писателем Джоном Стейнбеком виделся. Но знаете, когда мы там, то с интересом смотрели наше, русское, то, что здесь, в Москве. Дмитрий Дмитриевич Шостакович был скуп на эмоции и язык, но скромность и эрудиция привлекали. Я снимал кинофильмы,

понятно, любительские на 16-миллиметровке. Там Фадеев перепрыгивает через скамейку, а Шостакович задумчиво подходит к скамеечке и сидит на ней погруженный в себя, в мысли, может, в музыку.

Я доволен своей жизнью, судьба распорядилась мною справедливо. Понимаете, те, кто у нас работает, делают это не из-за званий и денег. Все эти блага, вероятно, лучше искать где-то в ином месте. Мы же сделали то, что были должны сделать. В этом и радость. Только в последние годы стали рассказывать о Семенове. Он был уволен со службы, когда боролись с космополитами. Ерунда! Потом трудился переводчиком и редактором в издательстве. Но его дела — они-то остались. Вот кого подзабыли, однако заслуг у Семенова от этого забытья никак не поубавилось. У меня в личном деле запись — выслуга 50 лет. И все эти десятилетия по существу по линии научно-технической разведки. А после оперативной работы судьба забросила меня в наш институт, теперь это Краснознаменная академия внешней разведки имени Юрия Владимировича Андропова. Преподавал двадцать лет, вел практические занятия с будущими разведчиками тоже по линии НТР. И у многих есть желание работать, верность Отечеству. Был после распада Союза период неверия, слабые бежали. Время такое? Может быть. Но бегство, предательство — это слабость. А был и пик: в Отечественную люди старались помочь Советскому Союзу в борьбе против нацизма. Но теперь идейной основы нет, что правда, то правда. С коммунистами нам работать было запрещено, чтобы не ставить под удар коммунистические партии. Работали с сочувствующими. Сейчас (эта беседа проходила в мае 1997-го. — Н. Д.) завершается сложный период перехода. От оценок я воздержусь. Пока иностранцам сложно понять у нас происходящее. Каково им, когда мы и сами подчас не знаем, за что хвататься. Понимание приходит постепенно, а оно придет, гарантирую. Самое тяжелое — мой опыт не подводит — позади. Иностранцы всегда хотят видеть у тех, кому предлагают услуги, стабильность. Уже сейчас появились доброжелатели, их немало, так мы называем тех, с кем, в принципе, можно работать. Есть лица, готовые нам помочь. Их надо искать. Но это вопрос к молодым, тем, кто у нас учился. А я только закончил службу. Хотя по-прежнему передаю свой опыт. Но об этом — не сегодня. Вот так и пролетело полвека…

— А кого из тех, с кем довелось работать, выделяете особо?

— Абеля. Он многое сделал. Человек высочайшей культуры. А уж добросовестность — редко встретишь. И его геройство не только в молчании после ареста, как стали говорить люди незнающие, от разведки далекие и к ее секретам не допущенные.

Лучшее доказательство тому — обилие наград, Абелю врученных. Вам уже наверняка говорили: в ту пору к разведчикам были не слишком щедры. У Абеля столько орденов и орден Ленина.

— Но Героя так и не присвоили…

— Присвоить никогда не поздно. И другие мои друзья Лона и Моррис Коэн звания Героев России удостоены посмертно. Что, разве от этого их подвиг не столь важен? Вот их я тоже, как и Абеля, считаю выдающимися нашими разведчиками. Вы же знаете, что Абель работал и с ними. Да и я — тоже. Но именно Абель — первый, кто конкретно взялся за профессиональное воспитание Лоны и Морриса.

— Расскажете, как это вы заменили Абеля?

— Обстановка в момент нашего знакомства была очень тяжелая. В 1948 году поднялась волна маккартизма. Отношения между США и СССР ухудшились. Работать стало еще труднее, и неудивительно, что Центр решил передать Коэнов на связь нелегалу, конкретно — Абелю. Так, конечно, было безопаснее для Морриса и Лоны. К концу 1949-го они перешли «под его покровительство», работали вместе где-то около шести месяцев. Но вскоре Абелю было дано указание связь с Коэнами прекратить. Заменить его предстояло мне.

— Я слышал, порой вы работали с «Волонтерами» методами нетрадиционными, нарушая определенные каноны.

— Ну вот, и сразу обвинения в служебном несоответствии. Но в нормальной обстановке некоторых действий я бы, естественно, не совершил. Просто рисковать таким нелегалом, как

Марк, и двумя нашими верными помощниками было никак нельзя. И у меня все пошло не по традиционным нашим канонам. Первая встреча — в нью-йоркском Бронксе. Тщательно проверившись, приближаюсь к универмагу «Александере». Предстоит установить личный контакт с «Волонтерами», который был прерван, законсервирован. Наступила пора встретиться с Лоной Коэн.

В Центре я вел ее дело, видел фотографии. И здесь узнал сразу. Приятная молодая женщина спокойно приближалась к условленному месту. Правда, почему-то без опознавательного знака. Но сомнений все равно не было. И, подойдя, я произнес пароль. Лона моментально поняла, что я был именно тем, с кем и была назначена встреча. Но отзыва не последовало. Вместо этого Лона вдруг призналась, что все забыла. Но все-таки запомнила ключевое слово. Вот с таким небольшим приключением и восстановили связь. Мы вновь запустили заброшенный было механизм, и контакты с важными источниками научно-технической информации стали возобновляться. Были и успехи, и

потери. А помощь в этом Морриса и Лоны оказалась просто неоценимой. Для меня Моррис — близкий, дорогой человек. Он был и старшим братом, и добрым советчиком. На первых порах ситуация для меня оказалась непривычной. И без дружеской поддержки Коэнов пришлось бы сложно.

— Юрий Сергеевич, простите, что вмешиваюсь в ваш монолог. Но почему пришлось срочно вывозить Коэнов из Штатов? Что все-таки произошло? Знаю, существует немало версий…

— Да, версий много. К этому времени в Англии был арестован наш источник, немецкий физик Фукс. Задержали агента Голда. А Лона встречалась с другим нашим помощником — Персеем. Естественно, возникла угроза, что рано или поздно ФБР может выйти на Морриса и Лону. А коль так, то и на других связных, и на Абеля. Это был бы большой провал. Сами представляете, что значит подготовить нелегалов, сколько это стоит и времени, и денег, даже представить трудно.

Безопасность Коэнов была под вопросом. Под горячую руку могли не только арестовать, но и сделать, что хочешь. Ведь посадили же после отъезда Коэнов на электрический стул супругов Розенбергов. Продолжать связь с Моррисом и Лоной — авантюра. Поэтому и приняли решение: Коэнов вывозить.

— Моррис рассказывал мне, что вы сами пришли к нему домой. Но это же риск! Может, поведаете, как все это было?

— Было рискованно. Но ввиду срочности приход мой был неизбежен. Надо было принимать меры, спасать их, вывозить из страны. Значит, надо навестить «Волонтеров» и договариваться о сложной процедуре выезда. Это могла сделать только легальная резидентура — если я провалился, то меня отзовут. Что ж, перетерпел бы… А вот для этих двух американцев арест мог обернуться трагедией. Жара в том июле 1950-го стояла страшная. Караулить около дома? Но когда они выйдут, да и выйдут ли в такое пекло? Маячить около дома — привлекать к себе внимание. Потому решили действовать смело. Зайти к ним в дом без предупреждений, сообщить о необходимости отъезда. Так и получилось. Вошел к ним в дом, они — в полупляжном виде, были немного удивлены, но не потрясены. Я в костюме, только пиджак и сбросил. Чувствовали опасность, поняли, что уж если я пришел, значит, стряслось что-то важное. Разговор предстоял исключительно деликатный.

Садимся за стол. И начинаем говорить с Моррисом на бумаге. Я ему пишу: нужно встретиться в городе, чтобы подробно все обсудить. Болтаем о ерунде и пишем, пишем. А Лона приходит, забирает каждый листочек, несет в ванну и там сжигает. Я

написал Моррису довольно понятно, что надо уезжать. Он возражает, что это неразумно, особенно теперь, когда появилось столько знакомых. Можно купить любые документы, сменить фамилию, место жительства, продолжать работать подпольно. Моррис — это настоящий боец, Лона — тем более. Я снова им свое, лучше вам выехать, и уже после этого, в спокойной обстановке и в другой стране будет решаться все остальное. Моррис мне опять о собственных предложениях, о переходе на нелегальное положение. Я стою на своем. И тут он выводит на бумаге: это воспринимать как приказ? Я подтверждаю, что да, пожалуй, как приказ. И он отвечает мне: тогда о чем же разговор? Если приказ, то он будет выполнен. Вот они — высочайшая дисциплинированность и чувство долга «Волонтеров»! Пошли совсем другие обсуждения. Мы договорились, когда и где встретимся в городе. Поднимаюсь, Лона выходит из ванны, а оттуда такой дымище! Я говорю: кто же так сжигает? Думал, ты знаешь, как сжигать материалы.

— А как?

— Вот и она — а как? Надо согнуть листочек буквой «п», поджигать сверху, он загорается и догорает без всякого дыма, только белый пепел остается. Лона сразу попробовала, и листочек мигом исчез. Поблагодарила, упрекнула: «Что ж ты мне раньше не подсказал?» И во, какой оптимизм, пообещала, что в дальнейшей работе ей может пригодиться. И я понял, что нью-йоркская история заканчивается, а впереди — другие. Они оба были настроены на работу. Операция завершалась. Мы несколько раз встречались в городе. Тяжелая наступала пора, очень серьезная. Были сложности, о которых не могу говорить. Но сам я паспортов им не передавал. Это сделал другой человек. Кто, говорить не могу. Я должен был не отдать паспорта, а взять их у Коэнов. Там нужно было кое-что подправить соответствующим образом. И когда я пришел на встречу с ними, то смотрю, появилась Лона и говорит: «Ай-ай-ай». «Почему — ай-ай-ай?» — спрашиваю. — «Потому что мы с Моррисом забыли, какая встреча основная, какая запасная. Я подумала, что у меня запасная, и на основную отправился Моррис с паспортами, а я к тебе сюда». И пришлось нам назначать встречу в третьем месте. Было уже поздно, часов одиннадцать вечера. Мы встретились в ту же ночь, вернее, за полночь, Моррис принес мне паспорта, я их взял. Но как же поздно! Возвращаться обратно в представительство ООН, где я тогда работал? Человек приехал глубокой ночью — подозрительно. И я решил рвануть на дачу, где жили наши. На одной из улиц на повороте вслед за мной зеленый свет потух и зажегся красный. Получился спорный момент. Поехал, а на углу

— полицейская машина. Смотрю — она за мной. Я уже набрал скорость, тормозить нельзя, вышло бы, что я признал: нарушаю. Ну, полицейский меня догоняет, приказывает, чтобы остановился: проехал на красный свет. Я с ним шучу, анекдоты рассказываю, а паспорта Коэнов в моем автомобиле спрятаны. Номер у меня не дипломатический. Наоборот, я его специально поменял. Вот вам тяжелый момент. Но тут в машине у полицейского звонок. Он говорит мне: пойдем со мной. Болтает по телефону, а у меня мысли: это обо мне, и парень уже знает, кто я, что я и откуда. Вдруг он по телефону: ладно, позвоню. И тут у меня отлегло. Отпустил он меня…

А дальше — две недели встреч, тщательной отработки, преодоление разных формальностей. В конце месяца я получил условный сигнал от Морриса: подготовка к отъезду завершена, они с Лоной покидают Нью-Йорк. Я волновался мучительно. Месяц, даже больше от них и о них — ничего. Почему молчат? Успокоился только тогда, когда из Центра телеграммой сообщили, что Моррис и Лона благополучно добрались до Москвы.

Вернулся я домой осенью 1952 года. Хотелось повидаться с моими друзьями. Но трудно это было. Они находились на спецподготовке, уже по линии нелегальной разведки. Вы знаете, что работали они потом в Лондоне вместе с Беном-Молодым, под фамилией Крогеров. Но перед отъездом мы с ними все же встретились. Они настаивали, и я тоже. Подъехала автомашина, я подошел, они сидят, и Моррис меня втащил к себе, начали целоваться, обниматься. Поговорить так и не удалось. Только повидались. Они уже уезжали. И уверены были, что я туда тоже поеду и буду там с ними работать. Но я с ними там не встречался.

Мы 15 лет не виделись. У них — шесть лет работы с Беном, девять лет тюрьмы. И только потом, когда Коэнов обменяли и они вернулись в Москву, мы стали встречаться. И вот однажды Лона мне говорит: «А я тебя в Лондоне видела. И так и сяк внимание привлекала, а ты ничего не замечаешь. Но, когда ты шел по лестнице, я подобралась к тебе сзади и ущипнула. А ты опять не среагировал. Вот какая у тебя выдержка!» Но ничего такого со мною не было. То был, конечно, не я.

А в день своего 75-летия Моррис подарил мне фотографию — он, Лона и я. Подписал на обороте: «Помню, как десятилетия назад ты переживал всем своим большим сердцем, и как оно билось от волнения. Но мы добрались до Красной площади». А Лона, совсем не любительница писать письма, в своем обычном стиле добавила: «Со всем, что написал Моррис, я согласна». Мы с ними в Москве дружили, очень часто встречались. И жена моя, и

три мои дочери. Эх, хорошее было время. Но все проходит…

— Так говорят французы.

— И не только. Лона умерла 23 декабря 1992 года, Моррис скончался летом 1995-го — за девять дней до своего 85-летия. Хорошие они были люди. Светлые, бескорыстные и героические. Моррис назвал меня незадолго до своей кончины «последним из могикан» советской разведки, работавшим с ним и Лоной за кордоном. Да, ушли все, кто работал с ними до меня и после. Думаю, что сделанное Моррисом и его женой для нашей страны только предстоит оценить будущим поколениям. Еще не всё из ими свершенного известно…

Человек, который украл для нас бомбу

Знакомьтесь: Моррис Коэн — американец и советский разведчик-нелегал. Это они вместе с женой Леонтиной добыли для нас секрет атомной бомбы.

Моррис уже стар, он явно болен, устал. Как вообще Коэн добрался до своих восьмидесяти четырех? Ведь он балансировал на лезвии ножа десятилетиями и однажды сорвался: в итоге — девять лет строгого режима в тюрьмах Ее Величества королевы Великобритании.

Какой же он? Я ждал встречи с ним долго — хотя разрешение на рандеву было получено, однако разведчик болел, почти умирал, выкарабкивался из цепких костлявых объятий. И вот он передо мной — Моррис Коэн, Питер Крогер, Санчес, Израэль Ольтманн, Бриггс, Луис… единый в бледном своем лице. Сухощавый, скромнейший и аккуратнейше одетый, седой как лунь и опирающийся на палку старичок, которого с привычной бережливой строгостью поддерживает под локоток крепкая медсестра.

Дорогой мой Луис, неужели собственной жизнью я обязан частично и вам? Без вас с Леонтиной сколько бы еще предстояло мучиться нашему гению Курчатову над собственной бомбой, а янки ждать не собирались. Хиросима, Нагасаки, а потом, может быть, и Москва?.. Да, при таком раскладе я мог бы и совсем не родиться в 1949-м. И вот я в вашей квартире на Патриарших прудах. Беловато-сероватый дом, нелюбопытный лифтер при входе, медсестра, знающая, кто и зачем заглянул. Бедной жены вашей, Леонтины, или Лесли, как ее называли в разведсводках, уже нет — умерла от рака. Российские коллеги из Службы внешней разведки заботятся о вас трогательно. Вежливые, вышколенные медицинские сестры дежурят в квартире в три смены, и вы общаетесь с ними на вашем ломаном, так до конца и не выученном русском, как с добрыми знакомыми. Пару раз в неделю вас обязательно навещает Сергей — старший офицер из Службы, разговаривающий с вами на безупречном английском и сейчас как-то очень умело-тактично выкрикивающий вам в ухо мои вопросы. Без него общаться было бы еще сложнее…

Экскурсия по квартире с комментариями Коэна: фото разведчика Абеля — Фишера и не менее знаменитого его коллеги Молодого — Лонсдейла — волею судьбы Моррису довелось работать и с тем, и с другим. Рядом, в рамочке, Юрий Андропов. Портреты Лоны и Морриса, написанные «товарищем из нашей Службы», как впоследствии узнал — художником и разведчиком

Павлом Георгиевичем Громушкиным.

И вдруг — веселые, цветастые стенные газеты с заголовками: «Здравствуйте, товарищи Питер и Лесли!» и «Поздравляем с праздником, дорогой Питер!». Открытки, приветствия от школьников — максимум пятиклассников. Это не забывали Крогера внуки и правнуки тех российских чекистов, с которыми он рисковал за кордоном. Несколько академическая, суховатая квартира согревается теплом, которого Питеру, наверное, все равно не хватает. Книги в основном английские, изредка — на русском. Для большинства читателей в них история разведки, для Морриса — его собственная. Опираясь на палку, достает фолиант, другой: «Вот пишут, что Икс сделал то-то. Не совсем так…» Или: «В Америке до сих пор верят, что… Пусть они остаются при своих заблуждениях».

В коридоре большой рисунок типично испанского дома с колоннами, около которого воевавший в интернациональных бригадах Израэль Ольтманн почему-то задерживается: «Приглядитесь к особняку, какие колонны, а? Я потом вам объясню». И пошли воспоминания о гражданской войне в Испании. О товарищах, которых уже нет. Характеристики точны, я бы сказал — хлестки… Несколько человек из Интербригады еще были живы и кое с кем Коэн вел переписку: создавался Музей памяти интернационалистов. Один ближайший друг по гражданской войне в Испании хотел было приехать, но внезапно замолчал, пропал. У Морриса, едва ли не в первый и последний раз за ту встречу, на глазах — слезы. Похоже, друга больше нет. Они вместе воевали, ходили в атаку. Фашизм, Франко, Интербригада…

А мне эгоистично хочется, ну не терпится задать вопрос, который и задаю, правда, в самом конце четырех часов беседы:

— Моррис, так все-таки атомную бомбу выкрали вы?

Коэн молчит, подбирает слова:

— Нет, я бы так не говорил. Мы не были физиками, математиками, знатоками. Просто Лона взяла и сумела передать нашим товарищам материалы, которые собрал в атомной лаборатории Лос-Аламоса ученый-атомщик Персей.

Кто такой Персей?

Кто же такой Персей? Не собираюсь интриговать читателя и напишу честно: подлинное имя этого человека, так выручившего Курчатова, тогда оставалось тайной. Появилась у нас в России книга, где вроде бы давался «толстый намек» по этому поводу.

Коэна публикация здорово рассмешила: ни на грош истины. Впоследствии выяснилось, что действительно — «утка». Ну так где же правда, Моррис? Пожатие плечами. Удивленный взгляд через лупу на список моих вопросов: неужели непонятно, что ответов не последует? И тут же уход в сторону: повествование о трудном детстве в Бруклине, об отце — сначала уборщике улиц, потом торговце овощами. О работе учителем и трудных экзаменах на должность, где его — преподавателя-коммуниста — постоянно пытались завалить. Он, несмотря на годы, показал себя мастером больших «уходов», что подтвердили и два старших офицера из Службы внешней разведки, присутствовавшие при беседе.

Но все-таки Моррис рассказал мне немало.

— Вы знали того ученого лично?

— Естественно. Познакомились в Испании, где мы оба воевали против Франко. (Здесь Моррис лукавил — Персей в Испании по молодости лет не воевал. — Н. Д.)

— Он американец?

— Да.

— Скажите, а он что, входил в группу «Волонтеры», которую вы организовали в США?

— Откуда вы взяли это название? Да, у нас были люди, антифашисты, безвозмездно, без всяких вознаграждений помогавшие СССР. Но причем тут «Волонтеры»?

— Кем был Персей по профессии?

— Вот он-то был физиком.

— Как же вам удалось на него выйти? Ведь наверняка весь персонал лаборатории в Лос-Аламосе был засекречен и находился под надзором.

— Персей сам обратился ко мне с просьбой вывести на русских: знал, что я работал в «Амторге». Посоветовался с нашими, и прямой разговор поручили мне. Говорили мы в нью-йоркском ресторане «Александере», продолжили в маленьком магазинчике. Он даже обиделся, когда я упомянул о долларах. Персей пошел на сотрудничество, как и мы с женой, ради идеи. Опасался, что страшное оружие, которое разрабатывали в Лос-Аламосе, в конечном счете используют не только против Германии, но и против своих русских союзников тоже.

— Мистер Коэн…

— Называй меня Моррисом или Питером, я не мистер.

— Хорошо. Моррис, но почему на встречу с Персеем в Лос-Аламосе за чертежами бомбы поехала ваша жена, а не вы сами? Задание-то было сверхсерьезное…

— А потому, что шла война, и в июле 1942 года меня мобилизовали. Из армии было не вырваться. И потом, моя жена

ездила не в Лос-Аламос, кто бы пустил ее в запрещенную зону? Даже тех, кто работал в лаборатории, из городка выпускали раз в месяц, в одно из воскресений. Моя жена не слишком догадывалась, за чем именно едет — она должна была взять у незнакомого молодого человека «что-то» и передать это «что-то» нашим в Нью-Йорке.

— Как прошла эта встреча?

— Со сложностями. Лона слегка обезопасилась свидетельством нью-йоркского врача: надо бы подлечить легкие. И почему бы не на курорте Альбукерк? Кому какое дело, что это недалеко от Лос-Аламоса или Карфагена, как называли его в Центре? Но и в Альбукерке за приезжими тоже приглядывали, и жена поселилась в пригороде, в Лас-Вегасе.

— Вы не путаете? Лас-Вегас — совсем в другом конце Америки…

— Городков с таким названием в США несколько. Жена сняла комнату в Лас-Вегасе, штат Нью-Мехико, у какого-то железнодорожника. Персея она никогда не видела, но я показал Хелен его фото. (У меня впечатление, что Питер — Моррис — Луис иногда путался в именах и псевдонимах супруги: Лесли — Хелен — Тереза — Лона — Элена. Наша беседа велась на его родном английском, а если мы изредка переходили на русский, то Питер обращался ко мне на «ты», как и ко всем остальным. С «вы», иногда все же вырывавшимся, получалось у него сложнее. Объяснялся со страшным акцентом, хотя, как я слышал, в свое время много читал на русском. — Н. Д.) Так вот, Персей должен был держать в правой руке журнал, в левой — желтую сумку, из которой торчал бы рыбий хвост. Если сумка повернута к Хелен лицевой стороной с рисунком, то к Персею можно подходить смело: слежки нет, обмен паролем и передача сумки. Встречу назначили, понятно, на воскресенье у храма в Альбукерке. И здесь жене пришлось понервничать: Персей пришел только на четвертое воскресенье. Целый месяц ожидания!

— Персей объяснил, что произошло?

— Молодой парень на ходу признался Лоне, что перепутал дни.

— Но, насколько понимаю, ожидание было не напрасным?

— Как вам сказать…

Коэн вопросительно смотрит не на Сергея, а на второго участника нашей беседы. Тот кивает головой: теперь, мол, можно.

— Между рыбиной, кажется, это был сом, и журналом лежало полторы сотни документов.

— Какие? Чертежи?

— Это я обсуждать не буду. — Голос Питера звучит

неожиданно твердо. — Я вам уже говорил, что тут я не знаток.

— То была первая и последняя встреча вашей жены с Персеем?

— Это был не единственный раз, когда она отправлялась в те края. Только время для подробностей еще не пришло.

— Кем же был Персей? Как сложилась его судьба после войны?

— Я полагаю, и через столетие это не будет раскрыто. Думаю, и в Службе остались два, может, три человека, которые знают его подлинное имя. Некоторые пытаются строить догадки. В последние месяцы, мне говорили мои товарищи, всплыли какие-то домыслы. Персей помогал нам из чистого благородства.

— Вы имеете в виду, что работал бесплатно?

— Об оплате не было речи. Такие, как он, боролись за идею. Штаты и Советский Союз должны жить в мире, значит, их силы обязаны быть равны.

— И Персей, сделав это военное равенство возможным, не попал под колпак контрразведки?

— Нет.

— Но ведь вскоре был выдан другой ученый-атомщик, немецкий антифашист Фукс — псевдоним Чарлз. Сначала трудился над созданием бомбы в Англии, затем в Лос-Аламосе. В Англии, куда Фукс вернулся после войны, его и арестовали. Допросы шли долго, Фукс запирался. Но, как это частенько случается, естественные доказательства заставили сознаться. Да, выдавал секретную информацию Советам из идейных побуждений. Как же остался вне подозрений Персей?

— Предатели его не знали, арестованные разведчики если и знали, то не выдали.

— Судя по вашему упорству, Персей и после войны оставался в США?

И тут Моррис меня буквально ошарашил:

— Да. Надеюсь, что и сейчас живет там тихой, мирной жизнью. Ему есть чем гордиться.

— Моррис, но ведь и вашему с Лоной фантастическому везению все-таки пришел конец.

— Вы меня о многом спрашиваете, наводя на ответы типа «да» или «нет». Но в нашем положении такое нереально. Мы совершили все это из признательности России, верности партии, идеалам, которым служили. Вы же считаете нас атомными экспертами, правда? И ошибаетесь.

Моррис, вы помните Абеля?

Леонтина и Моррис продержались в США на своих немыслимо дерзких ролях около двенадцати лет. Импульсивная эмоциональность Лоны, ее любовь к риску достойно уравновешивались холодной рассудительностью, осторожностью Морриса. Но было и нечто иное, спасавшее от провала: работавшие с ними русские берегли их не только с профессиональной, но и с душевной ответственностью.

Менялись люди, передававшие задания и выходившие на связь. Семен Семенов — Твен, затем Джонни (Анатолий Яцков), Клод (Юрий Соколов) числились дипломатами; другие, как Абель, проникали в Штаты нелегально.

Одним из последних, с кем их связала судьба перед бегством в СССР, был разведчик-нелегал Фишер. Вспомним: он обосновался в США в 1948 году. Сотрудничество с Коэнами продолжалось не так долго. Но сколько годков идет в разведке за один: три, пять? И совершить они вместе успели немало.

Не случайно же фотография Абеля — Фишера в квартире на Патриарших — на самом видном месте.

А как оценивает Абеля — Фишера его связник Луис — Моррис Коэн?

— У меня впечатление, что в СССР имя Абель известно гораздо больше остальных. Не знаю, почему оно всплывает чаще других, ведь в Штатах со мной работало шестеро из нашей Службы. Каждый из них был личностью, только друг на друга они не походили. Была общая школа, но работали по-разному. И Милт по натуре был настоящим техником.

— Это кто-то из шестерых?

— Так мы с Лоной прозвали человека, которого вы продолжаете именовать Абелем. Вот кто блестяще разбирался в физике! А сотрудничество началось своеобразно. Хелен, вы наверное поняли, была не из пугливых, но однажды чуть не запаниковала. Ехала в метро и вдруг спиной ощутила: следят. Меняла направления, пересаживалась. Народу в воскресенье в сабвее немного, и за четыре часа этой гонки она измоталась. Но решила, что оторвалась, поехала домой, и уже на выходе к ней подошел человек в соломенной шляпе. Сказав что-то незначительное, привлек ее внимание и… произнес пароль. Он следил, есть ли хвост за ней и за ним. И приблизился, только с десяток раз проверившись. В этом — весь Милт. Он любил назначать встречи в зоопарке, предпочитал соседство певчих птиц. Ему нравилось их пение, как и то, что в зоопарке человек, наблюдающий не за птицами и животными, а за себе подобными, невольно заметен.

— Кто из шестерых был вам ближе? С кем работалось легче,

спокойнее?

— Легче, спокойнее — не те слова и не те ощущения. О каком спокойствии вы говорите? Мы дружили со всеми, и когда оказались в Москве, эта личная, замешанная на общем деле и чувствах дружба переросла в дружбу семейную. Бена (Лонсдейла-Молодого. — Н. Д.) уже нет, а его жена Галина меня навещает. И жена Джонни — тоже… И Юрий Соколов. Милт умер, но мы видимся с его дочерью Эвелиной. Мы были волею судьбы друзьями там. Собственной волей оставались друзьями и здесь.

— Говорят, что в нелегальной разведке не до дружеских отношений…

— Без них делать нечего! Милт умел объединить людей. Бен — завести шуткой. Анатолий Яцков, мой второй по времени начальник, поражал хладнокровием. Как он натерпелся и сколько испытал, когда Лона ждала Персея и застряла около Лос-Аламоса на месяц! У всех у них было прекрасное образование. О Милте я уже говорил. Яцков — умнейший инженер. Семен добился ученой степени в Москве и Массачусетском технологическом институте. И мне с моим дипломом преподавателя истории, полученным в университете Колумбии, было интересно с ними. Конечно, с одними я сходился ближе, с другими — не слишком. Но общая цель объединяла. Мы знали твердо, за что бьемся. Хороший ответ на ваш вопрос?

— Откровенный. На чем все-таки строились отношения в связке американский гражданин и разведчик из чужой страны, на которого он работал? Относительно бескорыстия я все понял. А как с дисциплиной? С безоговорочным подчинением приказам?

— Дисциплина, приказ — часть профессиональных отношений. Но мы работали не на кого-то, а вместе. Улавливаете разницу? И каждый глубоко уважал друг друга. Существовали моральные обязательства, которые выполнялись. Мы берегли наше дело и себя. Хотите верьте, хотите нет, но эти отношения невольно усваивались родственниками, передавались даже детям. Люди поддерживали определенные, иногда рискованные связи со мной, с Лоной, видя нашу признательность за ими совершенное.

— Вы намекаете, будто секреты приплывали к вам и в форме некой благодарности?

— Почему бы и нет?

— Но тогда в Нью-Йорке вы же чувствовали, что конец неизбежен? Даже если бы американская секретная служба не расшифровала бы в 1950-х посланий НКГБ[9] военных лет, не провела бы так называемую операцию «Венона», все равно порвалось бы другое звено. Цепочка-то хрупчайшая. Когда вы поняли: провал близок?

Операция «Венона».

Была проведена Агентством национальной безопасности США и великолепными английскими специалистами. В результате, как утверждают американские источники, были раскрыты некоторые шифры, которыми в 1940-х годах пользовалась советская разведка. Такое стало возможно после предательства в сентябре 1945 года Игоря Гузенко — шифровальщика Главного разведуправления Советской армии, работавшего в Канаде под прикрытием сотрудника посольства СССР. Гузенко прихватил некоторые шифры и передал их американцам. Те долго не разглашали информацию о расшифрованных кодах. Даже при предъявлении обвинений арестованным советским агентам данные, содержавшиеся в частично дешифрованных радиограммах, не оглашались в надежде на то, что русские не догадывались о дешифровке. Вот почему некоторые обвинения в судах звучали неубедительно.

Бегство со всех ног

Очередная деликатная тема: уход от ареста, а в случае с Коэнами — и полный разрыв с родиной, с Соединенными Штатами. Кто слышал о запутанных путях, по которым пробираются в другую державу, готовую дать приют честно ей послужившим? Кто и сегодня в точнейших деталях знает, каким же образом добрался из Бейрута до Москвы знаменитый Ким Филби? Даже штрихи обменов «шпион на шпиона» не предаются особой огласке. Но довольно неожиданно для меня Моррис не слишком запирался. Два офицера Службы внешней разведки слушали недлинную его исповедь с неменьшим интересом, чем я. Что может быть трагичнее бегства из родного дома?

Маккартизм, названный так по имени развязавшего «охоту на ведьм» сенатора Джозефа Маккарти, бушевал так, что под подозрение, иногда приводившее в камеру, попадали люди, казавшиеся по сравнению с Коэнами невинными младенцами. Испания, компартия, нескрываемая симпатия к Советам — одно это могло бы насторожить ФБР. К тому же Коэн, как руководитель группы, общался со множеством источников-американцев.

Коэны, возможно, и были на подозрении у контрразведки в связи с одним громким делом, однако в США никогда не привлекались к ответственности и ни разу не допрашивались. Их фамилия вновь мельком всплыла в США лишь однажды — при обыске у арестованного советского агента, назвавшегося Рудольфом Абелем, из конверта, где он хранил наличные, выпали

две маленькие фотографии для паспорта. Вроде бы — Коэны. Соседи Морриса и Лоны по дому в Нью-Йорке, которым показали снимок Абеля, не совсем уверенно сообщили: кажется, этот человек как-то под Рождество наведывался к Коэнам. Но это не точно, совсем не точно.

Все-таки еще в 1950 году Центр решил постепенно выводить Луиса и Лесли из игры. О достижениях американских дешифровальщиков в Москве не догадывались, но арест советского атомного агента Фукса секретом не был. И связь с Абелем приказали прекратить.

Клод — Соколов порекомендовал Моррису поменьше общаться с другими членами группы. В один далеко не прекрасный день, как вы уже знаете, Клод, вопреки всем законам разведки, пришел к ним домой: надо уезжать. Вскоре у них появились паспорта на имя супругов Санчес. Многих путешествие на пароходе по маршруту Нью-Йорк — мексиканский порт Вера-Крус, да еще за чужой счет, обрадовало бы. Но только не их…

— Летом 1950-го мы начали готовиться к отъезду. Понимали, что, если не уедем, рискуем попасть под подозрение, — вступает Моррис. — Это выведет на Лос-Аламос. Я простился с друзьями. С отцом…

— Он имел хоть какое-то представление, чем вы занимаетесь?

— Отец понял, что расставание — навсегда. Понимал это и я. А для друзей мы создали целую легенду. Она была столь похожа на истину, так переплеталась с жизнью, которую мы вели, что у близких товарищей подозрений не возникло. Но я-то знал: судьбу не обманешь. Я любил мою страну, знал мой родной Нью-Йорк, как собственную ладонь. Я делал дело, которым гордился и которое мне приходилось вот так решительно бросать. Что ждало меня, Лону? Не думайте, будто я не слышал о жестокости вашего дядюшки Джо (Сталин. — Н. Д.). И при прощании я эмоционально не выдержал, чуть не опоздал на судно. Отец, мне кажется, тоже понял, что нам больше никогда не увидеться. Один из тяжелейших моментов моей жизни…

— Что было после парохода?

— Мексика, конспиративная квартира товарища из нашей, советской Службы и еще полмира: Франция, Германия, Швейцария… Конечный пункт — Москва.

— Вы добирались до нее не самым прямым путем…

— Не всегда самый короткий путь наиболее надежный. В Швейцарии было трудно попасть на самолет. Рейсы, например, из Женевы в Прагу — лишь раз в неделю, и билетов не оказалось, а мы не давили, требуя себе места, — не в той находились

ситуации. В аэропортах, сами знаете, паспортный контроль обеспечен. В поездах его иногда удается избежать. А Хелен была на пределе: гонка по миру действовала на психику. И мы решили рискнуть, перебраться из Германии в Чехословакию поездом. Была сложность. В те годы для редких американцев, направлявшихся в страны коммунистического блока, требовался маленький вкладыш в паспорт. Он выдавался в Госдепе или в консульствах США за границей. Вот в них-то нам хотелось обращаться меньше всего. Двинулись поездом, без вкладыша. И нарвались на проверку документов.

— Вы же наверняка ехали по чужим паспортам…

— По-моему, мы были миссис и мистером Бриггс. Но за время некороткого путешествия могло произойти что угодно. Может, нас уже искали по всей Европе. Короче, мы были задержаны западными немцами, высажены из поезда и получили приказ от немецкого офицера: «Следуйте за мной!» Задержали нас около полуночи в субботу, было уже три часа утра, а мы еще торчали на станции. Офицер названивал в американское генконсульство, и, к нашему счастью, телефон не отвечал: уик-энд для дипломатов — святое. Однако как же глупо было попасться вот так, после всего, что мы сделали и после стольких миль пути! С другой стороны, могли затормозить и в аэропорту. Еще не арест, но очень рядом. Надо было действовать, что-то предпринимать, и жена подняла типично американский скандал — орала на немцев: «Кто в конце концов выиграл войну — Штаты или вы?! Не имеете права задерживать американскую делегацию!» Знаете, это в стиле Хелен: чем труднее ситуация, тем лучше она ориентировалась и решительнее действовала. А уж голос у нее был в те годы громкий. И напуганные пограничники привели какого-то заспанного малого — сержанта Ю-Эс арми (американской армии. — Н. Д.). Тот хоть и спросонья, но быстро вошел в наше положение. Оно было еще более нелегким, чем ему могло спросонья представиться, и парень обратился при нас по телефону к своему военному начальству. Но и там ответили, что генерал, от которого все зависело, приедет в девять утра. Сержант нам сочувствовал, откуда-то притащил чудное вино «Либе фрау Мильх», и мы с ним принялись отмечать наш идиотский арест или нечто вроде того. Жена пригласила двух задержавших нас офицеров-немцев. Лона разошлась, «Либе фрау» поглощалось все быстрее, однако генерала не было ни в девять, ни в десять, наверное, загулял, как и мы. Сержант попытался запросить насчет нас кого-то в Мюнхене. Кажется, мышеловка захлопывалась.

И вдруг пришел он, шанс. Каждый разведчик всегда его ждет, а шанс изредка появляется, но чаще всего нет. Но тут внезапно

возник: во-первых, закончилось вино; во-вторых, сержант торопился на свидание к спасшей нас незнакомой Гретхен; в-третьих, немецкие офицеры-пограничники напились и по команде нашего соотечественника с трудом поставили неразборчивые закорючки в паспорта таких компанейских супругов-американцев. И, в-четвертых, почему-то как раз подоспел поезд на Прагу, и рыжий сержант нас в него посадил. Был столь любезен, что даже забросил на полки наши чемоданы. Короче, 7 ноября 1950 года мы отмечали в Праге.

— Уж там-то вас встречали как героев?

— Что-то не сработало, и в Праге никто нас не ждал! Праздники — связаться с кем-либо сложно. Но уже в гостинице мы почувствовали себя в безопасности. Нас, правда, напугал страшный стук в дверь: но то была всего лишь горничная, вежливо осведомившаяся, не нужен ли телефон американского посольства. Хелен почему-то сказала, что нет. В Праге мы провели месяц.

— Почему так долго?

— В силу разных довольно сложных обстоятельств. Ждать в Праге, как вы, вероятно, догадываетесь, было лучше, чем где-нибудь в Париже. И, наконец, самолет Прага — Москва.

— Вот уж где, готов спорить, вас принимали с достойными почестями!

— Проспорили. Как и в Праге, во Внукове нас никто не встречал. Расстроились, в голову лезла дурацкая мысль: «А, может, дядюшка Джо арестовал товарищей, с которыми мы работали?» Прошли паспортный контроль, таможню — никого. Видя наше смятение, у выхода из аэропорта вежливый юноша предложил подвезти в посольство США. На площади шофер автобуса вызвался подбросить туда же — далось же чехам и русским это посольство! Мы отмахнулись от любезных предложений, попросили остановить возле единственной гостиницы, о которой слышали. В «Национале», теперь я понимаю наше страшное везение, поселили в неплохом номере.

Наступил вечер, русских денег не было: от наших долларов отказывались с испугом, будто мы хотели купить на них военные секреты. С некоторыми усилиями заказали в комнату чай с сухим печеньем. И тут к нам ворвались друзья из нашей Службы. Теперь мы были дома и пили нечто покрепче хрупкой «Фрау Мильх».

…Так бесследно исчезли из квартиры на 71-й Ист-стрит Лона и Моррис Коэн. Отец Морриса через некоторое время со вздохом сообщил знакомым, что сын с женой покинули Штаты, чтобы попытать счастья в иных краях, и закрыли свой банковский счет. По-нью-йоркски сие обозначает уплыть с концами…

Самая короткая глава

— Хорошо, вы добрались до СССР. Что было дальше? Вам и Хелен предложили продолжить сотрудничество?

— Это вопрос чисто профессиональный. Я оставляю его без ответа.

***

Придется ответить мне, отдав дань уважения человеку, и в 84 года не забывшему принцип: не рассказывать, чего нельзя. Немного отдохнув, Коэны три с лишним года штудировали с советскими преподавателями то, чему 12 лет обучались на курсах самоподготовки в США, а именно — работу разведчиков-нелегалов. Иногда куда-то на короткое время выезжали…

Как бы то ни было, под Рождество 1954 года в доме 18 по Пендерри-райз в Кетфорде, что на юго-востоке Лондона, обосновалась милая семейная пара: Питер и Хелен Крогер приехали в Великобританию из Новой Зеландии. Глава семьи приобрел небольшой букинистический магазинчик поблизости. Дело у него поначалу двигалось вяловато. Порой путался, но не в книгах — здесь-то он был как раз силен, а в финансах. Соседи и те поняли, что интеллигентный, мягкий Питер — букинист из начинающих. Резидент-нелегал Конон Молодый, он же бизнесмен Гордон Лонсдейл, отлично знакомый Коэнам — Крогерам по совместной деятельности в США под псевдонимом Бен, использовал своих радистов вовсю. За шесть лет в Лондоне трио успело многое.

Они стали профессионалами еще в США. Официальный статус разведчиков получили в Москве, в 1961 году их арестовали в Англии. Но что было до этого? Почему приходят в разведку? Что — или кто — подталкивает к трудному жизненному решению?

Из просто Ольтманнов — в просто разведчики

В годы могучей веры в великое пришествие коммунистического завтра задача по привлечению новых кадров была несколько упрощена. Фашизм еще резче подтолкнул многих, даже от марксизма-ленинизма далеких, в объятия Страны Советов. «Пятерка» из Кембриджа, Шандор Радо, руководивший до и во время войны нашей разведывательной сетью в Западной

Европе, Рихард Зорге… работали со страхом, с совестью и с парадоксальным по нынешним временам бескорыстием.

Им «платили» идеологией, которую они разделяли. Эта волшебная штука была для них поважнее банкнот. Интербригады гражданской войны в Испании объединили и спаяли тысячи антифашистов, невольно превратив их в огромный подготовительно-отборочный класс советской разведшколы. Оттуда, из Испании, в ряды бойцов-невидимок шагнули десятки наипреданнейших. Вопрос-то стоял просто: фашизм или демократия? Ее можно было сохранить, лишь вступив в союз с Советами. И многие предпочитали неизбежное присутствие красного флага — хотя бы потому, что коричневый фашизм был отвратительнее.

Коэн прошел по всем ступенькам, ведущим в друзья СССР. Член Лиги молодых коммунистов, еще в детстве слышавший на нью-йоркской Таймс-сквер Джона Рида — писателя, одного из организаторов компартии США («Это лучший оратор в моей жизни»). Студент-агитатор, расклеивающий ночью листовки в студенческом кампусе. Распространитель компечати и штатный парторганизатор.

Он получил диплом преподавателя истории, но курс исторических истин осваивал в Испании, куда отправился сражаться под именем Израэля Ольтманна. Ему везло и не везло, он стрелял и убивал, а в сражении при Фуэнтес д'Эбро был ранен в обе ноги. Положили в госпиталь и четыре месяца лечили в Барселоне. Потом он уже сам выхаживал лежачих, проклинавших Франко, который одерживал победу за победой. Вот тут-то в 1938 году 50–60 человек выздоравливающих отправили прямо на грузовике в двухэтажный особняк, картинку которого Моррис демонстрировал мне в прихожей. Особнячок и довел Коэна до Москвы. Он оказался третьим из американцев, которых вызывали «на интервью»: «Сомневаюсь, чтобы все, с кем говорили, пошли в Службу. Я — пошел».

Считается, будто с ним беседовал резидент НКВД Александр Орлов и что Моррис — его последняя вербовка, после чего Александр Михайлович пропал… Однако Коэн версию о том, что его завербовал Орлов, высмеял. Были другой человек и другая беседа в том самом особнячке с четырьмя колоннами. Но результат получился тот же: в 1939 году, когда развернулась в Нью-Йорке международная выставка, в кафе от нее неподалеку к нему подсел приехавший из Москвы студент. Затем приятный паренек как-то заглянул в его скромное нью-йоркское жилище и протянул сломанную расческу.

— Вещественный пароль, — едва ли не в один голос

вырвалось по-русски у сидящих с нами за столом офицеров СВР.

— Моя половинка расчески, захваченная из Барселоны, пришлась точь-в-точь к половинке расчески моего юного друга. Он был первым из русских, с кем я стал работать.

Связник по имени Твен (Семенов) в донесениях, отсылаемых в Центр, называл Морриса его кодовым именем Луис. Вскоре Луис с разрешения Центра привлек в свою группу собственную жену Леонтину, трудившуюся на военном заводе.

Как-то они на пару вывезли с предприятия новейший пулемет в сборе. Но это так, к слову, один из эпизодов их разведдеятельности. Моррису он запомнился лишь потому, что ствол был тяжелый, длинный и никак не помешался в багажник машины с дипломатическим номером.

Кто вы, Моррис Коэн?

Так кто же на самом деле Коэны? В некоторых зарубежных изданиях его, хоть и с долей сомнения, называют американцем — ее же зачислили в русские разведчицы. Мол, заброшенная в Штаты Леонтина якобы фиктивно вышла замуж за Морриса. Ерунда! Леонтина Тереза Петке родилась в Массачусетсе. Родители эмигрировали в США из Польши, и в жилах ее действительно течет славянская кровь. Член компартии США, профсоюзная активистка, она познакомилась с будущим супругом там, где и должна была по логике познакомиться — на антифашистском митинге. Догадывалась о связях мужа с русскими, а затем работала с ними из тех же побуждений. Незадолго до ее кончины СВР помогла осуществить одной из ценнейших своих агенток предсмертную мечту — в Москву из Штатов приезжала родная сестра Леонтины. Собиралась приехать еще… Формально въезд в родную страну не закрыт был и для Лесли. Повторюсь, что ни против нее, ни против мужа никаких официальных обвинений в США не выдвигалось.

Отец Морриса родом из-под Киева, мать родилась в Вильно, а жили в Нью-Йорке в районе Ист-Сайда. Коэна американцы признают своим: раскопали, что в колледже он был отличным игроком в американский футбол и даже получал спортивную стипендию. Моррис подтвердил, что играл: «Может, поэтому у меня до сих пор так болит и ноет по ночам разбитая на игре в Миссисипи коленка?» Остались ли у него в Штатах родственники, он не знает. Возможно.

Детей у Морриса с Леонтиной не было, и о причинах, «почему нет», догадаться, надеюсь, несложно: могли в любую

минуту арестовать, бросить в тюрьму. Хотя есть и другая версия, но довольно и этой.

Люди, знающие чету Коэнов достаточно близко по их московскому и окончательному периоду, рассказывают, что у старичков-разведчиков была идеальная совместимость. Верховодила, правда, Лона, однако решения принимал, как в США и в Англии, молчаливый Моррис. Лона щебетала по-русски, он погружался в книги на английском. Во время встречи сам признался мне, что больше года не читает — отказали глаза.

Но в 1954 году, когда 44-летний «новозеландец» Питер Крогер с супругой появился в Лондоне, глаза у него были орлиными. У Гордона Лонсдейла была отличная пара надежных связников-радистов.

Они проработали в Англии до 1961 года. Арест застал их врасплох, хотя за пару дней до провала и почувствовали слежку. Столько шпионских принадлежностей сразу, сколько их отыскали в домике на Пендерри-райз, британская контрразведка еще не видела. Супруги уже отсиживали свой срок, а в саду, в доме новые жильцы то и дело натыкались на запрятанные, закопанные в землю шпионские реквизиты.

Причина ареста трагически банальна — предательство. Предал Крогеров и Лонсдейла разведчик дружественного нам в то время государства. Суд продолжался лишь восемь дней. Дружище Бен получил на пять годков больше, чем люди под фамилией Крогеров, осужденные на 20 лет: троица наотрез отказалась сотрудничать и с английской контрразведкой, и с судом. Лонсдейл взял всю вину на себя, а Крогеры, вопреки пудовым уликам в виде радиопередатчиков и прочего, настаивали на полной невиновности. Тяжкий приговор был, по крайней мере внешне, воспринят ими с профессионально сыгранным безразличием. Крогеры сохраняли его все девять лет мотаний по британским исправительным заведениям.

— Одна тюрьма была омерзительнее другой, — передергивает плечами Моррис. — Меня переводили из камеры в камеру, перевозили с места на место. Боялись, убегу. Или разложу своими идеями заключенных. Сидел с уголовниками, и люди, с которыми я отказывался сотрудничать, надеялись, что сокамерники сломают «русского шпиона». А я находил с ними общий язык. Видите в уголке на стуле здоровенного медведя в немыслимо голубом плюше? Мне подарил его в тюрьме на день рождения знаменитый налетчик, совершивший «ограбление века» — тогда из почтового вагона увели миллион фунтов стерлингов наличными.

— Вы отсиживали в солидной компании…

— Меня с тем парнем действительно считали особо опасными. И Блейка[10] тоже. Нас с Джорджем судили в том же 1961-м, и вдруг мы каким-то чудом или по недосмотру оказались вместе в лондонской тюрьме Скрабе. Вот кто стал другом до конца жизни! Мы говорили обо всем на свете и находили общий язык, словно сиамские близнецы. Мои 20 лет казались шуткой по сравнению с его приговором в 42 года. И Джордж сбежал. Ничего другого не оставалось…

— Моррис, с трудом верится, хотя нет, не верится, будто вы не знали, что Блейк готовится к побегу.

— Вы совершенно не представляете работу в разведке, иначе бы не делали таких опрометчивых заявлений! Я даже не успел узнать о его вечернем побеге, как наутро был переведен из тюрьмы Скрабе в тюрьму на остров Уайт. Отсюда никогда и никто не убегал и не убежит — от острова до ближайшей сухой точки миль 30. Режим суровейший, климат мерзкий, еда отвратительная. И если бы не книги, я бы мог сойти с ума. Да, книги, друзья, вера в собственную правоту полностью оправдывают мою жизнь и то, что я в ней сделал. В ваших вопросах вы тонко намекаете, что я как бы скучаю и мучаюсь в Москве, куда мы с Хелен приехали в 1970-м. Ошибаетесь. О русских друзьях я вам рассказывал. Джордж Блейк, который тоже постоянно живет в Москве, навещает меня часто. Попробуйте найдите такого собеседника в Нью-Йорке или Лондоне!

— Но круг общения, смею предположить, не слишком широк…

— Мы опять выходим на профессиональные проблемы. Конечно, мне иногда хочется увидеть кого-то из друзей детства. Ребят из Интернациональной бригады Авраама Линкольна — кое с кем из них я, между прочим, не так давно встречался. С иными увидеться не суждено. Но тут я дома, у себя, это — моя родина. И я гражданин России — такой же, как вы.

Они с Лоной долго прожили в Москве. Девять лет в тюрьмах ее величества — и Коэнов — Крогеров обменяли на английского шпиона-неудачника Джеральда Брука. Громаднейшие были преграды: КГБ официально не признавал Крогеров «своими». Пришлось действовать «через польских товарищей». В Москве их ждал Лонсдейл — Конон Молодый, обмененный еще в середине 1960-х на британского разведчика Винна.

Абель — Фишер, Лонсдейл — Молодый, Блейк… В этой галерее разведывательной славы есть место и для них — Леонтины и Морриса Коэн.

Вместо эпитафии

Моррис Коэн скончался в конце июня 1995 года в московском госпитале без названия. Да, он так и не выучил русского, газеты и то читал со словариком. Но любил Россию столь страстно и оптимистично, как любят немногие.

Вместе с ним в могилу ушло столько неразгаданного и неотвеченного. Я был единственным русским журналистом, которому Моррис захотел — или согласился, решился? — рассказать хоть что-то. Четыре с лишним часа беседы. Обед с одним-двумя тостами за его друзей-разведчиков. Мы договорились встретиться еще, но Моррис заболел и попал в госпиталь…

…Траурная процессия чинно двигалась по Ново-Кунцевскому кладбищу — последний путь Морриса Коэна по земле, с которой он сроднился уж точно навечно. Он столько знал, так много сделал — и так немного рассказал…

Да, Моррис умел добывать сведения и молчать. Может, в этом и есть железная логика разведки?

Герой — о героях

Герой России — это звание присвоено полковнику Владимиру Борисовичу Барковскому в 1996 году. Родился в 1913 году, а в разведку пришел в 1939-м. После года учебы в специальной школе в 1940 году приступил к работе в Лондоне под дипломатическим прикрытием. Затем после окончания войны был командирован в США, где работал по линии научно-технической разведки. Лично завербовал несколько ценных агентов. В Англии и США участвовал в ответственных операциях по добыче атомных секретов. Автор опубликованных в открытой печати статей по истории создания советской атомной бомбы. До самой своей кончины в 2003 году трудился в центральном аппарате Службы внешней разведки, преподавал.

Просвещал и меня, так что на многие события я смотрю его глазами и горжусь этим. Конечно, говорили и об Абеле, и о Персее — роль обоих в добыче атомных секретов огромна.

Никакие Оппенгеймеры, Нильсы Боры и прочие великие, корпевшие над атомными проектами, СССР не помогали. Подходы к таким людям, естественно, затруднены. Общение с иностранцами им если не запрещено, то мгновенно привлекает внимание местных спецслужб. Элита оберегаема, она защищена, подстрахована, изолирована от назойливого любопытства.

Но чужие тайны все же выдаются и покупаются. У моего собеседника на это особый взгляд. Как-никак, почти 60 лет работы в научно-технической разведке:

— Да, мы всегда очень пристально наблюдаем за теми, кого называем «вербовочным контингентом», то есть за кругом лиц, среди которых разведка может подобрать помощников. Понятно, изучаем подобный контингент среди ученого мира. И вывод тверд. Чем выше место ученого в научной иерархии, тем затруднительнее к нему вербовочный подход. Корифеи науки — а среди них раньше встречалось немало левонастроенных либералов — могли симпатизировать СССР, интересоваться нами и потому вроде бы идти на сближение. Но, как правило, контакты ограничивались праздной болтовней. Великие очень ревностно относятся к собственному положению: не дай бог чем-то себя запятнать. От уже занимающихся секретными исследованиями и знающих цену своей деятельности никакой отдачи ожидать нельзя. Инстинкт самосохранения у них гораздо сильнее мотивов сотрудничества. Берегут себя даже чисто психологически, и через это не перешагнуть. Поэтому мы старались выявить людей, работавших вместе с ними, около них и близких к нам по духу,

идее. Найти таких, на которых реально можно было бы положиться. Агентура, с которой мы сотрудничали, была совсем недалеко от высших сфер. Работая в атомных лабораториях и научно-исследовательских заведениях, знала все, что происходит в области ее деятельности. Непосредственно участвовала в исследованиях — теоретических и прикладных, наиболее важных и значительных. Только немножко, на определенный уровень, была пониже светил.

Куда ни кинь — всюду «пятерка»

В Москву первый сигнал о начале работ над атомной бомбой в Великобритании и США поступил где-то в середине осени 1940 года от Джона Кэрнкросса из «Кембриджской пятерки», с которой сотрудничал и Вильям Генрихович Фишер. Кэрнкросс трудился личным секретарем у некоего лорда — руководителя Комитета по науке, и стихийно, без всяких заданий Центра, наверное даже не особенно осознавая важность информации, все же передал предупреждение.

Какова была реакция — узнать не дано. Владимир Борисович Барковский упорно повторял: архивные материалы не сохранились. Почему? Вопрос как бы в пустоту…

Приблизительно к ноябрю 1941 года Москва встрепенулась. По всем иностранным резидентурам разослали директиву: добывать любые сведения об атомном оружии! Срочно. И резидент Анатолий Горский дал задание все тем же ребятам из «пятерки». Первым откликнулся Маклин. Притащил протокол заседаний английского Уранового комитета. Выходило, что идея создания атомной бомбы успела получить одобрение Комитета имперской обороны. Больше того, генералы торопили: дайте ее нам через два года. Маклин добыл вполне конкретные данные о том, какой видели для себя англичане конструкцию атомного оружия. На документах — четкие схемы, формулы, цифры.

— Я правильно понял: Маклин принес оригинал?

— Именно. Один из экземпляров Уранового комитета. То было наше первое соприкосновение с атомной проблематикой. Должен признаться, я тогда не отдавал себе отчета, с чем мы имеем дело. Для меня это была обычная техническая информация — как, скажем, радиолокация или реактивная авиация. Потом, когда я в проблему влез как следует и уже появились у меня специализированные источники, я стал понимать.

Могу утверждать: до взрыва нашей атомной бомбы в 1949 году на Западе не имели ясного представления, что у нас эта

работа ведется и где что у нас делается. Предполагать могли что угодно. Английские и американские физики отдавали должное нашим — Харитону, Флерову, Зельдовичу… Считали их крупными фигурами. Знали, что советская ядерная физика развивается успешно и какие-то намерения в отношении атомного оружия мы тоже имеем. Но они многое списывали на войну: трудности, безденежье, некогда русским этим заниматься. Первый взрыв нашей атомной бомбы 29 августа 1949 года был трагедией для их политиков и, понятно, разведчиков. По всем статьям проморгали!

А ведь еще к концу 1940 года в нашей разведке, в Москве, уже сформировалась маленькая научно-техническая группа из четырех человек во главе с Леонидом Квасниковым. Инженер-химик, выпускник Московского института машиностроения, он имел представление о ядерной физике. Следил за событиями в этой области и, конечно, не мог не заметить, что вдруг, как по команде, из зарубежных научных журналов исчезли статьи по ядерной проблематике. Идея создания атомного оружия витала в воздухе. Над ней задумывались и в США, и в Англии, и в Германии, да и у нас тоже. Но там дело поставили на государственные рельсы: им занимались специально созданные правительственные организации. В СССР ограничились учреждением неправительственной Урановой комиссии в системе Академии наук. Ее задачей стало изучение свойств ядерного горючего — и всё, а с началом войны комиссия вообще прекратила существование. Между ней и разведкой никаких контактов не было.

Квасников не знал, что есть Урановая комиссия, а в ней и не подозревали, что существует новорожденная научно-техническая разведка. Зато Квасников знал о работах наших ученых, о тенденциях в странах Запада. Вывод: пора браться за атомную разведку! И родилась директива, на которую откликнулся Маклин. Таким было начало. Задания технического профиля резидент в Лондоне Горский передавал уже мне.

— Владимир Борисович, и вы завербовали ученых-атомщиков? Как? Кем были эти люди?

— Ну, не все было так примитивно. Обрабатывая доклад Маклина, я впервые столкнулся с атомной проблематикой, это и заставило меня засесть за учебники. Я принял на связь человека, который пришел к нам сам, без всякой вербовки, желая помочь и исправить несправедливость.

— Коммунист? Борец за социальные права?

— Коммунист, но в войну было не до этих самых прав! Несправедливость, по его мнению, заключалась в том, что от

русских союзников утаивались очень важные работы оборонного значения. На первой встрече он с воодушевлением начал мне что-то объяснять, а я лишь имел представление о строении ядерного ядра и, пожалуй, не более.

— Это был Фукс, который потом и выдал все атомные секреты?

— Нет, не Фукс. Совсем другой человек. И спрашивает он меня: «Вижу, из того, что я говорю, вы ничего не понимаете?» Признаюсь: «Ну, совершенно ничего». Мне вопрос: «А как вы думаете со мной работать?» И тут мне показалось, что я выдал гениальный по простоте вариант: «Буду передавать вам вопросы наших физиков, вы будете готовить ответы, а я — отправлять их в Москву». И здесь я получил: «Так, мой юный друг, не пойдет, потому что я хочу в вашем лице видеть человека, который понимает хоть что-то из сведений, которые я передаю, и может их со мной обсудить. Идите в такой-то книжный магазин, купите там американский учебник “Прикладная ядерная физика”, мы с вами его пройдем, и вам будет после этого значительно легче иметь со мной дело». Я тоже иного выхода не видел. Хотя на мне висели все мои заботы, как кружева, но за учебники я засел. И когда этот человек мне сказал, что со мной можно иметь серьезные дела, я был счастлив.

— Насколько понимаю, информация передавалась бесплатно?

— Абсолютно. Он не только сообщал мне технические данные, но еще и втолковывал смысл, чтобы я уразумел, о чем идет речь. Я составил собственный словарик, который страшно пригодился. Термины все были новые, неслыханные. А люди эти не стоили казне ни фунта — народ инициативный, мужественный, считал помощь Советам моральным и политическим долгом. Касается это, понятно, не одних атомщиков. И со всеми людьми, нам помогавшими, отношения были хорошие, чисто человеческие.

— И никто не брал денег?

— Ну говорю же вам. У меня на связи было… немало народа. Правда, не все сразу, а в общей сложности. Но бывало — человек 15–18 в одно время.

— И все были коммунистами?

— Все. Некоторые официально состояли в партии. Многих мы удерживали от вступления: тогда мы были застрахованы от того, что на них падет подозрение и этих героических ребят возьмут под контроль. Когда в Англии, и особенно в США, принялись карать за членство в партии, мало на кого из наших помощников настучали. А в годы войны их спецслужбы не взяли никого. Спасала конспирация. Выбирали людей, которые не выпячивали

ни своих взглядов, ни связи с нами. Вот почему — успехи в работе. И я мотался по Лондону с одной встречи на другую.

— Выходит, английская контрразведка за вами вообще не следила?

— Я до сих пор не могу понять, почему они вели себя так пассивно. Хвоста за собой я ни разу не видел, пока однажды не привел его ко мне агент: парень попал в поле зрения контрразведки, за ним стали следить — и вот привел. Единственный случай в моей шестилетней лондонской практике. А специально за дипломатами они не ходили. За военными, за теми, кто носил форму, — да. А я был атташе, штафирка, к тому же и фигура у меня маленькая, щуплая. В нашей профессии очень даже помогает. И, признаюсь, нас тут опять выручил Филби. Кто-то из «пятерки» сообщил: с началом войны наблюдение ослаблено, офицеров мобилизовали, набрали молодежь. Ее, правда, хорошо и быстро учили, однако опыта, сил, конечно, не хватало. Главной задачей, как информировал Филби, было выявление шпионов из десятков тысяч осевших в Англии беженцев. Вот эту публику они потрошили как следует. На нас времени не оставалось. Да и были мы союзниками. С другой стороны, за нами, естественно, наблюдали, посольство расположено было в центре.

— А не приходило в голову: на связи столько агентов, что хоть один да провалится, настучит, и тогда гудбай, товарищ нон грата?

— Мы об этом совсем не думали. Добывать сведения во что бы то ни стало, а на собственную карьеру — плевать. Когда началась война, вообще потеряли счет времени. Больше всего мы беспокоились, чтобы на встречу прийти чистым, чтобы хвост не увязался — вот была главная забота. Тревога, бомбежка, слежка — а мой английский товарищ приходит в назначенное место и еще с информацией. Я-то иду потому, что разведчик, я обязан быть тут, хоть трава не расти. А почему приходит он, рискуя всем? Да я его должен прикрывать, как только могу. Это же святые люди!

— Относительно понятно, почему не попались вы — профессионал. Но как избежали ареста ваши агенты? Их ведь разведприемам не обучали…

— Как вам сказать? Нашими мерками их профессионализм измерить трудно. Но проработал со мной человек шесть лет. Регулярно ходил на встречи, нигде не попался. Значит, его можно смело считать профессионалом.

— То есть за годы работы они превращаются в сознательных профессиональных разведчиков. Вы их что, натаскиваете?

— Такого слова у нас в лексиконе нет. Это называется обучением от встречи к встрече. Как выйти из дома, как проверяться, нет ли за тобой хвоста. Как вообще прикинуть, какая вокруг тебя складывается обстановка. Кто обращает внимание, есть ли какие-то новые знакомые — люди, до того интереса к тебе не проявлявшие или вовсе не известные. Короче, мы все время даем наметки, на что обращать внимание, чтобы быть в себе уверенными. И с течением времени наши помощники становятся такими, как надо. Каждый помогал нам в своей области. Один — в радиолокации, другой — в авиации, третий приносил данные по высокооктановому бензину, четвертый — знаток отравляющих веществ. Они были профессионалами в своих областях науки и превращались в профессиональных разведчиков, которые знали, как не провалиться.

— Владимир Борисович, а тот человек, который сам пришел к вам и просветил нашу разведку и Курчатова относительно секретов немирного атома, — он так и останется для нас мистером Икс?

— Даю стопроцентную гарантию. Имен наших агентов не называли и называть не будем. А тех, кто вышел, как мы говорим, на поверхность, пожалуйста. И добавлю, Курчатов был и без мистера Икс ученым исключительно просвещенным.

— А мистер Икс? Он был известным ученым?

— Не очень. Но непосредственно участником важных исследований. Атомную проблему решали крупнейшие университеты — Эдинбург, Ливерпуль… Он был в курсе.

— Остался ли сейчас в Англии кто-то из этих ваших друзей?

— Вряд ли. Боюсь, ушли все… Мне тогда было 25–26, они — на несколько лет старше.

— В каком вы были звании?

— Старший лейтенант.

— Вы считаете, что в то время конспирацию соблюдали строже, чем сейчас, что она была надежнее, лучше?

— Безусловно. Тогда совершенно исключались разговоры между разведчиками на тему, кто и чем занимается. Сегодня болтовни очень много. Хочется похвастаться, как-то проявить собственную значимость. Какие-то намеки о том о сем. Кому это нужно?

— Другой вопрос: в книгах генерала Судоплатова немало пишется о сотрудничестве с Бором, Оппенгеймером…

— Хорошо хоть не записали сюда ярого русофоба и отца водородной бомбы Теллера! Бред это! Типичная сталинская подоплека о сотрудничестве иностранных знаменитостей с советской властью. Не шли они на такое…

После того как американцы испытали атомную бомбу и отбомбили Хиросиму и Нагасаки, Сталин принял решение перевести все наши атомные работы на гораздо более высокий уровень. При Государственном Комитете Обороны создали специальное управление № 1 под председательством Берии. При нем — Технический совет, которым руководил министр боеприпасов Ванников. В НКВД организовали отдел «С» — по фамилии любимца Берии Судоплатова. Он вел партизанские дела, но война закончилась, и генерала надо было куда-то пристраивать. В задачу отдела «С» входила обработка всей информации, которую добывала разведка по атомной проблематике, включая и данные от военных из ГРУ. Раньше все эти секреты известны были одному Курчатову Но даже он только делал себе заметочки, а самих текстов не имел. Теперь же информация пропускалась как бы по второму кругу: переводили, анализировали, доводили до сведения курчатовских помощников. В принципе решение абсолютно верное.

Второе задание отделу «С» сформулировали так: искать в Европе ученых — физиков, радиолокаторщиков… которые бы пошли на контакт с нами. Либо приглашать их в Советский Союз, либо договариваться о сотрудничестве там, на месте. И вот это уже — из области мифологии. Европа была опустошена, обсосана американскими и английскими спец-группами, которые раньше нас принялись за дело: заманить светлейшие европейские умы к себе, поселить в Штатах, использовать в собственных целях обнищавших светил. А не удастся — так за какие угодно деньги буквально перекупать любую атомную информацию. Из советской зоны оккупации Германии все находившиеся в ней ученые моментально перебрались на Запад. Ушли даже с нами до того сотрудничавшие.

Но Судоплатову надо было как-то оправдывать существование свое и отдела «С» — требовались акции, «почины», громкие имена. Так родилась безумная идея с Нильсом Бором. С высочайшего дозволения и, видимо, по подсказке лично Берии решили отправить к нему целую делегацию работников отдела «С». Узнали, что Бор вернулся в Данию, и поехали.

К собственному удивлению, группу возглавил только-только призванный в отдел доктор наук физик Терлецкий. Он работал с развединформацией как профессионал-ученый: сортировал, комплектовал, обобщал.

Но вопросы Нильсу Бору придумал даже не он. Сформулировали их настолько элементарно, были они так просты, что я никак не могу понять, зачем вообще все это затевалось. Преподнести себя повыгоднее Сталину?

Бор, человек деликатный, интеллигентный, к СССР хорошо относившийся, не мог отказать во встрече. Беседы в Копенгагене состоялись. О том, что такими вот рандеву рискуют подставить Бора, Судоплатов, конечно, не думал. А Терлецкий стеснялся, нервничал. Он-то понимал, с какой величиной имел дело. Однако этика этикой, а отказаться выполнить личное задание Берии не осмелился. Вопросы задал через приставленного к нему судоплатовского переводчика. Английским Терлецкий владел неважно.

Насколько же перекрывался нашей развединформацией этот список вопросов Судоплатова, и говорить нечего. Бор ничего ценного не сказал. Отвечал в общих направлениях. Результат миссии — нулевой. Зато из отдела «С» к Сталину пошло бравурное сообщение об умело выполненной операции. Но Бор, между прочим, сообщил службе безопасности о контакте с советскими. Не мог не сообщить. Вдруг узнали бы и без него? И что тогда, как с репутацией? Так что — засветились.

Понятно, что ответы Нильса Бора передали Курчатову. И он, досконально в проблеме разбиравшийся, дал всей этой показушной шумихе очень скромненькую оценку. Поездка получилась пустой.

Никакой помощи от Бора, Оппенгеймера и других столь же великих ни Курчатов, ни разведка никогда не имели. Давайте расстанемся с мифами.

И вновь полковник Абель и Персей

— Владимир Борисович, как у вас сложилась жизнь после Англии?

— Нормально. Я же говорил, я кондовый научно-технический разведчик. В 1948–1950 годах работал в США. С 1956-го снова там — уже резидент.

— То есть возглавляли всю советскую разведсеть в Штатах?

— Легальную. Шесть лет.

— Ого! Почему все-таки вы не генерал?

— В мое время нам генералов не присваивали.

— И трудились в Штатах по тому же атомному делу?

— И по тому же, и не только по этой проблематике. Атомными вопросами мы и сейчас занимаемся — ставятся новые опыты в ядерной физике, появляются другие виды боеголовок… Надо знать, что делается.

— В США?

— Везде.

— Вторая мировая закончилась. Энтузиазм друзей-коммунистов угас…

— Согласен. Работать стало намного труднее.

— Бескорыстные и идейные, наверное, перевелись?

— К сожалению, да. И все же приходится искать, нанимать и оплачивать. Вера угасла, появился страх перед нами и своей контрразведкой.

— Но и мы ведь сами немало сделали, чтобы от себя отвадить?

— Мы много для этого сделали. Сегодня, признаюсь прямо, поиски помощников затруднены. Но бросать из-за этого работать никто не собирается. Жизнь внесла поправки в методы, и существенные.

— Покупаете?

— Приходится.

— Зашел разговор на современную тему — вы, Владимир Борисович, стали немногословны.

— А как иначе? Ниточки-то тянутся.

— Ясно. В свои заезды в Штаты вы должны были застать полковника Абеля…

— Ему полковника тогда еще не присвоили. Понимаете, я был помощником резидента по линии научно-технической разведки. А нелегальная разведка всегда была и остается табу для всех. Как правило. Центр поддерживает контакт со своими нелегалами самостоятельно. У них собственные каналы связи. Только руководители нелегальной резидентуры знают о том, что есть конкретно такой нелегал. Единственное, что мне было известно: с человеком, которого вы называете Абель, есть запасная связь на тот случай, если основная оборвется. Остальное до поры до времени меня касаться было не должно.

— То же самое относилось к Коэнам?

— Я знал, чем они занимаются, пока Коэны были в сети легальной разведки. Публика эта мне была великолепно известна, и что она делала, и на что способна. Настоящие разведчики. Сколько же они для нас всего добыли! Но я напрямую с Коэнами в контакт не вступал, хотя непосредственно руководил деятельностью этой группы через моего сотрудника Соколова. Когда Соколов, известный Коэнам под именем Клод, шел на встречи с ними, он докладывал мне. Мы познакомили Коэнов с Абелем, который принял руководство над всей этой группой.

— И Абель встречался с ними?

— Да. Отдача в этот короткий период была большая.

— Почему короткий?

— К тому времени Коэнам пора было спешно покидать

Америку, и потому сотрудничество их с Абелем было недолгим…

— А как развивалось сотрудничество с Абелем?

— Я работал в Штатах до 1962 года. Арест его произошел в 1957-м при мне. Но к этому времени он на нас уже не замыкался. Непосредственно — на Центр. Иногда, очень редко, поддерживали с ним связь. Были кое-какие каналы. Передавали деньги, документы — и всё. Не виделся я с ним там ни разу. Мне бы не хотелось развивать дальше всю эту тему… Я испытываю к Вильяму Фишеру, взявшему при аресте имя Абель, огромное уважение. Боготворю нелегалов-разведчиков. На риск они идут страшный. Любой из них для меня, если хотите, образец.

— Мой интерес к Абелю вам понятен. А тот сотрудник КГБ Абель, фамилией которого назвался Фишер, в Штатах не работал?

— Нет. С ним Вильям Фишер познакомился еще до войны в одной из своих долгосрочных нелегальных командировок.

— А с Персеем, который передал нам еще во время войны чертежи атомной бомбы, вы не пересекались?

— Он входил в группу «Волонтеры» Коэна — Крогера. Передавал информацию с Клаусом Фуксом прямо из лаборатории Лос-Аламоса. Но друг друга они не знали и даже не подозревали, что делают одно общее дело. Но потом Персей оттуда уехал, переселился в другой город. Абель с ним сам встречался. Персей или, как мы его называли, Млад — парень своеобразный, не такой простой, в какой-то момент показалось ему, что хватит. Благодаря беседам с Абелем сотрудничество продолжилось еще на некоторое время. Потом он от нас как-то отошел. А фигура эта реальная. Его никогда не называли настоящим именем. Мне оно тоже неизвестно.

— Он, по-видимому, жив?

— Я думаю, умер. Точнее, не думаю, что он сейчас жив.

Награда нашла героев всего полвека спустя

Две расхожие мудрости. Первая: как веревочке ни виться… И вторая: справедливость восторжествует. Атомным разведчикам все-таки присвоили звание героев России. В июне 1996 года вышел президентский указ. Леонид Квасников, Анатолий Яцков, Леонтина Коэн удостоены этого звания посмертно. Мой собеседник Владимир Барковский, без которого, быть может, не было бы ни этой главы, ни, что более важно, советской атомной бомбы, и его коллега Александр Феклисов дожили до нежданного дня. Еще в 1995 году звание Героя России присвоено Моррису Коэну. Правда, тоже посмертно. Моррис так и не подержал в

руках Золотую Звездочку.

Абеля — Фишера в списке не оказалось. Но хочется верить, что не зря полковник Соколов сказал, что звание героя присвоить никогда не поздно.

Мы богаты на таланты и скупы на награды для истинных героев. Но есть же в нашем русском языке такое понятие: лучше поздно, чем никогда.

Из секретов выжали бомбу

По словам Владимира Борисовича Барковского, одним из главных направлений деятельности Абеля — Фишера в США стала атомная разведка, так что неплохо бы вспомнить о том, как же непосредственно использовалась секретнейшая информация, добытая в том числе и действовавшими в США нелегалами. Это здорово поможет понять значимость труда резидента Марка.

Замечу, что даже после сообщений Маклина и Кэрнкросса раскачивались в СССР долго. Хотя до атомной ли бомбы было осенью 1941-го, когда немец стоял под Москвой? Но уже в марте 1942-го Сталин тщательно изучал письмо-меморандум, в котором на основании данных разведки настоятельно предлагалось «рассмотреть возможность создания специального органа <…> в целях изучения проблемы координации и руководства усилиями всех ученых <…>, принимающих участие в работе над проблемой атомной энергии урана». А все «находящиеся в настоящее время в распоряжении НКВД документы по урану» предлагалось передать с соблюдением режима секретности на ознакомление специалистам.

Скрепя сердце признаю, что провидцем и главным двигателем, как подчеркивалось в меморандуме, «использования урана-235 в военных целях» выступил Лаврентий Берия. Фигура, на мой взгляд, исключительно неприятная и противоречивая, однако именно Берия сумел в отличие от вождя всех народов и его сатрапов понять, что же все-таки ждет СССР, останься он в стороне от разработки атомной бомбы.

Меморандум Лаврентия Павловича получил одобрение

Сталина, но тут же все опять надолго застопорилось. То ли из-за тяжелого положения на фронтах, а может, из-за всегдашней бюрократии или, тоже вероятно, недооценки важности атомной темы. Лишь в феврале 1943-го Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял постановление о начале исследований использования атомной энергии. Еще месяц — и в марте руководителем всех работ был назначен молодой ученый Игорь Васильевич Курчатов.

И только тут закрутилось-завертелось. Курчатову не надо было объяснять всю важность проекта, он не отмахивался от ответственности, как гораздо более старшие по возрасту и по весомости научных званий академики, не решавшиеся взвалить на себя тягчайший и опаснейший — во всех отношениях — груз по изготовлению невиданного оружия.

Курчатов, быстро ознакомившись с данными разведки, уже в

конце марта 1943-го поставил перед разведчиками конкретные вопросы, попросив «разведывательные органы выяснить, что сделано в рассматриваемом направлении в Америке». И получал вполне конкретные ответы.

Достаточно сказать, что по некоторым источникам неутомимый Курчатов лишь за один месяц перелопатил более трех тысяч (!) страниц переданных в его распоряжение секретных материалов. Это позволяет представить не только его работоспособность, но и всю ударную мощь работы советской разведки за рубежом. Курчатову было понятно, что, отбросив всяческую словесную шелуху, вопрос поставлен прямо: кто кого? Какое-то время молодой руководитель испытывал разочарование. Постановления и решения принимались, но сами научные работы не то чтобы тормозились, но шли вяло…

На помощь Курчатову опять пришел Берия. Зловещий Лаврентий оттеснил от кураторства проекта медлительного Вячеслава Михайловича Молотова, превратившись из его первого зама в официального начальника «работ по урану».

Становилось понятно и иное: немцы постепенно отстают в этой гонке умов; англичане не выдерживают взятого было рекордного темпа по изготовлению первой атомной бомбы; все лучшее, что только и могла дать наука, собрано в США.

И тут Берия еще больше повысил роль разведки. Барковский несколько саркастически отзывается об отделе «С» под руководством Судоплатова. Не думаю спорить с Владимиром Борисовичем, но все же благодаря концентрации данных в одних судоплатовских руках скорость передачи разведывательных материалов из-за рубежа непосредственно Курчатову резко возросла. Прямо через секретариат Берии Игорь Васильевич получал иногда в день по 200 страниц только что присланных из США, к примеру, донесений. Грозный Берия сумел организовать дело так, что никакой утечки информации за все годы работы не произошло. Создание бомбы в СССР явилось для мира грандиозным, как и говорит. Барковский, сюрпризом — для многих неприятнейшим.

В наведении тотальной секретности, конечно, сыграли свою роль не только внушаемый Берией страх, но и, отдадим ему должное, умелая конспирация. Работа, скорее, пошла не потому, что все ученые были запуганы, а благодаря некой созданной Берией атмосфере доверия или, если хотите, внушаемой им в академиков вере: все равно создадим, другого выхода нет. Пошли и на то, чтобы познакомить нескольких руководителей проекта во главе с «Бородой» — Курчатовым с Судоплатовым и его людьми. Даже жесточайший генерал Наум Эйтингон[11], прозванный после

уничтожения Троцкого «карающим мечом Сталина», нашел общий язык с двумя-тремя ведущими научными светилами.

Кстати, Берия любил в своем кругу прихвастнуть, что это его ведомство сделало Курчатова академиком. Как сказать… Действительно, существовала угроза, что даже осенью сурового 1943-го академическое сообщество может проявить так и не выжженное расстрелами и чистками свободолюбие и накидать молодому Курчатову черных шаров при тайных выборах в Академию наук. Тогда было создано дополнительное место — и Курчатов закономерно, а главное, без нервотрепки, сделался равным среди равных.

В общем, как ни крути, а именно дальновидности Берии-чекиста мы во многом обязаны той скорости, с которой в обескровленной войной стране создавалась атомная бомба. Научный прорыв совершался совместно: разведчики рисковали и информировали, а наши ученые, не тратя времени на повтор чужих исканий, метаний, проб и ошибок, воплощали в практику…

Тысячи простых солдат, шахтеров, заключенных добывали уран. Вот уж с чьим здоровьем, да что там — жизнями не считались, посылая людей чуть ли не на верную смерть. Выживали единицы, но это оставалось наглухо засекречено и мало кого беспокоило, воспринимаясь как должное. Безжалостность приносила плоды: появился свой уран.

В государстве царил не аскетизм — кромешная бедность. Мой покойный отец, военный корреспондент Совинформбюро и «Известий», рассказывал, что вырываясь с фронта навестить раненых друзей в госпиталях, переживал за них страшно. Что не хватало лекарств, знали все и с этим терпеливо мирились. Но вот с другим… Люди отдавали жизнь, а кормили их плохо, и даже чай наливали в жестянки от консервов! Все средства, как думалось, шли на фронт. Оказывается, не только: миллионы могучим потоком вливались в науку, в атомные разработки.

Когда в конце 1944-го — начале 1945-го Берия возглавил атомный проект, ученые, над ним работавшие, почувствовали это сразу. Им прибавили зарплату, увеличили пайки, ведущих обеспечили машинами и даже дачами.

Курчатов в посланиях к Берии не стеснялся. Иногда, ознакомившись с переданными ему документами, честно писал: «Ввиду того, что исследования по этому методу у нас совсем еще не продвинулись вперед…»

А разведка творила чудеса! Расскажу о том, что еще никогда не попадало на страницы. В конце 1960-х — начале 1970-х годов военный перевод в Московском государственном институте иностранных языков преподавал полковник Павел Ангелов.

Исключительно легкий в общении, любящий шутку, отлично знающий язык, был он любимцем переводческого факультета. Мне повезло: Ангелов вел нашу английскую группу. Бывало, повесив на стул полковничий китель, увешанный орденскими планками, переворачивал стул и занимался с нами, старшекурсниками, тем, что сейчас назвали бы ролевыми играми. Допрос пленного, разговор со случайно оказавшимися в расположении американской воинской части гражданскими, выяснение биографии заинтересовавшего тебя человека… Тут боевой офицер и участник Великой Отечественной Ангелов был мастак. До сих пор помню его четкие построения на манер американцев: «Dress right dress, ready front! Eyes left! Colonel Angelov…»[12]

Имя его было окружено если не легендой, то уж точно — ореолом таинственности. Рассказывали, будто во время войны он служил с американцами, молодым офицером открывал с ними второй фронт. Может, был даже связан с разведкой? Судьба необычная…

Заметен был у полковника какой-то непривычный юным инязовским ушам акцент. Потом другие преподаватели английского корили нескольких его старательных учеников за привитые нам фонетические и лексические навыки: «Откуда лезет из вас это канадское?»

Только десятилетия спустя, из бесед с Владимиром Борисовичем Барковским, выяснилось, что действительно — «оттуда», откуда и должно было. Только служили они по разным ведомствам. Барковский — по внешней разведке, линия НТР в Англии. Ангелов — по линии военной разведки, где он в Канаде поддерживал связь не с кем-нибудь, а с известным ученым, скажем — Наном Мэем. Когда же тот заартачился и уже на решающем этапе попробовал прервать сотрудничество, молоденькому тогда Ангелову был дан приказ вернуть заблудшего атомщика пусть не в родное, однако — в знакомое лоно.

Не знаю, увещеваниями или чем другим взял Ангелов. Мне кажется, он был не слишком способен на грубость и запугивание и, наверное, обаял Мэя, обработал своей улыбкой. Хотя кто знает? Суровая война заставляла прибегать к любым методам достижения цели. В итоге канадский атомщик все-таки передал образец урана в очень ждавшие его руки…

Зато Павлу Ангелову пришлось бежать — вроде бы он в последний момент перед отплытием вскарабкался на борт отходившего в СССР нашего военного судна в домашних тапочках и без всякого лишнего груза. Иначе бы сидеть действовавшему

под видом болгарского гражданина Ангелову в тюрьме, как это пришлось потом тому же Мэю.

Еще одно предание: переданная по цепочке пробирка или закрытая ампула с ураном была доставлена военными на подмосковный аэродром. Здесь, как и подобает, гонца с ней встретили и тотчас передали ее лично начальнику военной разведки. Однако тут же подъехала черная легковая машина с зашторенными стеклами и ампулу взяла высунувшаяся на мгновение рука… Чья? Лаврентия Берии. Он не признавал никаких авторитетов — кроме собственного. Все полученное и добытое было его.

Однако американцев было, естественно, не опередить. Это понимали все. Кроме Сталина. Не раз писалось, как спокойно отреагировал вождь на вроде бы и вскользь брошенное ему при встрече замечание нового президента США Трумэна об испытаниях атомной бомбы.

Но вот о взбучке, устроенной Иосифом Виссарионовичем тому же Берии после ремарки Трумэна, известно мало. Вождь рвал и метал, вышел из себя, забыл обо всех правилах приличия. Тут, когда на какой-то момент пропала вера в гений Курчатова, могло и с Игорем Васильевичем, и даже с Берией случиться и самое непоправимое, не раз в нашей стране происходившее. Но пронесло. Или было не до репрессий? Оба уцелели, нервный приступ, точнее, припадок Сталина остался практически без последствий. Разве что уже в августе 1945-го создали Специальный комитет под председательством Берии, в который помимо высоких государственных мужей вошли и лучшие научные кадры во главе с Курчатовым и ведомыми им академиками Капицей и Иоффе. Все виды разведки тогда безоговорочно подчинялись Лаврентию Павловичу.

Тут развернулся и Судоплатов. Правда, некоторые действия его отдела «С» были, как выяснилось, бесполезными. Расчет на великого Оппенгеймера не оправдался — он всячески выказывал нашей стране искреннее уважение, но не больше. Данных о передаче им или его людьми хоть каких-то атомных разработок нет — разве что в книгах уважаемого Павла Анатольевича.

Зато, не щадя себя и рискуя головой, на Советы трудились ученые рангом поскромнее и возрастом помоложе. Но что касается «друга Советского Союза» не менее великого Нильса Бора, то датчанин после «экскурсии» Терлецкого и К° осенью 1945-го не только сообщил об имевших место беседах контрразведке, но и передал ей присланные заранее из Москвы вопросы, на которые он дал уклончивые и обтекаемые ответы.

Однако надо же было что-то делать и отделу «С»… А если бы

попытка выудить у Бора нечто более конкретное, чем то, что уже значилось во многих научных статьях, удалась? Абсолютно бесполезной ту поездку считать никак нельзя. Ее афишировали для пребывающих в плену заветных имен Сталина и Берии как весьма успешную. Для разведки тоже получилась определенная польза: ясно, что на Бора как на помощника, не говоря уже об источнике, надеяться никак нельзя. Пусть лучше борется за мир во всем мире, слывя верным другом Советского Союза.

Кстати, теперь известно, что и Яков Петрович Терлецкий, в отличие от того, что говорили и писали многие, все же исправно трудился как раз по ведомству Берии. Но не всем же носить напоказ погоны с большими звездами. Профессор Терлецкий оказался полезен и в роли некого погонялы, и определенного посредника в связке «разведка — ученые-атомщики», и старательного письменного переводчика, и автора отрывочных воспоминаний, в которых признавалось: без агентурных данных атомную бомбу испытали бы не 29 августа 1949-го, а годками пятью — десятью позже.

Берия сыграл в этом прорыве важнейшую роль — вероятно, за это ему в аду подадут стульчик, чтобы чуть отдохнул… А Сталин, по иным отзывам не до конца поверивший в успех испытаний в Семипалатинске и сухо принявший победный рапорт Берии, разбудившего его поздним звонком, вскоре уразумел: Лаврентий и Курчатов его не обманывают. В не слишком растиражированных и не очень толковых мемуарах начальника сталинской охраны генерал-лейтенанта Власика коряво, однако правдиво описан любопытный эпизод. Власик годами и с переменным успехом соперничал с Берией за близость «к телу» вождя. Несколько лет до первого атомного испытания охранник брал вроде бы верх. Берия был не то что бы отстранен от дел, а, с точки зрения генерала, не имел уже прежней власти и доступа к Сталину, а два предшествующих взрыву в Семипалатинске года вообще находился чуть ли не в опале. Но вот что откровенно пишется в «Записках Н. С. Власика». Во время отдыха Сталина на юге к нему приехал Берия и «продемонстрировал фильм о законченных испытаниях отечественной атомной бомбы. Это явилось переломным моментом в отношении Сталина к Берии. После двухлетнего, довольно пренебрежительного отношения к Берии, которого он не скрывал, Сталин вновь вернул ему свое расположение. Тов. Сталин подчеркивал, что только участие Берии принесло такие блестящие результаты. Изменилось отношение Сталина к ставленникам Берии…» А вскоре сам Власик попал в немилость и «пошел по этапу».

Да, атомная бомба меняла эпохи, уклады, жизни.

Капица закапризничал

Имя академика Петра Леонидовича Капицы не раз появляется в этой книге. Меня, не скрою, изумил рассказ Эвелины Вильямовны: это ее отец уговорил упиравшегося Капицу бросить сытую, размеренную, в научном отношении интереснейшую жизнь в Англии, оставить своего любимого учителя Резерфорда и вернуться в Советский Союз. Возможно, исключительно подкованный в техническом отношении Фишер сманил Капицу открывавшейся перспективой работы над проблемами если не атомной бомбы — тогда ее даже не было и в проектах, то над некими проектами в области использования урана.

Капица, вскоре переживший дома, в СССР, и аресты соратников, и массовые репрессии, тем не менее на Фишера был не в обиде. И даже, вспомним Эвелину, в свое время не отвернулся от опального разведчика — не побоялся подкидывать сидевшему без работы Вильяму Генриховичу технические переводы. Поступок по тем временам геройский.

Но и Фишер вернул стране не просто друга величайшего ученого Резерфорда. Российский ученик англичанина был исключительно талантлив, а его смелость, научная и гражданская, признавалась даже многочисленными противниками. Не сомневаюсь, что на первых стадиях советского атомного проекта Петром Леонидовичем было совершено немало.

И вдруг — полное охлаждение к атомной теме. Меньше чем через полтора месяца после включения в Специальный комитет академик обращается к Сталину с жалобой на товарища Берию. Для начала обвиняет того в «недопустимом отношении к ученым», то есть в элементарном невежестве и грубости. В конце ноября 1945-го Капица вообще решается на немыслимое: просит освободить себя от членства в комитете. Чем мотивировал? А тем, что «у товарища Берии основная слабость в том, что дирижер не только должен махать палочкой». Работу над атомной бомбой обозвал «ненормальной», умело наступив и на любимую мозоль прижимистого товарища Сталина: «То, что делается сейчас, не есть кратчайший и наиболее дешевый путь к ее (бомбы. — Н. Д.) созданию».

Оскорбление для маршала Берии страшенное. И за гораздо более осторожные упреки многие люди даже уровня Капицы платились седыми головами. Но разбираться хорошо знакомыми методами со всемирно известным академиком вождь не торопился. Предложил Берии самому уладить отношения со строптивой знаменитостью. На телефонный звонок маршала Петр

Леонидович ответил неслыханной по тогдашнему времени дерзостью, предложив тому, если надо, приехать к нему самому.

Разведка не раз пыталась, как ей и приказывалось, установить с Капицей доброе сотрудничество. Судоплатов одарил его охотничьим ружьем, затем отпечатал в двух (!) экземплярах редчайшую книгу, заинтересовавшую Капицу: одну тот взял себе, вторую — преподнес Сталину. Но все равно как-то не помогало. Не шел строптивый гений на контакт, уклонялся. Избегал встреч с другими корифеями научной мысли.

Кстати и о коллегах — ученых, вкалывающих по атомному проекту, Капица даже на заседаниях высказывался с долей иронии. А в одном из писем вождю прямо написал, что «у меня нет согласия с товарищами».

Соперничество между Капицей и Курчатовым начало выливаться в открытое противостояние прямо на заседаниях Спецкомитета — совсем не по инициативе «Бороды». Капица подкалывал его со всем сарказмом, на который был способен, а сарказма у остроумнейшего Петра Леонидовича хватало. Впрочем, здесь-то причина недовольства Капицы была объяснима. Курчатов не желал консультироваться со старшим товарищем по науке. Кто-то из Спецкомитета с этим соглашался, а некоторые, завороженные авторитетом великого Капицы, считали, что от конкуренции атомный проект приобрел бы новое ускорение.

Начались брожение, ссоры между уважаемыми членами Спецкомитета, среди которых были и члены политбюро. Вождь высказал в беседе с Лаврентием недовольство — разброд, шатание, приводившие к замедлению работы, были никак не нужны.

Однажды прямо на заседании Спецкомитета Капица предложил прервать обсуждение. Ради чего? Да ради неслыханного: послушать радиотрансляцию футбольного матча из Англии, где тогда героически сражалось и выигрывало обожаемое в ту пору всеми московское «Динамо». Все ждали, что уж эту наглость маршал Берия не спустит, но Лаврентий Павлович, души не чаявший в своей чекистской команде, неожиданно объявил перерыв.

Тот матч и «Динамо», и Капица выиграли. А вот всеобщее терпение лопнуло. Не осталось никаких свидетельств того, что Сталин принял просившегося к нему на прием Капицу. Решение же о его выводе из Спецкомитета приняли уже в конце декабря. Начались проверки института, которым руководил Капица. Его отстранили от атомного проекта. Ждали и чего-то посерьезнее.

Удивительно, но особых репрессий не последовало. Вероятно, «Отец народов» не хотел, чтобы довольно сплоченное

международное научное сообщество узнало о начавшихся среди советских ученых распрях. Да и поднимать руку на всемирную знаменитость было рискованно.

Владимир Борисович приводил другой аргумент: поднимать шум было нельзя. Разработка советской атомной бомбы велась в глубочайшей тайне. Любое лишнее внимание, еле заметное барахтанье могли насторожить бывших союзников, не подозревавших, как же близко подобрались русские к атомной цели.

Но вот зачем все это нужно было Капице?

По мнению Барковского, впоследствии встречавшегося в Кабинете истории внешней разведки с учеными-атомщиками во главе с активнейшим участником атомного проекта академиком Юлием Борисовичем Харитоном, Капица самостоятельно решил выйти из игры. Вопрос не совсем в том, нравился или нет ему маршал Берия. Какое уж нравился! Капица, если верить некоторым свидетельствам, не слишком задумывался о пользе установления военного паритета. Война закончилась, а сталинская эра со всеми ее пороками продолжалась, и свободолюбивому ученому не хотелось оставаться в прямом подчинении у омерзительной для него кремлевской верхушки. Новенькая советская бомба могла видеться уважаемому Петру Леонидовичу как еще одно возможное и исключительно грозное средство подавления свободомыслия в сталинских руках. А если бы вождь захотел использовать это оружие против Восточной Европы, где даже им же и установленные прокремлевские режимы вызывали у Иосифа Виссарионовича постоянные подозрения в неверности? Капица теоретически не исключал и подобного. Вот и решил отойти от атомного проекта, сознательно устроив вокруг ухода громкое представление для узкого круга. Конечно, рисковал, причем так, что всю степень этого риска и просчитать нельзя было.

Да, последовала предсказуемая опала. В августе 1946 года после подписанного Сталиным приказа Капица перестал директорствовать в Институте физических проблем. Но во враги народа его не записали. Или, может, стало не до Капицы? Ведь бомбу сделали и без него…

Так что, зря старался тогда в Англии Фишер?

Даллес тащил в ЦРУ

Как я говорил, в последние годы некоторые «бытописатели» пытались здорово сузить рамки деятельности полковника Абеля, отрицая даже то, что он был оперативным работником. Называли его «почтовым ящиком» или расхваливали как радиста, руководителя непонятно какой резидентуры связи. Утверждали, будто он чистый техник и занимался сбором материалов от нелегалов со всей Северной и Латинской Америки да передачей их в Москву, сводя всю работу нелегального резидента к такой скромной роли.

С этими «знатоками» не согласны многие. В том числе и руководитель ЦРУ тех суровых холодных лет Аллен Даллес. Вот как характеризовал он полковника журналисту Санжу де Грамону в статье, опубликованной в «Нью-Йорк геральд трибюн»:

«Абель — редкая личность. Он одинаково уверенно чувствует себя и в искусстве, и в политике, Не только талантливый художник, хороший музыкант и отличный фоторепортер, но и исключительный лингвист, способный математик, физик, химик. Развлечения ради он читал Эйнштейна, решал проблемы высшей математики и быстро “расшифровывал” ребусы в “Санди таймс”. Был хорошим столяром и делал стулья и кресла для своих друзей в тюрьме. Его идеалом было знание».

Уже приводившаяся и ставшая чуть ли не крылатой фраза многолетнего директора ЦРУ Аллена Даллеса о желании иметь «таких трех-четырех человек, как Абель в Москве» известна гораздо больше другого исключительно важного признания главного цээрушника, сделанного им в беседе с адвокатом полковника Джеймсом Донованом: «Можно только пожалеть, что он вышел не из нашей разведслужбы».

Американцы, и особенно пресса, именовали Абеля «величайшим разведчиком XX века». Давайте сделаем понятную скидку на гордость собственными спецслужбами. Разведчик величайший, но после долгих лет упорной погони полковник разоблачен и заканчивает свой век в тюрьме.

Трудно поверить, однако в США практически ничего не сумели раскопать о предыдущей деятельности Абеля. Ни его реальные военные подвиги, что относительно понятно, ни несколько долгосрочных довоенных нелегальных командировок в Западную Европу в поле зрения «главного противника» не попали.

Отдадим должное промолчавшему при его аресте перебежчику Орлову, который не мог не увидеть заполонивших газеты фотографий советского нелегала — своего бывшего

помощника и радиста. Но промолчал — слава богу! Воздадим должное героизму Фишера, чей «полковник Абель» хранил в суде дорого ему дававшееся, однако гордо выглядевшее безразличное молчание. Американцы из него ничего, ну совершенно ничегошеньки не выудили. Вильям Генрихович Фишер держался скалой, несмотря на неоспоримые улики. В истории мировой разведки такого не было и вряд ли когда-нибудь повторится: назвавшийся Абелем не сказал врагу а-б-с-о-л-ю-т-н-о ничего. Ни единой детали, ни даже какого-либо незначительно-правдивого профессионального эпизода.

В ЦРУ не сумели проникнуть в тайны советского резидента. Он так и остался для них полковником Абелем. Следствие ни на йоту не продвинулось в расследовании его деятельности, эксперты лишь предполагали, какой ущерб он мог нанести США. В американских спецслужбах имели о нем весьма смутное представление: в ФБР до сих пор не уверены относительно точной даты въезда гражданина США по имени Эндрю Кайотис в США. А между тем 14 ноября 1948 года литовец Кайотис (вспомните командировки майора Фишера в Прибалтику) сошел на берег канадского Квебека, прибыв на корабле «Скифия» из Германии. Долгие годы проживший в США Кайотис, 1895 года рождения, навестив родную Литву, возвращался домой в Детройт. Из Канады он быстро перебрался в США, о чем свидетельствуют сохранившиеся отметки иммиграционного и таможенного контроля. И тут же пропал. Впрочем, Кайотис исчез еще задолго до этого: настоящий обладатель этого невымышленного имени и совсем неподдельного американского паспорта своей смертью скончался в одной из больниц Советской Литвы в 1948-м. Майор Фишер, отправленный в командировку в Ригу, изучил его биографию со свойственной ему основательностью.

В ФБР осторожно замечают: прежде чем обосноваться в Нью-Йорке, Абель долго колесил по стране, изъездив ее вдоль и поперек, бросая временный якорь в разных городах. Лишь предполагается, что только в середине 1950 года «его» художник Эмиль Роберт Гольдфус, родившийся в семье немца-маляра 2 августа 1902 года, обосновался в Нью-Йорке. В основном, кажется, останавливался в маленьких недорогих отелях Бродвея, часто их меняя. Однако к тому времени Вильям Фишер уже был награжден за быструю легализацию боевым орденом. Это американское незнание лишь подтверждает, что нелегальная командировка, начатая в 1948-м, — подтвердим рассекреченную дату въезда — продолжалась до 1957 года вполне успешно.

В 1949-м, предположительно в конце мая, Фишер, прочно легализовавшись, доложил Центру о готовности приступить к

работе. Легенда претерпела некоторые изменения: из привлекающего внимание свободного художника он превратился скорее в изобретателя. Не обремененный семьей, он в годы войны заработал немного денег, выгодно вложил их и теперь, не бросая приносившего маленький доход изобретательства, позволил себе заняться и любимой с детства живописью.

У Эмиля Гольдфуса появилось немало друзей среди коллег. Рисовальщик с немецкими корнями Гольдфус выбирал среди американских живописцев наиболее порядочных людей, ребят искренних и к нему по-товарищески относящихся. Первым среди них стал Берт Сильвермен, 1928 года рождения, о котором мы уже рассказали. Теперь он превратился в настоящего классика американского реализма и еще в сентябре 2010 года проводил свою очередную, уж не знаю какую по счету, персональную выставку.

Были и еще художники — Дэвид Леви, Франц Феликс, Ален Уинстон… Все они знали об Эмиле лишь то, что рассказывал им сам друг и коллега. Информация выдавалась сугубо взвешенная и правдоподобная, так что ни у кого из новых знакомых Гольдфуса никаких вопросов по поводу его простой и бесхитростной жизни не возникало. Родители давным-давно приехали в США из Германии. Он жил сначала в Бостоне, затем переехал в Нью-Йорк. Начал с фоторетушера и добился успехов в профессии, требующей аккуратности и некоторых навыков художника. Убежденный холостяк, скопил немного денег. Честные трудовые сбережения — это по нашей терминологии — позволили уже в зрелом возрасте заняться любимой живописью, пусть абсолютно неприбыльной, зато такой заветной, долгожданной. В этом синопсисе есть и немало правдивого — действительно, Вильям Генрихович хоть порисовал в США от души.

Абель легализовался в Штатах прочно. Но в 1957-м веревочка все же свилась… Разведчик и Центр почуяли надвигающуюся угрозу в липе Рейно Хейханена. До приезда в Нью-Йорк и последовавшего ареста Фишер провел 18 дней во Флориде. Так решил Центр: тяжелый момент лучше было переждать подальше от постоянного места пребывания. Марк поселился в городке Дейтон-Бич. А момент — действительно исключительно неприятный, опасный. По просьбе полковника Центр выводил из игры его связника-нелегала Хейханена. Не торопились, боялись спугнуть.

И дождались — на встрече, которые теперь по воле Фишера проходили все реже, Вик сообщил, что в марте 1957-го ФБР вроде бы проявило к нему повышенный интерес и началась повторная проверка. Тут же Центр запретил Марку встречаться с Виком. А

тот все тянул с отъездом…

Ясно было Центру и иное — Марка тоже надо было выводить. Слишком долго он жил в Штатах, чересчур устал. Даже в Москве, по поведению навещавших опекунов, домашние чувствовали: отец и муж вот-вот вернется. Да и начальство им намекало, что, мол, скоро, совсем скоро… И на лето на родину Эли, жены, в город Осташков мама с дочкой ехать не торопились.

Маршрут отъезда и легенду полковнику в Центре уже подготовили. Отправляется подлечиться куда-то на юг; его уже ждали в Мехико, оттуда — в Европу и… Но до этого надо было законсервировать дела, уничтожить документы в Нью-Йорке. Вика же терпеливо зазывали в СССР, а резидента держали вдали от него, во Флориде, в Дейтон-Бич. Но Марку, зарегистрировавшемуся в тамошней гостинице под именем Мартина Коллинза, не повезло: в игру разведок вмешалась стихия. Шли сплошные магнитные бури, радиосвязь была ужасная, и только 6 мая удача, как показалось, улыбнулась. В отеле Дейтон-Бич Марк по радиоприемнику сквозь сплошные помехи получает долгожданную радиограмму: всё в порядке, Вик уже в Париже и скоро будет в Москве.

Фишеру разрешили вернуться в Нью-Йорк, только остановиться не в квартире 505 дома 252 на Фултон-стрит, а в гостинице «Латам», куда он и въехал 11 мая 1957 года под именем Коллинза. В квартиру предстояло лишь заглянуть — кое-что взять, некоторые вещи обязательно уничтожить.

Больше с Центром связаться никак не удавалось ни из Дейтон-Бич, ни из Нью-Йорка — тогда бы Марк получил предупреждение о предательстве Вика, постоянно ему передаваемое. Кажется, его преследовал злой рок. Он действовал сам, уже без советов и приказов. Попытался зайти в старую свою квартиру, но что-то остановило — то ли чутье сработало, то ли предчувствие. Квартира уже была под наблюдением: Вик давал показания.

Хотя знал Хейханен немного, однако шифрограмма, недавно через него полученная, — шефа, известного ему под именем Марк, поздравляли с присвоением звания полковника, — сыграла роковую роль. В ЦРУ поняли, что напали на след крупного разведчика и с Виком стали работать еще серьезнее.

Если верить российским источникам, Фишер ни разу не приводил в дом связника. Американские историки разведки уверяют в ином — радист однажды побывал на Фултон-стрит. От Вика на суде прозвучало такое же признание, да и туповатый алкаш вряд ли смог бы вывести спецслужбы на обиталище Абеля, не загляни он в него до этого хоть разок.

Марк же, в отличие от Центра, пребывал в неведении о предательстве Вика. Вот он приближается к дому на Фултон-стрит, присаживается на скамеечке поблизости и настораживает круглосуточно дежурившую рядом с домом 252 наружку: похож на человека, описанного Виком. Но зацепиться за незнакомца не удалось. Марк ушел от наблюдения, интуитивно оторвавшись от хвоста. Наружка была не до конца уверена, что объект установлен верно…

Новая попытка пробраться в собственную квартиру удалась, портативный приемник оттуда был вынесен. На следующий день пришел черед зайти туда снова и заглянуть под деревянную лестницу, где в тайнике хранились шифровальные блокноты, шифрозаписи, почтовые адреса для связи и, в портативном контейнере, письма от жены Эли и дочери Эвелины.

20 июня Марк снова проник в дом незамеченным. И тут удача не то что изменила, а просто отвернулась. Время к одиннадцати вечера, свет превратился в полумрак, да еще и окна завешаны шторами. Разыскивая в темноте в ящике метрику на имя Мартина Коллинза, он случайно смахнул на пол крошечный контейнер, в котором хранились письма.

Если бы не это, может, и не появилась бы на свет книга о разведчике Фишере — Абеле…

Марк долго шарил по полу, искал контейнер, но тот куда-то закатился и никак не попадался под руку. Подойдя к окну, он чуть откинул штору, внимательно осмотрел улицу. Все спокойно, вроде бы никого и ничего. Зажженный свет, по его уже потом, в Москве, написанным отчетам, горел две, максимум три минуты. За это время был найден оказавшийся под столом контейнер — и твердо засечен наружным наблюдением, сфотографирован выходящий на улицу советский нелегал-полковник.

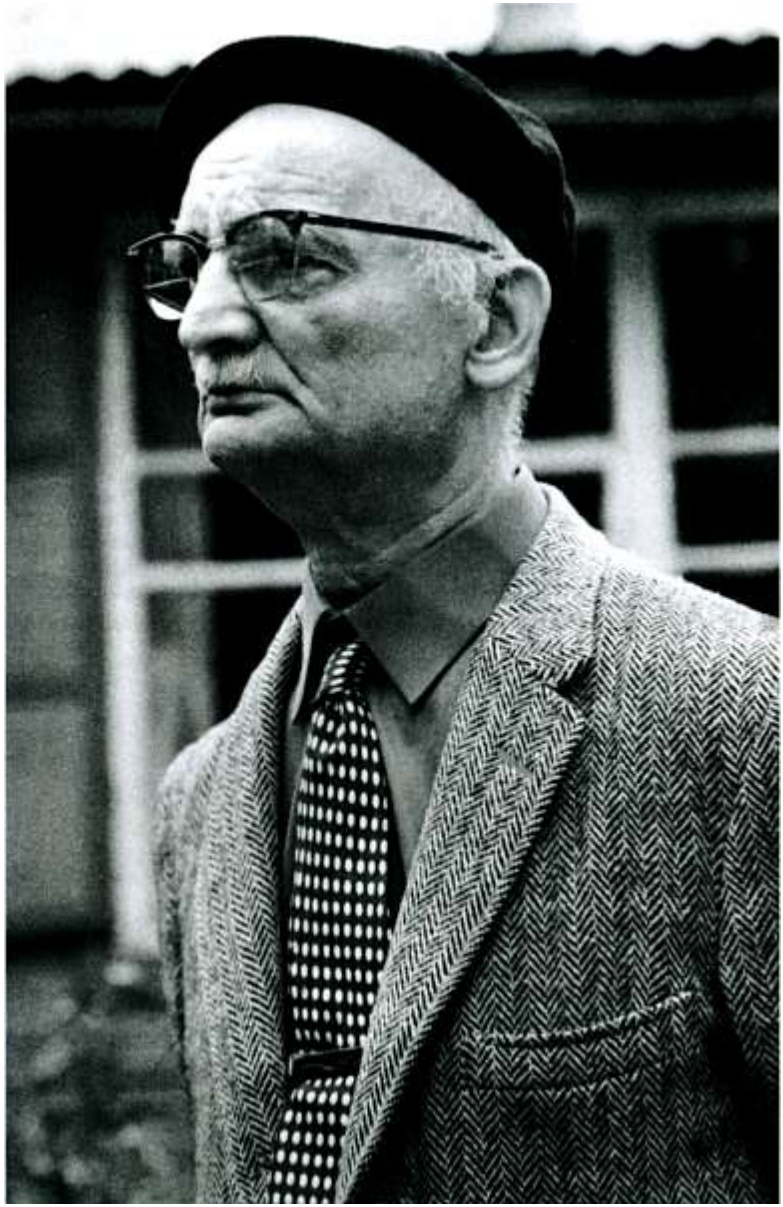
Выйдя из дома, Марк направился в метро. Показалось или нет, что следом за ним, и уж слишком долго, вышагивает какой-то человек? Нет, показалось: во-первых, незнакомец тащил чемодан; во-вторых, в метро сел не с Марком, а в последний вагон.

Но все же не показалось. Американцы утверждают, что с момента выхода из квартиры на Фултон-стрит Марк находился под их постоянным наблюдением. И тот человек с чемоданом был от наружки. Объект наблюдения, возможно, «купился» на чемодан — какой наружке охота таскаться с тяжестями? Но при «передаче» объекта применяются и такие хитрости. Трюк с переноской всяческих сумок, портфелей, тяжелых вещей в разведке используется постоянно — но в основном теми, кто пытается уйти от наружки. Человек, что-то несущий, как и идущий с ребенком,

психологически вызывает меньше подозрений…

Марка ведут до гостиницы «Латам». Вы понимаете, в какую цепь случайностей превращается иногда разведка, где продумано все до мельчайших деталей? Плохая погода и непроходимость радиоволн. Случайно упавший на пол контейнер. И…

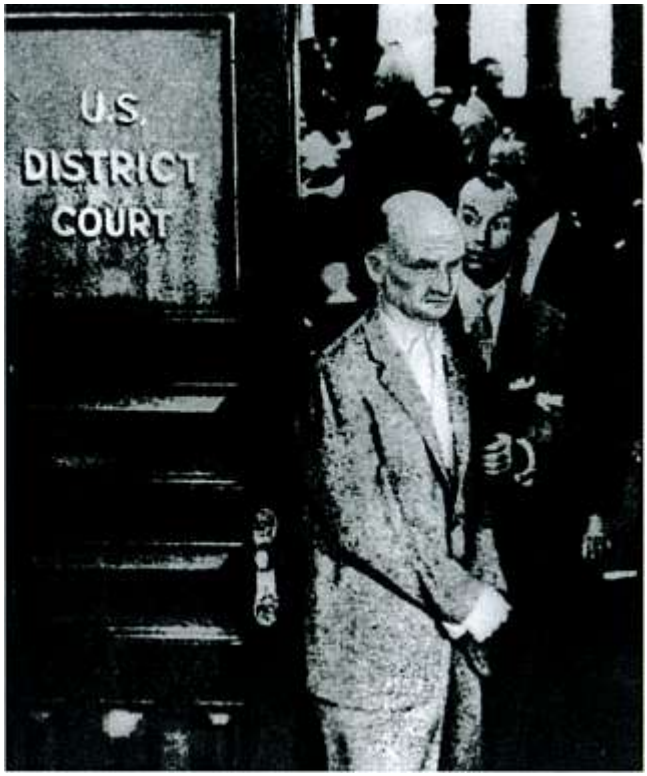
А еще до этого, ранним утром, Фишер, тщательно проверившись, доехал до обычно немноголюдного Ван Корфлэнд-парка. Там, побродив по каменистым тропинкам, отыскал ровно в тридцати шагах от последнего поворота затерявшейся на краю парка дорожки сухое дерево. Еще несколько шагов и Фишер наклонился: точно, именно тут под большим камнем лежал сверток, замотанный непромокаемой пленкой. Быстро положив его в портфель, он отправился в отель «Латам». Два часа дороги, проверок, и, наконец, дверь номера 839 запирается на ключ. Нелегал приступает к уничтожению важнейших документов — сожжено и спущено в унитаз все, что даже косвенно могло вывести на работавших с ним в разные годы и разными способами людей. Нет больше записей, которые могли бы помочь полковнику, зато не осталось и следов его такого полезного пребывания в чужой стране. Оставлено лишь самое необходимое, то, что могло понадобиться для последних дней его нелегальной миссии в США.



Вторая половина 1960-х, дача в Челюскинской, где Вильям Генрихович проводил все больше времени

А так он выглядел в Соединенных Штатах. Типичный американец в шляпе и твидовом пиджачке

Это портрет нью-йоркского живописца Эмиля Гольдфуса кисти известного американского художника Берта Сильвермена



Абель в здании суда в Нью-Йорке

В этой тюремной камере, нарисованной полковником Абелем, он провел долгие годы

Еще день, и русского нелегала освободят. Эвелина и Елена (Эля) Фишер только что встретились с адвокатом Донованом.

На заднем плане кузен Дривс — он же Юрий Дроздов

(слева) Герой России Владимир Барковский добывал атомные секреты еще с самого начала войны

(справа) Юрий Соколов был связником полковника Абеля в Соединенных Штатах

(слева) Разведчик и художник Павел Громушкин дружил с Вилли с 1938-го и до последних дней

(справа) Генерал Юрий Дроздов под видом кузена Дривса вызволял Фишера из плена

Моррис Коэн, человек, добывший для нас бомбу

Говорят, у Морриса Коэна и его жены Лоны было идеальное взаимопонимание. Хватало одного жеста, одного взгляда

В таком парике Вильям генрихович Фишер предстал перед зрителями под именем полковника Абеля в фильме «Мертвый сезон»

В этом фильме Донатас Банионис сыграл одну из своих самых

удачных ролей. Рядом с актером разведчик-нелегал Конон Молодый (справа)

На выступлениях Вильяма Фишера залы всегда были забиты. Правда, в основном людьми его профессии или к ней близкой

Потом его стали выпускать и за границу в соцстраны. Особенно понравилось Фишеру в ГДР, где он встречался с генералом Маркусом Вольфом (на снимке слева)

Но и по нашей стране он ездил немало. А когда режим тотальной секретности был ослаблен, то легко находил общий язык с любой аудиторией

После возвращения из США курил только «Беломор», ставший любимым

Они с женой Элей одевались скромно

Рыбалку Вильям Генрихович очень любил

Семейный портрет на фоне дачного пейзажа

О его любви к животным можно рассказывать и рассказывать

Любил читать газеты. Но еще больше — решать кроссворды
На отдыхе в Сочи Вильям Генрихович взялся за перо: написал повесть

Он любил путешествовать. Интересовало все новое, необычное, невиданное

Родная дочь полковника Фишера — Эвелина Вильямовна Фишер в свадебном платье. Отец на торжестве не присутствовал: был в США

А это — Эвелина у себя на даче в 1993-м. Сидела, рассказывала, выкуривая по полпачки

Приемная дочь Фишера Лидия Борисовна Боярская пошла на фронт ровно в 18 лет. Все награды — только за войну

Одно из последних фото полковника Фишера — Абеля. От нас уплывает живая история. И — навсегда

Он никого не потянул за собой в тюрьму, приняв все — даже ни в чем не признавшись — только на себя. Поэтому в американской периодике полно мифов о полковнике Абеле. Так и не докопавшись до того, что к ним в руки попал опытнейший нелегал из внешней разведки, в Штатах его записали в военные разведчики. Почему-то считалось, что советский шпион Абель работал в гитлеровской Германии и под чужой личиной добрался до высоких постов в нацистской иерархии. Ему приписывали отцовство в семействе, «обосновавшемся в ФРГ». Боялись, что

даже из тюрьмы он передает секретные сведения, доставляемые другими заключенными. Его тесты на IQ, по результатам близкие к гениальности, еще больше напугали тюремное начальство. Когда Абеля меняли на несколько банального по сравнению с ним капитана-летчика Пауэрса, ему чуть не продырявили только-только выданный по этому случаю тюремный костюм. Он рассказывал: распарывали в разных местах, протыкали, искали вывозимую секретную информацию. Абель превратился для своих стражников в тяжелый кошмар или, пользуясь американским сленгом, в постоянную боль. В Западной Германии перед обменом он сидел в необычной камере. Опять его тюремщики чего-то боялись. «Несколько дней меня держали в стальной клетке в длину метра два с половиной, два — в высоту и несколько меньше двух в ширину, — вспоминал Вильям Генрихович. — Прутья сделаны из круглой стали. Пол под клеткой был приподнят еще сантиметров на 15… Внутри стояла койка. А сторожили меня двое. Я понимал, что история близится к обмену».

И как же по-разному оценивают это унизительное заточение пленник и его адвокат. Вот как преподносит эпизод Донован в «Незнакомцах на мосту»: «10 февраля 1962 года я проснулся в пол шестого утра. С трудом упаковал вещи. Шел восьмой день моего пребывания в Берлине, и, если все пройдет успешно, день последний. После завтрака я отправился в американский военный лагерь. Из маленькой гауптвахты с усиленным караулом, где Абеля содержали в особо охраняемой камере, были удалены все арестованные».

Адвокат Донован, который взял на себя все переговоры по обмену, тем не менее не до конца доверял тем, с кем имел дело. Не верил, что разговаривает с женой и дочерью Абеля. Елену Степановну принимал за нанятую актрису, Эвелину — за сотрудницу КГБ. Приезжая для переговоров в Восточный Берлин, юрист и бывший военный разведчик краснел и сопел, его давление поднималось. Донован трясся — вдруг русские похитят его, увезут с собой? Веры в соотечественников Абеля, в отличие от уважения к полковнику, у адвоката не было…

Но за пять лет до этого спецслужбы США испытали и час триумфа. Он пробил в 7.21 утра 21 июня 1957 года, когда трое агентов ФБР ворвались в номер 839 скромной гостиницы «Латам» на Манхэттене, где еще 11 мая снял комнату за 29 долларов в неделю жилец Мартин Коллинз. Заспанный голый человек лет пятидесяти пяти, прикрывавшийся рукой, был искренне удивлен видом грозной троицы. Особенно — револьвером в руках одного из них. Здесь же ФБР допустило и первый промах: после

сорвавшейся у старшего фразы — «Господин полковник, надеемся, вы будете сотрудничать с нами!» — нелегалу мгновенно стало понятно, кто его выдал: из десятка миллионов жителей Нью-Йорка о недавнем присвоении ему полковничьего звания был осведомлен лишь Рейно Хейханен.

Обитатель забитого вещами номера не показал ни удивления, ни неудовольствия тем, что ему приписывают столь высокий чин. Детектив, быстро сориентировавшись, протянул арестованному искусственную челюсть, взятую с гостиничной полки. Тот спокойно попросил разрешения одеться. Не отвечая, агент задал, по версии американцев, следующий вопрос: «Есть ли у вас художественное ателье на имя Эмиля Гольдфуса в Бруклине?» Челюсть была привычно вставлена, трусы натянуты, и ответ прозвучал тотчас: «Да, есть». Тут же арестованный попросился в туалет. Отказа не последовало, и Марк помимо осуществления естественной надобности успел спустить в унитаз часть шифроблокнота.

Развернулось второе действие. В комнату вошел четвертый — инспектор управления по иммиграции и натурализации Роберт Шонбергер. На его вопрос «Действительно ли вы приехали в США из Канады в 1948-м?» последовало «Да». Второй вопрос: «Действительно ли вы въехали в США под именем Эндрю Кайотиса?» И на это было получено короткое «Да». Действия агентов ФБР, ворвавшихся в комнату, были незаконны. Его арестовали без ордера на арест, на обыск и изъятие имущества. Пытаясь придать аресту некую формальную правоту, инспектор Шонбергер объявил Коллинзу, что он арестован «за нелегальный въезд в США». Присутствовала в этом доля цинизма: при чем тут тогда ФБР, если ордер выписан службой иммиграции и натурализации? В таком случае все, что можно было предъявить полковнику, именовалось «незаконным въездом и проживанием в США». Но спецслужбы, как правило, не церемонятся. Существовал, по их мнению, шанс перевербовать Марка. Если арест проводился ФБР, то дело было бы немедленно предано огласке, но в планы ФБР и ЦРУ такое не входило. Последовал приказ одеться, и Мартин Коллинз, он же Эмиль Гольдфус, он же Эндрю Кайотис неспешно — он все делал спокойно и не торопясь — медленно открыл дверцу стенного шкафа и натянул пиджак из серого твида. Его голову украсила соломенная шляпа, с которой он потом не расставался. Этот головной убор стал его фирменным знаком, в нем полковник Абель запечатлен на всех фотографиях того времени. Агент ФБР защелкнул наручники. Арест, пусть и незаконный, состоялся.

По советской версии Фишер успел уничтожить и лежавший

на столе текст так и не расшифрованной той ночью радиограммы. В книге Санжа де Грамона «Тайная война» и в других западных изданиях об этом нет ни единого упоминания. Зато де Грамон пишет, что обыск, сначала весьма поверхностный, продолжался в гостиничном номере 20 минут. Но и за это время в комнате, заполненной тюбиками с красками, бумагами, кипами книг, было легко найдено немало любопытного.

Чего стоили два коротковолновых радиоприемника, которые столько говорили о тайной работе их владельца! Осталось расписание радиосвязи. Отыскались запасные шифровальные блокноты, некоторые из них — на русском языке. В тонком деревянном карандаше — умело сделанном Марком контейнере — хранились восемь микрофильмов: на большинстве из них письма от дочери и жены и два почтовых адреса в Москве. Наготове были и шесть тысяч долларов, необходимые для отъезда в Мексику и условия связи там с советской резидентурой. Твердое намерение уехать в ближайшее время подтверждалось также двумя медицинскими сертификатами о вакцинации, выданными на две разные фамилии. Как и два также выплывших на свет свидетельства о рождении. Они были на имя Эмиля Роберта Гольдфуса, рожденного 2 августа 1902 года в Нью-Йорке, и Мартина Коллинза. Последний был постарше — родился 15 июля 1897-го. Позже, при проверке, свидетельство на Гольдфуса оказалось настоящим, только вот бедный младенец оставил белый свет еще в возрасте года и двух месяцев 9 октября 1903-го… А Мартин Коллинз был признан фальсификатом. Позднее, уже взяв имя Абель, он «признался»: «Господин следователь, в районе Лоуэр-Ист-Сайда в Нью-Йорке, где я приобрел эти паспорта, проживает, как вы знаете, немало бедных людей — это евреи, итальянцы, негры, лица других национальностей, которые ради своего существования готовы на все. И среди них есть несомненно талантливые люди, способные изготовить любую вещь. Там можно купить что угодно».

Но еще одну обнаруженную улику опровергнуть было никак нельзя — тут же лежала и записка Вика, в которой тот сообщал об отъезде в Европу.

Нашли ключи от сейфов. На чековой книжке банка на Ист-Ривер лежало 3383 доллара. Вклады вносились 12 июня 1950 года и совсем недавно — 5 апреля 1957-го.

Вскоре спецслужбы отыскали и сейф, снятый Марком на имя одного из знакомых. Тот и не догадывался, кому он оказывает такую услугу. В сейфе — бумаги на 15 тысяч долларов, вложенные в акции компании «Манюфэкчерс траст». Для тех далеких времен — суммы немалые. Значительная часть денег

принадлежала Центру, меньшая — накоплена Фишером за годы в Штатах.

Обыск в бруклинском ателье художника Эмиля Гольдфуса тоже принес немало любопытного. Наиболее губительным для полковника был коротковолновый радиоприемник. Здесь же — горы эскизов и картин Марка, множество книг, свидетельствовавших о разнообразии интересов: от полицейских романов до «Элементов символической логики».

Ну а пока из отеля его в наручниках привезли в отдел Службы иммиграции и натурализации. Сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. На двухмоторном самолете доставили в штат Техас, в лагерь для перебежчиков, где его ждала накаленная до почти 40 градусов одиночная камера № 5. Остальные камеры были пусты. Измученный полковник улегся спать.

Вернувшись, он рассказывал Эвелине, что всегда представлял себе в трудные моменты и в часы бессонницы виды подмосковной природы. Инструкторы еще дома внушали будущим нелегалам, что это — лучший способ расслабиться, переключиться, порой — забыться. Действительно помогало. Научился ощущать себя идущим среди березок. Любимое дерево, столько раз рисовавшееся и в воображении, и на холсте…

Что тревожило Фишера? Письма. Они, написанные по-русски, были серьезным козырем обвинения. Однажды, не упоминая о деле Абеля, я спросил о переписке с родными супругов-нелегалов — Героя Советского Союза Геворка Андреевича Вартаняна и его жену Гоар Левоновну. Мол, можно ли хранить письма? Оба, успешно проработавшие 40 лет под чужими именами, эмоционально всплеснули руками. Смысл сказанного ими сводился к следующему: быстро прочитать два-три раза это самое дорогое послание, которое только и может получить годами оторванный от дома разведчик, и обязательно тут же, никуда не пряча, уничтожить. Свернуть в трубочку и поджигать обязательно сверху. Так не останется пепла…

И еще — о заходе связников на квартиру. Тут слово Герою России, разведчику-нелегалу Алексею Михайловичу Козлову, который провел за границей десятилетия. Никаких встреч со своими! Не то что поблизости от собственного жилища — просто в городе, где работаешь. Пример Козлов привел соответствующий: великолепный нелегал Конон Молодый постоянно встречался со своими радистами в их коттедже неподалеку от Лондона. «К чему это привело?» — спросил Алексей Михайлович. Да к тому, что известные нам Коэны, работавшие в Англии под фамилией Крогеры, были, как и Бен, арестованы. Наружка, следившая за Молодым, вышла на его

помощников. Вот и получились долгие годы в тюрьмах ее величества. Никакие естественные человеческие чувства типа дружбы, единения, теплого общения не оправдываются перед лицом опасности. Если бы не эти товарищеские посиделки, возможно, Коэнам — Крогерам не пришлось бы мучиться в холодных британских казематах. Они жестоки, правила разведки.

Но если обратиться к найденным в тоненьком деревянном карандаше письмам, что было в них? Почему по просьбе защиты они, вроде как окончательно топящие подсудимого Абеля вещественные доказательства, были зачитаны на суде? В них звучали такие любовь и долготерпение жены Елены и дочери Эвелины, такая стоическая преданность годами оторванному от нормальной семейной жизни мужу, что послания произвели на присяжных неожиданный для обвинения эффект.

Вот что писала Эвелина: «Дорогой папа, шлем тебе наилучшие пожелания. Папа, дорогой, мне тебя очень недостает. Ты не можешь понять, как ты мне нужен…»

А это — жена Эля: «После твоего отъезда (из отпуска в 1955-м. — Н. Д.) я серьезно заболела. Сплю плохо. Чтобы подышать свежим воздухом иду на балкон. Иногда беру твой инструмент (гитару или мандолину. — Н. Д.), смотрю на него, хочу послушать, как ты играешь, и скучаю. Для нас ты лучше всех людей. Не говори “нет”, потому что все люди, которые тебя знают, того же мнения. Обнимаем тебя от всего сердца и поздравляем тебя. Попытайся уладить дела так, чтобы быстро вернуться. Годы и старость нас не будут ждать. Как ты там? Как твой желудок? Заботься о себе. Хотела бы жить с тобой для нас двоих».

Понятно, почему дрогнула рука сурового нелегала и не уничтожила, не сожгла, как принято и заведено, эти послания. Это было бы как поджигать, свернув колечком, саму семейную любовь. Присяжные восприняли письма по-человечески… Однако благодаря им ЦРУ выяснило: Абель побывал в Москве во второй половине 1955-го. Добирался домой, так уверены американцы, по маршруту Штаты — Париж — Москва в июне 1955-го, а в США вернулся в начале декабря того же года. Противоречит рассказу Эвелины: «Папа прилетел в Москву из Вены».

Ну а сами письма сыграли «за» Абеля. Он, отрешенно-хладнокровный во время суда, показал, по оценке ЦРУ, «некоторые признаки возбуждения лишь во время чтения писем его жены и дочери».

Но и здесь люди из ЦРУ ошиблись. Был и еще один момент, когда Вильям Фишер оказался на грани взрыва. Это когда свидетельствовал на суде мерзавец Хейханен. Хотя и был

хроническим алкоголиком, слабо говорящим по-английски, но показания давал против Абеля существенные. Марка бесило предательство, спившийся подонок вызывал чувства отвращения, он и называл его «тварью». В Москве рассказывал Дмитрию Тарасову: «Мне безумно хотелось выскочить к предателю, схватить его за горло и задушить, как бешеную собаку. И только сознание чекистского долга перед родиной заставляло быть внешне спокойным, ничем не выдавать своего волнения, с тем чтобы дать присутствующим воочию убедиться в превосходстве истинного советского разведчика над предателем». Вероятно, говорил все это Вильям Генрихович начальнику по работе в более приземленном стиле, чужд ему был пафос. Но смысл сказанного от того не меняется.

Здесь, в этих письмах, в хладнокровии Абеля, а не только в умелой линии защиты Донована, и кроется то, что помогло в конечном итоге избежать нависшего смертного приговора.

А ведь приговор виделся именно таким. Обвинения, выдвинутые прокуратурой Нью-Йорка по трем пунктам, изложенным на двенадцати страницах прокурором Бруклина Муром и помощником Генерального прокурора США Томпкинсоном, были суровы. Еще в Техасе человеку, назвавшемуся Абелем, официально сообщили, что его будут судить как шпиона — в случае признания виновным ему грозила смертная казнь. ФБР подтвердило в техасской тюрьме, что по данным, которыми оно располагает, полковник с огромной долей вероятности закончит жизнь на электрическом стуле. Министерство юстиции готовилось к процессу тщательно.

Его подвергали, как признают сами американцы, «длительным и мучительным допросам». Что скрывается за этими словами? Били? Неизвестно, об открытых физических методах воздействия Вильям Генрихович никогда и никому потом не рассказывал. Да, камера-клетка в летнее время накалялась до 40 градусов. Ему несколько раз становилось плохо, состояние приближалось к полуобморочному. Однако, как я склонен предполагать, побоев не наносили. К нему не подсаживали тогда других заключенных. Условия содержания характеризовались тюремщиками как «относительно комфортные».

У Абеля была альтернатива. Ему предлагали сотрудничать с ЦРУ. Это подтверждено не только после возвращения домой, но еще в США. И никто в Штатах заявления полковника, данного под присягой «Клянусь говорить правду…», не опровергал. Вот и отыскавшийся текст заявления, который он сделал письменно на суде в Нью-Йорке: «Они мне говорили, что обеспечат хорошее питание, алкоголь и комнату с кондиционером в отеле Техаса…»

Когда предложение было с интеллигентным достоинством отвергнуто, агент ЦРУ в третий раз, если считать чуть не первую фразу, прозвучавшую в раннее утро ареста, снова выдвинул конкретное «предложение работы» — «в одном федеральном агентстве с начальной платой в 10 тысяч долларов в год». Абель отклонил и его с твердой учтивостью. ЦРУ ценило услуги полковника дорого, а он оценивал ЦРУ низко.

Тогда, 7 августа 1957 года, через полтора месяца после ареста, заключенному сообщили о выдвинутых обвинениях:

За доставку Советскому Союзу сообщений секретного характера, содержащих атомную и военную информацию, — максимальное наказание смерть.

За участие в сборе приведенной информации — максимальное наказание десять лет каторги.

За нелегальный въезд и пребывание на территории США в качестве агента иностранной державы — максимальное наказание пять лет тюремного заключения.

Видимо, в ЦРУ уразумели, что на данном этапе разведчика не сломить-не согнуть, и не торопились. Время было на стороне ЦРУ. Понятно, что, если даже не дойдет до смертного приговора, у хозяев положения окажется масса времени, чтобы нажать и надавить. Сразу после предоставления обвинительного заключения и отклонения очередного предложения о переходе на чужую сторону Абеля перевезли в Нью-Йорк, в камеру федеральной тюрьмы на 11-й улице.

Уже 13 августа 1957 года он в первый раз появился в федеральном суде Бруклина. Судья Мэтью Абруццо в тот день разрешил ему просить через коллегию адвокатов Бруклина защитника, который сможет представлять его на процессе, названном «Рудольф Иванович Абель, также известный как “Марк” и также известный как Мартин Коллинз и Эмиль Р. Гольдфус против Соединенных Штатов Америки».

Прошло еще несколько дней, и коллегия назвала имя защитника — Джеймс Брит Донован. Это был совсем не простой адвокат, прямиком ринувшийся на защиту русского полковника. Но Абелю с ним повезло. Прежде всего тем, что Донован был не из оголтелых, требовавших казни русского шпиона, а затем и наказания для самого Донована, «осмелившегося предать нацию». Мало кто тогда, да и теперь, обратил внимание на фразу из первого же заявления Донована: «Я согласился защищать Абеля в интересах нации». Об интересах нации известный нью-йоркский адвокат, офицер разведки в ранге капитана 3-го ранга, знал не понаслышке.

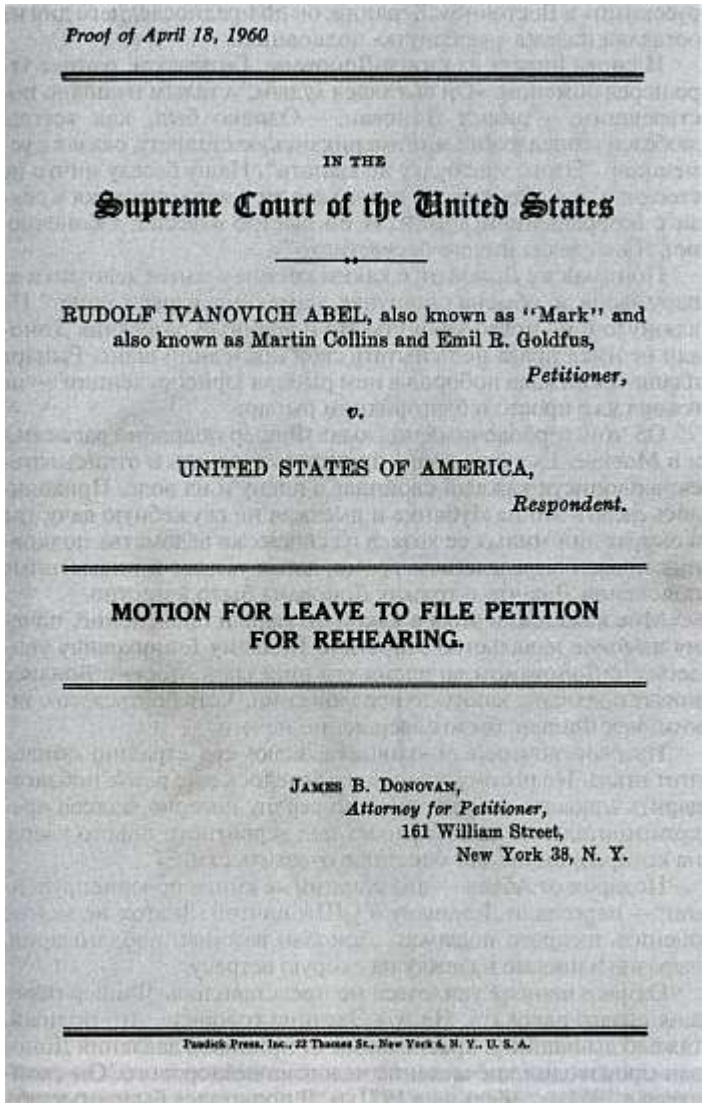
Участник Второй мировой войны, он служил военным

советником у своего однофамильца генерала Донована. Имя в истории разведки встречающееся. Генерал возглавлял Управление стратегической службы (УСС) — так в прошлые годы именовалась разведывательная служба США. На Нюрнбергском процессе Донована назначили помощником генерального обвинителя США.

Бывают ли разведчики бывшими? Наивный вопрос. Так в бруклинском суде встретились два старших офицера спецслужб: вышедший в отставку американский и действующий, попавший в плен, русский. Марк все быстро понял. Для него это был наилучший вариант. Он имел дело с профессионалом, понимавшим, что где-нибудь в обозримом будущем нечто подобное приключившееся с его подзащитным может случиться и с выполняющим схожее задание американцем. И опытный разведчик Джеймс Донован не ошибся с прогнозами — словно предугадал, что не вечно летать разведывательным У-2 над СССР безнаказанно и что сбитый летчик капитан Пауэрс может избежать долгого российского сидения благодаря Абелю, которого он, Донован, сознательно не дал затащить воинствующим коллегам на электрический стул. Здесь адвокат продемонстрировал не только искусство юриста, но и тонкое предвидение разведчика-стратега.

В этом понимании Джеймса Б. Донована, адвоката со 161, Уильямс-стрит, Нью-Йорк, поддержал и другой бесспорный профи — директор ЦРУ Аллен Даллес. Есть неопровержимые свидетельства, что Донован и Даллес встречались во время судебного процесса, а также после него и перед самым обменом. Они советовались, обменивались мнениями, вели собственную линию. Донован не был, особенно поначалу, таким вот добрячком, проникшимся дружескими чувствами к полковнику и решившим во что бы то ни стало его спасти. Он действовал как офицер разведки и во имя интересов американской разведки. Хотя со временем возникла и симпатия к Абелю.

Об этом пишется мало, однако Донован делал, как говорят на суровом разведязыке, несколько серьезных «вербовочных подходов» к подзащитному. И до суда, и во время него, и обращаясь с петицией в Верховный суд Соединенных Штатов после вынесения приговора. Даже договорившись «с этими русскими» в Восточном Берлине, он до предпоследнего дня не оставлял надежд «вербануть» полковника.



Proof of April 18, 1960

IN THE

Supreme Court of the United States

RUDOLF IVANOVICH ABEL, also known as "Mark" and also known as Martin Collins and Emil R. Goldfus,

Petitioner,

v.

UNITED STATES OF AMERICA,

Respondent.

MOTION FOR LEAVE TO FILE PETITION FOR REHEARING.

JAMES B. DONOVAN,
Attorney for Petitioner,
161 William Street,
New York 38, N. Y.

Paddock Press, Inc., 22 Thames St., New York 6, N. Y., U. S. A.

Это прошение о пересмотре дела Абеля было отклонено Верховным судом Соединенных Штатов. Но и одна его подача лишний раз доказывает: полковник смело бился до конца

И снова цитата из книги Донована. Гауптвахта, раннее утро перед обменом. «Он выглядел худым, усталым и сильно постаревшим, — пишет Донован. — Однако был, как всегда, любезен и предложил мне американскую сигарету, сказав с усмешкой: “Этого мне будет не хватать”. Нашу беседу ничто не стесняло, и я спросил, не возникает ли у него опасения в связи с возвращением домой. И он быстро ответил: “Конечно, нет. Я не сделал ничего бесчестного”».

Понимал же Донован, с каким кремнем имеет дело, но и за пару часов до обмена прощупал, намекнул: вдруг клюнет? Не клюнуло и не могло клюнуть. Но и военный разведчик Донован не имел права не испытать свой последний шанс. Рыцарь плаща и кинжала поборол в нем рыцаря юриспруденции — не говоря уже просто о благородном рыцаре.

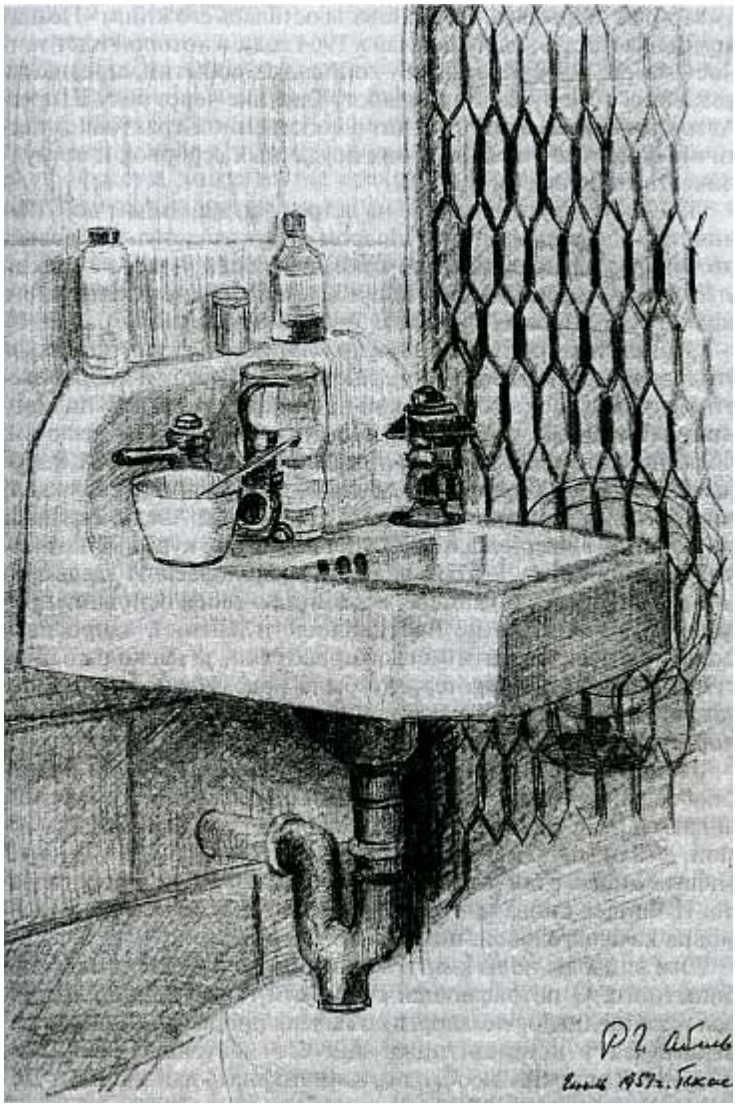
Об этих вербовочных подходах Фишер подробно рассказал и в Москве. Ему еще долго пришлось отвечать и отписываться, живописуя каждый свой шаг в плену и на воле. Приходилось делать это на Лубянке и выезжая на служебную дачу, где в окружении милых ее хозяев из своего же ведомства полковник провел определенное время, давая устные и письменные пояснения. Так что о трюках Донована было известно.

Мне кажется, в этом в какой-то мере и объяснение, почему высокое начальство запретило Вильяму Генриховичу увидеться с Донованом во время его приезда в Москву. Боялись новых подходов, каких-то предложений. Хотя бояться-то с таким, как Фишер, было совершенно нечего.

Из слов дочерей полковника знаю: его страшно обидел этот отказ. Не потому, что так уж хотелось еще разок поблагодарить адвоката — царапнуло по сердцу неверие, эдакое предусмотрительное выведение из-под вероятного нового удара, на который он бы мог блестяще ответить сам.

Подарок от Абеля — две старинные книги по юриспруденции — переслали Донована в США почтой. Знаток не мог не оценить щедрого подарка… Донован вежливо поблагодарил, выразив в письме надежду на скорую встречу.

Однако шансов увидеться не представилось. Фишер пережил своего адвоката. Не зря Эвелина говорила, что полный, тяжело дышащий и краснеющий от приливов давления Донован производил впечатление человека нездорового. Он скончался в 1968-м, Абель — в 1971-м. Я попытался было отыскать родственников Донована: обычно адвокаты оставляют свое прибыльное дело детям. Но, как выяснили мои друзья-корреспонденты, работавшие в Нью-Йорке, контора на 161, Уильямс-стрит закрылась. От Донована осталась его книга «Незнакомцы на мосту», выпущенная в 1964 году, в которой идет точное — в его интерпретации — описание событий, предшествовавших обмену на старом мосту Глинике через реку Шпрее. Автор рассказал о многом, но в собственной трактовке, тактично замолчав эпизоды своих неудачных вербовок и сотрудничества с Даллесом и ЦРУ.



В тюрьме была тяжелейшая скука, и полковник боролся с ней как мог. Очень помогали кисти и карандаш. Тюремщики и трое сокамерников не мешали. За четыре с половиной года к нему приезжал лишь один человек — адвокат Донован

Тут же и о другом запрете на встречу со знакомым по США иностранце, полученном Фишером от руководства. Откровенно говоря, не предполагаю, какими путями узнал немецкий уголовник, сидевший вместе с Абелем в тюрьме Атланты, его московский адрес. Но узнал, и это точно никакая не байка.

Зубной техник из ФРГ получил лет десять, кажется так, за уголовное преступление, совершенное в Штатах и добросовестно

отсидел срок. За решеткой проникся к русскому полковнику громадным уважением. Помните о вставной челюсти, поданной при аресте в отеле «Латам»? Сделанные в СССР зубные протезы — в отличие от Абеля — не выдержали столь долгого срока пребывания в Штатах. Да и жевал Абель, скитаясь по тюрягам, наверняка не разогретые мягкие куриные котлетки. Где-то к концу 1961-го челюсть раскололась. И здесь зубной техник, сосед по камере, вспомнил о своей основной профессии. Начальство не противилось, и дантист, запросив и получив с десяток сантиметров проволоки, за несколько дней сумел не починить протез, что было невозможно, но сделать так, что симпатичный ему русский смог хотя бы относительно нормально пережевывать пищу…

Немец и русский расставались друзьями. И когда техник пообещал, что после освобождения обязательно приедет повидаться в СССР, Фишер не поверил. Но тот, вернувшись домой, в Западную Германию, купил тур и приехал. Понятия «невыездного», так популярного у нас, в ФРГ не существовало. И Фишер снова получил запрет. Почему? Эвелина Вильямовна качала головой: потому что…

Эти эпизоды не из книги Донована, но и в ней немало любопытного. О потрясающей стойкости Абеля свидетельствовал и такой диалог незадолго до начала процесса. Донован осведомился у подзащитного: как его настоящее имя? Тот подумал и спросил: необходимо ли это знать для защиты? Донован честно признался: «Нет». Абель предложил: «В таком случае поговорим о чем-либо, имеющем отношение к делу».

За все время, как пишет Донован, у них произошло единственное резкое столкновение. Когда из генконсульства на запрос о личности Абеля пришел любимый советский ответ — «такого не знаем», адвокат, наверняка еще и с ехидцей, осведомился у подзащитного, не кажется ли тому, что на родине его, как секретного агента, списали и ему можно рассчитывать лишь на себя. Вильям Генрихович дал справедливую и гневную отповедь. «Не согласен с вами. Поверьте мне, я не списан, — резко сказал он. — Понятно, они не могут позволить себе вмешаться в это дело. Таковы традиционные правила моей профессии, которые мне прекрасно понятны. Но я не списан со счетов, и мне не по душе смысл, вкладываемый вами в эти слова!»

И в то же время еще до процесса наладилось взаимопонимание. Абель откровенно спросил Донована, что тот думает о его положении. И сам охарактеризовал его так: «Меня взяли без штанов» — что, как вспоминает защитник, полностью соответствовало действительности. Они оба усмехнулись.

Противоречия возникали. Уж слишком разными были взгляды этих невольно сошедшихся людей. Стоило уже осужденному на 30 лет Абелю спросить у Донована, что с ним будет, если кассационную жалобу удовлетворят и приговор отменят, как американец жестко отрезал: «Если мои труды окажутся успешными и вас освободят, то, Рудольф, мне, возможно, придется застрелить вас самому. Не забывайте о моем офицерском звании командора».

Тем не менее именно Донована надо благодарить и за искусную защиту, и, бесспорно, за обмен.

О самом обмене в Штатах сочинено немало. В чужом описании сцена была не совсем похожа на ту, что запала всем нам в память по фильму «Мертвый сезон». Машины с Донованом и с жестко охраняемым Абелем ехали по безлюдным в ранний час улицам Западного Берлина. На мосту, который «вел в оккупированную Советским Союзом Восточную Германию, <…> виднелась группа людей в темных меховых шапках. Выделялась высокая фигура одного из советских официальных представителей в Восточном Берлине, с которым я вел переговоры об обмене заключенными. Теперь трем правительствам предстояло завершить этот обмен. По нашей стороне Глиникер-брюкке прохаживались американские военные полицейские. Позади остановились два автомобиля вооруженных сил США. Окруженный здоровенными охранниками, появился Рудольф Абель <…>. Теперь, в самый последний момент, он держался только благодаря выработанной им самодисциплине».

Две группы людей стояли на Глинике с двух противоположных сторон. Обмен начался не сразу. Опоздание составило где-то минут 20. Очевидно, шли телефонные переговоры. Наконец от группы, пришедшей с востока, отделился высокий и, как подчеркивают американские авторы, худой человек. Было 10 февраля, и сердобольные русские приодели Пауэрса в длинное, теплое, типично московское пальто. На голове — русская меховая шапка. Фигура вступила на мост, и одновременно с ней навстречу направился человек тощий, чуть пониже. Холод, а голову Абеля укрывает лишь кепочка, ему зябко в тоненьком американском легком пальто. Они разошлись на середине моста. Не было сказано ни слова, не брошено ни взгляда. Зато вскоре с той, восточной стороны моста до американцев донеслись радостные и веселые восклицания.

На западной стороне стояла полная тишина. К Пауэрсу с его русской шапкой на голове подошел, наверное, старый знакомец: «Вот и мы, наконец, капитан». И Пауэрс слабо улыбнулся. И, как и в «Мертвом сезоне», взревели моторы. Капитана быстренько

усадили в машину, звонко хлопнули на ветру автомобильные дверцы, и авто умчались.

Но до этого Абелю пришлось отсидеть почти пять лет с преступниками разных мастей. Отношения полковника с их криминалитетом складывались любопытно. Во время пребывания «русского шпиона» в тюрьме власти слегка нервничали. Как бы не напали на него уголовные преступники, так любящие избивать чужих, проявляя свой американский патриотизм. Тем более поначалу в камере вместе с ним сидел мафиози Винченце Скиланте из известного гангстерского клана Альберто Анастази. Он сразу начал бучу: не хочу делить камеру с иностранцем, да еще и «комми». Дело дошло до управляющего тюрьмой Алекса Крымски. Винченце требовал перевода в другую камеру. Крымски не прореагировал, и здесь от уголовника можно было ожидать чего угодно. Но, как понятно, состоялись какие-то разговоры с Абелем, завязались контакты. И после этого протест гангстера выразился в странной форме. Мафиози требовал ведро воды и жесткую щетку, затем часами драил пол камеры, не поднимаясь с четверенек. Прошло еще несколько тревожных дней. И внезапно для тюремного начальства отношение Скиланте и других заключенных резко изменилось. Неизвестно, что там говорил им Вильям Генрихович, но уголовники принялись оказывать сокамернику уважение. Это проявлялось и в вежливом обращении. С той поры в американских тюрьмах заключенные иначе как почтительным «полковник» сидельца Абеля не называли.

Полковник много читал. Донован передавал подзащитному стопки книг. Из-за одной разгорелась целая полемика с тюремным начальством. Надзиратель отобрал у полковника шпионский детектив. И в принципе был прав: по существующим нормам, обвиняемому в шпионаже читать подобное законами запрещалось. Вдруг воспользуется почерпнутым из триллера в своих целях. И Донован пошел на принцип, доказав, что ас класса Абеля, водивший ФБР за нос девять лет, сам мог бы сочинить с десяток романов похлеще. (Что, кстати, Вильям Генрихович и сделал в середине 1960-х, взявшись за сочинительство на отдыхе в сочинском санатории.) И начальство уступило.

Донован с профессиональной точки зрения вообще оценивал Абеля исключительно верно. Когда в тюрьме Атланты цифры IQ, отражавшие интеллект полковника, к удивлению тюремщиков совсем зашкалили, Донован успокоил их. Да, заключенный действительно гений, но не надо этому удивляться. И сообщать полковнику новость тоже не стоит. Но сообщили. Тюремный телеграф действовал безотказно.

В то же время «случай Абеля» кое в чем раздражал толкового защитника. Он не мог уразуметь, почему обвиняемый в ущерб собственным интересам категорически отказывается произнести на суде хоть слово в свою защиту. Это же затрудняло его, адвоката, работу. Речь обвиняемого с его-то высочайшим интеллектом могла бы еще больше расположить к нему если не судей, то уж точно присяжных. Кристальнейшие моральные принципы Абеля остались выше понимания американского юриста-разведчика. В одном из оживленных, однако корректных споров подзащитный расставил все точки. Прямо сказал, что ничего говорить на суде не будет.

Разгорелся, хотя уже после процесса, и еще один конфликт. Донован «подколол» Абеля вопросом: «Как вы думаете, а какая судьба ожидала бы американского шпиона, пойманного при схожих обстоятельствах?» Джеймс нетонко намекал на неминуемый расстрел. И Абель, назвав собеседника «коллегой, который его понимает» (тоже толстый намек на то, что из разведки никогда не уходят), ответил: «Извините, но не я же писал советскую конституцию».

Я множество раз читал, будто Донован защищал полковника Абеля «абсолютно бесплатно». Это и правда, и неправда. Когда Вильям Генрихович признался, что является обладателем советского паспорта, и попросил связаться с советским консульством, ЦРУ согласилось. Но в консульстве, добросовестно проверив список советских граждан, никакого Абеля не отыскали. Я долго допытывался у сотрудников управления, к которому был приписан разведчик, почему допустили такую оплошность. Мне объяснили: «Консул попался не тот. Не наш. Да и откуда взяться фамилии Абеля в этом списке? Но мог, мог бы отправить просьбу к нам. Не отправил».

Когда грубую ошибку заметили, маховик мгновенно раскрутился в другую сторону. Очень быстро нашлась «госпожа Абель». Жена настоящего Рудольфа Ивановича Абеля Ася удивилась бы, узнай, что живет она в ГДР, а еще точнее — в Лейпциге.

Еще больше удивилась бы, если бы ей сказали, что пользуется услугами известного адвоката из ГДР Вольфганга Фогеля. Этот великолепный юрист не раз оказывал содействие своей стране — ГДР при обмене заключенными, в основном политическими. Услуги Фогеля ценились и на Западе. Полагали, что власти Восточной Германии разрешали рисковые демарши только этому редкому смельчаку, постоянно заявлявшему о гуманной миссии правосудия. И Фогель вел обмены. В 1977-м ему удалось выменять крупного агента, ученого из ГДР Адольфа Фрухта,

работавшего по идейным соображениям на американцев. За профессора отдали чилийца Хорхе Монтеса, коммуниста-сенатора, захваченного хунтой Пиночета после свержения президента Альенде. И будущего Героя России Алексея Козлова выменял тоже Фогель, но гораздо позже — в 1982-м. Вытащил из застенков ЮАР и отдал за него целый автобус западноевропейских шпионов плюс южноафриканского офицера, взятого в плен кубинцами во время боевых действий в Анголе. Одиннадцать — за одного!

К услугам Вольфганга Фогеля не раз обращались и наши, и другие спецслужбы стран, звавшихся социалистическими. Только после исчезновения ГДР выяснилось, что Фогель успешно сидел на двух стульях: работал в адвокатуре и трудился в министерстве безопасности ГДР, так что после исчезновения этой страны его приговорили в ФРГ к двум годам лишения свободы… Именно к этому человеку и обратились через своих друзей из ГДР начальники Вильяма Фишера. Как всегда, Фогель не подвел…

Уже вскоре Джеймсу Донована пришли из Лейпцига два солидных чека: первый — на 3500 долларов, второй — на 6500. Итого скромная госпожа Абель переслала в США десять тысяч долларов.

Но Донован, достаточно обеспеченный владелец крупной юридической конторы, не желал и слышать упреков в корыстолюбии и потакании коммунистам и их шпионам. Все десять тысяч отдал на благотворительность. Кстати, часть денег получила его родная школа в Фордхэме — после нее Донован осваивал ремесло адвоката на юридическом факультете Гарвардского университета, куда тоже перевел крупную сумму.

Много слухов ходит по поводу денег Абеля. Считается, что всего при аресте у него в сейфе и на квартире нашли 21 406 долларов. Американцы приводят точный подсчет: 11 043 доллара Донован потратил на оплату процесса и подачу кассационной жалобы на первый приговор, три тысячи долларов ушли в качестве штрафа по приговору. Остальные якобы переведены на счет Абеля и выдавались ему в качестве карманных — но об этих деньгах в окружении Вильяма Фишера никогда не слышали. Родственники и прямое начальство говорили об ином: некоторая сумма денег безвозвратно исчезла. После возвращения Фишеру разрешили похлопотать о ее востребовании, но он наотрез отказался.

Как бы то ни было, сам Фишер высоко оценивал усилия своего защитника. Вот с какими словами обратился он к Донована, получив «лишь» 30 лет тюремного заключения: «Я рад, что мне дана возможность дать оценку моим адвокатам, способам

их защиты, манере вести дебаты. Эти адвокаты были выделены мне юристами Бруклина. Позвольте выразить благодарность за огромное усердие, ими проявленное, за талант и умение, мастерство, которое продемонстрировали Джеймс Брит Донован и его помощники Арнольд Фриман и Томас Дебевойс».

К защите Фишера Донован привлек и этих двух своих более молодых коллег. Абель добился, чтобы в знак благодарности за прекрасную защиту одну из его картин подарили Джеймсу Доновану. Тот принял дар, и полотно украсило его квартиру. В письмах, которыми Абель и Донован обменивались, они со временем начали обращаться друг к другу по-товарищески — «дорогой Рудольф» и «дорогой Джим».

С добрыми знакомыми — художниками все общения закончились еще на процессе, на котором, надо отдать должное, эти так называемые «моральные свидетели» Гольдфуса не подвели. Они искренне уважали коллегу. Не за высокое искусство живописца — будем откровенны, что в этом плане Абель не вызывал большого восхищения. Не все принимали его сугубо реалистический стиль, большинству он виделся несколько старомодным, хотя и вполне профессиональным. Зато сосед по мастерской был интеллигентен, тактичен, предупредителен. Если оказывал услуги, то всегда искренне и, что тоже подкупало, умело. Один из «моральных свидетелей» показал: «Объявление США монархией удивило бы меня меньше, чем арест мистера Гольдфуса за шпионаж».

Полковник играл свою роль прекрасно и не перегибая. Его ставшая известной в кругу добрых знакомых присказка «Предоставим политику политикам» точно отражала его взгляды: политическую информацию он добывал отнюдь не у далеких от этого вида деятельности художников.

Но вот в бесконечных спорах о путях развития искусства

Гольдфус своих взглядов не скрывал. Выше всех ценил Рембрандта. Так что узнай в кругу американских спорщиков, что во время своего отпуска в 1955-м их друг провел несколько часов в Эрмитаже, любуясь картинами как раз Рембрандта, они бы не удивились. Только узнать об отпуске, проведенном нелегалом Фишером у себя на родине, в СССР, им было не дано.

Хотя в жарких дискуссиях Гольдфус несколько выходил из образа доброго нью-йоркского художника. Наверное, то была единственная область человеческих отношений, где он сознательно давал волю чувствам. Пусть считают его таким. Он терпеть не мог художников, которые, по его словам, «рисуют дерево, а выходит нечто похожее на совсем иное». А на все возражения, что «абстрактное искусство тоже имеет право на…»

мистер Гольдфус справедливо возражал: «А что, когда вы хотите починить часы, то разве идете в сапожную мастерскую?»

Гольдфус вообще ловил все на лету. Художник Ален Уинстон нарисовал в своих показаниях его психологический портрет с точностью вряд ли когда-либо виденных им Репина или Перова: «Эмиль — это тот человек, который попросит вас научить играть в неведомую ему игру, а через пару недель вас в нее же и обыграет». Так, Гольдфус (по понятным нам причинам) не знал, как пользоваться лаком, и Уинстон дал ему пару уроков. Вскоре Абель обложился книгами на заинтересовавшую его тему. Не прошло и месяца, как он превратился в эксперта по лакировке.

Эмиль Гольдфус, приятнейший и обходительнейший в жизни, поставил своих приятелей-живописцев в неловкое положение лишь однажды: на собственном процессе. Все они, дававшие показания до и после процесса, не могли не отозваться о «русском шпионе» с долей искреннего восхищения. Оно преобладало, взяло верх над страшными обвинениями. И эти «моральные свидетели» невольно, помимо собственного желания убеждали присяжных и суд, что смертная казнь в данном конкретном случае будет неуместна. Даже вызванный для дачи показаний в ФБР лифтер Гарри Мак-Мулен внес свою крошечную лепту в обеление полковника Абеля. Он с изумлением рассказал, как мистер Гольдфус починил вышедший из строя лифт в доме, где жили десятки художников. Принес собственные инструменты, поковырялся немного в сложном механизме, и застывший лифт вдруг заработал. А еще лифтер вспомнил, что «Эмиль вообще дружище сердечный. Даже пригласил разок на чашечку кофе. От других такого не дождешься!» Симпатии завоевывались умело. Но тут не в разведке дело — в личном обаянии, в симпатии к людям, независимо от положения. Точно так же Вильям Генрихович относился ко всем и везде. Такая была натура.

Поначалу появление в зале суда «русского шпиона» Рудольфа Абеля вызвало некоторое разочарование среди тех, кто имел честь увидеть полковника впервые. «Он мог бы пройти мимо меня хоть сто раз, я бы вообще его не заметил», — признался старший присяжный Джон Даблин. Ему как один вторили свидетели-художники: «Эмиль обладал гениальной способностью оставаться незамеченным».

Процесс стал единственным в своем роде. Первый раз в истории США перед судом предстал по обвинению в шпионаже и был осужден на 30 лет советский гражданин. Впервые к иностранному гражданину применили так называемый «закон Розенберга», когда чета Юлиус и Этель Розенберг закончила жизнь на электрическом стуле. Правда, по обвинениям в атомном

шпионаже, которым они не занимались. В «законе Розенберга» действительно прописано: «человек может быть осужден на смерть, если шпионил в пользу страны, с которой США легально пребывают в мире».

Эту линию весь процесс и гнул судья Байерс. Ему было наплевать, что не только имя, но и дела подсудимого так и остались неизвестны, а сам он не произнес ни слова в свою защиту. Председательствующий заранее заклеймил его виновным: «Суду почти ничего не известно о личной жизни этого человека. Мы ровным счетом ничего не знаем о его истинном характере. Хотя мы не можем проникнуть в душу подсудимого, понять психику личности, известной нам под именем Абеля, собранный материал обязывает, чтобы его судили как человека, который сознательно выбрал собственное призвание. Он полностью осознавал последствия. Знал, какие опасности несет эта работа и какую цену ему придется заплатить в случае ареста».

Еще одним свидетелем обвинения выступил к тому времени уже арестованный сержант американской армии Рой Родс. Он признался суду в том, что был завербован в СССР, когда служил в бюро военного атташата США в Москве, и выполнял задания советской разведки. На Родса навел Хейханен. Сержант убеждал суд в своем отказе работать на СССР: после возвращения домой русские шпионы разыскали его, но он отказался с ними сотрудничать. Признания не помогли, и 21 февраля 1958 года Рой Родс по приговору суда отправился на пятилетнюю каторгу.

Заключительная речь обвинителя Томпкинса скорее была полна патетики, чем доказательствами. На основе собственных догадок, ничем реально не подтвержденных, он настаивал на том, что полковник Абель чрезвычайно успешно выполнял свою разведывательную миссию. Его потенциальная возможность нанести урон безопасности США виделась обвинителю огромной. «Эго необыкновенный шпион, — убеждал Томпкинс, — настоящий профессионал! Полковник выполнял работу, которую сам для себя добровольно выбрал. Он знал правила игры, и его семья — тоже».

Защита упирала на те же высочайшие профессиональные качества Абеля, только преподносила их совсем с другой целью. Заключительная речь Донована была и эмоциональна, и убедительна. В иные моменты в экс-разведчике просыпался настоящий актер, не стеснявшийся давать волю чувствам. «Предположим, только предположим лишь на мгновение, — воскликнул он, налившись краской, — что этот сидящий перед вами человек действительно таков, каким его выставляет обвинение. И прежде всего это значит, что он выполняет долг

перед своей страной, служа ей в исключительно тяжелых обстоятельствах. Этот мужчина пятидесяти пяти лет отдает долг верности родине, а страна, не вдаваясь в подробности, права она или нет, используя его услуги, является отечеством подзащитного. Мы, в США, направляем на выполнение подобных миссий только самых храбрых, умнейших из умнейших, отбирая их из наилучших. Обвинение и защита сходятся в одном: да, если Абель был шпионом, то он был действительно шпионом необыкновенным. Мистер Томпкинс настаивал в своей речи на том, что обвиняемый действовал противозаконно. Но международный шпион и не может действовать против закона или соблюдая его, ибо он по сути находится вне закона. Я всего лишь прошу суд помнить тот немаловажный факт, что мы легально находимся с этой страной в мире».

Аплодисментов последовать не могло, но речь Донована произвела впечатление на присяжных. Вильям Генрихович, спокойно водивший карандашиком по бумаге, уже испещренной портретами многих, в процессе участвовавших, понял, что обещанной ему ЦРУ смертной казни, возможно, удастся и избежать.

Кульминация неотвратимо приближалась. В полдень 23 августа 1957 года 12 присяжных — девять мужчин и три женщины — удалились на совещание. По предложению старшего присяжного Джеймса Даблина его коллеги склонились к тайному голосованию. В воздухе запахло сенсацией, когда на первой развернутой бумажке обозначилось выведенное твердым почерком: «Not guilty» — «Не виновен». Но единственный смельчак или кто-то решившийся остаться при собственном мнении не был поддержан. Остальные 11 вывели «виновен».

Развернулась дискуссия, длившаяся три с половиной часа. За это время сомневающегося присяжного обратили в иную веру. В то же время чуть не все 12 презрительно высказались о двух свидетельствовавших против Абеля. Хейханена обливали презрением, Родсу сочувствовали на удивление мало. Более того, их показаниям не верили. Но в зал суда двенадцать присяжных тем не менее вернулись с единодушным: «guilty».

Тут полковник получил определенную передышку. Конкретное наказание — смертная казнь не исключалась — должно было стать известным 15 ноября 1957 года. За этот период поднятая в Штатах волна ненависти могла слегка схлынуть. А защита получила шанс еще раз достучаться до правосудия, приводя разумные доводы против казни русского полковника. Донован с согласия подзащитного подготовил письмо судье Байерсу. Приведенные им аргументы выглядели

убедительно. Дальнейшее развитие событий доказало, что дуэт Абель — Донован не ошибся.

Защита не оспаривала справедливость решения суда присяжных. Донован убеждал, что с моральной точки зрения смертельный приговор будет никак не оправдан. Тяжесть его клиентом совершенного ни в коем случае не вызывает необходимости карать его физическим лишением жизни.

«Абсурдно полагать, будто смертный приговор моему подзащитному уничтожит разведывательную службу Советского Союза, — писал Донован. — Здесь же приведу и еще одно, касающееся нашего правительства. Не нужно забывать и о действиях некоторых американцев за границей». Прямой намек на то, что и его соотечественники шпионят в СССР, казался смелым, однако вполне дальновидным: «Не исключено, что в очень далеком будущем один американец такого же ранга будет арестован в России. В таком случае можно было бы произвести обмен заключенными по дипломатическим каналам». Донован ошибся лишь на счет «в очень далеком будущем». По меркам истории шпионский полет Пауэрса 1 мая 1960 года был уже на носу…

Думаю, что обращение защиты сыграло определенную роль при вынесении приговора. Даже признанный русофоб Байерс где-то в глубине души не мог не согласиться с доводами Донована. Как бы то ни было, 15 ноября 1957 года судья огласил приговор. Человек, назвавшийся Рудольфом Абелем, осуждался на 30 лет тюрьмы и, об этом у нас почему-то упоминалось редко, должен был заплатить три тысячи долларов денежного штрафа.

Смерть отступила, однако не будем забывать о возрасте нашего героя. При удачном исходе Вильям Генрихович покинул бы тюремные стены в 84 года. Поверить в такое сложно, еще сложнее дожить. По существу, 30 лет означали медленное угасание в неволе.

И хотя Фишер был внутренне готов к тому, что пощады ждать нечего, решение суда он все равно воспринял тяжело. Другое дело, что и на этот раз не выразил никаких чувств внешне, снова поразив американцев железной выдержкой. Лишь потом, в разговоре с Донованом, дал определенную волю эмоциям, но в рамках им же отведенного.

Горячее обсуждение с Донованом оспаривать потом приговор или не оспаривать закончилось очередной победой полковника — петицию подавать и обязательно. Донован убеждал, что это может закончиться плохо. Вдруг Верховный суд США сочтет «тридцатник» излишне мягким, вернет дело на доследование, выяснятся какие-то новые обстоятельства, и тогда…

А обстоятельства могли и выясниться. Ведь вскоре в Англии были арестованы хорошо знакомые Абелю супруги Коэны, и если бы, представим на минуту, они заговорили, припомнили американское прошлое…

Полковник стоял на своем твердо. Если бы защитник догадывался, что где-то рядом бродит к тому же бывший начальник Абеля по нелегальной разведке перебежчик Орлов, он бы протестовал еще громче. Но Фишер, видимо, понял, что Швед нарушать взятого обета молчания не намерен. Да и положение было аховое. Лучше еще одна попытка…

Несколько месяцев — и в июне 1960-го Верховный суд оставил приговор без изменений. Донован с огорчением, но без удивления сообщил неприятнейшее известие в тюрьму города Атланты, штата Иллинойс, заключенному № 80016-А. Под этим номером отбывал годы заключения Рудольф Иванович Абель, известный в стенах учреждения как «Полковник».

Что это были за годы? Точно не установишь. Абель работал, занимался шелкографией. Под каждое Рождество изготовлял поздравительные открытки, рассылаемые заключенными по родным и близким. Ему разрешили рисовать. Сокамерники, а их было трое, спокойно относились к пахнущим красками кистям и прочим принадлежностям, стоящим рядом с койкой полковника. Начальство тоже не принуждало к тому, чтобы русский отказался от рисования. Вероятно, и здесь Фишер сыграл тонко. В тюрьме содержались среди прочих изготовители фальшивых банкнот и чековых книжек. Люди, имевшие определенные склонности к искусству, однако использовавшие этот дар Божий в дурных целях. Потому надзиратели с молчаливого согласия старших по должности не протестовали против тех занятий, что регулярно устраивал для уголовников полковник Абель. А он учил их играть в бридж. Приучал к писателям-классикам. Давал уроки языка — конечно, не русского. Они заговорили у него даже не по-немецки — на французском. Помог с планом переустройства тюрьмы. Зэки, назову их по-нашему, относились к нему с почтением, начальство — с молчаливым одобрением.

Шла постоянная переписка с Донованом. Тот по просьбе подзащитного подписал его на газету «Нью-Йорк тайме» и журнал «Сайентифик Американ». Подходило время разрешенного свидания защитника с заключенным, но за четыре с половиной года на эти встречи приезжал лишь один человек — Донован. Узнав, что после отказа в пересмотре приговора Донован выедет в Атланту не прямо из Нью-Йорка, а сделает остановку в столице США, полковник заранее написал: «Посещали ли вы музей ФБР в Вашингтоне?» Адвокат ответил, что нет. В следующем письме

Абель обратился к нему с необычной просьбой: «Я слышал, что мне посвятили там небольшую экспозицию. Просил бы, чтобы вы ее посмотрели. Может, в ФБР допустили при этом какую-нибудь неточность». Через неделю-другую Донован заехал в музей. В зале, где были представлены последние достижения ведомства, он увидел витрину, посвященную Абелю. Там было много чего: фото его мастерской, монетки, в которые вкладывались микрофильмы, карандашик с полым отверстием…

Приехав в тюрьму, Донован успокоил Рудольфа: «Все в порядке, все — как и было». Предприняв еще одну осторожно-бесполезную попытку склонить полковника к сотрудничеству, адвокат возвратился в Нью-Йорк. Что встревожило его, так это внешний вид Абеля. Тот явно терял в весе — но не в оптимизме.

И час надежды Абеля пробил: 1 мая 1960-го. По его рассказам после возвращения из Штатов о сбитом шпионе Пауэрсе поведали заключенные, услышавшие новость по радио. Подоспела и «Нью-Йорк тайме».

Завязались интереснейшие переговоры, одним из главных действующих лиц которых, по свидетельству того же Донована, стал сам Абель. Если верить адвокату, то он передал папаше Пауэрса личное письмо от полковника. В спокойных, исключительно ровных и непатетических тонах отбывающий длиннющий срок разведчик советовал Пауэрсу-старшему связаться с его семьей, которая жила в Восточной Германии. Указал и адрес в Лейпциге. Отец послушался, отправил через Донована весточку. Тот вспоминал: «Уже в июне я получил послание от проживающего где-то в Штатах отца Пауэрса. Он без предисловий просил произвести обмен его сына-летчика на русского шпиона Абеля».

Пролетело несколько месяцев, и на адрес адвокатской конторы в Нью-Йорке пришло письмо с почтовой маркой ГДР. В нем, уверяет Донован, жена его подзащитного просила о помиловании своего мужа. Письмо на английском языке было подписано «Элен Абель».

Донован, как я уже говорил, в существование Элен не поверил. А американская разведка, кажется, да. По крайней мере, по указанному адресу была отправлена из ЦРУ неизвестно какая, однако миссия. Здесь она и была обыграна российскими коллегами. Каким-то образом узнав о прибытии проверяющих, Первое главное управление КГБ ухитрилось внушить им, что Элен Абель реально существует и живет по указанному адресу в Лейпциге. Некая дама вроде бы время от времени эпизодически выступала в ее роли без слов.

Иногда я задавал себе вопрос: как бы развивались события,

если бы Юрий Иванович Дроздов, выступавший при обмене под именем кузена Юргена Дривса, не смог убедить оппонентов в подлинности фрау Абель? Ответа не нахожу до сих пор. Не было его и у дочери Вильяма Генриховича. Она полагала, будто обмен все равно шел бы и развивался своим чередом, но не в таком быстром темпе. Просто новый президент США Джон Кеннеди поставил подчиненным задачу освободить Пауэрса, а на остальные обстоятельства ему было глубоко наплевать.

Бытует и кем-то запущенный слух о портрете Кеннеди, подаренном пленником президенту. Якобы кисть Абеля произвела на Джона Фицджералда такое впечатление, что он не смог отказать в обмене. Вот это — полная дезинформация! Портрет существовал, но никто из родственников полковника не слышал о его передаче в дар Кеннеди. Вильям Генрихович был не из тех, кто мог бы прибегнуть к такому способу наведения мостов. Лесть — не по его нутру. В тюрьме Атланты полковника ценили как проигравшего соперника, достойно несущего бремя уступившего. Если он и рисовал Кеннеди, что вполне вероятно, то уж вряд ли предпринял бы шаги для вручения портрета. Уверен, это одна из легенд, которыми так щедро обросла биография Вильяма Генриховича Фишера и которые мы в этой книге потихоньку развенчиваем. Или создаем?

Как бы то ни было, игра разведок по обмену началась. Письмо Элен Абель в нужный день и час передали министру юстиции США Вильяму Роджеру. Но тот, как и предполагал Донован, не решился на конкретные шаги и посоветовал адвокату подождать. Администрация президента-республиканца Эйзенхауэра уже выступала в роли уходящей с политического горизонта «хромой утки», проиграв выборы молодому демократу Кеннеди… Письмо спустили куда-то на более низкие этажи служебной лестницы. И пожалуйста — в начале 1961-го директор Отдела рассмотрения петиций некий Рид Казарт на собственное недалекое усмотрение вынес убийственную для пленника резолюцию: достаточных мотивов для помилования шпиона Абеля не существует. Знать бы, как воспринял это полковник.

Но машина была уже запущена. Пусть Донован и не верил в достоверность эпистолярного жанра, переписка между ним и Элен Абель продолжалась. Вскоре с делом были ознакомлены и президент Джон Кеннеди, и его брат — новый министр юстиции Роберт. С их высочайшего дозволения Донован получает полную свободу действий.

В очередной раз попытавшись перевербовать Рудольфа Абеля и потерпев очередную неудачу, Джеймс Донован осенью 1961-го вступает через упоминавшегося коллегу — адвоката Фогеля, в

переговоры с властями ГДР. Осенью он едет в ГДР и встречается в Лейпциге с заинтересованными лицами, представляющими наши интересы. Прихватывает с собой и письмо Казарта, где наряду с отказом отыскалась и любопытная оговорка: «Абель мог бы быть помилован при определенных обстоятельствах».

Одним из этих «обстоятельств» и был томящийся во Владимирском централе Пауэрс. Американцы, моментально учуяв заинтересованность русских, тут же подбросили новое условие. Надо передать им задержанного за шпионаж студента из Йельского университета Фредерика Прайора, отбывающего восемь лет с августа 1961-го. Когда же в СССР согласно кивнули, то вдруг, уже накануне процедуры обмена, подкинули и третью свою арестованную и совсем уж малозначащую фигуру, еще одного студента — Марвина Макинена из Пенсильванского университета. Он был задержан за распространение антисоветской литературы и отсиживал в Киеве.

Возвратившись осенью из ГДР, переговорщик-адвокат Донован был принят президентом Кеннеди. Вскоре появилось и подписанное им помилование. Оно вступало в силу после передачи американской стороне капитана Френсиса Гарри Пауэрса. О «мелких рыбешках» не упоминалось.

Еще через некоторое время Рудольф Иванович Абель в наручниках и суровом тюремном одеянии был доставлен военным самолетом из Атланты в Форт-Дин. Затем последовала уже известная процедура на мосту Глинике, перекинутом между берегами реки Шпрее.

Наша печать отделалась коротеньким сообщеньицем: Президиум Верховного Совета, ознакомившись с просьбой семьи Френсиса Гарри Пауэрса, американского пилота, осужденного в СССР, считает, что он осознал, что совершил величайшее преступление, и, руководствуясь желанием улучшить отношения между СССР и США, вынес решение помиловать Пауэрса и вернуть его своему правительству. И 10 февраля 1962 года — свершилось.

Дело не в формулировках и формальностях. Главное, разведчика не оставили в беде. Полковник Тарасов, встречавший поезд Берлин — Москва, в котором приехали Фишер с женой и дочкой, пошутил: «Ну что, Рудольф Иванович, вот и конец истории». Фишеру шутка не понравилась — он и не подозревал, что чужое имя прилипнет к нему на всю оставшуюся жизнь. А вот предложение, прежде чем попасть домой, сделать круг по площади Дзержинского перед Лубянкой, воспринял с удовольствием. Очень соскучился по работе…

Жизнь и смерть Пауэрса были нелепы

Здесь я хотел бы поведать о судьбе американского пилота Френсиса Гарри Пауэрса, обмененного на мосту Глинике на Абеля. Говорили, он знал, на что шел, вернее — летел, пересекая 1 мая 1960 года границу СССР..

Вот уж вряд ли! Пауэрс был абсолютно уверен, что, по крайней мере для советских самолетов, он совершенно неуязвим. Американские У-2 поднимались на высоту 18–20, иногда 22, даже 25 километров. И пилоты-шпионы, одетые в серебристые комбинезоны, твердо считали, что здесь-то русские МиГи их У-2 с антирадарным покрытием не достанут.

Кого обменяли на гения разведки

Из уважения к Абелю, а совсем не к Пауэрсу все же представим этого человечка, вошедшего в историю благодаря вселенски известному обмену. Сын шахтера, ставшего затем сапожником, и домохозяйки Френсис Гарри Пауэрс родился 17 августа 1929 года в городе Дженкинс, в штате Кентукки. Окончил колледж и в мае 1950-го доброволец Пауэрс вступил в армию США. Учился в школе ВВС, летал на различных типах самолетов. Его должны были отправить на войну в Корею, но вместо этого Пауэрс попал в больницу с аппендицитом. По некоторым сведениям, именно в госпитале на молодого летчика обратили внимание люди из ЦРУ, куда он официально перешел на службу в 1956-м в звании капитана. При смене фирмы важную роль сыграло повышение зарплаты: 2500 долларов в ЦРУ — это вам совсем не 700 в ВВС.

Свой шпионский У-2 Пауэрс тщательно осваивал на затерянном в пустыне Невада аэродроме в течение двух с половиной месяцев. Гарри, как он любил называть себя сам, научился и новому для себя ремеслу перехвата сигналов радиолокационных станций и радиосигналов. Его У-2 налетал немало часов над Калифорнией и Техасом.

После учебы наступило время настоящей работы. Пришлось отправиться в Турцию на американскую военную базу Инджирлик, где находилось его подразделение ЦРУ «10–10». С 1956 года летчик регулярно совершал на У-2 разведывательные полеты вдоль границы — иногда и пересекая ее — с СССР, а также с Афганистаном и Турцией.

Прерванный полет

1 мая 1960-го, взяв старт с военной базы в пакистанском Пешаваре, Пауэрс пролетел над Афганистаном и через час, в 5.36 утра по московскому времени, нарушил советскую воздушную границу в 20 километрах от таджикского Кировабада — ныне город Пяндж.

Задача шпиона: фотосъемка секретнейших военных и промышленных объектов в Челябинске, Свердловске, Кирове, Архангельске, Мурманске и запись сигналов наших станций радиолокационного наблюдения. Пауэрс должен был обратить особое внимание на Байконур и Плесецк. До конечной точки — военной базы в городке Будё в Норвегии — ему предстояло пролететь на высоте 20 тысяч метров над чужой страной 4670 километров. Так и тянет назвать эту авантюру наглой: о новом зенитно-ракетном комплексе, способном сбивать цели даже на отметке в 25 километров, в ЦРУ не догадывались.

Где-то над Челябинском автопилот вышел из строя. Но стало ясно, что, углубившись на нашу территорию приблизительно на две тысячи километров, возвращаться летчик не будет. Пойдет дальше и почти наверняка на приспособленный для У-2 норвежский военный аэродром. Между тем в боевую готовность привели зенитные комплексы С-75 не только на Урале, но и в районах Архангельска, Вологды, Мурманска и по всей границе с Финляндией — куда бы ни направился незваный гость, его повсюду ждали.

Пауэрс действительно возвращаться не собирался. Произвел фотосъемку над секретным, как у него было отмечено, объектом — то был сверхзакрытый Челябинск-40, химкомбинат «Маяк», производящий обогащенный уран, и довольно неожиданно повернул на Свердловск. Безнаказанность пьянила. Пауэрс и не предполагал, что советские радары вели его еще от Пянджа в Таджикистане, а уничтожить его решено было в районе города Дегтярска, неподалеку от Свердловска.

Существует с десяток версий того, как сбили У-2. Не собираюсь отдавать предпочтения ни одной. Изложу лишь точно установленное, без лишних подробностей.

Еще в районе Байконура Пауэрса попытались перехватить поднятые по тревоге самолеты, но достать его на высоченном потолке не сумели. Пауэрс этого, конечно, не заметил… В то же время на подлете к Уралу, по приказу руководства ПВО, на аэропорты были срочно посажены все военные и гражданские лайнеры. То есть маршрут У-2 наши разгадали относительно верно…

Сам Пауэрс уверял своего отца и, еще важнее, конгресс США, что его сбила не ракета, а самолет, который он видел собственными глазами. Однако попала в самолет, якобы невидимку, первая же ракета класса «земля — воздух» зенитного комплекса С-75. Она была выпущена в 8 часов 53 минуты 2-м зенитным ракетным дивизионом. Его командир находился на переподготовке, многие офицеры 1 мая были, как и положено, выходными, и «на хозяйстве» пребывал начальник штаба майор Воронов, у которого опыта стрельбы боевыми ракетами не было. У экрана индикатора, вот судьба, дежурили двое молодых офицеров-ракетчиков… И все же ракету по появившемуся в секторе обстрела самолету выпустили.

ЗРК С-75 начали поступать на вооружение еще летом 1959 года. Это оружие осваивали, проводили учебные стрельбы, ставили на боевое дежурство. Американцы об этом не догадывались, а потому Пауэрс и прочие летали над СССР без всяких комплексов.

Зенитная ракета догнала самолет-шпион на высоте 22 тысяч метров и взорвалась в 25 метрах от его хвоста. Вопреки распространенному заблуждению, ракета и не должна попадать в самолет, но поражает его осколками, взрываясь на подлете. В итоге крыло и хвост нарушителя оторвало, осколки попали в двигатель. Однако в те годы точность попадания в цель определялась неважно, так что для большей надежности в У-2 полетели еще семь ракет.

Вот тут-то и случилась трагедия, о которой долгие годы молчали… Пауэрс не врал папеньке относительно увиденного рядом самолета. Ми Г-19 действительно чуть не достал шпиона, но старшему лейтенанту Сергею Сафронову чуть не хватило высоты для выполнения приказа перехватить и уничтожить…

Почему сбили своего? После взрыва первой ракеты на экранах индикаторов появилась рябь. Не имеющие серьезного опыта пуска С-75 офицеры решили, что противник применил радиопомехи. Уверенности, что наверняка сбили, не было. Тогда и поступил роковой для Сафронова приказ. Выпущенная ракета автоматически захватила цель — один из двух наших поднятых МиГов. Не мог бедняга Сафронов предполагать, что свои примут его самолет за чужой и точно попадут в него ракетой… Другой МиГ, ведущий, на котором летел пилот Айвазян, поняв в чем дело, сумел увильнуть, сделал глубокое пикирование и остался целым. Сергей Сафронов не успел, ракета попала в самолет, и он геройски тянул его, отводя от города Дегтярска. Погиб смертью храбрых. Наградой стал орден Красного Знамени, присвоенный посмертно.

В 2005 году, в канун 60-летия Победы в Великой Отечественной, о Сафронове все-таки вспомнили. К 9 Мая в Дегтярске, что километрах в шестидесяти от того места, где приземлился сбитый Пауэрс, установили скромный памятник. Рядом со стелой — сохранившийся фрагмент сафроновского МиГа. Все эти 45 лет он невостребованно пролежал в чьем-то огороде. Теперь молодожены города Дегтярска после бракосочетания подъезжают поклониться летчику. Названа в честь старшего лейтенанта и одна из городских улиц. В местном музее выставлены личные вещи Сафронова — летная куртка из кожи, полетная карта, шлем… Все это передала в музей вдова Сергея.

У нас все делается с некоторым опозданием. Но все-таки хорошо, что делается, что осталась память и жители городка хотя бы знают имя человека, спасшего город от разрушений.

На пороге смерти оказался и другой летчик, Игорь Минтюков, который, перегоняя новый экспериментальный истребитель-перехватчик Су-9 с аэродрома на аэродром, вдруг услышал приказ идти на таран для уничтожения противника — то бишь Пауэрса. Это означало верную смерть: пилот летел без высотно-компенсационного костюма, катапультирование было невозможно. Но главное — на Су-9 не было оружия. Минтюков до Пауэрса не добрался, так что рядом с собой американец видел Сафронова.

Судьба майора Воронова сложилась после удачного выстрела по Пауэрсу гораздо счастливее. В 1960-е он попадал под «хрущевское» сокращение армии, но первый боевой и сразу удачный пуск ракеты в истории советских зенитных ракетных войск позволил высшему начальству отменить приказ и дать офицеру продолжить службу. Да и Сафронова сбил не его дивизион, а соседний…

После этого удачного попадания по Пауэрсу, как полагают некоторые историки и военные специалисты, над территорией СССР были сбиты по одним сведениям 20, по другим — 17 самолетов У-2. По крайней мере, и американцы подтверждают, что на базы не вернулось именно 20 отправлявшихся в шпионский полет разведчиков. Что с летчиками — погибли, попали в плен? Судя по всему, выжить повезло лишь одному Пауэрсу. Судьба всех остальных — неизвестна.

Итак, У-2 Пауэрса подбили, и самолет падал, но разведчик все же на какое-то время сумел сохранить контроль над У-2, который снизился до отметки десять тысяч метров — до того катапультироваться было смерти подобно.

Вот как повествует об этом сам Пауэрс: «…Неожиданно я

услышал глухой взрыв и увидел оранжевое сияние. Самолет вдруг накренился и, как мне кажется, у него отломились крылья и хвостовое оперение. Возможно, что прямого попадания в самолет не было, а взрыв произошел где-то вблизи, взрывная волна или осколки ударили в самолет. Это произошло на высоте приблизительно 68 тысяч футов. Меня сбили примерно в 25–30 милях южнее или юго-восточнее города Свердловска. В этот момент я летел довольно точно по курсу. При падении самолета меня прижало к приборному щитку, и поэтому я не мог воспользоваться катапультирующим устройством. Я поднял над головой фонарь кабины, отстегнул пристяжные ремни и выкарабкался из самолета через верх. Парашют раскрылся автоматически».

Шпиону крупно повезло! Он не предполагал, что его любимое ЦРУ о нем как следует «позаботилось». Летчику вообще не дано было катапультироваться: в случае нажатия на заветную кнопку он бы просто взорвался, так как кресло пилота было заминировано. Но Пауэрсу не пришлось дотягиваться до спасительно-убийственной кнопки — кабина после пуска ракеты была частично повреждена, он открыл люк и выпрыгнул из потерявшей управление машины без всякой катапульты. А иначе…

Однако есть и другая версия. Вроде бы на базе в Пакистане перед самым взлетом американский техник шепнул Пауэрсу: катапультируемое кресло заминировано. И летчик знал, что делать — снизился до высоты, с которой можно было прыгать без кислородной маски, и прыгнул… Действительно, когда под Сверловском искали, находили и изучали разбросанные осколки его самолета, в системе катапультирования нашли взрывное устройство.

Везение продолжалось и дальше. Мог бы шпион оказаться в дремучих лесах, откуда ни в жизнь с их-то американскими барскими замашками и холеным образом жизни ему не выбраться. Или зацепиться за верхушки деревьев. Или, еще хуже, повиснуть на проходившей неподалеку высоковольтной линии. А Пауэрс приземлился прямо на пашне, недалече от околицы деревни Поварня. Был он, упавший при приземлении на спину, обнаружен довольно быстро.

А не налить ли летчику бражки?

И тут произошел казус, долгие годы упорно замалчивавшийся. Жители деревни Поварня Свердловской

области как раз отмечали светлый праздник Первомая. Торжества с употреблением непременного традиционного напитка под хорошо известным жителям названием «бражка» разворачивались неподалеку от широченного поля, на котором пытался разобраться со своим никак не желавшим складываться парашютом поднявшийся с пашни Пауэрс. Сохранился снимок летчика в серебристом обтягивающем костюме и шлеме, напоминающем скафандр космонавта. Местные и приехавшие в деревню гости с завода «Уралмаш» «подумали — маневры идут», и к растерявшемуся «небожителю» подбежали люди. А где-то высоко в небе виделся скоро исчезнувший дым.

Шутка ли, наш летчик в Поварне приземлился прямо с небес! Неведомого гостя теребили, каждому хотелось потрогать невиданный костюм, поговорить. Трогать — трогали, но поговорить — не выходило. Гость с неба мурлыкал на неведомом языке. Нашлась девушка, немного болтавшая по-немецки, у нее начал было налаживаться диалог с напуганным таким к себе вниманием пришельцем.

Мужики уже послали кого-то из ребятни за фирменной бражкой. Как же тут не налить — русское хлебосольство било ключом! Вокруг живописного парашютиста собиралось все больше народу. Какая там бдительность! Хотя, тоже логично, разве добраться до Урала шпионам?

Наверняка Пауэрса напоили бы, если бы не Леонид Чужакин. Ему летчик, ни слова не понимавший по-русски, показался несколько подозрительным. Он помог Пауэрсу снять необычное снаряжение, под которым обнаружилась куртка совсем не советского покроя. На шлеме и на костюме было написано что-то не по-русски. Летчик вдруг потянул руки вверх, словно сдаваясь в плен. Этот жест поняли и не поняли. Потом жестом попросил закурить. Тут же угостили папироской. Но вот здесь-то, презрев недовольство односельчан, которым так хотелось, чтобы летчик хоть пригубил, Чужакин повез свалившегося с небес незнакомца в сельсовет, прихватив добровольно сданное парашютистом оружие, надувную лодку, разговорник, как потом выяснилось, на четырнадцати языках и инструкцию по выживанию. В ней предусмотрительные соотечественники Пауэрса давали экзотические советы, как изготовить из подручных средств рогатку и какие грибы съедобны. Это после того, как они «заботливо» заминировали кабину У-2.

За бдительность и получил Чужакин с еще несколькими односельчанами боевые медали. Конечно, прошло бы несколько часов, и Пауэрсу все равно не миновать встречи сначала с милицией, а вскорости и с КГБ, но благодаря Чужакину свидания

эти состоялись чуть раньше.

Чекисты резво обыскали Пауэрса. Обнаружили карту, фотодокументы, острый нож, длиннющий не нашенский пистолет с глушителем. В придачу к этому в ЦРУ Пауэрса снабдили несколькими парами дорогих часов, золотыми монетами и толстущей пачкой советских рублей — на эти пять тысяч можно было купить мечту советского человека — автомашину «Волга». Значит, готовились к встрече с землей в ЦРУ по-всякому. Могли и взорвать в воздухе, а на всякий случай и подстраховать, снабдив оружием, денежками, инструкциями по выживанию. Случиться с самолетом-шпионом может всякое. В записке, обнаруженной в снаряжении, было написано на нашем родном: «Я американец и не говорю по-русски. Мне нужны пища, убежище и помощь. Я не сделаю вам вреда. У меня нет злых намерений против вашего народа (!). Если вы мне поможете, вас наградят за это». Неужели в наивности своей они допускали, что не понимающий ни слова по-русски летчик сможет в случае чего откупиться, договориться?

А еще подполковник Смирнов, из военной контрразведки, дослужившийся впоследствии до генерала, нашел в снаряжении толстую иголку непонятного назначения. Спросили арестованного, зачем она, и тот ответил: «Обыкновенная булавка». Пауэрс принимал его допрашивавших за полных кретинов — в булавке содержался сильнодействующий яд. Уколись Пауэрс этой «обыкновенной булавкой» и прощай навсегда, Америка. Но летчик таких серьезных намерений не имел. Наверное, еще на деревенской пашне уразумел, что до жестокой расправы не дойдет.

В ту пору жизнь была незатейливой. Работники местного КГБ получили приказ срочно доставить задержанного в Москву. Они и доставили. Летел в советскую столицу летчик Пауэрс не на военном, а на обыкновенном гражданском самолете, на регулярном рейсе, но, конечно, под солидным конвоем.

Аджубей узнал обо всем первым

Алексей Иванович Аджубей, главный редактор «Известий», узнал о сенсации, как и подобает зятю Хрущева, первым. Привожу его личное устное свидетельство, для меня особенно ценное. Ведь мой отец, Михаил Долгополов, с 1938-го и до самого ухода в 1977-м работал в этой газете, и к нам, на улицу Горького, нередко заглядывал главный редактор. Не только потому, что ценил папу, блестяще разбиравшегося в культуре и знавшего всех и вся, — просто мы жили и живем буквально напротив «Известий», и

случалось, Алексей Иванович забегал на минутку-две, чтобы, отключившись от высоких государственных забот, передохнуть, может, выпить рюмочку, всегда его ждавшую… Все говорили, что скоро «женатый на дочери Никиты Аджубей сменит на посту министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыко». Не знаю, как насчет смены, но Аджубей был всегда в курсе…

Этот его рассказ я впервые услышал еще в Париже, где работал долгие годы, а Алексей Иванович, только-только выбравшийся из опалы, ко мне иногда заезжал.

Итак, на первомайском параде 1960 года Аджубей, по его словам, заметил необычную нервозность Никиты Сергеевича: к тому постоянно подходил военный порученец, Хрущев подзывал к себе генералов, сам отлучался с трибуны, куда-то звонил. Возвращался с лицом красным и расстроенным. И вдруг, после очередной короткой отлучки, поднялся на трибуну буквально просветленный. Оживленно сообщал что-то подходившим к нему ближайшим соратникам, приветственно махал шляпой идущему внизу народу. Видя это, демонстранты кричали в адрес вождя здравицы.

Вечером родственник поделился с Аджубеем новостью: над Свердловском сбили американский самолет, летчика-шпиона захватили живым, везут в Москву. Алексей Иванович вспоминал, что редко видел Хрущева таким радостным и счастливым. Тут можно было начать большую и сулящую выгоду игру…

И Москва взяла паузу. Дала Вашингтону объявить миру о пропаже самолета, «проводившего метеонаблюдения в Турции». Президент США еще больше подставился, попросив помощи советских коллег: быть может, они отыщут исчезнувшего с радаров летчика?

Долетел до Колонного зала

Скандал со шпионским полетом сорвал намечавшуюся в Париже встречу в верхах. 5 мая 1960 года взбешенный и в то же время радостный Никита Хрущев на Пятой сессии Верховного Совета СССР публично оповестил мир, что самолет сбит. Затем умело, сам или уж не знаю, по чьей подсказке, сделал передышку и через два дня с той же трибуны ошарашил главного противника: ваш шпион-летчик — на Лубянке. Никита Сергеевич требовал от президента США Эйзенхауэра извинений. Тот приказал подобные полеты прекратить, но извиняться отказался.

На Выставке достижений народного хозяйства быстренько выставили У-2, точнее те обломки, что от него остались. Их

собирали в Поварне специально присланные люди и особенно преуспевавшие в такого рода поисках местные пионеры. Кстати, уже в 2006-м некоторые осколочки от У-2 выставили на продажу через Интернет. Но, поди разбери, настоящие они или фальшивые.

А вот то, что образцы материалов, из которых сделан самолет-разведчик, передали в военные наши лаборатории, святая правда. Там они и хранились долгие годы.

ВДНХ же посещали летом 1960-го десятки тысяч людей. Как говорили в то время, «получился огромный пропагандистский эффект».

И с Пауэрсом хорошо поработали. Он охотно отвечал на вопросы, выдавая «признательные показания». Рассказывал то немногое, что ему было известно. Пленника возили на экскурсию по Москве, беседовали, втолковывали истины о преимуществах советского образа жизни. Накануне суда Пауэрс попозировал с макетом советского самолета в руках — снимок обошел весь мир.

17 августа 1960 года в Москве в Колонном зале Дома союзов разыгрался показательный открытый судебный процесс, по американской терминологии — «Советский Союз против Фрэнсиса Гарри Пауэрса». Судила Пауэрса Военная коллегия Верховного суда СССР.

О значимости события свидетельствовали громкие имена участников процесса. Так, государственное обвинение поддерживал сам Генеральный прокурор Союза ССР Руденко. Председательствовал глава Военной коллегии генерал-лейтенант юстиции Борисоглебский. В зале — дипломаты, юристы из разных стран, свыше двух с половиной сотен наших и зарубежных корреспондентов, по прежним меркам, количество огромное. Ну и, конечно, «представители общественности». Никогда не знаешь, кто эти люди и кого представляют.

Как и на процессе Абеля в США подсудимому был «выдан» адвокат. Если полковника защищал Донован, то Пауэрса — наш человек с пушкинской фамилией Гринев. Кстати, по общему мнению, защитник показал себя достойно.

В Москву прилетели родители пилота-шпиона. С американской практичностью они заключили небольшой контракт с журналом «Лайф»: их пребывание в СССР оплачивается в обмен на эксклюзивные интервью и комментарии. Приехала и жена Пауэрса Барбара.

Москва выдала визы нескольким вполне официальным сотрудникам ЦРУ — пусть наблюдают за погромом, который устраивается американской разведке.

А поражение было явным. 17 августа в ответ на вопрос

председательствующего, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, Пауэрс ответил: «Да, признаю себя виновным». Впрочем, он попытался прикинуться всего лишь наивным военным летчиком, нанятым для выполнения задания, и никак уж не шпионом. На допросе говорил немного, отвечал односложно. Защитник Гринев вытягивал признания, как-то смягчающие вину, Руденко был суров. Дали показания и четверо вызванных в Москву жителей деревеньки, где поймали Пауэрса.

Хладнокровие изменило пилоту, пожалуй, лишь перед заключительным словом. Пауэрсу грозила смертная казнь, и тут он спасался как мог:

— Сознаю, что совершил тягчайшее преступление и заслужил за него наказание. Но я человек и не являюсь врагом русского народа. Я глубоко осознал свою вину.

Впрочем, казнить Пауэрса указаний не было. К чему обострять и без того напряженные советско-американские отношения? В 12 часов 50 минут 19 августа суд удалился на совещание для вынесения приговора. Посовещавшись до половины шестого, судьи вынесли не слишком суровый по тем временам приговор: в соответствии со статьей 2 «Об уголовной ответственности за государственные преступления» — десять лет заключения с отбыванием первых трех в тюрьме.

Во Владимирском централе с Судоплатовым

Так в сентябре 1960 года произошло знакомство Пауэрса со знаменитым Владимирским централом. Вместе с Пауэрсом как раз в эти годы срок там отбывал один из непосредственных начальников Абеля — Павел Судоплатов. В отличие от летчика, который просидел вместо десяти лет до февраля 1962-го, Павел Анатольевич, арестованный в 1953-м и осужденный на 15 годков, был выпущен из тюрьмы лишь летом 1968 года.

«Владимирский узник» Пауэрс за свое пребывание в централе прибавил в весе четыре килограмма. Сначала, правда, загрустил, впал в депрессию, даже не ел ничего, но из душевного транса его вывели быстро. А дома жена Барбара и родители Пауэрса тут же схватились за перья, умоляя любимого президента Джона Кеннеди помочь их мужу и сыну: обменять, выкупить, сделать все, что только возможно… Кеннеди воспринял послание благосклонно.

Один из сопровождавших Пауэрса в Берлин, где на мосту Глинике и должен был произойти обмен, клялся мне, будто узнику Владимирского централа выдали новехонький костюм с

рубашкой. Рассказчик также уверял, будто в чемодане — его тоже прикупили специально по такому случаю — лежала даже здоровенная банка с черной икрой плюс какие-то матрешки — сувениры. Не очень верится… Но все же, по-моему, Пауэрса в централе не слишком теребили, дали пожить в меру спокойно, относились с определенным, им не заслуженным уважением.

Однако нельзя сказать, чтобы возвращение «блудного сына» домой было встречено в Штатах фанфарами. Поначалу пресса и сограждане заклеймили его предателем. Он не смог уничтожить разведывательное оборудование на своем самолете. Долгое время не прощали, что сознался в шпионаже. «А что было делать? — оправдывался потом Пауэрс. — Хотели, чтобы я не сдался живым в руки русских и совершил самоубийство. Да, в потайном отверстии полой монеты у меня хранилась булавка со смертельным ядом. (Помните, «обыкновенная булавка»? — Н. Д.) Но мне приказывали употребить ее, если только я не смогу выдержать мучений при пытках. Однако чего не было, того не было». И Гарри, как и каждый нормальный человек, предпочел жизнь, пусть и героической, но смерти…

Не знаю, как в ЦРУ, а в уставе американских и британских военнослужащих четко прописано, что можно говорить попавшему в плен. Первый абсолютно стандартный вопрос пленному, задаваемый сразу после захвата: имя, фамилия, звание, личный номер и номер части? Далее фамилия командира, расположение части, иногда фамилия и звание старшего командира. Обычно, как показала война во Вьетнаме, американские пленные на все эти вопросы отвечали беспрекословно.

В армиях НАТО ценится спасение собственной жизни. Так, при возникновении угрозы пыток, насильственной смерти, расстрела пленный может пойти и на более серьезные откровения. Считается, что затраты на его содержание вражеской стороной, сохранение жизни, возможное возвращение из плена на службу в конечном итоге нанесут противнику больший урон, чем запирательство, которое может привести к физическому уничтожению.

Неизвестно ни одного случая, когда «их» в плен попавшие после возвращения были как-то серьезно наказаны за разглашение военной тайны. Для офицеров самой «страшной» карой бывало так называемое «увольнение без почестей». После этого у некоторых могли возникнуть сложности при устройстве на государственную службу.

Так случилось и с Пауэрсом. Летчика, сознавшегося в шпионаже, вызвали в комитет сената американского конгресса. В

Вашингтоне ждали объяснений: почему признался? Пауэрс не прикидывался заблудшей овечкой. Доказал: совершать самоубийство в случае ареста в ЦРУ от него не требовали.

Потом и сам перешел в наступление. Штаты должны быть ему благодарны, ибо он не выдал русским многих секретов. И комиссия вынесла оправдательный вердикт: «Пауэрс свои обязательства перед Соединенными Штатами выполнил».

А раз так, то Фрэнк быстренько потребовал с ЦРУ все деньги, которые ему задолжали за годы отсидки. Он уходил из своей военной эскадрильи в разведку не просто так — обещали, как мы помним, платить за риск по 2500 долларов в месяц. Сумма по тем временам немалая. И ЦРУ заплатило. Затем все обвинения сняли с него и военные. И хотя Пауэрс был уволен из разведки «без почестей», его вернули в армию.

В ней, а не в ЦРУ, он продолжил работу до 1970-го. Трудился в фирме «Локхид» летчиком-испытателем. В том же году выпустил книгу «Операция “Сверхполет”». По американскому телевидению не раз крутили фильм о полете У-2, где Пауэрс за неплохие гонорары выступал главным консультантом.

Правда, что-то не сложилось в отношениях с женой, вытянувшей его вместе с родителями из советской тюрьмы. Фрэнк быстро развелся, чтобы тут же жениться на симпатичной Сью. У них родился сын…

ЦРУ признало его своим, да и Пауэрс больше не строил из себя скромнягу-летчика. Да, был разведчиком. Ведомство трогательно заботилось о нем, приняв на работу даже вторую супругу.

Иногда читаю, что летчик, благодарный за сносное к себе отношение в СССР, превратился чуть не в нашего доброжелателя. Сплошное вранье! До последних своих дней Пауэрс сохранил неприязнь к России. Когда в 1976 году наметились робкие признаки потепления, выступал, где только мог и бесплатно, с призывами: «Не верьте русским! Они хотят нас похоронить».

В год 65-летия Победы, прямо в день 1 Мая, ставший для Пауэрса черным, в Россию заехал его сынишка с тем же именем Гарри Френсис и внешне — две капли воды. С любовью, как и подобает сыну, рассказывал об отце. Встречался и обнимался со стареньким военным ученым, сконструировавшим сбивший шпиона ракетный комплекс. Призывал все забыть, разобраться, лучше понять. Его таскали по музеям, где выставлены обломки самолета его сбитого папеньки.

Признаюсь откровенно: эта агитка мне не понравилась, не те струны она задевает. Не могу представить дочерей полковника Фишера Эвелину Вильямовну или Лидию Борисовну,

милующихся с людьми из ЦРУ. Есть в этом некая фальшь. И пролетевшие полвека — не оправдание акции Пауэрса-младшего, показавшейся мне раздуто-рекламной.

Пауэрс же превратился в радиокомментатора на станции KGIL и в гражданского летчика. Дважды в неделю поднимался в воздух над Лос-Анджелесом. Крутясь над забитыми транспортом дорогами на своем вертолете, регулировал движение, сообщал для слушателей агентства KNBC о погоде. Над экс-шпионом посмеивались, шутили: уж тут-то его не собьют.

Он разбился сам 1 августа 1977 года. В баке его вертолета вдруг закончился бензин. Как такое могло случиться с опытным пилотом, возвращавшимся со съемок тушения пожара в окрестностях ныне всем известной Санта-Барбары? Подозревали и самоубийство, и покушение, однако склонились к наипростейшему объяснению: просто небрежность Пауэрса, заодно отправившего на тот свет и находившегося в кабине телеоператора Джорджа Спирса. Вертолет разбился на спортивном поле, по печальной иронии судьбы находившемся в трех милях от завода «Локхид», где был создан У-2.

Он был неудачником и умер им же. В историю летчик-шпион вошел из-за злополучного полета над СССР да благодаря обмену на Абеля, звезду советской разведки. Его смерть была так же нелепа, как и жизнь.

Все же колесо постепенно вращалось в его сторону. Шпионские неудачи постепенно забывались. Френсиса Гарри Пауэрса похоронили на почетном Арлингтонском кладбище. А в 2000-м его простили. Посмертно наградили «Медалью военнопленного», Памятной медалью национальной обороны и Крестом за выдающиеся летные заслуги…

А самолет У-2, специально спроектированный и запущенный в серию в 1955-м для шпионских полетов над СССР, по-прежнему при деле, выполняет секретные миссии. В 1962-м он засек советские ракеты на Кубе, и мир, погрузившись в Карибский кризис, лишь чудом избежал третьей мировой. У-2 участвовал во всех войнах и конфликтах, в которые только вступали Соединенные Штаты. Американцы использовали их в 1991-м во время войны в Заливе, когда эти самолеты кружили в небе над Багдадом. Есть сведения, что благодаря У-2 в зоне военных действий засекли 90 процентов всех иракских целей. Вдоволь полетали они и над бывшей Югославией, сделав там 88 процентов разведывательных фотографий.

Конечно, фирма «Локхид» все время совершенствует свое детище. На смену слегка устаревшему У-2А пришла современная модель У-2Б. Сейчас именно она, как признают сами американцы,

летает над Северной Кореей.

Подготовка к полету начинается за 2 часа 15 минут до команды «взлет». Сначала пилота знакомят с заданием, которое он должен выполнить. Затем летчик проходит ряд медицинских тестов. Если все в порядке, следует облачение в специальный, как и в случае с Пауэрсом, костюм, похожий на одеяние космонавта. После этого за час до взлета пилот, используя специальный прибор, дышит чистым кислородом.

Даже модернизированный У-2Б высоту набирает медленно. Зато он может пролететь шесть тысяч километров без дозаправки и находиться в воздухе девять, а сегодня, после модернизации, — 11 часов. Однако скорость не слишком высока — где-то 650 километров в час. Обычно на самолете нет никакой боевой оснастки.

Почему же в США все-таки используют этот самолет, а не доверяют только своим спутникам-шпионам? Считается, что этот тип У-2 действует безошибочно. Он, в отличие от спутника, может то и дело возвращаться к заинтересовавшей его точке. Фотооборудование работает сверхточно, а сбить У-2S довольно сложно, ибо его потолок — 22–25 километров.

Появлялись сведения: в ВВС США 35 самолетов У-2S. Все они в свое время находились на военно-воздушной базе в городке Бил в Калифорнии. Летчики, допущенные к полетам, считаются мастерами экстра-класса. Был ли таким асом Пауэрс? Кажется, нет…

Жив курилка!

В 2006-м эти самолеты собирались списать. На следующий год командование ВВС США временно приостановило их полеты из-за утечки топлива, что угрожало безопасности летчиков. А к 2011 году У-2 вообще предполагалось снять с вооружения.

Но конгресс США еще при президенте Буше воспротивился. На новой модификации установлены более мощные датчики — и У-2S воюют в Афганистане. Здесь расположен авиаразведывательный дивизион. Сведения, которые передаются о Талибане, отличаются надежностью. Находясь в воздухе, пилоты больше не пребывают в изоляции, рассчитывая лишь на собственные силы. Они теперь в постоянном радиоконтакте с землей. Летают не в одной стратосфере, но и на средних высотах, засекая караваны талибов. Иногда даже поддерживают собственные наземные войска, наводя их на цели. Больше того: сегодня У-2S способны обнаруживать мины, установленные на

дорогах. На самолетах остались старые планочные камеры. Разрешение на сделанных ими панорамных снимках исключительно высокое: остаются видны следы, оставленные пешими талибами на земле. Конечно, на новых У-2S теперь есть и цифровые камеры. Так что работая в контакте со своими морскими пехотинцами, У-2 регулярно предоставляют в их распоряжение 25 участков Афганистана, где, на взгляд разведки, обстановка наиболее неблагоприятна.

Но и это не все. У-2 используются для пеленга переговоров боевиков по мобильным телефонам в горах. Там, на высоте, талибы считали себя неуязвимыми. Оказалось, что самолет этого типа, и только он, может обеспечить пеленг. Так что любимое летное устройство Пауэрса по-прежнему помогает определять координаты целей, которые, как правило, уничтожают затем беспилотные аппараты. Часто американцы применяют для точности обнаружения целей одновременно и У-2, и беспилотники.

По некоторым данным, У-2Б регулярно совершает шпионские облеты территории, скажем так, близкой к Северной Корее.

Что же дальше? У-2S так и останется на вечной службе? Возможно, что серия модернизаций и постоянных усовершенствований продлит его жизнь аж до 2050 года! И это несмотря на то, что летчики его не слишком жалуют. Он не прост в управлении, не слишком устойчив, чтобы его почувствовать, требуется, как в свое время Пауэрсу, немалое количество часов налета. Но в ВВС, а не в ЦРУ пришли к выводу, что пока старина еще послужит…

Все же в будущем, непонятно каком, планируется заменить ветерана на новый дистанционно управляемый беспилотник Global Hawk. Летает он приблизительно на таких же высотах, что и его предшественник. Зато способен оставаться в воздухе не 11 часов, как У-2, а 30 часов подряд. Главный недостаток «Ястреба» — неспособность вести радиоразведку, что удается его старенькому конкуренту.

Как сообщала «Нью-Йорк тайме», Global Hawk приступил к выполнению боевых заданий в Афганистане. И начал совершать полеты над Ираном.

Кто поехал на обмен

Начальник управления «С» генерал-майор Юрий Иванович Дроздов побил все рекорды пребывания на этой должности: с 1979-го и на 12 лет! А до этого прошел все ступени, которые только и требуется пройти разведчику — «легалу» и нелегалу. Но в этой книге мы расскажем лишь о том, что в биографии начальника нелегальной разведки так или иначе связано с Вильямом Генриховичем Фишером. Его Юрий Иванович — хорошо, что не слышала Эвелина — упорно называл Абелем. Ну уж Дроздову, который и участвовал в операции по его освобождению под именем кузена Юргена Дривса, такое позволено.

Он же, работая в ФРГ две недели под чужим именем, организовал и заброску в США преемника Абеля. Прямо кузнец, умело соединивший два звена чуть не разорвавшейся цепочки.

Операция по вызволению Марка началась, когда о полете Пауэрса и предполагать не могли. Меньше чем через год после ареста полковника оперативный работник Юрий Дроздов был вызван к руководителю своего отдела Горшкову. Ознакомился со статьей в западногерманском журнале «Шпигель» — «Дело Эмиля Гольдфуса». Горшков предложил «подумать», и подчиненный понял, что наступило время заняться разработкой плана о возможных шагах по освобождению Абеля. Тут же прозвучало и конкретное, к нему обращенное: «Вот и займись». Шла весна 1958-го.

Путь предстоял длиннющий. В Америке — шпиономания на грани истерии. В марте 1958-го суд второго округа Нью-Йорка отклонил апелляционную жалобу адвоката Донована. Полковнику запретили переписку с семьей, которая велась через Красный Крест: даже сидящий в тюрьме Рудольф Абель вызывал страх. Боялись, что передает нечто секретное — но только передавали отцу в письмах некие условные, лишь ему понятные фразы Эвелина с матерью, а не он им.

Переживал Абель страшно. Обрывались последние ниточки, связывающие с домом… Однако благодаря стараниям Донована переписку разрешили вновь, но поставили ее под жесточайшую цензуру.

И вот решение руководителей советской разведки, наверняка согласованное с теми, кто гораздо выше. Дроздову предстояло на время перевоплощаться в мелкого служащего из ГДР Юргена Дривса — кузена Рудольфа Абеля. Кроме Юрия Ивановича в Восточном Берлине в работу включились сотрудники

соответствующего отдела.

Поначалу дело об обмене двигалось медленно. Переписка семьи Абеля с Донованом, налаженная через юриста из ГДР

Вольфганга Фогеля, естественно, просматривалась американцами. Жену Абеля — Элен — «поселили» в одном из районов Лейпцига. Ее фамилия даже значилась среди жильцов дома, откуда и шли письма в США. И не зря, потому что американцы осторожничали, чувствовали себя неспокойно. Они сами, а не «их люди» из разведки ФРГ проверяли, не водят ли их за нос. Приехали в Лейпциг, зашли в подъезд, увидели фамилию, убедились, что фрау Абель действительно среди жильцов значится, но в квартиру заходить не решились. ГДР — это не ФРГ, где они вели себя по-хозяйски.

После того как сбили Пауэрса, президент США Эйзенхауэр тут же посоветовал обвинявшему Штаты в шпионских полетах Хрущеву вспомнить об Абеле — даже это связывало Пауэрса — Абеля в единую цепочку. Операция по обмену начала продвигаться быстрее.

Сцена обмена на мосту Глинике, разыгранная 10 февраля 1962 года, была не стихийным проявлением желания двух разведок заполучить обратно двух «своих», а логичным итогом многолетних разработок. Здесь, на мой взгляд, не было проигравших. С двух сторон остались одни победители, как следует порадевшие за своих двух разведчиков.

Хотя читатель знает, что совсем не двух. Как пишет адвокат Донован, «в другом районе Берлина, у контрольно-пропускного пункта “Чарли”, должны были освободить Фредерика Прайора, американского студента из Йеля, арестованного за шпионаж в Восточном Берлине в августе 1961 года. Последней фигурой в соглашении об обмене был молодой американец Марвин Макинен из Пенсильванского университета. Он находился в советской тюрьме в Киеве, отбывая 8-летний срок заключения за шпионаж, и даже не подозревал, что в скором времени его освободят».

У Дроздова воспоминания иные. Накануне обмена прошло заключительное совещание у руководителя аппарата уполномоченного КГБ СССР в ГДР генерала Крохина. Дроздов не забыл, что «задавалось много всяких, порой ненужных, вопросов. Так бывает, когда в операцию включаются лица, ранее к ней непричастные». В приблизительно таких же тонах виделись последние штрихи обмена и Эвелине Вильямовне Фишер. «За дни непосредственной подготовки к операции я порядком устал, — признается Дроздов. — Чтобы успеть все сделать по службе и дома, я встал и сказал: “Все ясно. Если я завтра утром просплю,

то операция по обмену пройдет благополучно”. Это было дерзко, но я все-таки по-настоящему проспал. (Хвала железным нервам Юрия Ивановича! — Н. Д.) Машина уже ждала меня внизу, в ней сидели разъяренные начальники. На место обмена я приехал невыспавшимся и небритым. Н. А. Корзников (сотрудник Службы. — Н. Д.) сказал Донована, что “жена и дочь Абеля почти до смерти замучили меня, задергали”. Все оказалось кстати. Обмен прошел хорошо. Р. И. Абель вернулся домой. Хотелось бы только заметить, что мы передали американцам Пауэрса в хорошем пальто, зимней пыжиковой шапке (все, абсолютно все, эту шапку заметили. — Н. Д.), физически крепким, здоровым. Абель же перешел линию обмена в каком-то серо-зеленом тюремном балахоне и маленькой кепочке, с трудом умещавшейся на его голове. В тот же день мы потратили с ним пару часов на приобретение ему необходимого гардероба в берлинских магазинах. Скромный служащий Дривс уже был не нужен. Я распрощался в ресторане на Фридрихштрассе с адвокатами Донованом и Фогелем. <…> Мне дорога память об этом разведчике как о человеке. Мы ценили друг в друге что-то свое, связывающее нас взаимно, невысказанное. Так бывает…

Арест Абеля в известной мере сказался на нашей работе в США. Однако ФБР не смогло накрыть всю сеть. Агентура была временно выведена или законсервирована. Однако “свято место пусто не бывает”. Замена Абеля готовилась с учетом последствий его провала».

Вот это «свято место» и интересовало меня. Юрий Иванович частично удовлетворил писательское любопытство. Я понимал, что в той операции по внедрению нового резидента участвовал он сам. В несколько отрывочных воспоминаниях Дроздова об этом упоминалось. Нужно было заинтересовать людей на Западе в конкретном специалисте, которым и должен был стать некий абслютно неизвестный мне Георгий. К тому же требовалось контролировать ход его проверки.

Начался наш разговор о сменщике исподволь.

— Юрий Иванович, вы часто отправлялись за границу — уверен, что спецслужбы и МИДы стран, в которые вы ехали, принимали вас совсем не с распростертыми объятиями: «К нам едет начальник управления “С”!» Встреч с преподносящими вам цветы пионерами или бойскаутами не устраивали. Как удавалось проникать в чужие веси?

— Я знаю немецкий, английский, понимаю испанский. А въезжал я по официальной линии и неофициально.

— Но ведь могли и прихватить. А вы знаете всех разведчиков-нелегалов. Мероприятие рискованнейшее. Опасно!

— Приходилось немножко смотреть по сторонам, слышать, думать. Мероприятие действительно серьезнейшее, которое обеспечивается и средствами маскировки, и техническими возможностями. Потом вы все время говорите о въезде.

Заверяю вас, что выезд иногда не менее сложен. Но каждый раз все и происходит по-разному. Скажем, на одну операцию я поехал как советник посольства…

— Это в ФРГ?

— …а затем отдал все документы и остался вообще без оных. Только с немецким языком и соответствующей внешностью. Зато в окружении своих помощников. И приступил к нелегальной работе. Такое тоже бывает.

— Помогала агентура из зарубежных граждан?

— Да. Не только.

— Вопрос, который для меня совершенно непонятен: как можно внедриться в чужую страну, если в полиции, в спецслужбе, да просто при найме на работу требуется столько всяческих бумаг, подтверждающих и гражданство, и открытие счетов в банке, и сертификат о здоровье… А теперь, когда чуть не каждый житель этой планеты значится в компьютерных картотеках, проникнуть в какую-нибудь Германию стало наверняка просто невозможно.

— Серьезно затруднено. Но ведь в компьютеры попадают лишь те, которых туда заносят. А если данные не вложены в базу, то ты просто тихо прозябаешь и мало кто о тебе знает. Однако и в период существования двух Германий в ФРГ, чтобы бороться против агентуры Восточного блока, была разработана так называемая система признаков. Любой человек, прибывший на территорию Западной Германии, брался под подозрение автоматически. Все, кто проходил через лагеря переселенцев, становились на учет в полиции… Эта система успешно действует по сегодняшний день. И если есть такие, кто искренне считает, что на Западе четко соблюдают права человека, то я бы позволил себе их в этом разуверить.

— В ФРГ вы, нелегал, одно время выступали в образе истинного наци, барона фон Хоэнштейна, борющегося за возрождение фашизма. Одна дворянская приставка «фон» и та, уверен, привлекала внимание.

— И прекрасно. Потому что как раз эта фамилия проходит по списку немецкого дворянства.

— Однако вы были и инспектором Кляйнертом. Именно этому скромному западногерманскому госслужащему удалось каким-то непонятным образом «выправить» бумаги на советского нелегала Георгия — замене Абелю, который благодаря им проник

в США. Действовал там чуть не 15 лет и так и не был разоблачен. Как вы сделались инспектором? И как получилось, что, совершив задуманное, куда-то исчезли, не вызвав подозрений, несмотря на всю систему признаков?

— Мы очень старались, чтобы получалось. Ну, вот сейчас мы с вами встретились, затрагиваем темы довольно деликатные. А до этого мне позвонил наш общий знакомый, который, судя по всему, к вам хорошо относится, и попросил меня принять Николая Долгополова. Почему вы думаете, что приблизительно такое невозможно и в Германии? Мы с вами сидим, работаем. Или, чтобы вам было еще понятнее: вышестоящий московский начальник налогового управления присылает своего представителя в какую-нибудь подчиняющуюся ему организацию другого города. Вот так же и в случае с инспектором Кляйнертом. Было очень трудно на определенном этапе заинтересовать Запад личностью Георгия. И мы обсуждали это с одним из руководителей управления нашего берлинского аппарата, у которого и родилась смелая идея. Поехали мы вместе к восточным немцам в их управление. Это была своего рода проверка моего знания немецкого языка. Долго мы проговорили, в том числе коснулись одного из местечек, куда мне, возможно, и нужно было выехать — создать ситуацию отправки Георгия на Запад, чтобы она для них сделалась очевидной. Прямо висела в воздухе. Закончился весь этот тест тем, что под конец наш руководитель спрашивает: «Ну как, сойдет он за немца?» И немецкий генерал «женил» меня на внедрение в этот пункт пересылки корреспонденции, сказав: «Пусть идет».

— Путь пересылки — в ГДР?

— Нет, это уже было в ФРГ. Состоялись соответствующий разговор, необходимая переписка и, наконец, приезд ровно на две недели. Я пошел и выдержал.

— Но в привычной для западногерманских коллег герра Кляйнерта среде, в пункте специальной связи, через который проходит вся официальная служебная почта, появился человек им незнакомый. Одно это вызывает настороженность. Да и пункт этот наверняка под контролем спецслужб.

— Я был соответствующим образом подготовлен. Обеспечен надежными документами. Получил требуемое направление. И приняли меня, на новое место прибывшего, тепло. Сел и принялся за свою новую работу. Ходил вместе со всеми, дежурил.

— Вы написали, что, «перехватив документы проверки и направив необходимые для внедрения Георгия на Запад подтверждения, инспектор Кляйнерт возвратился в Восточный Берлин». Почему вы уехали? Такая была легенда?

— Уехал в связи с окончанием служебной командировки. В чем состояли эти 14 дней? Мне надо было увидеть, что документы на Георгия поступили, посмотреть, как они выглядели. Хотя я сам на раннем этапе принимал участие в их подготовке. И переправить документы дальше, проконтролировать, что они ушли в нужный концерн. Все это удалось.

— Концерн американский?

— Нет, западногерманский. Притом удалось завязать хорошие отношения, наладить контакты с людьми, работавшими в этом пункте, контролировавшемся их спецслужбами. Когда сделал свое дело и пришла пора уезжать, даже отходную устроил. Немцы, как и я, любят повеселиться. Посидели, пивца попили. Все нормально. Дрожь в сердце, конечно, ощущалась. Не дай бог сорвется! Но ситуация была разыграна правильно. Потом, после того как был перехвачен ответ о том, что «ожидаем вашего приезда», начали уже решать вопросы следующего этапа: приезда Георгия на работу в этот концерн и дальнейшего прыжка в США. С начала работы там это заняло у него примерно года полтора.

— Но вас-то в этом пункте могли же проверить.

— Если бы я где-то ошибся, то наверняка. А я очень старался. Знаете, к вам просьба: хватит про меня.

— Юрий Иванович, если хватит про вас, то позвольте об этом самом Георгии. О нем в соответствующей литературе упоминается, но как-то непонятно. Известно только, что проработал полтора десятка лет в США, создал там какое-то предприятие и в конце пребывания стал чуть ли не главой или даже хозяином некого суперсекретного предприятия.

— Все почти правильно. Он был главой фирмы, выпускающей американские ракеты «Трайдент». Въехал в США, когда Абеля меняли. Георгия, он точно следовал легенде, там не любили только за одно — нацистское прошлое. С работой же он справлялся прекрасно. И с нашей, и с той, что пришлось выполнять на месте.

— А по этим вашим уточнениям личность Георгия нельзя вычислить?

— Никоим образом. В создании ракеты участвовало около двух тысяч фирм. К тому же он умер.

— Там, в Штатах?

— Здесь. Нелегально проработать 15 лет в зарубежье, выдержать страшные нагрузки, огромное психологическое перенапряжение, вернуться и умереть здесь от перитонита: поехал к родственникам в Ленинград и…

— Вы до сих пор говорите об этом с болью.

— Мы были большими друзьями.

— Он — русский?

— Наш нормальный российский мужик в годах и с серьезными ошибками в немецком языке, которого еще надо было сделать иностранцем. Приходилось ему все время на эти вещи указывать, и он заверял: все будет устранено и сделано так, как надо. И мы упорно продолжали, тем более что был Георгий хорошим специалистом в своей области.

— В какой?

— Он был техник. Тесно связан с тем, что сегодня именуется инновациями. С учетом его особенностей и состояния немецкого языка потребовалось ему найти помощницу. Женщина — немка с хорошим, скажем так, местным произношением ею и стала, прикрывая изъяны в его языке.

— Но вы же сами говорите, что западные немцы умело раскалывали всех, к ним приезжавших, по определенным признакам.

— И поэтому нам приходилось работать. Начинали мы с ней, объясняли некоторые моменты, а она тебе на немецком: «Это комично». Привязывала это все к публикациям в литературе, к событиям, происходившим давным-давно. Принимались довольно интересные меры безопасности, условные сигналы, и она все это понимала. Благодаря некоторым моим усилиям она перестала смотреть на разведку скептически, как в ранней молодости. А потом, когда пришла пора, мы их с Георгием познакомили. Смотрели внимательно, придирчиво, настороженно. И, знаете, на первых порах они ссорились.

— Она была замужем?

— Нет. У него в России оставалась семья — жена и сын. Он после всего вернулся к ним. А с ней было очень интересно. Вижу прямо как живую: симпатичная женщина выше среднего роста…

— И, конечно, блондинка, фрау Эльза.

— Не блондинка, была она темно-русая. Но самая что ни на есть фрау Эльза. Домашняя, именно такая, которая была нужна Георгию под его внешний вид. Способная девчонка. Я, когда работал в Нью-Йорке, иногда бывал около их дома. Проеду мимо окон, посмотрю.

— Но не заглядывали, не встречались?

— Боже упаси! Этого еще не хватало. Я сторонник того, что при работе с нелегалами вообще никто и ни с кем не должен встречаться. На последнем этапе своей работы, уже будучи начальником управления, я ввел такой порядок: существует только безличная связь. И никаких контактов с нелегалами, никаких! Во время долгой работы этой пары их доклады, минуя промежуточные отделы и подразделения, поступали только ко

мне. Это для того, чтобы полностью обеспечить их безопасность. Со мной согласились, хотя некоторые и начали на меня коситься, обижаться. Даже самые сильные наши аналитики, да и другие. Но были у меня основания беречь нелегалов, потому что вышли они на результативную работу, пошли серьезные разработки. А время-то было уже опасным. Период, который на нашем служебном языке именуется «нарушением правил проживания советских служащих в Соединенных Штатах». И когда появились эти нарушения, я отправлял материалы в Москву.

А чувства между этой парой затем переросли в совсем иное, что продолжалось весь их период пребывания там. Немка оказалась ему идеальной помощницей. Жили и работали вместе, дружной семьей.

— Извините, они, как я понимаю, именно жили вместе? Детей не было?

— Нет. Необязательно и потом оставаться вместе.

— Наверное, все это перенести было жутко сложно.

— Конечно, хотя случаются в жизни нелегалов вещи посерьезнее. Совсем незадолго до краха ГДР ко мне обратились немецкие друзья: ты такую-то знаешь? Ответил, что знаю, и хорошо. Немецкие друзья сказали, что они предлагали ей вернуться на разведывательную работу. Но с другим разведчиком, которого знала, тот ей даже помогал. Она ответила: с удовольствием буду работать, но только с Георгием.

— Разве не слышала, что Георгий умер?

— Как видите. Узнав, подумала и отказалась, сказав, что с ним пошла бы, а с другими — нет. Сохранила память о верном друге — человеке необыкновенной смелости.

— Эта женщина жива?

— Если жива, то уже дама в возрасте… Да, в нашем управлении встречались интересные люди. Вспоминаю, что, когда мы сидели с Георгием перед отъездом в Берлине, я подметил в его немецком целую кучу ошибок — и фонетических, и прочих. Сказал, а он мне бросил такую фразу: слушай, мы же оба из Верхней Силезии, у нас могут быть ошибки. И еще: «Теперь — выживу. Она поддержит». С этим и уехал. Хороший, смелый был парень. Помогало искусство ему.

— Я не совсем понял, Георгий не был профессиональным разведчиком?

— Профессиональным. Подготовленным нами разведчиком. А так по своей специальности он был хорошим грамотным инженером. Как раз в то время в СССР решали вопросы о новейшей электронике. И поэтому нам надо было, чтобы он там находился. Память о нем осталась до сей поры. Некоторые свои

приборы — прочтение микроточек и всего прочего, он оставил мне. Я их потом отдал — они должны быть где-то в нашем кабинете истории СВР. Да, способный человек Георгий. И к фотографии его тянуло, прекраснейший был фотограф. Только не все его в Штатах любили, не все. Жена его мне рассказывала: в Нью-Йорке считался он одним из бывших нацистов… Во всяком случае, работу для страны он проделал большую. Материалы были очень полезными. И когда началась эта история с Чернобылем, вдруг начали спрашивать: а где они, материалы? Отыскались в подвалах.

— Смелость граничила с бесшабашностью?

— С выверенной осторожностью. Потому и проработал там 15 лет.

— Георгий, я понимаю, стал сменщиком Абеля?

— Боюсь, вы слишком буквально понимаете слово «сменщик». Тут была проделана огромная по объему работа. Что ж, Георгий приехал туда уже взрослым человеком.

— Английский он знал?

— Нет, только немецкий.

— Моррис и Лона Коэн, по существу, доставили советской разведке чертежи атомной бомбы. Георгий сделал нечто похожее?

— Да, примерно уровня Коэнов. Но только действовал уже в более поздний период. По совершенному его можно поставить в тот же ряд, что и Абеля. Если не выше. Да, если не выше.

— Героя ему не присвоили?

— Тогда героев Советского Союза разведчикам еще не давали.

— А что скажете об Абеле?

— Прекрасный был человек. И, между прочим, хороший художник. Он мне подарил свою картину — до сих пор висит дома, прямо около кресла… А вот, держите, — приготовил вам объявление из Интернета. Видели? «Продам в Москве рисунки разведчика Абеля за 120 тысяч рублей».

— Ничего себе, бизнес! Да это же его рисунок из Атланты. Сейчас очень много чего вокруг Абеля крутится и рассказывается. Могли бы вы сегодня оценить сделанное им в США?

— Абель в какой-то степени работал по атомной тематике. Тяжелейший период мировой истории — конец 1940-х — 1950-е — разгул маккартизма. И он восстанавливал в США то, что могло быть частично потеряно. Восстановить практически все — нет, не удалось, не получилось. На это требовалось куда больше времени, чем оказалось у него. Но были новые вербовки, приобретение новой агентуры. Многое он спас. Работа шла и по линии легальной резидентуры, и через нелегалов. Все это делалось,

решалось в результате продолжительных усилий на протяжении долгих лет. Да и на подготовку нелегала для активной работы уходило почти годков пять — семь. Лет через пять после обмена Абеля мы встретились с ним в нашей столовой. Подошли, тепло поговорили. Очень искренний был человек. Все переживал, что ничем пока не успел отблагодарить меня за для него сделанное.

— Общались?

— Не пришлось. Он мне — «я вас так и не поблагодарил, а надо бы». Но знаете как у нас: уезжал я резидентом в Китай. Только та картина и осталась на память.

Полковник о полковнике

Знакомство с Иваном Иосифовичем Мутовиным произошло так. Прочитав одну из моих статей о полковнике Абеле — Фишере, он прислал мне свою книгу «Разведчиками не рождаются», которую я буквально проглотил. Участник Великой Отечественной, Мутовин прослужил затем более сорока лет в органах госбезопасности. В отличие от многих вел дневник, записывал впечатления о встречах с коллегами, среди которых были Абель — Фишер, генерал Судоплатов и Дмитрий Быстролетов… Судьба свела Ивана Иосифовича с космонавтами первого отряда: был знаком с Гагариным, генеральным конструктором Королевым. Обо всех этих людях живущий в Краснодаре Мутовин написал серию из десяти книг. Я попросил полковника в отставке уделить время и мне, выслав ему длинный список вопросов об Абеле. Через пару месяцев получил подробнейший, отпечатанный на пишущей машинке ответ плюс ксерокопии некоторых документов.

У полковника Мутовина свой литературный стиль и собственный взгляд на события. Кому-то он покажется несколько несовременным. Однако мне бы очень не хотелось вносить в его рассказ какие-то особые правки или исправления. Оставляю в этом повествовании Ивана Иосифовича практически все, как есть, позволив себе лишь некоторые комментарии, — полковник Мутовин, хорошо знавший разведчика, вполне имеет право на рассказ о полковнике Абеле от первого лица.

Откуда идет знакомство

Не один год общался я с Вильямом Генриховичем Фишером, этим умнейшим, всесторонне талантливым и до застенчивости скромным человеком. Каждый раз встречался я с ним с неизменным интересом, а расставался всегда внутренне обогащенным и взволнованным.

Познакомились мы в московской клинической больнице на площади Курчатова. Я, тогда еще подполковник, прибыл туда с Кубани в марте 1966-го, по-военному говоря, для поправки здоровья. Через несколько дней, когда врачи разрешили вставать с постели, вышел в коридор. В соседней палате напротив дверь была приоткрыта, и я услышал, что кто-то разговаривает по телефону. Несколько удивился: разговор-то на английском. Подумал, что лечится здесь иностранец. Вскоре из палаты, откуда

только что доносилась английская речь, вышел сухощавый, подтянутый человек с острым внимательным взглядом и открытым лицом, по которому было трудно определить его возраст. Правда, седина и сетка морщин подсказывали: лет шестьдесят с небольшим. Среднего роста, на голове чуть взлохмаченные волосы, короткие подстриженные усы. Очки в металлической оправе блестели на горбатом носу.

Посмотрев в мою сторону, чуть улыбнулся, приблизился и спросил: «Что-то я вас раньше здесь не видел. Очевидно, недавно поступили?» Завязалась беседа. Неожиданным было то, что человек этот отлично говорил по-русски, а я ведь только что слышал, как он беседовал по телефону на хорошем английском.

Не предполагал, что приветливый сосед — сам Абель. Узнал об этом на следующий день, когда приехавший навестить знакомый сотрудник Комитета госбезопасности спросил: «Говорят, здесь лечится Абель. Не видел его?» Так все и прояснилось.

С соседом мы не могли не встретиться: держал я в руках журнал «Знамя», и Рудольф Иванович обратил на это внимание. В то время особой популярностью пользовался роман Вадима Кожевникова «Щит и меч», печатавшийся в журнале. Еще дома, в Краснодаре, я опубликовал в местной газете рецензию на первую часть. Уезжая в Москву на лечение, прихватил с собой вторую часть романа, намереваясь дать оценку и ей. Естественно, завязалась у нас о книге Кожевникова беседа. Оказалось, что Рудольф Иванович — консультант автора романа «Щит и меч». Рассказал, что есть у них с Кожевниковым по некоторым вопросам расхождения. Касаются в основном точности изложения событий и обстановки, в которой приходится действовать разведчику-нелегалу.

Еще до встречи с Абелем я, как литератор, собирал материалы о советских разведчиках. И уже кое-что знал о Рудольфе Ивановиче, его работе в Соединенных Штатах, о предательстве Хейханена и о годах, проведенных полковником в американских тюрьмах. Но был Абель бодр, чувствовал себя хорошо. Такой характерный пример. Я часто наблюдал: поднимаясь по широкой больничной лестнице, Рудольф Иванович шагал через ступеньку. Возможно, для него это была укрепляющая, тонизирующая процедура.

Подружились мы быстро. Если позволяла погода, после обеда вместе ходили на прогулку в больничный парк. Как-то не чувствовалась разница в возрасте: ему — 64, а мне — 46. Сначала беседовали на общие темы. Узнав, что я по рождению сибиряк, Рудольф Иванович подробно расспрашивал о моей малой родине

— о природе, климате, Ангаре и тайге, о тамошних людях и обычаях. Я же интересовался Англией, где он жил с родителями, да и другими эпизодами его щедрой на перемены биографии.

Абель был великолепным рассказчиком. Его медлительная манера речи и невозмутимый вид как бы контрастировали с живостью ума.

Не могу отнести Рудольфа Ивановича к людям, по характеру общительным. Скорее, был он педантичным. Однако скрашивалось это тем, что, по-моему, питал Абель душевное расположение к людям. А сдержанность объяснялась длительной работой в нелегальной разведке — приучил себя быть начеку. Поэтому наши беседы о его жизни в Америке не переходили за пределы в ту пору разрешенного. Я держался в рамках и не старался расспрашивать о деталях работы по ядерной программе. Мой сероглазый собеседник был немногословен, даже скуповат на слова. В разговоре клал левую руку на свою голову — это его привычка. Иногда, когда беседовали, на голове оказывались две руки.

Вы, Николай, спрашиваете меня, верить ли тому, что написал в своей книге уехавший на Запад Кирилл Хенкин. Он утверждал, будто Абель несколько критически относился к тогдашней советской действительности. А я, прочитав его книгу, начертал на обложке слова: «Пасквиль завистника». Но тем не менее Рудольф Иванович трезво оценивал допускавшиеся ошибки, провалы. О сообщении ТАСС перед самым началом войны с Германией, притупившем бдительность командования и сыгравшем отрицательную роль, отзывался довольно резко. В некотором отношении не соглашался с методикой подготовки радистов, забрасываемых в немецкий тыл. Когда приехавший в Москву американский адвокат Донован собирался навестить бывшего подзащитного, руководство рекомендовало Рудольфу Ивановичу от встречи воздержаться. Однажды, уже при более близком знакомстве, в разговоре со мной он свое недовольство этим решением высказал. Однако это — частности. Был же Абель истинным патриотом.

Как-то мы долго бродили по аллеям парка. Рудольф Иванович шагал размашисто, уверенно, пожалуй, даже торопливо, и мне то и дело приходилось ускорять шаг. Разговор у нас шел откровенный: держался он со мной просто, душевно.

Спросил я тогда, какое ощущение оставили у него Штаты, где он так долго находился.

— Да, Америку мне пришлось наблюдать долго, — согласился Абель. — Одно из неприятных ощущений — четкое разделение на богатых и бедных, черных и белых. Каждый думает

только о себе. Такова система.

— А что помогало справиться с одиночеством?

— Находился я в среде недружественной. Но оставалось у меня перед американцами колоссальное преимущество. Был я советским гражданином, чувствовал поддержку товарищей, родины. Это ей я обязан тем, что нахожусь здесь, а не в американской тюрьме.

Заговорили о романе «Щит и меч», и Рудольф Иванович заметил:

— Не будет это новым, но скажу. Главное для нелегала — идея и преданность своему народу. Без этого разведчика не существует. Он также должен быть истинным оптимистом, обладать чувством перспективы, уметь отбрасывать предубеждения, знать языки и отличаться наблюдательностью.

— Вы в разведку пришли в 1927-м. Что было решающим при выборе этой профессии?

— Решающим — желание быть полезным родине. — Рудольф Иванович знакомым уже жестом положил левую руку на голову. — После службы в армии я собирался заниматься научно-исследовательской работой, но предложили — в разведку. И я предложение принял, счел лестным, увидев в этом большой жизненный смысл. Было оно как выражение надежды и доверия. Сыграло роль и знание языков, которые учил в детстве. Сейчас, конечно, трудно передать все чувства, которые испытал, давая согласие.

Мы говорили с Абелем о смелости и страхе, о вкусах и человеческом общении, о природе и семейных отношениях. Вскоре Рудольф Иванович познакомил меня со своей женой Еленой Степановной и дочерью Эвелиной, приехавшими его навестить. По всему чувствовалось, что Абель их любит. Рассказывал мне, что в самые трудные минуты в американской тюрьме огромную поддержку оказывали письма жены и дочери…

В тюрьме была тяжелейшая скука

Помимо службы занимался я журналистикой и литературным творчеством. После школы посчастливилось поработать секретарем районной газеты на своей малой родине — в Богучарах. А в 1964-м вышла первая моя книга. Имея такой опыт, я при знакомстве с Абелем сразу понял: это же дар судьбы. И после каждой встречи с ним делал в блокноте записи. Вот, к примеру, как по рассказу Абеля выглядит его беседа с защитником Донованом в тюремной камере о смысле жизни. Ее я

записал со слов Рудольфа Ивановича подробно, за каждое слово — ручаюсь.

Донован: — На то мы и рождены, чтобы безропотно сносить круговерть времени. Ваша жизнь, полковник, служит тому доказательством. Смотрите, как много людей, раньше не знавших вас, сейчас думают о вас, о вашей судьбе.

Абель: — Говорите «безропотно»? По-вашему выходит, что человек, как былинка в поле, и когда бушуют вихри, которыми охвачен мир, он должен трепетать, будто тростинка при сильном ветре. Вы забываете о людях, всегда готовых действовать и придерживающихся правды.

Д.: — Действия бывают разными. Наш мир полон противоречий. В то время как одни бросают своих детей, другие усыновляют чужих. Одни с большим трудом добывают себе на пропитание, другие наследуют большое богатство, которое им вовсе не принадлежит.

А.: — Вот именно — не принадлежит. Богатство не может принадлежать одному или нескольким людям. Ничто так не мешает в жизни, как корыстолюбие. В самом деле, долго ли может человек, подгоняемый корыстными страстями, действовать разумно? Здесь многие люди не знают меры в собственных желаниях. Они редко протягивают руку свою к добру. Подлецы ликуют, а праведники — мучаются.

Д.: — Кого вы причисляете к праведникам? Бездельников, у которых нет за душой ни цента?

А.: — Это из древнего изречения, и ныне праведниками можно назвать тех, кто создает материальные блага. Тех, на ком держится постоянство нашего мира.

Д.: — А что есть на свете постоянного? Величие? Но и оно бывает унижено. Законы? Они меняются. Слава? Ее опережает зависть. Красота? Она увядает. Друзья? Они изменяют.

А.: — Я говорю о постоянстве диалектическом, о постоянстве — в развитии. А насчет друзей — это вы зря.

Д.: — Но жизнь быстротечна, как сон. Судьба подымает и низвергает человека. Погоня за пустой славой наполняет все людское существование, и тому немало примеров в истории. Ведь мог быть доволен своим царством Дарий, своим счастьем Поликрат, своим мужеством Ахилл, своей женой Агамемнон, своим искусством Архимед, своей мудростью Сократ, своей ученостью Пифагор. Но конец их был печален.

А.: — Вы вспомнили времена до нашей эры. Что ж, древнеперсидский царь Дарий создал в свое время могущественную державу. Поликрат — правитель острова Самос, сделал его одним из самых богатых в Греции. Герой Троянской

войны Ахилл совершил много удивительных подвигов. Предводитель греков в этой войне Агамемнон был убит своей женой. Последний царь Трои Приам имел пятьдесят сыновей, которые дружно жили в отцовском доме. Не говорю о знаменитых Архимеде, Сократе и Пифагоре. Жизнь покидает и великих людей, но слава об их добродетели и деяниях остается навеки. Это не пустые слова…

От автора этой книги

Оторвавшись от записей полковника Мутовина, замечу: конечно, и в тюремной камере, и на суде продолжался бесконечный спор двух школ, разных мировоззрений, высочайших интеллектов. В этом вечном противостоянии идеологий нет и не может быть единственного победителя. С годами и веками критерии меняются, а жизнь действительно быстротечна. Но праведники, создающие, как Абель, материальные блага, остаются в памяти вместе со славой об их деяниях. Прибегаю к высокому стилю, но что делать, если воспользоваться им заставляет сам ход документально записанного повествования.

Возвращаемся к беседам Мутовина с Абелем… Однажды во время очередной прогулки Иван Иосифович напрямую спросил: опасался ли Рудольф Иванович провала, предчувствовал ли его возможность?

— Иногда говорят, — ответил Абель, — будто разведчик, постоянно находясь под угрозой ареста, свыкается с этой мыслью и у него притупляется чувство осторожности. Надо мной такого сознания не довлело, хотя смертельная опасность всегда была рядом. Как солдат свыкается с мыслью о гибели в бою, так и разведчик сознает наличие такой печальной возможности. Я старался думать лишь о том, как лучше выполнить порученное задание…

— Не раз вспоминали мы с Рудольфом Ивановичем и книгу Донована «Незнакомцы на мосту», — продолжает Мутовин. — Я все интересовался у Абеля, прав ли был Донован, писавший, что во время судебных заседаний русский полковник не беспокоился за свою судьбу. Действительно ли не было волнений?

— Уже вернувшись в Союз, — признался Абель, — я часто размышлял, почему я не волновался за себя. Думаю, что мой арест заставил меня прежде всего думать о том, как уберечь от провала своих помощников. А думая о них и спасая их, я старался избавиться от мысли о собственной судьбе.

Спросил я Абеля и о том, как и когда узнал он о захвате

Пауэрса.

— Об этом мне стало известно через неделю после того, как его сбили. — Абель улыбнулся, воспоминание было приятным. — Тогда я находился в тюрьме. Была тяжелейшая скука. В такие минуты лучше всего отвлекают математические расчеты, которыми я и занимался. Неделю я не знал, что происходит в мире. И тут вдруг в окно камеры кто-то протянул мне газету. Бросился в глаза заголовок, что под Свердловском сбит американский самолет У-2, а пилот Пауэрс схвачен русскими и ему грозит суд как шпиону

— О чем вы сразу подумали?

— Это была приятная новость. — Абель откинулся на спинку стула, провел ладонями по голове. — Первой была мысль, что враг попался и будет наказан. Но когда стало известно, что Пауэрсу присудили всего десять лет и из них только три года тюрьмы, я счел наказание довольно мягким. Мне-то «за пребывание на территории США без регистрации в государственном департаменте» по закону должны были дать максимум пять лет, а «влепили» тридцать.

И завершая невеселую тюремную тему, хочу все же вернуться к роли Абеля, связанной с добыванием атомных секретов. Я уже писал здесь, что обсуждать этот щекотливый вопрос с Рудольфом Ивановичем не довелось. Однако у меня, изучившего все публикации, все связанное с этим проектом, сложилось твердое убеждение — роль Абеля в этом направлении колоссальна. Доводилось слышать от некоторых, будто Рудольф Иванович возглавлял в Соединенных Штатах резидентуру, имея полномочия лично от Вячеслава Михайловича Молотова. Через Абеля прошли чертежи, материалы, образцы атомной бомбы. Их передавали ему его связники, «Волонтеры», Коэны. Все эти великие секреты им доставлял из атомной лаборатории Лос-Аламоса ученый Млад — он же Персей. Как же было ускорено — и благодаря Абелю — установление паритета с американцами в этом виде вооружений! Испытание в 1949-м нашей первой атомной бомбы вызвало у них шок. Скорее всего, именно это событие заставило Штаты прекратить атомный шантаж и, возможно, спасло мир от надвигавшейся катастрофы.

А теперь мне бы хотелось представить Абеля с другой, еще малоизвестной пока стороны. Ведь он — активнейший участник Великой Отечественной войны на тайном фронте.

Абель и Гейне

До последнего времени об этом, в отличие от американского периода жизни Абеля, известно было немного. Но мне повезло. Приезжая в Москву в служебные командировки, я всегда навещал своего бывшего шефа полковника в отставке Виктора Усватова. Вот и в тот раз позвонил ему из гостиницы на Маяковке и сразу получил предложение заглянуть: они с женой Ксенией пригласили гостей, и если приду, ожидает меня интересное знакомство. Действительно, знакомство с генерал-лейтенантом Павлом Анатольевичем Судоплатовым получилось интереснейшее. Ксения и жена генерала Эмма — дальние родственницы, детство провели вместе, и две семьи поддерживали отношения дружеские. Так что разговоры велись откровенные. К тому же мужской состав компании принадлежал к одному ведомству.

Во время застолья и разговорились с генералом, руководившим в войну, среди прочего, подготовкой наших диверсантов. Память у Павла Анатольевича была феноменальной, я бы сказал — чисто профессиональной. Узнав, откуда я, Судоплатов вдруг спросил, как на Кубани увековечено имя первого атамана кубанского казачества Антона Головатого. Я ответил, что Головатый — один из основателей кубанской столицы, но памятник ему и соратникам — в Тамани. Тут генерал и объяснил: спросил об атамане потому, что в военные годы долго и небезуспешно работал с его правнуком Сашей Демьяновым — замечательным разведчиком, образованным парнем, красивой, как заметил Судоплатов, внешности, с благородными манерами. Отец его, казачий есаул, пал смертью храбрых в Первую мировую в 1915-м, когда сыну исполнилось четыре года. Мать — выпускница Бестужевских курсов. Признанную красавицу хорошо знали в петербургском свете. А сынишка в детстве воспитывался за границей, учил языки. До революции жили в родовом гнезде, в Анапе. Знал семью генерал Улагай, после революции им предлагали эмигрировать во Францию, но остались дома. Демьянов-младший окончил казачью школу в Тамани, потом — институт.

По словам Судоплатова, чекисты установили контакт с Демьяновым в Ленинграде в 1930-е годы. Способности к разведке проявил он быстро, и его с матерью перевезли в Москву, где Александр сотрудничал с разведкой под псевдонимом Гейне. Инженер-электрик получил работу по своей специальности на «Мосфильме».

Тогда культурная да и светская жизнь кипела на киностудии во всю. Демьянов легко вписался в компанию актеров, сценаристов, поэтов. Подружился с режиссером Михаилом

Роммом, со многими другими деятелями искусства. Женился на ассистентке режиссера Татьяне Березанцевой. Постепенно круг знакомств расширялся, завязались связи с иностранными дипломатами, журналистами. Демьянов своего дворянского происхождения не скрывал. Да и в эмигрантских кругах проверить это можно было легко. Видно, и проверили. В конце концов, молодым и идущим на контакт инженером заинтересовались сотрудники немецкого посольства, а если точнее — абвера.

Наша разведка стала готовить Демьянова — Гейне на случай войны для большой «игры» с немцами. Предвоенная Москва была нашпигована немецкой агентурой, и Судоплатов разработал план радиоигры, которая бы помогла выявить тех, кто сотрудничает с чужой разведкой или хотел бы вступить в контакт с ней. Позже, когда грянула война, эта операция под кодовым названием «Монастырь», бесспорно, переросла в гораздо более серьезное противостояние между двумя воюющими сторонами. Схватка приобрела совсем иной, я бы сказал, государственный масштаб. Как поведал Судоплатов, в первые осенние месяцы 1941-го шифровальному и радиоделу обучал молодого разведчика Демьянова Вильям Фишер.

Общаясь с Рудольфом Ивановичем в больнице, я долго не решался затрагивать эту деликатную тему. Понимал, что дело Гейне засекречено. Но как-то решился спросить о своем кубанском земляке. Услышав фамилию Демьянова, Абель резко повернул лицо в мою сторону и спросил, откуда я о нем знаю. Я объяснил, что от Судоплатова, и собеседник слегка раскрылся, стал говорить более охотно. По рассказам Рудольфа Ивановича, крупнейшая чекистская операция, в которой главным действующим лицом был Александр Иванович Демьянов, развивалась так.

Демьянов еще до войны сумел заинтересовать немцев, и они готовили его на вербовку. Абверовцы даже присвоили ему условный псевдоним Макс.

Наши тоже готовили разведчика — под именем Гейне. Обучали Александра в московской школе радистов на улице Веснина, в двухэтажном деревянном доме на углу улицы Луначарского. После войны там была детская библиотека. Свел Фишера с Демьяновым сотрудник разведслужбы Маклярский. Под руководством опытного наставника Александр научился разбирать и собирать радиоприемники и радиопередатчики. Ему быстро давалась работа на ключе. В назначенные часы держал связь с другими курсантами. Обычно сеансы проходили утром, когда Фишер бывал в разведывательном управлении. Оттуда он

зачастую и сам связывался с Гейне, совершенствуя ученика в радиопремудростях.

Он часто и подолгу беседовал с Демьяновым. Ему нравился этот умный молодой человек, схватывающий все с первого раза, на лету. Рассказывал Саше поучительные и характерные истории из своей агентурной работы.

Немцы приближались к Москве, поступила команда перейти на ускоренный курс обучения. Благодаря отличному учителю Гейне превратился не только в радиста, но и в хорошего шифровальщика, Абель научил его и методам тайнописи.

В декабре 1941-го они вместе выехали в сторону фронта — увы, ехать далеко тогда не пришлось. Демьянов перешел линию фронта неподалеку от Гжатска. И тут наши, сами того не ожидая, добавили этому переходу такого правдоподобия — пустили Сашу прямо по нами же заминированному полю! Не было оно обозначено на картах как минное. Демьянова, считает Абель, спасло только чудо.

Наставник успел подготовить Сашу и к той жесточайшей проверке, которую ему должны были учинить в абвере. Спасла отличная школа да то, что советского перебежчика абверовцы приметили еще с довоенных времен. Ему поверили, завербовали, обучили в разведшколе и в феврале 1942-го (по другим данным — в середине марта 1942-го. — Н. Д.) забросили в Москву. Задание Макс получил серьезнейшее: попасть в Генеральный штаб Красной армии, и его выполнил. По легенде, в разработке которой принимал участие и Фишер, взяли его к маршалу Шапошникову[13] офицером связи. Оттуда, из Генштаба, и передавал Демьянов в центр абвера «разведывательные» сведения — подготовленную чекистами и Генштабом дезинформацию.

Стояла перед Максом и задача создать организацию из надежных людей и принимать курьеров с той стороны на конспиративной квартире. И с ней он тоже блестяще справился. Здесь ему было не обойтись без жены Татьяны и тестя — профессора Березанцева, знаменитого московского врача. Квартиру медицинского светила разведка тоже использовала в своих целях.

Несколько отойдя непосредственно от Абеля, расскажу, как наши работали с пошедшими чередой немецкими курьерами. Подробно об этом в моей книге «Разведчиками не рождаются», а если коротко, то происходило все так. Вооруженных и представлявшихся наиболее опасными жена Демьянова Татьяна усыпляла специальными таблетками — растворяла их в чае или водке соответственно со вкусами пришельцев. Пока те спали, специалисты из нашей разведки успевали обезвредить их ручные

гранаты, боеприпасы и яды. Операции на квартире Демьянова проводились не без доли значительного риска. «Гости», как правило, отличались отменным здоровьем и несколько раз, несмотря на сильное снотворное, неожиданно просыпались раньше предусмотренного. Но обходилось без провалов.

Некоторых агентов абвера потом изолировали, иных перевербовывали. Кое-кому позволяли вернуться в свою штаб-квартиру, при условии, что те доложат об успешной деятельности в Москве немецкой агентурной сети. Таким образом было обезврежено более полусотни немецких лазутчиков. Узнать обо всем этом несколько лет назад мне помогли мои товарищи из Краснодарского управления ФСБ…

Но вернемся к Абелю. Радиоигра с абвером становилась все интереснее — о ней регулярно докладывали Сталину. В середине 1942 года радиотехническое обеспечение этой стратегической игры снова было поручено Рудольфу Ивановичу. Это он руководил разведчиком Демьяновым, которому немцы стопроцентно доверяли.

Еще до встречи с Абелем я, фронтовик, часто задумывался над тем, как все-таки удалось добиться коренного перелома войны в Сталинградской битве. Какие же действия привели к тому, что понесшая тяжелые потери, прижатая к Волге наша армия вдруг принялась громить немцев? Был момент, и в Сталинграде наступило нечто вроде затишья. Прошло какое-то время, и внезапно началось грандиозное наступление трех наших фронтов. Закончилось все разгромом армии Паулюса. Теперь, когда материалы разведки рассекречены, понятно: очень во многом причины победы — и в успешных действиях спецслужб. Немецкое командование было обмануто. Поверило дезинформации. 4 ноября 1942 года Демьянов, работая под руководством Абеля, передал: Генштаб планирует крупное наступление под Ржевом, а под Сталинградом активных действий не планируется. Немцы клюнули на наживку и направили резервы, раньше планировавшиеся для армий в районе Сталинграда, к Ржеву[14]. Около Ржева они наше наступление сдержали, а на Волге сражение проиграли вчистую. Так что огромная заслуга в успешном исходе Сталинградской битвы принадлежит Демьянову, Абелю и Судоплатову, который в целом и возглавлял эту операцию. Пока военные аналитики и историки дают иное толкование событиям под Сталинградом и упрекать их не за что. Ведь эта стратегическая операция нашей разведки была до последних лет строго засекречена. Пришла пора вносить определенные коррективы.

Это касается не только Сталинградской битвы, но и сражений

под Орлом и Курском. Руководитель абвера адмирал Канарис по-прежнему полностью доверял Максу, и незадолго до начала событий под Курском тот получил указание: передавать информацию о планах советского Генштаба каждую неделю — и для Демьянова еженедельно готовились такие дезинформационные сведения, в которые немецкое командование верило на все 100 процентов. В 1943 году донесения Макса вынуждали немцев не раз переносить сроки наступления на Курской дуге, что, конечно, было на руку нашему командованию… А рядом с Гейне находился Абель, которого не зря называют разведчиком-легендой.

Демьянов продолжал водить немцев за нос и после Курска. До самого конца войны велись успешные операции с его и Абеля участием. Отсюда и кочующий из одной иностранной книги в другую миф, будто у абвера в нашем Генштабе действовал ценный разведчик. Действительно, впервые сигнал об этом подал из Германии советский агент полковник Шмидт, служивший в шифровальной службе абвера. Англичане, успешно занимавшиеся расшифровкой телеграмм из Берлина, сообщили тревожную информацию русским коллегам. Член «кембриджской пятерки» Энтони Блант, работавший в британской разведке, встретился с советским резидентом в Лондоне Горским, чтобы сообщить: «У немцев в Москве есть важный источник информации в военных кругах».

После войны на читателей обрушились целые горы книг об успешном внедрении агента в советский Генштаб. Генерал Вальтер Шелленберг, начальник немецкой внешней разведки, в своих неоднократно переизданных мемуарах хвастался: ценная информация поступала от источника, близкого к самому Рокоссовскому. И правда, Демьянов — Гейне некоторое время работал офицером связи у этого маршала…

Был введен в заблуждение и другой немецкий генерал-разведчик — Гелен. В своих воспоминаниях он тоже нахваливал агента Макса, называя его главным источником стратегической военной информации на протяжении наиболее трудных лет войны. По мнению Гелена, «работа Макса являлась одним из наиболее впечатляющих примеров успешной деятельности абвера в годы войны». Может ли разведчик мечтать об оценке еще более высокой?

Однако Гелен не ограничился восхвалением Макса в мемуарах: человек, заменивший Канариса на посту руководителя абвера, предложил американцам использовать «очень надежного агента» в разведывательных целях против СССР. Но те замешкались и принять Макса на связь не успели.

Надеюсь, читатель не в обиде. Мы несколько удалились от нашего главного героя полковника Абеля, чтобы рассказать об одном из его наиболее талантливых учеников. И все же позволю себе сделать два-три дополнения к рассказу полковника Ивана Мутовина, раскрывшего принципиально новую страничку не только в истории советской разведки.

Сыну дворянина Александру Петровичу Демьянову пришлось испытать немало. Как же негладко складывалась, к примеру, его жизнь в Ленинграде, куда они с матерью вернулись в середине 1920-х! Саша работал электромонтажником и учился в Политехническом институте. Вдруг — отчисление с привычной тогда для детей «лишенцев» формулировкой: «как социально чуждого элемента». За этим последовал арест: его взяли в 1929-м по доносу за «хранение оружия и антисоветскую пропаганду». Как откровенно пишется в «Энциклопедии разведки и контрразведки», пистолет был Демьянову подброшен. Не надо долго гадать с какой целью — в этом же году он был завербован ОГПУ и превратился в его негласного сотрудника. А в 1930-м последовал перевод в Москву, где поле деятельности для толкового контрразведчика было гораздо шире. Контакты с московской богемой, интерес со стороны немецкой разведки. Не правда ли, напрашивается определенная аналогия с судьбой другого гениального разведчика, Николая Кузнецова, ставшего во внешней разведке Героем Советского Союза номер один? К сожалению, посмертно. Подвиг выжившего Демьянова оценен гораздо скромнее — орденом Красной Звезды, а немцы наградили его Железным крестом.

Радиоигра с абвером, как сказал полковник Мутовин, получила официальное название: операция «Монастырь». Через фронт под Гжатском Макс — Гейне — Демьянов переходил как эмиссар прогерманской организации «Престол» — но эта «двоюродная сестра» знаменитого МОЦРа[15] конечно же существовала лишь в воображении немцев и была чисто фиктивной.

Судьба снова свела Демьянова с Фишером в конце лета 1944-го. Оба участвовали в еще одной контрразведывательной операции «Березино». За разработку этих операций и участие в них и получил Фишер орден Ленина.

После войны была задумана еще одна операция с привлечением Демьянова, и он вместе с женой оказался в Париже. Но ни разведки чужих стран, ни эмигрантские круги интереса к нему не проявили, так что Александр с Татьяной

возвратились в Москву. И, как это часто случалось в послевоенные годы, разведка рассталась с одним из своих героев. У меня глубокое чувство, что подвиги Александра Петровича Демьянова не были оценены по достоинству. Только сейчас, благодаря таким сподвижникам, как полковник Мутовин, вспомнили о Гейне — появились газетные публикации, изданы книги. Жаль, но входит он в нашу историю с явным запозданием. Частично причиной тому лишь недавно снятый с Демьянова гриф секретности, но, по-моему, в гораздо большей степени — некоторая инерция мышления: в свое время приоткрыли несколько страничек очень удачной для советской разведки тайной войны и решили этим и ограничиться. Главные же действующие лица секретных операций, в Великую Отечественную выжившие, теперь ушли навсегда… Вот почему столь ценно каждое слово ветеранов, еще остающихся с нами. Мы ловим эти последние признания уже на излете. Тяжело сознавать и больно писать, но еще несколько лет — и останутся лишь пожелтевшие странички из личных дел героев-разведчиков. Но много ли они нам расскажут и заменят ли живых свидетелей?

После возвращения из Парижа Демьянову пришлось вспомнить о прошлой гражданской профессии — трудился инженером-электриком в научно-исследовательском институте. Смерть его в 1978-м была быстрой и легкой: катался на лодке по Москве-реке, энергично гребя веслами, и умер мгновенно от разрыва сердца. Было ему всего 68…

Однако пора вновь передать слово полковнику Мутовину.

Абель и Молодый

Я разговаривал с Абелем, когда в палату вошел мужчина лет сорока. Невысокого роста, широкоплечий, крепко сбитый брюнет со скуластым красивым лицом. Глаза чуть раскосые, взгляд острый, ироничный, живой.

Абель заграбастал вошедшего в крепкие объятия, они расцеловались. Обернувшись ко мне, визитер представился: Константин Трофимович Перфильев. Так познакомился я с еще одним разведчиком-нелегалом — Карлом Вольфом, Гордоном Лонсдейлом, а по-настоящему — Кононом Трофимовичем Молодым.

Конон Трофимович навещал друга часто, говорили мы обычно долго, довольно откровенно, и я едва успевал потом записывать свои впечатления. О Молодом — Бене написано немало, и здесь мне бы хотелось рассказать лишь о том, что как-

то связано непосредственно с Абелем.

Мне особенно запомнилось, при каких трагических обстоятельствах встретились два разведчика. Поначалу я недоумевал: Конон в разговорах шутливо жаловался на боли в копчике, после чего они с Абелем принимались хохотать. Постепенно выяснилась прелюбопытная история.

Юный Конон служил в разведбате. Не раз переходил линию фронта, обязательно возвращаясь с «языками». Потом, зачисленного в диверсионную группу, его забросили со спецзаданием в район неподалеку от белорусского города Гродно. Выброска прошла неудачно: парашютисты рассеялись и собраться вместе не смогли. Оставшийся один Конон пытался выйти на партизан, многочисленные отряды которых действовали в этом районе. Никак не получалось. Попал в облаву, был задержан и как подозрительная личность доставлен в местный отдел абвера. Молодый знал, что в Белоруссии фашисты с местными жителями не церемонились. А документ у него — липовый, наспех изготовленный в штабе, где формировались «летучие» диверсионные группы. Приготовился к худшему.

Под конвоем его ввели в просторный кабинет. Под портретом Гитлера восседал полковник-абверовец. Внимательно изучив документ Конона, усмехнулся, уставившись прямо в глаза парня в рваной фуфайке и дырявых опорках. Громко спросил: «Партизан?» Молодый, в предчувствии скорой развязки, только покачал головой. Немец вышел из-за стола, схватил оборвыша за шиворот, вывел на высокое крыльцо здания. На глазах нескольких солдат охраны повернул к себе спиной и изо всех сил дал парню под зад сапогом. Тот кубарем полетел с лестницы. А полковник кинул вслед ему его липовый документ и скрылся в здании.

Молодый рванул, не оглядываясь. Ожидал пули в спину, но выстрела не последовало. Вскоре Конон сумел перейти линию фронта и вернуться к своим. О счастливом избавлении иногда напоминали боли в копчике — тяжел оказался сапог полковника из абвера.

В начале 1950-х Конон Молодый, превратившийся в канадского гражданина Гордона Лонсдейла, должен был встретиться в нью-йоркском парке с нашим резидентом в США. Обстановка в парке безмятежная, мирная, публика одета элегантно, ведет себя раскованно. Не выделяется из толпы и Конон в своем добротно пошитом костюме. Из кармашка виднеется синий платочек. Навстречу ему приближается джентльмен с платочком красным. Эти вещественные пароли и предстоящий обмен паролями словесными исключали возможность ошибки да и риска. Поравнявшись, Молодый вдруг

узнал в респектабельном господине несколько постаревшего абверовца из белорусского Гродно. Сразу заныл копчик. Признал его и резидент, вместо слов пароля растерянно спросивший: «Господи, неужели партизан?» Обалдевший от неожиданности Конон ответствовал: «Да». Потом, конечно, последовал обмен замысловатым словесным паролем.

— Так второй раз я встретился с моим «крестным отцом». — И Конон улыбнулся сидевшему рядом Абелю.

На мое невольное «Как в кино!» он ответил:

— Нет, в кино до этого не додумались, хотя мы предлагали включить этот эпизод в картину «Мертвый сезон». Режиссер был категорически против. Боялся, что зрители не поверят…

И еще об одной неожиданной «встрече» с Абелем поведал мне Молодый. После ареста в Англии спецслужбы давили на него сильно, склоняя к сотрудничеству. Применили и прием чисто провокационный. В Англии смертная казнь отменена, а в США электрический стул за «заговор в целях передачи военной информации» был вполне реален. В то время Абель тоже находился в тюрьме — в американской. Чтобы припугнуть Молодого, в его камере появился издававшийся в Штатах номер журнала «Лайф». На лицевой обложке коллаж — якобы снимок Абеля на электрическом стуле. Под снимком подпись: мол, Англия, как член НАТО, может передать Лонсдейла в руки американского правосудия и ждет его там электрический стул… Лонсдейл на угрозу не прореагировал.

На вопрос, считает ли он себя удачливым, Конон Трофимович ответил:

— Да, мне повезло пройти всю войну и остаться живым. Из 300 призванных вместе со мной одногодков выжили только 17. И в английской тюрьме просидел не слишком долго — всего четыре года. Обменяли на английского шпиона Винна. Но вот когда выносили в Лондоне приговор — обманули: дали 25 лет, хотя обвинитель просил 17.

Я с интересом наблюдал за взаимоотношениями Абеля и Молодого. Говорили они друг другу в лицо то, что думали. Иногда спорили — точки зрения далеко не всегда совпадали. Но были они, несмотря на это да на разницу в возрасте, настоящими друзьями.

В конце 1960-х Комитет госбезопасности направил в ЦК КПСС ходатайство о присвоении Конону Молодому и Вильяму Фишеру званий героев Советского Союза, но «серый кардинал» Суслов ходу ему не дал. И Абель, и Молодый об этом знали, но и пальцем не пошевелили, чтобы получить честно заслуженное.

В разговоре на эту тему Молодый припомнил давнюю

историю об одном из князей Голицыных, впавшем в царскую немилость. Жил тот безвыездно в Крыму и прославился тем, что наладил производство игристого вина «Новый Свет», по вкусу не уступающего французскому шампанскому. Когда на конкурсе в Париже оно удостоилось Гран-при, у князя спросили о его отношениях с царем, на что тот ответил: «Слава Богу, царю никогда не удалось унизить меня почестями и наградами».

— Каково сказано — «унизить почестями и наградами»! — восхищался Молодый, и Абель согласно кивал головой.

Надолго запомнилось мне и еще одно характерное высказывание Молодого, которое полностью разделял и его старший товарищ:

— Разведчик не обладает ни сверхчутьем, ни сверхсилой. Агент 007 — субъект сугубо литературный. Таких в жизни не встретишь, они нашей профессии противопоказаны. Наша сила — в незаметности.

Однажды Молодый упомянул об эпизоде из своей карьеры нелегала. Обучался он в американской разведывательной школе в Швейцарии — кстати, я нигде и никогда подтверждений этому не встречал. Рассказ его сопровождался эпизодом прелюбопытным и поучительным.

— Недалеко от Базеля отправились мы, небольшая группа курсантов, отдохнуть на озеро. Среди нас были три англичанина, немец, датчанин, два ирландца и я — «канадец». И вдруг, слегка перед этим выпив, датчанин первым ринулся в воду и поплыл. Представьте себе — размашистыми саженками, как плавают только в России. Все мы молча стояли на берегу. Я был здорово расстроен: хорошо бы понял только я, хотя вряд ли… Или пронесет? Пикник закончился. Ни одного комментария к этому заплыву не последовало, но больше «датчанина» я никогда в своей жизни не видел.

Вот таким человеком был друг Абеля Конон Трофимович Молодый. Ушел он из жизни рано и неожиданно, не дожив и до пятидесяти. Скончался от обширного инфаркта неподалеку от Обнинска, куда поехал с женой и друзьями за грибами.

От автора этой книги

Полковнику Мутовину я верю безоговорочно. Контрразведчик и писатель, он с тактом и достоинством отвечал на мои многочисленные вопросы об Абеле. Побывал я и в квартире Ивана Иосифовича в Краснодаре. Архиву его только позавидуешь. И меня не смущает, к примеру, то, что в личном деле Вильяма

Генриховича Фишера никаких документов, подтверждающих контакт с Демьяновым, не сохранилось. Фишер возвратился в разведку в начале войны, в конце осени немцы стояли уже под Москвой, архивы и личные дела срочно вывозились в далекий сибирский город. И, если верить некоторым ушедшим ветеранам, далеко не все секретные бумаги сохранились: объяснение тому — кровавые чистки и определенная неразбериха в первые месяцы войны. Кое-что пропало, некоторые дела сознательно уничтожались. Так что, судя по всему, связка Демьянов — Фишер — Судоплатов существовала, да еще как действовала.

Хорошо известно и об отношениях Вильяма Фишера с Кононом Молодым, которые, при всей разнице их характеров, можно назвать дружбой. Несмотря на разницу в возрасте, два разведчика-нелегала со схожей судьбой общались тесно. Судьба свела их еще в Штатах, о чем пишет полковник Иван Мутовин, а в Москве после долгих лет тюрем они сошлись снова. Вместе консультировали создателей по существу первого фильма о внешней разведке «Мертвый сезон». Трудились в одном практически полностью закрытом управлении. В те годы общение его сотрудников даже с другими работниками органов не очень поощрялось, а два нелегала между собой — да, сколько угодно! О теплых отношениях своего отца с Молодым говорила мне и дочь Фишера Эвелина Вильямовна.

Однако история с арестом юного диверсанта Молодого, заброшенного в немецкий тыл и освобожденного полковником абвера, под личиной которого скрывался Абель, вызывает у меня сомнения. Начну хотя бы с того, что в деле Вильяма Генриховича об этом ни намека. В СВР подтверждают, что Фишер участвовал в операции «Березино». Возможно, и в форме фашистского офицера. Но ведь действовали тогда наши разведчики на своей территории, а не в немецком тылу. И, откровенно говоря, исключительно сложно представить, что пусть и хорошо знавшему немецкий Фишеру удалось такое перевоплощение в полковника абвера.

Своими сомнениями поделился с сыном Молодого — Трофимом Кононовичем. Офицер КГБ в отставке, он с журналистом и подполковником внешней разведки Леонидом Колосовым выпустил книгу об отце. Об эпизоде с ударом кованым сапогом по копчику в ней ни слова. Беседа наша была долгой. Трофим Молодый поведал о многом. Да, его отец действительно был фронтовым разведчиком, ходил к немцам и не раз приводил «языков». Но чтобы его, совсем молодого тогда парня, забрасывали «на ту сторону» с парашютом — нет, такого Трофим никогда не слышал ни от отца, ни от его фронтовых друзей, с

которыми Конон Трофимович поддерживал после возвращения из тюрем ее величества отношения самые добрые.

Откуда же тогда эта история с пленением Молодого и полковником из абвера? Лонсдейл любил мистификации — даже в его изданной за границей еще во время отсидки книге намеренно замешано немало вымышленного и неправдоподобного. Но почему вместе с ним играл в эту игру и совсем не склонный к розыгрышам Абель? Да и удары сапогом по копчику — не в его стиле. Вероятно, загадку уже никогда не разгадать…

Зато Трофим Кононович подтвердил: дружба между двумя самыми, наверное, знаменитыми нелегалами была крепкая. И в последние минуты жизни его отца именно Абель пытался прийти на помощь Молодому. Внезапная смерть Конона Трофимовича описана не раз: нагнулся за грибом и умер. Не совсем так — о подробностях Трофиму рассказывала его мама…

Под Обнинск Конон и жена Галина отправились с другой супружеской парой на чужой «Волге». Добрались до места, перекусили без особых возлияний на лесной полянке и собрались за грибами. Внезапно Конону Трофимовичу стало плохо. Ясно, что сердце, но инфаркт ли, инсульт? Поехали в ближайший поселок, с трудом нашли телефон. Хотели звонить в спецуправление, к которому был приписан Конон Трофимович, но Галина помнила единственный номер — домашний телефон Абеля. Был выходной день, он оказался дома. Страшно разволновался, но тотчас принялся звонить на работу, вызывать машину с врачами. Молодого тем временем поместили в местную больницу, где поставили диагноз: обширный инфаркт. Машина с врачами из спецуправления приехала, когда Молодый уже скончался…

А теперь после этого моего очередного отступления вновь передаю слово полковнику Ивану Иосифовичу Мутовину.

Какие зомби? Забудьте!

Впервые о зомбировании, в ту пору малоизвестном и совсем непонятном, я услышал от Абеля. Познакомился он с неким Геслером, доктором по специальности. Врачом мистер Геслер оказался необычным — служил он в Центральном разведывательном управлении, куда пригласил его сам директор

Аллен Даллес. Геслер был назначен заместителем директора и руководил всеми работами по психологическим исследованиям и психообработке. Это под его началом разрабатывались модели

психологического воздействия на вооруженные силы и гражданское население государств — потенциальных противников США.

Абель несколько раз встречался и с Геслером, и с лицами из его окружения. Подробная информация о работах американцев по психопрограммированию людей, а по-простому — зомбированию, была послана в Центр. Рассказывая об этом, Рудольф Иванович тогда признался:

— На свой доклад я получил лаконичную рекомендацию: впредь «не распыляться, а сосредоточить усилия на добывании ядерных секретов…».

О разведдонесении Абеля вспомнили несколько лет спустя — поводом послужил арест на Кубе некоего Хуана Костаньего, засланного из США. Вел он себя во время допросов крайне странно, и арестованного тайно доставили в Москву. Лучшие наши психиатры обнаружили: в Костаньего уживаются как бы четыре личности. Во-первых, он сельхозрабочий. Во-вторых, считает себя американцем, прошедшим специальную подготовку и обученным диверсиям. В-третьих, он незаурядный человек, заброшенный на Кубу для убийства Фиделя Кастро. И, наконец, в-четвертых, он — самоубийца, жаждущий покончить с собой после совершения акта возмездия. Костаньего оказался американцем кубинского происхождения.

Тут и вспомнили про донесения Абеля… Их подняли из архива, запросили резидентуру в США, и оттуда подтвердили, что Геслер реально существует и возглавляет отряд психологов и психиатров, работающих над проблемой программирования человеческого подсознания. В идеале цель ставилась так: воспитать агента-камикадзе, готового покончить с собой после выполнения задания. Нашим ученым удалось выявить, какой механизм кодирования применяли сотрудники ЦРУ при работе с Хуаном Костаньего. Жаль только, что донесение Абеля долго пролежало без движения…

Уход всегда внезапен

С Рудольфом Ивановичем мы продолжали видеться и после выписки из больницы. Переписывались, обменивались впечатлениями. Хотя Абель был по-прежнему приписан к своему закрытому управлению, никаких ограничений на встречи, по крайней мере для меня, не было. Приезжая в

Москву, я обычно наведывался к нему в дачный домик. Последний раз я навестил Рудольфа Ивановича в июле 1971-го. А

еще до поездки послал по знакомому адресу письмо с рукописью моей книги о нем, которую в случае одобрения Абеля предполагалось опубликовать в журнале «Кубань».

Солнечный июльский день, Рудольф Иванович, открывающий мне калитку и чему-то улыбающийся. Беседовали в небольшой комнате, где обычно работал мой собеседник. Все вокруг говорило о том, что вкусы хозяина чрезвычайно разнообразны: здесь и картины, и зарисовки, и листки с расчетами. Был он исключительно эрудированным и талантливым человеком. При этом — простым в быту: дома никаких богатств и излишеств. Богат был иным — народной любовью. Как-то в одном из чекистских клубов объявили о встрече с разведчиком. Приехал я туда с опозданием, у входа — толпа. Зал забит до отказа, а люди просят пропустить, чтобы «увидеть и послушать Абеля»…

В разговоре о моей книге с выводами он не торопился. Интонация его всегда спокойная, оценки — взвешенные. Он как бы призывал и меня дать более полный и глубокий обзор описанных в этой работе событий. В конце нашего разговора я искренне порадовался: мою рукопись ее главный герой одобрил.

Когда покидал гостеприимный домик, вечер казался теплым, легкий ветерок ласкал лицо. Деревья весело покачивали ветвями, птицы разноголосо прославляли этот мир…

Прошло несколько месяцев, и вдруг 17 ноября 1971 года — некролог в газете «Красная звезда».

Рукопись мою «Абель в стане врагов» краснодарский журнал «Кубань» опубликовал уже после кончины Рудольфа Ивановича. Лет пробежало с той поры много, но когда думаю о нем, мысли эти доставляют мне чувство радости. Благодарен я судьбе за то, что свела с ним и позволила учиться искусству жизни. Прислушиваясь к советам Рудольфа Ивановича, всегда потом убеждался, насколько он прав.

И еще признание. Порой мне казалось, что он не просто сотрудник разведки, а нечто более — словно бы посланник какой-то высшей субстанции, помогавший своей стране отстоять безопасность, а значит, сделать жизнь народа спокойной и достойной.

Писатель под грифом «секретно»

Банально, а что поделаешь: если человек талантлив, то во всем. Но тут давайте не переигрывать. Основные таланты разведчика-нелегала Фишера проявились все же не в шелкографии, и даже не в любимой живописи, и не в писательстве. Хотя, вернувшись домой из Штатов, Вильям Генрихович помимо основной работы с удовольствием брался и за другие дела, далекие от его профессии.

Он любил спокойно, без наскока испытывать себя в чем-то новом, неведомом, и в отличие от многих не охладевал, когда что-то не удавалось, не шло сразу и быстро. Возможно, именно в последние годы в Штатах он и набрался терпения, которого теперь хватало. Приступал к намеченному с еще большей тщательностью, чем раньше. Всегда старался доводить начатое до конца.

Эвелина Вильямовна оценивала перемены в отце несколько по-иному. Видела, что четыре с лишним года тюрьмы не прошли даром. Он явно сдал физически. Чуяла: точит недуг. И не зря все чаще оставались нетронутыми в мастерской, на некогда любимом чердаке, рубанок с дрелью. Даже после ухода в формальный запас Вильям Генрихович к ним притрагивался нечасто.

Зато пришли совсем новые увлечения. Как-то рассказал домашним: пишет книгу. Нечто вроде детектива, но на собственный лад. Не спешил, не заставлял вслушиваться в каждую написанную главку, а в ответ на просьбы говорил, что повесть нуждается в правке, в редактировании. Да и отлежаться ей надо. Впечатление, будто не совсем знал, о чем он вправе рассказывать читателю. Нельзя, чтобы было очень похоже, методы работы и оперативные эпизоды должны были оставаться за полями, но и «развесистой клюквой» потчевать никого не собирался. Все те же принятые в его ремесле «рамки дозволенного» смущали, заставляли снова и снова переписывать уже готовое.

Ему откровенно не нравились книги о разведке, о чем полковник открыто признавался на встречах с молодыми коллегами по профессии, критикуя и такого признанного в те времена автора, как Кожевников. Из разведчиков творили иконы. Рисовали их «под копирку» — мужественными красавцами, сомнений не знающими. И всегда — безоговорочными победителями, о чем можно было догадаться еще со второго абзаца. У него вызывали усмешку стрельба, метание ножей и прочих отнюдь не разведывательных атрибутов. Быстрое

«раскалывание» чужих шпионов, мгновенная вербовка источников — да еще и каких ценных!

Вильяму Фишеру не суждено было пойти по стопам Вильяма Шекспира, но свой вклад в жанр детектива он внес. Эвелина рассказывала о повести, подписанной «Полковник ***», в журнале «Кругозор».

Я же разыскал изданную в «Библиотечке журнала “Пограничник”» книгу «Конец “черных рыцарей”», хотя меня и уверяли, будто все кануло в Лету. Ничего подобного! Вот она, книга в 4,5 печатных листа, сданная в набор в октябре 1966-го и попавшая на прилавки под № 1 (7) в 1967 году.

Правда, Фишеру пришлось и здесь маскироваться. Даже проверено: надежным редакторам «Пограничника» звонили откуда-то оттуда, предлагая не слишком навязываться с вопросами к автору. Пришедший в редакцию высокий, сутуловатый человек являл собой образец скромности во всем — в одежде, в поведении, в отсутствии каких-либо претензий.

Отказался лишь от одного: ему предложили самому «Черных рыцарей» и проиллюстрировать. Иван Степанович Лебедев, так он представился, взял время на размышление. Вскоре позвонил и вежливо отказался. Тут, уверен, сыграла роль его обычная железная конспирация: вдруг поймут по стилю рисунков, кто автор. Да и рисовать надо было «закордонную жизнь» — а что, если невольно бы промелькнули знакомые ему типажи? Нет уж, не стоит…

Почему малоразговорчивый автор представился сотруднице «Пограничника» Валентине Яковлевне Голанд, которой поручили с ним поработать, Иваном Степановичем Лебедевым? Лебедева — девичья фамилия любимой жены Елены, Степановна — ее отчество. Иван — ну, это просто Иван, а может, взял имя одного из братьев Эли. Получился абсолютно благозвучный псевдоним — не нарочитый, не настораживающий, легко и без всяких задних мыслей принимающийся.

С фамилией героя, советского разведчика-нелегала, тоже все понятно. Он окрещен «Флемингом» — в честь Яна Флеминга, английского разведчика и автора «бондиады», в ту пору исключительно популярной в мире и даже к нам, вопреки всему, через «железный занавес» переправлявшейся.

Отыскались и короткие воспоминания редактора «Рыцарей» Валентины Голанд. Она пишет, что, когда пришло время верстки, она попросила Ивана Степановича Лебедева выступить перед сотрудниками журнала Погранвойск КГБ СССР. Тут и выяснилось: перед облеченными доверием журналистами — Рудольф Иванович Абель, ас советской разведки. Хотя до откровений типа

— «а по-настоящему это Вильям Генрихович Фишер» не дошло, но все же степень определенной откровенности между засекреченным писателем и его слушателями установилась.

Не собираюсь сочинять вдогонку рецензию на книгу. Но, с моей точки зрения, писал ее истинный профессионал — но только разведчик, не сочинитель. Сюжет почти наверняка навеян и собственной работой. Догадываюсь, что Фишер еще успел потрудиться в США и главным образом в относительно соседних с ними странах по поиску сбежавших из рейха фашистов. Те осели в Уругвае, Парагвае, Аргентине… и проч., живя иногда припеваючи. Денег, предусмотрительно переведенных Борманом и прочими мерзавцами на тайные счета, хватало. Одной из задач нелегальной разведки было выявление нацистов, внедрение в их тайные организации и арест главарей. Не одному же израильскому МОССАДу было здесь вкалывать! Кстати, есть версия, что и на Эйхмана израильтян вывели, как бы между делом, коллеги Вильяма Генриховича, работавшие и под его руководством — Африка де Лас Эрас, супружеские пары Филоненко и Гринченко…

Короче, о сюжете. Американец по фамилии Флеминг — то ли мелкий коммерсант, то ли изобретатель, он же наш разведчик-нелегал — плывет на лайнере «Куин Мэри» по каким-то своим туманным делам в Европу, а точнее — в Париж. Чувствуете переклик с судьбой «писателя» Фишера?

Есть в повести и описание внешности Флеминга: «Он высокий, худой, серые, глубоко посаженные глаза. Большой нос, уши немного торчат, заметный кадык. Почти лысый, седой, лет пятидесяти — пятидесяти пяти». Писатель Лебедев явно «списал» этот портрет с разведчика Фишера…

Вильям Генрихович решил поиграть в собственную биографию?

Уже на корабле Флеминг знакомится с немецкой четой Шредеров (простите, герр канцлер! — И. Д.). Немцам он видится руководителем тайной организации «черных рыцарей» и даже соотечественником, потому Шредер пытается войти с ним в контакт, насвистывая любимую фашистскую мелодию «Хорст Вессель». Но Флеминг на свист откликается довольно резко, бросая Шредеру дважды: «Вы не тот и песня не та!» Он всячески показывает, что не говорит по-немецки, признавая во внутреннем монологе, что этот язык знает очень хорошо…

Заодно на корабле оказываются парочка французских участников Сопротивления, ярых антифашистов Аннет и Пьер, и еще монахиня Сесилия. Вся эта группа прибывает в Париж, где и начинаются приключения. Иногда — с драками, выстрелами и

убийствами. Нет, не удержался Иван Степанович Лебедев от погонь и автогонок в исполнении советского разведчика Вальтера — рискового друга Флеминга, и других «приемов», против которых суровый Вильям Фишер так восставал, когда они появлялись на страницах книг…

Но что отличает литератора Ивана Лебедева от собратьев? Точное знание темы. Если дается описание какой-то вещицы, так детальнейшее. Так, прямо в традициях Тургенева выписан бумажник Флеминга, на который в качестве приманки и клюнули нацисты. А уж Париж подается в таких тонких и подробнейших описаниях, что сомнений не возникает: автор изучил город вдоль и поперек. Винные погреба, закоулки проходных дворов, нравы, еда и напитки, кафе с ресторанами, без которых и Франция не Франция. Манера поведения официантов — презрение гарсонов к ими же и обслуживаемым…

Создается впечатление, что Лебедев в этой столице мира — свой, обжил ее, изучил. И, между прочим, очень прилично говорит по-французски. Навевает мысли: наверняка заезжал. Или жил?..

В конце концов «черные рыцари», кто бы сомневался, разгромлены. Их архив захвачен, вывезен и скоро предстанет пред мудрыми очами руководителей Центра. При захвате использовались и методы боевиков, вероятно, знакомые Фишеру еще по тем временам, когда он до войны трудился на Лубянке вместе с «дядей Яшей» Серебрянским, частенько заскакивавшим со своими друзьями и на чужую территорию; и по 4-му Управлению генерала Судоплатова, где он работал в войну.

Не хочу ни подо что подводить базы, но работавшие под руководством Марка в Латинской Америке нелегалы тоже были отлично обучены методам активной работы. Надо было бы применить их в случае часа икс — не сомневаюсь, руки бы не дрогнули.

Несмотря на усилия Лебедева, некоторые сокровенные особенности работы нелегала все же проскальзывают, прорываются на страницы — особенно на 76-ю и 77-ю. Как вам эти откровения Флеминга или Фишера?

«Флемингу было досадно. Он хотел бы встретиться с Пьером и Аннет и познакомиться с их старым приятелем. Но прекрасно понимал, что ему нельзя будет этого сделать, потому что придется уехать сразу после операции. С досадой он вспоминал и о других интересных и приятных ему людях, с которыми встречался на короткое время и которых впоследствии больше не видел. Увы! Такова участь разведчика. Чувство обособленности, не позволяющее разведчику сближаться с людьми, тягостно.

Чтобы побороть его, он должен уметь жить с самим собой, находить для себя интересные занятия и развлечения».

Однако не дай господь, чтобы кто-то подумал, будто разведчика на чужбине гложет тоска. Фишер невольно включает обязательный и естественный для себя предохранитель: «Флеминг, спокойный и рассудительный, легко приспосабливался к таким условиям работы. Он всегда с любопытством и вниманием наблюдал за происходящим вокруг и планировал свои действия, предусматривая всевозможные осложнения».

А вот что пишется о боевиках типа Вальтера: «Вальтер был иным человеком. В случае осложнений он полагался на свою находчивость и изворотливость. Нельзя сказать, чтобы Вальтер был опрометчивым. Он тоже составлял план действий, изучал обстановку, но считал, что внезапность и напористость часто приносят более эффективные результаты».

Да это ж прямо «курсы молодого разведчика»! Две философии разведки, а литератор Иван Лебедев выступает в роли ее теоретика — вот, послушайте, что дальше: «И Флеминги, и Вальтеры нужны в разведке. В некоторых случаях спокойная рассудительность одного была лучше горячности другого, и, наоборот, бывали моменты, когда нельзя было терять времени и нужны были немедленные действия». И тут же целая заповедь: «Методы должны подчиняться конкретным обстоятельствам. Когда нужно было действовать быстро и расчетливо, такое сочетание характеров было всегда удачным».

И опять немного разведывательной философии на последней странице. В ней — весь Фишер, не переоценивающий себя и свою работу, но твердо знающий, что он и его дела нужны. Группа «черных рыцарей» разгромлена в Европе, и ей уже не возродиться в Латинской Америке. Вывод в последнем абзаце: «Это было рядовым событием в работе разведки. Еще одна нацистская группа исчезла. Она не была единственной, она не была очень важной, но пока она существовала, была опасной».

Книга разведчика не пропала в ворохе всевозможных детективов. Ее заметили сотрудники литературно-драматической редакции Центрального телевидения. Фамилия «Лебедев» никому ничего не говорила, но сюжет-то был вполне телевизионный, занимательный. По книге можно было сделать инсценировку… Начались поиски автора. Сотрудники «Пограничника», разумеется, Лебедева просто так «не выдали», но пообещали, что Иван Степанович сам позвонит телевизионщикам.

Случилось: позвонил, встретился с редактором, однако от лестного предложения написать телесценарий по собственной повести отказался. Зато без колебаний дал разрешение снимать

фильм, поставив лишь одно, зато суровое, условие: до того, пока он сам не одобрит сценарий, съемки не начинать.

Редактор Вячеслав Бровкин приводит на страницах того же «Пограничника» немало подробностей своей встречи с Лебедевым. Мне же приглянулась одна, и все та же. К нему в комнату зашел «обычный, неприметный человек с улицы, который, смешавшись с потоком прохожих, никогда и ничем не привлечет к себе внимания». Одет в простенькое демисезонное пальто, на голове обыкновенная шапка-ушанка.

Да, Абель оставался Абелем и в Москве.

Он дал совет создателям телеспектакля ни в коем случае не делать из Флеминга героя, сказав, что «все поступки хорошего профессионального разведчика должны соответствовать обыденным человеческим действиям и поступкам». Иван Степанович Лебедев телевизионщикам понравился, смекнули они даже, что перед ними большой разведчик. Хотя кто-то и заметил: «Большой-то большой… Но ведь не Абель же!»

Фильм с участием ведущих артистов театра имени Моссовета Эллы Бруновской и Бориса Иванова снимали быстро и с энтузиазмом. Добро на его показ давал не только Иван Степанович Лебедев, но и еще четверо его коллег. Им особенно понравилась Бруновская, Лебедев даже галантно заметил, что «с такими красивыми женщинами судьба его не сводила».

В сентябре 1968-го полуторачасовой телеспектакль «Конец “черных рыцарей”» показали по Первому каналу Центрального телевидения. Потом показали еще раз. И точка. Как пишет Вячеслав Бровкин, «в те далекие времена большинство работ снимались на отвратительной пленке советского производства, которая была непригодна для длительного хранения, а стало быть, и для дальнейших показов»…

Художник служил на Лубянке

Наше знакомство с Павлом Георгиевичем Громушкиным началось с… Абеля. Свел нас еще со студенческих лет мне хорошо знакомый Александр Николаевич Зайцев. Попросил помочь «твоему бывшему коллеге по журналистской профессии, хочет о чем-то попросить в связи с Абелем».

И вот в моем кабинете на шестом этаже в здании «Комсомолки» появился посетитель. Уже тогда очень немолодой, но со вкусом одетый высокий человек, который казался еще выше благодаря прямо гвардейской выправке. Представился: Павел Громушкин. Тактично забыв добавить — полковник Службы внешней разведки в отставке. Достоинство, спокойствие, уверенность в себе, врожденная интеллигентность — это и есть Павел Георгиевич Громушкин.

Дело, которое привело Громушкина ко мне, было под стать его благородному облику: мечтал издать рисунки, портреты, всю живопись своего давнего друга Вильяма Фишера, которого с воспитанной за годы разведки дисциплинированностью именовал только Рудольфом Абелем. Прочитал в газете мои материалы, его товарищу посвященные, и, наведя справки, обратился с просьбой. Надо было подписать в числе прочих разномастных начальников письмо, в котором Павел Георгиевич четко и коротко обосновывал необходимость издания альбома.

Я сразу же поставил корявую свою подпись и прямо при Громушкине позвонил знакомому издателю. Тот мгновенно согласился выпустить цветной фолиант, однако заломил цену несусветную. Другой мой приятель из мира больших книг прямо признался, что проект неприбыльный, разведка денег не вложит и где искать спонсоров? Павел Георгиевич прислушивался к моим разговорам-переговорам с саркастической улыбкой. Для него все эти бесполезные мольбы были этапом пройденным. Середина 1990-х, ответы «денег нет и не будет» привычны, как заход-восход солнца. Он и сам понимал, что поможет только кто-то крупный и относительно бескорыстный. Печалился, что работы Абеля «разойдутся», и поведал любопытную историю.

После возвращения нелегала в квартиру на проспекте Мира был получен багаж из Штатов. Предупредил мой вопрос властным, нередко потом прорывавшимся: «Только не спрашивайте, как!» Пришли брючки и пиджачки, ботиночки и даже картины. И теперь вот Павел Георгиевич беспокоился за творческое наследие друга.

Как с двумя прошедшими десятилетиями выяснилось —

совсем не зря. Картины Абеля действительно разошлись. Еще поздней осенью 1997 года я видел их в Центральном доме работников искусств на выставке «Разведчики рисуют». Но пролетали годы, уходили люди, а с ними как-то редели и полотна. Кое-что попадалось на глаза дома и на даче Эвелины Вильямовны. Она что-то дарила, часть рисунков, ей не нравившихся, особенно оттуда, из Штатов — страны, название которой в доме не произносилось, она отдавала знакомым. Несколько работ — в кабинете истории внешней разведки. Потом отдавала еще куда-то. Некоторые работы я видел у Лидии Борисовны Боярской. Больше всего понравился автопортрет маслом — написан уже в конце жизни, но рукой твердой, уверенной. В нем — весь Вильям Генрихович: и глаза умные, с какой-то хитринкой, и вид усталого, нелегко прожившего свои почти 70 годков человека. Типичный социалистический реализм в искусном исполнении, только без раздражающей меня фотографичности, без приукрашательств и помпезной праздничной статичности… Но все равно, такова, вероятно, судьба всех полотен, картины меняли с годами владельцев.

Потому и торопился Павел Георгиевич Громушкин. И успел! Все-таки удалось выпустить этот умело скомпонованный, на хорошей бумаге альбом — первый и последний «сольник» разведчика — с его традиционным портретом на обложке и надписью: «Абель. Живопись. Рисунок. Графика».

Громушкин окрестил альбом «скромным долгом памяти и еще, если угодно, — крепким мужским рукопожатием через годы».

Павлу Георгиевичу Громушкину больше всего нравился портрет жены Абеля, Елены Степановны, работа 1969 года — как «последнее прости» рано состарившейся женщине, которой пришлось столько лет ждать, страдать и надеяться. Проглядывают в печальном взгляде и грусть по ушедшему, и некое недовольство: не все, далеко не все сложилось так, как хотелось. А черты оставшейся былой красоты должны вот-вот погаснуть перед неминуемым и близким уже уходом.

Мне же среди всего абелевского многообразия по душе работы американского периода. В них нет, да и откуда, нескольких «зарисованных» березок, типичного леса, хорошо выписанных, однако не удивляющих пейзажей и натюрмортов. Абель-портретист выглядит сильнее пейзажиста советского периода Фишера. Жизнь «там» обогатила новыми знаниями — и страны, и людей, и живописи. Хотел того нелегал Марк или не хотел, но в несколько новом исполнении его картины привлекают еще больше.

Я бы сравнил его манеру с той, что свойственна знаменитому американскому живописцу Рокуэллу Кенту. Лаконичная выписанность, будничная суровость, понимание чужой, постигнутой сущности. Абель пусть невольно, однако учился. Наверное, и не желая, но превозмогал, отбрасывал привычное, вбитое, традиционное. В его рисунках столько симпатии к изображенным на них людям: неудачник с улицы опустившихся пьяниц Бауэри вызывает не меньше интереса, чем рабочий негритянского типа. А портрет безработного написан с точностью разведчика — вот он, прямо словесный портрет. Его притягивал народ простой, бесхитростный. Потому и рисовал, как своих — без всякого гротеска, прибамбасов, ерничества. Краски играют. Они большей частью яркие, хотя типажи довольно нерадостные, схваченные в трудных жизненных обстоятельствах.

В Штатах он рисовал несколько по-иному, чем дома. Привлекал художника народ простой, бесхитростный

Особый цикл — тюрьма в Атланте. Тут не заметил я суицидальной безысходности. Скорее, выписанная точность деталей, которые еще потоньше портретных. Камеры и сокамерники, дворики для прогулок и тюремный быт. Времени было больше, никуда не торопился, филигранная работа карандаша, кисти. Но не убивал часов, лишь бы прошли-пролетели. Везде живинки, детальки, быт в тончайших подробностях, который увидеть можно лишь из внутри камерного «изнутри». Самовыражение, выгодно отличающее его ранние

опыты от этих тяжелых, вынужденных, однако ни в коей мере не трагических…

В тюрьме Атланты он увлекся шелкографией. Начальство не препятствовало. Вообще тут я, а не Громушкин, должен отдать должное американцам — они могли бы и придушить, не давать возможности. Но поняли всю необычность российского сидельца, не стали давить, хотя могло быть по-другому. Абель рисовал и в камере, и в тюремной художественной мастерской. Придумывал и размножал так называемым методом шелковой сетки поздравительные открытки к семейным праздникам и особенно к Рождеству, афишки, сувениры, которые иногда вручались наведывавшимся в Атланту посетителям и контролерам. Тушь и карандаш, перо и прозрачный пластик он использовал с пришедшим с годами и опытом мастерством…

К своему первому тюремному Рождеству он изготовил около двух тысяч открыток с разнообразными сюжетами. И подписывал их тоже на разных языках. Раздавал сокамерникам. Тем нравилось. Тут он и нарисовал березку около своей дачки в Подмосковье. И опять — типично русский стиль и пейзаж, абсолютно отличавшийся от его американского стиля. Когда он рисовал родину, то его новую американскую манеру отрезало будто ножом.

«Занимался живописью, чтобы хоть несколько облегчить и скрасить мою жизнь в тюрьме, — рассказывал он потом другу Паше Громушкину. — В работе я забывался, и время шло не так тягостно».

Россия и США — это два непротивостоящих полюса в его творчестве. Они дополняют друг друга, прибавляют штрихов в художественной манере. Я бы сказал, что именно в Штатах Абель вышел на новые высоты живописца. И что бы ни говорил он приятелю Сильвермену о духе реализма, его жизнь разведчика-нелегала обогатила Абеля-живописца…

Кстати, официально художник Эмиль Гольдфус никогда в США на выставках не выставлялся — не хотел привлекать лишнего внимания. В то же время облик художника Гольдфуса служил отличным прикрытием. Легенда безошибочно работала.

А вот портрет «Эмиля Гольдфуса» кисти Сильвермена появился незадолго до ареста на персональной выставке товарища по мастерской Берта в Национальной академии дизайна. Берт со свойственной лишь художнику наблюдательностью подсознательно схватил то, что девять лет оставалось незамеченным спецслужбами. Художник — разведчик изображен на фоне мощного радиоприемника… И Берт, не подозревая того, давал ключ к разгадке тайной деятельности

истинного друга Эмиля, такого аполитичного, занятого лишь рисованием да изобретательством. В альбом, изданный в России, этот портрет не вошел, зато недавно я нашел его цветное фото…

«Друг Паша» — это разведчик и художник, полковник и заслуженный работник культуры Павел Громушкин, которому и подарен рисунок любимой дачи. Но обратите внимание на дисциплинированность автора: работа подписана «от Р. И. Абеля»

Я вижу рисунки Абеля каждый день, они — на стенах моего кабинета. Успокаивают, дают отдохнуть взгляду реалистичной бесхитростной простотой. Их подарила мне Лидия Борисовна

Боярская — типично наши две его русские березы. Эти крошечные гравюрки Вильям Генрихович преподносил близким с соответствующей надписью на обороте — «На память от Вилли — февр.1966 года». И еще небольшая картина маслом: наш подмосковный цветастый лес, где-то в глубине юноша и девушка, стоящие рядом. В правом углу полустертая надпись — 1948. Вероятно, одна из последних работ, написанных перед отъездом. Лидия Борисовна предполагает: это лесок рядом с их дачей. А третья картина — гуашь с названием из совершенно не нашей жизни. Внизу четким почерком Фишера выведено: «Негритянский квартал гор. Атланты, США». И подпись, удивительная: «Р. И. Абель». Хотя не любил так подписываться, но что делать? Есть у меня основание думать, что зарисовка из американской жизни сделана по памяти в тюрьме Атланты. Потому и подписался, как того требовали обстоятельства.

С Громушкиным мы познакомились поближе. И я понял, почему он был близок Абелю не только по разведке. По интересам тоже. Ясно, и почему Александр Николаевич Зайцев представил мне его как некоторым образом коллегу по журналистике: до 1938-го счастливо и спокойно трудился Павел Георгиевич в журнальных корпусах издательства «Правда», не помышляя о разведке. Рисовал, доводилось ему работать со многими чудесными художниками. Гордился, что «Кукрыниксы, Радов, Борис Ефимов… — это для меня добрые знакомые, не просто знаменитые имена». Но в 1938-м измученной и опустошенной разведке требовались новые силы и не принято было отказываться. Без излишних радостных эмоций — их и не было, уже нашедший свое место в жизни художник, инженер-полиграфист Паша Громушкин дал согласие на работу в органах. И, по-моему, больше никогда об этом не жалел.

Портрет жены Эли сам Вильям Генрихович считал своей лучшей работой

Уже опытный нелегал Вильям Фишер и новичок заметили друг друга еще в 1938-м, и «сразу же между нами возникло дружеское расположение, — писал в своей книге «Разведка: люди, портреты, судьбы» Павел Громушкин. — Нередко разговоры касались творческих вопросов, в частности, рисования. В дальнейшем мне довелось участвовать вместе с ним в подготовке ряда оперативных мероприятий, так что в ходе деловых и личных контактов взаимная симпатия окрепла… Ему была свойственна глубокая внутренняя потребность в самоусовершенствовании. Ум

его был ненасытен, или то был мятежный дух — кто знает. Сам он признавался мне, что может быть по-настоящему счастлив, только участвуя в большом и значимом деле».

Совместное участие в подготовке ряда оперативных мероприятий требует расшифровки. И Фишер — Абель, и Громушкин были художниками. Талант их использовался и на благо разведки. Оба были великими мастерами по изготовлению документов. Не хочется мне добавлять «фальшивых». Первым начинал еще юный Фишер, бравший уроки у большого мастера этого дела австрийца Мартенса. По «их» документам, именуемым разведчиками той довоенной эпохи «сапогами», путешествовали и оседали по всему миру советские нелегалы.

Громушкин принял эстафету. Ох, как не любил Павел Георгиевич вспоминать эту огромную главу своей разведдеятельности! Несколько раз во время бесед у него дома, на одной из Фрунзенских, он расслаблялся, и раздвигались запертые на замок границы и чужие просторы. Но стоило мне показать это рассказанное в письменном исполнении, как начинал гневаться.

Однажды даже написал мне в ответ на мои подробнейшие вопросы: «Вопросник просто замечательный, но, увы, я уже не тот, да и раньше в нашей Службе дисциплина была другая — строже. Мне очень бы хотелось оказать Вам существенную помощь и поддержать… От души желаю закончить Ваш труд и, пользуясь случаем, передаю молодым разведчикам привет от ветеранов и желаю им успехов в их тяжелой работе в XXI веке. Громушкин П. Г. 15.2.2005».

Письмо прямо вещее — особенно про дисциплину и тяжелую работу в новом электронном веке. Но все же с годами и с помощью сына Громушкина, Валерия Павловича, ответов на вопросы постепенно прибавлялось.

Павел Георгиевич был личностью творческой. Он не только почетный чекист — в 1987 году за серию портретов разведчиков ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Когда я пошутил — рисовал, мол, эти портреты коллег, пользуясь служебным положением, Громушкин шутки не принял. Долго объяснял, что хотел запечатлеть героев разведки, товарищей по работе для потомков. А получилось еще удачнее: рисунки Громушкина растиражированы в серии марок «Разведчики». Выставлялись на его персональных выставках, одна из которых, наиболее полная, прошла за несколько месяцев до его кончины в Доме журналиста.

В квартирах наших нелегалов, агентов и разведчиков, героев России видел я на самом почетном месте их портреты кисти

Павла Георгиевича. С ними не расстаются. Кусочек ушедшей эпохи запечатлен и оставлен как раз тем разносторонним и талантливым бытописателем, которому и было дано сотворить такое. К сожалению, это случается нечасто.

С неменьшей, а, быть может, еще и с большей для страны пользой использовались способности полиграфиста Громушкина, волею судьбы отлученного от комбината «Правда», для изготовления чужих документов. Кто только не отправлялся с ними через линию фронта в Великую Отечественную! Пропуска, офицерские книжки Николая Кузнецова проверялись немцами больше сотни раз — а сделал их Павел Громушкин. «Его» обер-лейтенант Зиберт, посланный с краткосрочной миссией, надолго осел в самом фашистском пекле — благодаря Громушкину. Уже в 1980-е один тоже «его» нелегал был выдан предателем. Но документы, по которым он действовал, признаны проверявшей их чужой контрразведкой подлинными. Только никак не могли найти официальных подтверждений, где же они выданы. Это — лучшая аттестация искусства художника-разведчика Громушкина.

Но вот как все это удавалось — неизвестно. Да и не нужно Громушкину было выставлять на обозрение секреты мастерства. Пусть крутится!

Для Абеля тоже он постарался. Знал, не мог не знать всю его легенду досконально. Сидя на диване в своей квартире, увешанной собственными картинами, он раскрепощался. Некоторые наши диалоги о Фишере — Абеле, им выправленные, во много раз твердым пером сокращенные, приведу Речь уже не о художнике Абеле, но грех было не попытать и на иную тему…

— Павел Георгиевич, вы же работали вместе с Вильямом Фишером.

— В одном отделе, но в разных группах.

— Вы наверняка знаете: забрасывали его в военные годы в тыл немцев? Другой ваш знакомый и подопечный Конон Молодый утверждает, что да.

— Конон, я его звал Беном, любил мистификации. А как при его специальности иначе? Немецкий Вилли знал отлично. Но на той стороне вот так, как Кузнецов, он не был. Служил в подразделении у Судоплатова. Его задача — заброска в немецкий тыл разведчиков, диверсантов. В 1944-м, могу представить, что и примеривал в какие-то моменты чужую форму во время радиоигры с фашистами. Он был воспитан в европейских традициях, тут даже актерствовать не приходилось. Потому с обязанностями немецкого офицера, встречающего в далеких лесах заброшенных к нему фашистских разведчиков, диверсантов и солдат вермахта справлялся. Он же их потом и допрашивал, и

перевербовывал.

— Когда точно Фишер был заброшен в США? Разногласий и разночтений тут много…

— Я за этим следил внимательно. (Еще бы! Тут впервые в Северной Америке и проходил паспортный контроль и таможенный досмотр его друг и коллега, к документам которого, думаю, Павел Георгиевич тоже приложил руку. — Н. Д.) Вилли прибыл в канадский Квебек 14 ноября 1948 года на пароходе «Скифия» из западногерманского Куксхафена.

— И во время отпуска в 1955-м вы с ним встречались?

— Конечно. Я его и в обратный путь провожал. Ехали вместе в аэропорт, без жены и дочерей. Отпуск в Союзе прошел хорошо, но в машине был он сам не свой — встревоженный. Разговорились. Он и до этого считал свое возвращение в Штаты нецелесообразным. Навалился возраст, говорил, что теперь не тот, уже перевалило за пятьдесят. А тут совсем откровенно и так грустно: «Паша, стоит ли ехать обратно? В Америке я долго. Очень мне тяжело». Вдруг вырвалось уже во Внукове: «Поездка может стать последней».

— Были предчувствия? Подозревал Хейханена?

— Наверное. Рейно был еще тот фрукт! Пьянствовал, даже с женой дрался. Вилли приходилось не только его сдерживать, но и всю работу Вика взять на себя — такая опасность и обуза. Даже, впервые в жизни это говорю, Вилли тогда заплакал, чем меня несказанно удивил. Не в его это стиле…

— Я был поражен, когда прочитал это в ваших ответах на мои вопросы. Вы пишете, что успокоили его, все пошло нормально.

— Да, и расстались мы хорошо. Был Вилли решителен, спокоен.

— Пишут, что он ехал проверять Орлова.

— Николай Михайлович, ну хоть вы эту ерунду не повторяйте! Хенкин пишет, который у нас в разведке не работал, эмигрировал в ФРГ, и надо же было на что-то жить. Вот и продавал свои измышления. Ну вдумайтесь только, как наша разведка могла отдавать одного из лучших нелегалов за Орлова, ушедшего в 1938-м? Это сегодня мы знаем, что Фишер ни единого человека не выдал, вся сеть осталась. А если бы что-то иное? Вы понимаете, что ради такой ненужной проверки не стала бы рисковать ни одна разведка мира. А наша, в законах которой вообще ни одного из своих разведчиков в плену не оставлять, уж тем более. Отдать своего, чтобы потом потратить кучу сил и обменять? Я напомню вам статью англичанина Кукреджа, где он анализировал ситуацию с обменом Абеля на Пауэрса: «Их разведчики во время допросов и судебных процессов не раз

демонстрировали дерзкую уверенность в том, что их освободят досрочно».

— Меня и не нужно убеждать. Просто хотелось узнать ваше отношение к разгулявшейся версии. Давайте о возвращении Фишера. Когда Вильям Генрихович окончательно приехал после обмена, вы говорили с ним? Как он новую ситуацию в стране оценивал? Уезжал в 1948-м, а тут 1962-й — и XX съезд, и Гагарин в космосе.

— Два совершенно разных вопроса в одном. Давайте по порядку. Мы Вилли с полковником Тарасовым и с начальством встречали. Потом все они уехали, а нас с Тарасовым Вилли и домашние пригласили домой, на новую квартиру. Очень душевно, по-товарищески посидели, откровенно поговорили. Присутствовала только семья. Расстались очень тепло. Потом тоже встречались. Не часто, но не раз. И были откровенны. Я вам на это письмом не ответил, но если это поможет вашим изысканиям…

— Любое ваше слово ценно. Павел Георгиевич, после смерти полковника Соколова вы — последний из оставшихся его друзей.

— Ладно. Не нужны комплименты. Его многое поразило. И в стране, и в органах безопасности. Не понимал, зачем столько людей работает теперь в центральном аппарате. Работу, на которой раньше занято было несколько человек, выполняют десятки. Он этого не понимал. Настораживало и некоторое количество сотрудников, не понимающих, за что они взялись. Он чувствовал, что не на своем они месте. Но такой разговор был у нас лишь однажды и больше к нему мы никогда не возвращались.

Время, реформы жизни и разведки… Мы прошли через разные исторические эпохи. Жизнь, не только у Фишера, прожита невероятная. Оглядываясь, размышляя, отсеивая ненужное, меня посещают и грусть, и горечь. Но гораздо больше радости — я горжусь тем, что мы сделали.

Что ж, прощайте Павел Георгиевич, вы прожили долгую и полезную жизнь. Ушли незабытым…

Один из предметов этой гордости и портрет Абеля — Фишера кисти художника и разведчика, нет, все-таки разведчика и художника — Павла Громушкина. Мы знаем Абеля таким.

Вторая древнейшая: нелегальный вариант

У моего собеседника нет имени. При общении с нашим открытым и болтливым миром оно было бы лишь обузой для действующего сотрудника Службы внешней разведки. Для удобства назовем его Иваном Ивановичем. Он, старший офицер, где-то и в чем-то считающий себя учеником Абеля, после некоторых колебаний все же на встречу согласился.

— Иван Иванович, спасибо за информацию о Фишере — Абеле, которой ваша Служба со мной относительно щедро поделилась. И все-таки, столько осталось многоточий… Разве секреты с годами не ветшают?

— Смотря какие.

— Мне непонятно, почему столько таинственности вокруг двух первых загранкомандировок Вильяма Генриховича.

— Он уже был на нелегальном положении.

— Но это же в начале или середине 1930-х! Или даже в 1920-х!

— Это не потому, что нашей Службе так хочется. Мы можем и сказать, но в тех странах, где он бывал, — поднимут архивы. Так иногда случается даже с давними делами. Потом выходят на нас, и начинается. Бьет по нашим товарищам, которые еще там.

— Непонятно, зачем было брать с собой дочку — совсем ребенка.

— Во-первых, родительские чувства. Во-вторых, ребенок — большое подспорье. Дети оказывают помощь, о которой они сами понятия не имеют. Вдруг что-то надо, и ребенок — это очень хороший предлог кого-то отвлечь или, наоборот, завлечь. Или что-то провезти.

— А из-за чего прервали вторую длительную командировку?

— Только не из-за каких-то неудач. В Москве сразу последовало повышение по службе. О причинах отзыва сведений в нашем архиве нет. Тотчас по возвращении Фишеру было присвоено звание лейтенанта госбезопасности.

— Иван Иванович, легко догадываюсь, что у вас в отделе сложнейший отбор людей, бесконечные проверки. Но как же тогда в разведчики попадают такие, как Рейно Хейханен? Ведь выдал Абеля; по существу, он — алкаш-неудачник. Не верю, что запил ваш майор только в Штатах…

— Тем не менее похоже, что только в Штатах. Могло случиться такое при постоянном нервном напряжении. Особенно, когда неудачно складывается и не идет задание, которое предстоит выполнить. А у Вика не шло. Нервы, транс… Ну что

здесь, кажется, такого: провести тайниковую операцию? Но это же требует определенного напряжения, на каком бы положении ты ни находился. А если на нелегальном, то напряжение колоссальное. Прежде чем выйти на операцию, человек все время проверяется, есть наблюдение или нет. Это же надо пережить. И какая ответственность! Ведь можно просто потерять информацию, как Вик потерял однажды полую монету с тайником, которую потом случайно нашел какой-то мальчишка, и она стала еще одним свидетельством против нас. Малейшая оплошность — и провал не только твой. Любая операция наносит разведчику большой моральный и, я бы сказал, физический ущерб. Когда Вильяма Генриховича арестовали, ему исполнилось уже 54. Тут тоже бывают срывы. А у Хейханена они пошли-поехали один за другим. Денег из-за выпивок не хватало, начались скандалы в семье. Человек, скажем так, был морально не готов к выполнению задачи.

— Почему же тогда за все эти неудачи Хейханену было присвоено звание подполковника?

— Искали способ, как его вывезти, хотели успокоить. Обычная практика.

— Но вскоре Вика успокоили навеки. Он погиб года через четыре после суда над Абелем. Смерть странная: непонятная автокатастрофа. Это случайно не вы?

— Нет. Может быть, американцы сами решили избавиться от такой ноши? Они его всего высосали, а человека пьющего надо содержать, кормить. Скорее всего, это сделали их спецслужбы — в то время они подобное практиковали.

— А сейчас нравы более гуманные?

— Черт его знает… Там все-таки законы суровые — обычно не церемонятся.

— Иван Иванович, но и вы, мне почему-то кажется, тоже не очень церемонитесь. Чем их угрозы, подкупы отличаются от отечественных?

— Такие методы, возможно, использовались контрразведкой. Не знаю… Работала она менее деликатно. У нее, действующей в собственной стране, свои подходы. Не путайте две службы — во внешней разведке запрещены шантаж, спаивание, у нас это наказуемо. Всегда — или почти всегда — только убеждения!

— И вы не платили за поставленную информацию?

— Многие, кстати, ничего не брали. Например, группа «Волонтеры» принципиально работала без всякого вознаграждения. Вообще, подавляющее большинство сотрудничало с нами по идеологическим соображениям.

— Сегодня идеологии нет. Остались ли источники?

— Они есть. А тогда были сильные цели и некоторые такие источники, что сами могли бы полностью содержать нашу разведку.

— И на чем же строились отношения?

— Главное — на личной симпатии. Это первая завязка. На общности взглядов. Иногда со своими помощниками бывает очень жалко расставаться, до слез обидно, и им тоже. Привязываешься.

— Но на Западе народец порациональнее нашего.

— Не весь. Зависит от национальности. Многие на прощание говорят: будем работать, если снова приедешь ты. Здесь действует и личное обаяние.

— Знание языков тоже кое-что значит?

— Языком надо владеть очень хорошо. Первое, что отталкивает, — это корявость, паршивая грамматика. Ну, не отталкивает, а сдерживает общение. Второе: проявлять высокомерие недопустимо. Третье: надо искренне уделять внимание.

— А подкуп — это уже четвертое?

— Какой подкуп? Оплата. А почему нет? Сделал дело — пожалуйста, плати. Некоторые знают мало, располагают сведениями только на данный момент. Если разовая информация, то и оплата разовая.

— Даже так?

— Бывают иногда такие случаи.

— Но обычно какими-то важными сведениями располагают, как я понимаю, люди, сидящие где-то наверху?

— Не всегда. Информация ведь может даваться не постоянно или раз в жизни.

— А уж если она последовала, то за первым разом идет и второй?

— Отнюдь нет.

— Вы же нажимаете, прихватываете…

— Не наш метод. К тому же — обоюдоострый. Что значит прихватить? Сначала ты его, а потом он тебя. И подстава тут может быть. Так часто случается. Подкидывают тебе фиктивный источник.

— Затраты у нелегалов, должно быть, немалые?

— Затраты эти сильно преувеличены. Каждый выезжающий, как и везде, имеет средства на свою зарплату. Знает точно: получаю столько-то. И тратит свои деньги на еду, одежду. Хочет — экономит. Не хочет — не экономит. Это личное дело. Есть и другие средства — только на работу. Абель и в этом отношении был образцом. Отчитывался точнейше.

— Интересно было бы посмотреть, какая тут может быть

отчетность.

— Финансовая. Строжайшая. У него все было до копейки, если в этом случае позволительно так сказать, рассчитано. В оперативные средства никогда не залезал.

— А родным такого человека, от дома оторванного, помогаете?

— Полагается. И медицинское обслуживание, и отдых. Жена Вильяма Генриховича все четырнадцать лет получала его зарплату.

— Иван Иванович, в документах, вашими коллегами предоставленных, наткнулся на любопытные сведения. Нелегально работая в США, Абель побывал в отпуске и задержался дома чуть не на полгода. Как такое возможно?

— Ну, иногда во время операции мы выводим нелегалов в отпуск…

— Каким образом? Разве можно взять и извлечь человека из жизни на долгий срок?

— Придумываются всякие хитрости, я бы сказал — выстраивается целая судьба.

— А без этого нельзя? Или от дикого напряжения человек ломается?

— Через два-три года разрядка необходима. Без этого очень сложно работать. Разрабатываются легенды, которые бы оправдали отсутствие.

— Все-таки на десятый год нелегальной работы даже такого гениального разведчика, как Абель, арестовали. Была ли необходимость рисковать его жизнью, держать там Марка так долго? Он не чувствовал, что вокруг него сгущаются тучи?

— Нет. Все было благополучно. Если бы не Вик, он бы, конечно, трудился и дальше. Но нелегалы работают только с полного своего согласия. Устал, иссякла энергия, нет активности, возникли домашние проблемы, иные доводы — прерывай командировку. В первую очередь во внимание принимаются интересы лица, выехавшего на работу. А главный закон разведки — если тебе что-то грозит, выезжай. Бросай все, ни на что не обращай внимания. Ничего важнее безопасности разведчика нет! И последнее: в какую бы беду ни попал, будет сделано все, чтобы тебя выручить.

— Почему же при этом благоговейном отношении к разведчикам среди них не было героев Советского Союза? Даже Абелю такого звания не присвоили.

— В то время среди нелегалов героев не было. В 1930— 1960-е годы разведчик мог получить орден — максимум. Даже медали юбилейные «ловили» редко. Их больше стали давать в 1970-е. А

сейчас, как вы сами прекрасно знаете, герои есть.

— Позвольте спросить: каково место Абеля в этом геройском ряду?

— Каждый выполняет то, что нужно. Однако Вильям Генрихович, наверное, один из самых сильных.

— Если «один из», следовательно, есть и были разведчики такого же ранга?

— Были. Тоже нелегалы. Я вам о конспирации рассказывать не стану — и так понятно. До тех пор, пока человек работает, и хорошо, он абсолютно неизвестен. Если бы не предательство, то имя Вильяма Генриховича Фишера известно было бы лишь горсточке сотоварищей… Вот и Конон Трофимович Молодый тоже бы оставался в полной тени, если бы не провал… Поймали, с колес на Западе вышла книга, в которой рассказывалось о Лонсдейле и его помощниках. И все равно об этом великом разведчике и сегодня многое недосказано. Наблюдается в этой работе определенный парадокс: вот ушел Абель, и ничего о нем нет — ни одной снятой на родине документальной кинопленки, кроме кадров из художественного фильма. Жалко!

— Понимаю, что вы высокого мнения о коллегах. Но не будете отрицать, что тот же Абель провален своими? Хотя в те годы предательство было небывалой чрезвычайностью. Зато сегодня, в новые времена, к кому только ваши сотрудники не перебегали…

— Проблема серьезнейшая. Обратите внимание на то, когда разведчики уходили: в годы сталинских репрессий, потом при Хрущеве тоже несколько человек соскочило и потом уже при «перестройке», при резкой перемене политической ситуации. Я ненавижу изменников, однако представить, какое психологическое давление уехавший туда испытывает, пожалуй, могу. Нервного срыва не исключаю.

— Но на полковника Олега Гордиевского, кажется, не давил никто. Тем не менее он сбежал в Лондон…

— Предал и сознает это. Страшно быть предателем! Как бы ни описывал себя Гордиевский в своих книгах, я уверен, что у него до конца жизни кошки на душе будут скрести.

— Слышал, будто ему все-таки разрешат вернуться?

— Ерунда! Сам не приедет, даже если разрешат.

— Но жена-то к нему уехала.

— Слава богу! Правда, сейчас они официально развелись.

— Согласитесь, люди теперь сто два раза подумают, стоит ли оказывать вам помощь, если в Службе попадаются такие, как Гордиевский.

— Нам лишь в последние несколько лет стало легче. А

раньше, особенно в начале 1990-х, когда работали там, все это морально давило. И вы, журналисты, на нас нападали. Ну, скажите, было такое в США, в Англии? Взяли и огульно записали нас в НКВД.

— А вы тогда не поспешили объяснить разницу между НКВД и Службой внешней разведки…

— Теперь объяснили. Но по-прежнему все говорят о репрессиях НКВД и КГБ и никто не упоминает о репрессиях против разведчиков. Вы знаете о судьбе резидентов, которые были отозваны в Москву перед войной? Почти все погибли. А что было после смерти Сталина, когда в 1953 году Берия решил вывести всех руководителей разведки из-за границы? Трагическая судьба: лагеря, тюрьмы. Или возьмите 1938-й, когда всех увольняли, расстреливали…

— Но поставьте даже Абеля в теперешние условия, и работать ему…

— Ему было бы тяжелее жить! Вильям Генрихович был человек абсолюта.

— Иван Иванович, и под занавес последний вопрос: сейчас в мире все же потеплело. Долго ли осталось существовать вашей профессии?

— Потеплело — и прекрасно. А профессий древнейших в мире две. Какую из них поставить на первое место, сказать не решаюсь, и обе до сих пор в цене. Не знаю, как насчет девичьей, а наша не исчезнет до тех пор, пока будут существовать государства — хотя бы и с единым строем. Чего греха таить: требуется научно-техническая информация. Англичане интересуются французами, те — американцами. Разведки не работают против народов чужих стран. Они трудятся ради интересов собственной державы, и, значит, наших с вами. Не то что скоропостижной, а вообще кончины разведслужб не предвижу. Древнейшей профессии суждено таковой и остаться.

Банионис ничего не знал, но играл прекрасно

Народного артиста СССР Донатаса Баниониса было довольно легко разыскать в Паневежисе, где он тогда по-прежнему играл в родном театре. Актер, исполнивший в 1968 году роль разведчика Ладейникова в фильме «Мертвый сезон», отвечал на вопросы с легкой ностальгией.

— Скажите, Донатас, вы были знакомы с полковником Абелем лично?

— Я абсолютно честно говорю вам: не знал об Абеле ничего. Видел его издалека единственный раз на премьере «Мертвого сезона».

— А с его коллегами познакомились? Были же у фильма консультанты…

— Я этих консультантов-разведчиков не встречал. Хотя был один: приехал на съемку, когда мы снимали обмен на мосту. Мне этого человека показали и сказали, что это Конон Лонсдейл и якобы я его играю. Он вернулся в Советский Союз и, рассказывали, пишет свои мемуары о том, как работал там. Я Конону говорю: «О, Господи, вы совсем не похожи на разведчика». Действительно, он такой… не киношный. Конон посмеялся и ответил, что какой бы он был разведчик, если был бы похож. И говорит мне: «Вот вы такой же, как я». Это его замечание стало для меня как бы утверждением, что я смогу сыграть то, что мне приятно: судьбу человека. Но режиссера Савву Кулиша консультировали, контакт с разведчиками он и сценарист Владимир Вайншток имели. Потому что когда я что-то спрашивал, мне отвечали: «Да, твой прототип говорил то-то и то-то».

— И как вам в том фильме игралось? Роль-то по тем давним временам была не из обычных…

— Сценарий был написан как боевик. Но так играть я не согласился. Мне думалось, что важнее показать человека, который действительно пережил большие потрясения. Был разведчиком, его поймали, посадили в тюрьму, потом обменяли, и он вернулся. История трагическая. Играть мне было интересно. И мы стали менять сцены. Снимали отдельными кусками не то, что написано, а то, что я предлагал: не героическую ситуацию, а судьбу пострадавшего человека, которому трудно, который еще не знает, что его ждет после возвращения домой… Это ближе к жизни и правде! В «Мертвом сезоне» мне было очень хорошо

играть: режиссеры сильные, партнеры тонкие. И героический сценарий мы переделали в человеческий. Был даже момент, когда после просмотра отснятого материала руководство «Ленфильма» хотело закрыть картину, а меня с роли снять.

— Но почему?

— Дескать, я не героический тип, а простой человек, которого народ не полюбит. Художественный же совет решил оставить все как есть. И потому я вспоминаю «Мертвый сезон» с удовольствием. А был там Абель или Лонсдейл, меня не интересует. Все равно после возвращения на родину они были засекречены…

Что ж, спасибо, Донатас Банионис. Может, время выступить со своими сугубо личными воспоминаниями и мне? Случаются в этой жизни совпадения — известный сценарист Владимир Вайншток, больше известный под псевдонимом Владимир Владимиров, бывал у нас дома. С моим отцом, журналистом и киносценаристом, автором еще довоенного «шпионского» фильма с придуманным папой названием «Граница на замке», они были в отношениях добрых. Рассказчиком Вайншток был отменным. Вот и о фильме «Мертвый сезон» говорил немало, правда, никогда не называя настоящих фамилий своих героев. И как человек доброжелательный, к отцу моему с симпатией относящийся, пригласил на громкую премьеру. Народу — толпы, и нежданное, по тем временам сенсационное начало фильма, когда в первых кадрах показали «настоящего Абеля». Сразу по рядам побежало: Абель в зале. Отец быстренько подошел к Вайнштоку: «Может, познакомишь с героем? Будет о чем написать для “Известий”». Вайншток испуганно замахал руками…

Рецензия отца вышла, сценарист благодарил его за хороший отзыв, только о знакомстве речи больше не заводили — да, такое уж было время…

У Абеля не было «мертвых сезонов»

Владимир Петрович Вайншток-Владимиров бывал в доме Абеля, став если не другом, то близким приятелем всей семьи. Вильям Генрихович, как и многие, любил «анекдоты от Вайнштока». Остроумный, всегда пребывающий в хорошем настроении и легко сходящийся с людьми, автор известных фильмов типа «Детей капитана Гранта», к написанию сценария о разведчиках подошел очень серьезно. Ему, как уже упоминалось, удалось привлечь в качестве консультантов двух настоящих нелегалов — Абеля и Конона Молодого.

Пробежало столько лет. Многих действующих лиц той истории уже нет с нами. А меня вдруг разыскал сын Владимира Петровича — Олег Вайншток. Мы встретились, познакомились, поговорили.

— Олег Владимирович, а как ваш отец называл своего героя — по правде или как того требовали обстоятельства?

— Конечно, отец знал настоящее имя, но всегда обращался Рудольф Иванович. Я же о настоящем имени узнал намного позже.

— Как они познакомились? Вряд ли — захотел, пусть и известный сценарист, свидеться с разведчиком и, как говорят французы, вуаля, пожалуйста!

— Думаю, это было после картины «Перед судом истории», которая очень понравилась в Комитете госбезопасности. И отцу порекомендовали, хотите — посоветовали, переплести в «Мертвом сезоне» биографии двух разведчиков-нелегалов. В месяцы написания сценария его представили Абелю, потом папа часто у него бывал в квартире на проспекте Мира.

— Вы считаете, что биографии переплетены? Мне представлялось, что фильм в основном о судьбе Молодого, работавшего в Англии.

— Переплетены. Это совершенно точно.

— Что же там абелевское?

— Абелевское? Давайте возьмем сцену обмена. Точно так меняли Абеля налетчика Пауэрса. Или та фраза, которую произносит Банионис, игравший главного героя, — о том, что он служил в немецком штабе.

— Вы действительно считаете, что Абель служил в немецком штабе? Меня уверяли, что такого не было, архивных материалов и других подтверждений нет. Или не сохранилось…

— Сути дела это не меняет. Он служил в немецком штабе, и реплика^Баниониса о том, что сначала командовал Гальдер, а

потом Йодль, указывает конкретный штаб — оперативный штаб сухопутных сил Германии.

— Есть ли тому подтверждение в документах?

— Подтверждением, косвенным конечно, не документальным, может служить признание Рудольфа Ивановича моему отцу. Это было уже после выхода книги Кожевникова «Щит и меч». Так вот Абель говорил, что он мог вытащить бумажник из кармана Гитлера, которого видел в среднем один раз в месяц.

— Здесь меня многое смущает. Я пытался изучить по месяцам и по годам, где бывал Вильям Генрихович во время войны. Читал его письма близким, записывал то, что мне рассказывали Эвелина Вильямовна и Лидия Борисовна. Там нет таких вот временных «промежутков» для достаточно длительного внедрения.

— Я верю рассказанному отцом. Он был очень точен в словах, в оценках. Рудольфа Ивановича уважал исключительно.

— У них сложились отношения чисто деловые: сценарист — герой — консультант фильма. Или более теплые?

— Отношения были очень дружественные. У нас дома много рисунков Рудольфа Ивановича, включая новогодние открытки, которые он сначала сам рисовал, а потом писал на них поздравления.

— И странно: подписывался почти всегда Абелем.

— Именно так. Мы с отцом бывали у Абеля и на даче. Первый раз во время съемок, зимой. Там был любимец Рудольфа Ивановича — сиамский кот, который сидел на шкафу возле двери. Каждого входящего он бил лапой по голове. У папы волос не было, и ранки, скажу я вам, оставались достаточно глубокие. Рудольф Иванович очень любил курить папиросы. Одну за другой. И все время что-то вертел в руках. Это не ручка была, какие-то предметы.

— А как он вас называл?

— Вы не поверите — Августейший! Ко мне очень надолго прилепилось это имя, так меня, совсем мальчишку, называли во дворе. И Рудольф Иванович тоже. Позже меня переименовали в Чингисхайма, мама-то — татарка. Как-то зимой я прожил у них три месяца на даче. Отец считал, что мне в том юном школьном возрасте пора было определяться с будущей профессией. По предложению Рудольфа Ивановича меня послали туда, на дачу — чтобы пожил там, набрался самостоятельности, чтобы ко мне пригляделись. Было это где-то в конце 1960-х…

— И как общались с Рудольфом Ивановичем?

— Он смотрел, как у него на даче я выполнял школьные домашние задание. Нужно было — помогал. Каждое утро, как и я, ездил в Москву на электричке. Я в школу — раньше, он на службу

— чуть позже.

— Бывал я на даче. От станции все-таки прилично. И тем более зимой…

— Но мы ходили, ничего страшного. Меня папа держал в очень большой строгости. И Рудольф Иванович был человек серьезный. Он все время чем-то себя занимал. Не сидел без дела. Дома носил простые брюки — но не тренировочные, а удобные, широкие. Обычно фланелевые рубашки темных тонов, тапочки. Много читал… Меня поселили внизу, слева было что-то типа кухни. Справа стояла клетка — в ней ворона с перебитым крылом.

— Звали Карлушей, как рассказывали мне дочери.

— У Рудольфа Ивановича складывались хорошие отношения с кошками, собаками, животными.

— Правда ли, что он говорил с акцентом?

— Иногда, когда что-то его, видно, расстраивало, легкий акцент проскальзывал. Я назвал бы его прибалтийским. Так говорят по-русски прибалты. Но это — в редких случаях. В «Мертвом сезоне» он сам себя озвучивал.

Был и более поздний период встреч. Это когда у отца случился инфаркт и он лежал в реанимации — первый этаж шестого корпуса института Склифосовского. А в Москве карантин из-за гриппа. По-моему, самое начало 1970 года. И никого не пускали. Но когда пришел Рудольф Иванович — никаких препятствий. Был он в своем пальто серого цвета с каракулевым воротником. Принес в авоське продукты и две бутылки, заткнутые розово-фиолетовым напальчником. Он сказал отцу, что это сок черноплодной рябины, который очень помогает.

— Как же он в реанимацию да еще при карантине прошел?

— В этом и феномен! Никто из сестер даже не остановил его. Потом моя мама, которая работала в другом отделении Склифа, все интересовалась, как же пропустили. И медсестры отвечали: были уверены, это какой-то сотрудник из Склифосовского. Или врач, профессор, который пришел осмотреть отца.

— Тихий человек, проходивший сквозь стены…

— Тихий и совершенно неприметный. Абсолютно неброский. Отец просил Савву Кулиша повторить образ Рудольфа Ивановича именно в одежде Банионисa в «Мертвом сезоне» — и там строгая белая рубашка, галстук, никаких выпендрежных вещей. Но я помню, как он жаловался отцу, что после «Мертвого сезона» его стали узнавать в электричке.

— Для съемок в фильме ему сделали нашлепку. Я сначала думал, чтобы не узнали враги. Но все было прозаичнее — нельзя было в те годы сниматься в кино лысым. Вот Рудольфа Ивановича

и загримировали. Вообще мне Эвелина Вильямовна рассказывала, что первая серия им с Беном — Молодым нравилась, потому что напоминала то, чем они действительно занимались, а вот вторая, с погонями… Абель считал, что там, где начинаются погони и стрельбы, разведка заканчивается.

— Картину «Мертвый сезон» вообще запускали как одну серию, а Саввой Кулишом был снят материал аж на четыре. В титрах папа стоит как автор сценария под фамилией Владимиров. Но он принимал активное участие в монтаже.

— Были какие-то замечания, творческие споры?

— Я помню одно. Папа пригласил Конона Трофимовича на киностудию на приемку сценария. Идет худсовет, все редакторы, которые читали сценарий, высказывают свои замечания. И по мере этого Молодый закипает. Это когда редакторы говорят, что, мол, так разведчик не поступает и какой порядок содержания заключенных в английских тюрьмах, надо бы уточнить. Спрашивают даже, проконсультировались ли сценаристы со своими героями. И тут Бен не выдержал. Он вскочил и сказал: «Эта картина обо мне!» — «Скажите, пожалуйста, вы уверены, что в английских тюрьмах не такой порядок?» — «А вы сами в какой сидели?» — «А я сидел в этой, в этой и в этой». На этом обсуждение закончилось. Вот это я точно помню.

— Абель ничего не рассказывал? Не давал советов?

— Я был поздним ребенком, избалованным, в семье единственным. И папа говорил всегда, что я знаю три слова: дай — хочу — купи. Может, тогда Рудольф Иванович это почувствовал. Сказал мне тогда на даче, я это запомнил и до сих пор ему благодарен: «Даже когда человек остается один, он не имеет права грустить. Должен находить себе какое-то занятие и чему-то себя посвящать. Я тоже находил». Это один из уроков Абеля. Так сложилась жизнь, что эти последние годы я живу далеко, в зарубежье. И эта школа Рудольфа Ивановича помогает.

— Что еще расскажете о Рудольфе Ивановиче напоследок?

— Я не знаю, насколько это верно, но, по-моему, он был обижен тем, что остался полковником. Как-то вдруг поведал отцу грустную и страшно обидевшую его историю. Когда его не было в СССР, вдруг пришли на дачу какие-то люди, хотели выселять дочь и жену. Представляете, его нет в Москве, а двух любимых людей выселяют. В последний момент они остались. У него были свои взгляды, свои строгости. Когда болел и лежал в госпитале, не позволял колоть морфий. Боялся заговорить? Это осталось с тех времен, когда был нелегалом? Сохранился у этого очень сильного человека некий внутренний стопор.

Персей всплыл в британских водах

Моррис Коэн и Владимир Барковский ошиблись в своих утверждениях. Оба уверяли меня, что никто и никогда не узнает, кто же скрывался под кличкой Персей, кто передал Леонтине Коэн ценнейшие чертежи атомных разработок из Лос-Аламоса. Считается, будто он сообщил важнейшие данные о запуске цепной реакции в атомной бомбе и он же якобы раскрыл для Курчатова секрет обогащения урана. Венцом его карьеры советского агента стала предоставленная информация о точной дате первого испытания атомной бомбы.

Есть довольно расхожая версия о том, что именно Коэн и завербовал Персея — ее мне излагал с некоторыми экивоками и сам Моррис. В 1996 году версия разрушилась, не выдержав проверки временем. Американцы, как я уже писал, все же обнародовали четко доказанное: они во многом расшифровали коды советской разведки. И потому в Штатах были уверены, что жив еще один из самых главных участников тех событий — доктор Теодор (Тед) Эдвин Холл, псевдонимы — Персей и Млад.

В 1996 году ему исполнилось 70. Американец, биофизик, муж преподавательницы итальянского и русского языков по имени Джоан и отец троих детей. Жил в Англии неподалеку от Кембриджа, где мирно преподавал биофизику до выхода на пенсию. Страдал от рака желудка и болезни Паркинсона.

Он не собирался возвращаться на родину в США, предпочитая оставаться в маленьком английском кирпичном домике. Да и опасно: в годы Второй мировой войны Холл занимался такой деятельностью, по которой срок давности, согласно американским законам, не ограничен.

Почему его считают Персеем и как он стал им? Был членом Лиги коммунистической молодежи и талантливым студентом. Голова, напичканная знаниями. Мысли о всеобщем равенстве и ненависть к фашизму. Как полагают в Штатах, с агентом НКВД американским журналистом Сержем Курнаковым он познакомился по собственной инициативе, а тот, получив добро из Москвы на вербовку юного ученого из Лос-Аламоса, передал его Юлиусу Розенбергу. В свою очередь Розенберг свел его с руководителем «Волонтеров» Моррисом Коэном.

В 18 лет способного парнишку привлекли к работе над атомным проектом в Лос-Аламосе. У него и университетского-то диплома еще не было, зато здорово варили мозги. Теда приметил сам Оппенгеймер. Давал персональные задания и покрывал мелкие грешки: Холл совсем не отличался пунктуальностью,

опаздывал на работу, отказывался носить полувоенную одежду, на голову напяливал какую-то непонятную ермолку, а не военную пилотку, как было положено.

Не правда ли, это наводит на мысль, что Холлу ничего не стоило перепутать день встречи с Лоной Коэн, специально приезжавшей к нему из Нью-Йорка в далекий Альбукерк, чтобы забрать папку с чертежами атомной бомбы? Он путал даты встреч и забывал пароли. Но риск, которому юный и беспечный физик подвергал себя и связников, оправдывался бесценной информацией, им передаваемой.

Теперь немного о псевдонимах: Персей, Стар, Млад… Под каким из них скрывался Теодор Холл? Действительно, в хитросплетениях можно было и запутаться. Теду присвоили сразу два — Персей и Млад. Второе «имя» и объясняло юный возраст. А третий псевдоним — Стар — принадлежал совсем не Холлу. Был у Млада — Персея и свой персональный связник. Друг по университету Сэвилл — Сэв — Сакс разделял его взгляды и убеждения. Он на несколько месяцев постарше Теда, и потому в нью-йоркской резидентуре ему присвоили псевдоним Стар. Сэв — Стар и выехал на первое свидание с Младом в Альбукерк.

Оба при встрече нарушили все правила безопасности, которые только можно было нарушить. У Стара вообще была манера яростно жестикулировать и довольно громко разговаривать с самим собой на улице. Тем не менее Сэв благополучно доставил в Нью-Йорк двухстраничный, исписанный мельчайшим почерком Теда отчет о критической массе, полученной в лаборатории Лос-Аламоса после первых испытаний. А на вторую встречу с Младом отправилась жена Морриса Коэна — Лона…

Как вы помните, Вильям Фишер также внес свой посильный вклад в работу с Младом. После войны такое случалось нередко — агенты, честно сделавшие свое дело, по собственной инициативе отходили и от разведки, и от коммунизма. Но уговорщик Марк сумел убедить Млада, что надо еще немного продержаться, атомные тайны по-прежнему нужны. Уж не знаю, какими словами уговаривал резидент юное дарование еще немного потерпеть и поработать. Но, отлучив от прямой связи с американцами Коэнами, замкнул его на себя, заставил быть вместе. Не одного же великого Капицу было убеждать в необходимости трудиться ради Советского Союза? И еще неизвестно, где больше потребовалось искусство уговорщика…

Теперь, когда точки в этом сугубо документальном повествовании потихоньку расставляются, многое становится понятно. Ясно, к примеру, почему Моррис в разговоре со мной

называл Персея «мальчиком, парнем, молодым ученым». Понятно, почему был столь осторожен — знал, видно, старина Коэн, что его подопечный Млад еще жив.

Когда в 1950 году часть кодов американцы с трудом, но все же расшифровали, на молодого физика пала первая тень, и через год агенты ФБР допрашивали его по подозрению в шпионаже. Вряд ли Холла не арестовали тогда за нехваткой улик, как пытаются теперь представить дело. Скорее, не хотели вспугнуть остальных агентов, боялись выдать себя, ведь советские разведкоды по-прежнему действовали. Как, впрочем, и советские агенты. А Персей на допросе держался твердо. Сержа Курнакова, чью фотокарточку ему тыкали под нос фэбээровцы, опознавать отказался дважды.

Наверное, эта твердость и смущала. Розенберги, как и Холл, все отрицали, однако улик против них было больше, чем против молодого гения. На стул усадили их, второстепенных действующих лиц, к атомному проекту отношения не имеющих. А один из главных героев этого «дела века» отделался относительно легко — ФБР взяло его под надзор. Наступил новый этап в жизни Млада. Связи с советской разведкой постепенно замораживались, да и оперативная ценность Холла уменьшилась. Это косвенно подтверждается и высказываниями Барковского. Ученый действительно переехал в другой город: трудился в Чикагском университете.

Контакты с советскими разведчиками и их агентами прекратились. В августе 1949 года у русских появилась своя атомная бомба, и некоторое время спустя Тед — Млад — Персей посчитал, что его миссия исчерпана. Если подвести ей краткий и жесткий итог, то можно считать, что переданные Холлом сведения позволили Советскому Союзу быстро перейти к созданию бомбы на заводах, перескочив через мучительно долго преодолевавшуюся американцами стадию экспериментального производства. Вот что сделал для нас юный Теодор Холл, призванный к концу войны в армию США и дослужившийся там до звания сержанта.

С 1962 года началась новая жизнь. Вместе с семьей и тремя детишками Тед Холл, сохранивший американское гражданство, переезжает в Великобританию. В Кавендишской лаборатории Кембриджа ему удается сделать несколько выдающихся открытий в области биофизики. Но кто в наше время слышал о великих ученых, если только они не лауреаты Нобелевской премии?

Мирное существование Холла было нарушено после обнародования в середине 1990-х годов расшифровок. К нему зачастили корреспонденты. Посыпались просьбы об интервью. А

он болел, отказывался, соглашался на встречи лишь при условии, что его не будут расспрашивать о годах в Лос-Аламосе, долгое время так ничего существенного не говорил журналистам. Мягкий и страшно больной человек, доживающий свои дни в тишайшей провинции. Хотя из некоторых фраз кое-какой вывод все же напрашивался. Он ненавидел ядерную гонку и осуждал не только американского президента Трумэна, но и Рейгана, пытавшегося, по словам Холла, загнать русских в угол своей программой «звездных войн». Они с женой были членами движения за ядерное разоружение. Работать на нас больше не работал, а верность, уважение — сохранил.

Короче, он оставался тем, кем был: нашим агентом Персеем и Младом, и молчал, не давая повода усомниться в его преданности собственным идеалам.

Лишь незадолго до смерти, в 1998 году, Теодор Холл нарушил «обет молчания». Да, возможно, в 19 лет он был слишком молод и самонадеян. Не знал многого и не слышал ни о каких «сталинских репрессиях». Однако измены не совершал — разве в годы Второй мировой войны СССР и США не были союзниками, боровшимися против общего врага? Да и послевоенные события подтвердили, что не будь у двух стран ядерного паритета, дело могло бы закончиться атомной войной. «Если я помог избежать этого сценария, то соглашусь принять обвинения в предательстве интересов моей страны», — сказал он.

Закончу эту главу описанием маленькой сценки. Никогда мы с моими собеседниками не сюсюкали, не обливались слезами. Даже в моменты утрат, когда один за другим уходили герои этой книги, держались стойко, иногда поминая ушедших. Но тут рассказал я одному старому разведчику о смерти Теда. И этот мой несколько суровый человек, мой друг, разрыдался.

Прибежавшая в комнату супруга принесла сначала валидол. Потом нитроглицерин. С. был не склонен к сентиментальностям. Он сам уходил долго и тяжело, одновременно проклиная свои болезни и посмеиваясь над ними. Меня звал «Колькой». Иногда по ходу разговора мог гордо развеяться стаканчиком, а не рюмочкой: он долго жил там и признавал в основном виски. А тут рыдания…

Мы сидели, молчали. Жена С. успела, и как следует, выговорить мне, что ни к чему соваться с неприятными новостями. Сам же С. успокоился нескоро, все повторял: «Какой был парень, какой парень… Был у меня на связи». Потом кое-что рассказал, вспомнил подробности — но это так, для моего общего понимания…

Рядом с дядей Вилли

Лидия Борисовна Боярская, урожденная Лебедева, много рассказывала о приемном отце.

Мне показали то первое его письмо из американского плена, что подписано фамилией друга — «Рудольф Абель». Быть может, и не дошло время до цитат — на послании пока все тот же гриф секретности. Но не должно быть тайной, что оно написано человеком патриотичным, неунывающим, трогательно любящим своих близких.

После нескольких лет безвестности, полного отсутствия муж и отец пишет жене и дочери. Каллиграфическим почерком — ни единого неразборчивого слова, отправитель на очень понятном английском просит не переживать за него. Трагические события его жизни излагаются, будто какие-то обыденные явления, случающиеся с каждым. Получилось так, что попал в тюрьму в США. Приговорен, это как бы между прочим, к тридцати годам. Чувствует себя неплохо. А если и волнуется, то только за жену Элю и дочку Лидию.

Вот это меня и смутило… С 1993-го был я знаком с Эвелиной Вильямовной, единственной, как был уверен, дочерью Фишера. Но почему в письме приветы дочери Лидии и столько вопросов о ней? Ошибка? Вряд ли. Конспирация? Но какая же странная.

— Да нет, ничего странного, — объясняет Лидия Борисовна. — Дядя Вилли никогда не терял ни головы, ни самообладания. У моей скончавшейся несколько лет назад двоюродной сестры редкое для России имя — Эвелина. А то, что американская разведка совсем не дремлет — это точно. Там, в США, понимали: попалась им в руки фигура крупная. Сколько таких разведчиков могло быть в Союзе? Пять? Десять? Двадцать? И по необычному имени дочери, по сопоставлениям, экскурсам в прошлое могли бы догадаться, что какого-то замухрышку в Штаты не пошлют и арестовали они советского нелегала Фишера, не раз работавшего за кордоном. А Лидия, Лидушка, так ласково называет меня в этом письме дядя Вилли, — типично наше, распространенное. Через меня им было на него никак не выйти, и мой приемный отец понимал это. К тому же, когда он писал «дочь Лидия», и на Лубянке, и мама Эля знали: это точно от него, никакой подставы. Тут нет игры с американской стороны: никто наших семейных историй с удочерением знать, конечно, не мог.

— Вы были прямо как пароль. А вам приемный отец писал письма?

— И он, и мама Эля. Иногда такие строчки: «Лида

разбаловалась, совсем перестала слушаться». Или: «Скоро у Лиды день рождения, надо хороший подарок».

— Лидия Борисовна, а как вы оказались в семье Фишера?

— Я — урожденная Лебедева. Мама Эля, Елена Степановна Фишер, — сестра моего родного отца Бориса Степановича Лебедева. Человек неплохой, но пил горькую. Работал шофером. Родную мою маму Александру Васильевну Звереву я помню плохо. Жили с отцом и матерью в самом центре, в Благовещенском переулке — комнатушка в доме гостиничного типа. Рассказывали мне, что мама — женщина красивая, простая, особой интеллигентности в ней не было. Трудилась завхозом в санатории. Умерла от туберкулеза легких в 1932 году, когда я еще в школу не ходила. С той поры взяла меня к себе ее родная сестра. Я всю жизнь до замужества прожила с ними. Пять человек: дядя Вилли, мама Эля, Эвуня, так я зову Эвелину, я и еще моя бабушка со стороны мамы Эли и моей мамы плюс любимый терьер Спотик — в коммуналке, в двух смежных комнатах на Самотеке, во 2-м Троицком переулке. Кроме нас там жили еще две семьи. Но ничего, помещались. Мама Эля и дядя Вилли работали, мы с Эвуней учились, бабушка занималась хозяйством. Дядя Вилли всегда уважительно называл нашу бабушку Капитолиной Ивановной. А уже потом дяде Вилли дали отдельную двухкомнатную квартиру на проспекте Мира. Я с ними всегда была прописана и сына Андрюшу родила на проспекте Мира…

— Как вы все там помещались? Такая теснота! Со стороны Вильяма Генриховича — благородно…

— Такой он человек. До войны мы ютились в крошечной квартире, но не чувствовали себя чего-то лишенными. Маленькая комнатуха, где жила я, была перегорожена шкафом.

Тут же стоял письменный стол для уроков, напротив — моя кровать. С другой стороны шкафа спала Эвуня. Пространство за шкафом в семье называлось «закуток» — это была личная территория дяди Вилли. Когда он был дома, то в основном возился в «закутке» со своей радиоаппаратурой. Она непрерывно издавала разные звуки, свист и гул, врывались обрывки азбуки Морзе. В «закутке» непонятно каким образом умещалось множество железяк, трогать их категорически запрещалось.

— А есть ли какие-то семейные предания о том, как познакомились Вилли Фишер и Елена Лебедева?

— Не предания, а история одной вечеринки. Владимир Робертович Расс, товарищ дядя Вилли по радиороте, в которой они служили в 1925-м, пригласил друзей на вечеринку. Сестра Володи — Татьяна Расс — привела свою подругу Элю, с которой

они жили в одном доме на улице Грановского. Зашел и Вилли Фишер. А в результате знакомств на той вечеринке вскоре появились две семейные пары. Одна — мама Эля и дядя Вилли.

— По воспоминаниям вашей сестры, Эвелины Вильямовны, знаю, что жили небогато.

— Жили бедно. Дядя Вилли…

— …Вильям Генрихович Фишер, он же Абель…

— …Был человеком светлым, бескорыстным, всегда нуждался. А меня все равно взяли к себе. Помню, до войны надо было пойти на какой-то прием, так у него даже костюма не было. И мы занимали деньги у друга — Рудольфа Ивановича Абеля и его жены тети Аси, чтобы купить нечто более или менее приличное. Нам, девчонкам, все перешивали из каких-то старых пиджачков. Мама Эля была очень хозяйственной, дома все в порядке идеальном, хорошо вязала, шила. И в музыке талантливый человек. Арфисткой была прекрасной. А в Норвегии, куда они втроем с Эвелиной поехали в свою первую командировку, набрала учениц, создала маленькую школу балета. Эвелина там тоже занималась. А вот жили в Москве очень скромно.

— Но ведь Вильям Фишер все-таки работал в органах, был там чуть ли не лучшим радистом. Почему такая бедность?

— А вы смотрите, сколько иждивенцев, которые не работали! Откуда деньги брать?

— Случались ли какие-то праздники, посиделки?

— На Новый год всегда наряжали елку. Справляли в основном по-семейному. Папа его уже умер, а мать дяди Вилли, Любовь Васильевна, всегда приезжала с праздничным английским пудингом.

— Неужели английские традиции сохранялись чуть ли не до самой войны?

— Как видите. И по той же традиции пудинг всегда подавался на стол горячим. Вы знаете, я бы все же заметила, что английских традиций придерживались во всем. Была в семье некая сдержанность, чувств не выдавали, держались достойно и скромно.

— Ну а другие гости собирались?

— Изредка. В основном — сотрудники по работе. Было время между довоенными командировками, еще до увольнения дяди Вилли из органов, когда они приходили чаще. Накрывался праздничный стол. Без всяких излишеств, зато хорошо сервирован. И вкуснотища — всем нравилось. Мама Эля была мастерица готовить.

— Выпивали? Или Вильям Фишер был аскетом?

— Я бы не сказала. Пили в основном сухие вина — «Цинандали», «Напареули» — и в небольших количествах. Иногда дядя Рудольф (Абель. — Н. Д.) приносил бутылочку коньяка. За столом в основном разговаривали. Чтобы петь? Может, изредка, что-то не припоминаю. Случалось, играли на струнных. После войны играть стали почаще. У нас, детей, был свой отдельный стол. Вот где было крику!

— Лидия Борисовна, Фишеры вас официально удочерили?

— Все время хотели, но знаете, как мы привыкли — тянем-тянем, все руки не доходили. Но когда к нам приходили гости или кто еще, дядя Вилли всегда говорил: это моя старшая дочь, а вот эта — младшая.

— Вы постарше Эвелины?

— На шесть лет. Мне мама Эля говорила: почему не зовешь папой? А я привыкла «дядя Вилли» и не могла переступить, папой назвать. Такой он был человек — добрый, уважаемый, правда, иногда вспыльчивый, но никогда не злопамятный.

— Видел немало самых разнообразных фотографий вашего приемного отца. Но как он все-таки выглядел внешне? Не могли бы дать, как говорят разведчики, словесный портрет?

— Физически выглядел не очень здоровым. Выше среднего роста, худощав, всегда покашливал. Курил много: в молодости — трубку, потом — «Беломор». Почти всегда немногословен, пустых разговоров не любил. Как бы человек в себе. В общении с посторонними неизменно вежлив. Но абсолютно не сентиментален, скорее сдержан. Совсем был не спортивен. Плавать — никогда не плавал, зато любил ходить, собирать грибы. Уже после возвращения из США в бадминтон мы на даче играли. И здесь в дяде Вилли просыпался азарт.

— Что рассказывал вам приемный отец о себе, о работе?

— Свои мысли дядя Вилли особо не высказывал. Про работу никогда не вспоминал — так, несколько слов. Заводили разговоры о политике, а он этого очень не любил. Если говорили что-нибудь не то, тотчас вставал, бросал еду. На даче уходил к себе, наверх…

— В командировки за границу вы с ними не ездили?

— Нет, уезжали мама Эля и Эвелина плюс брали кота с собакой. А я оставалась в квартире одна с бабушкой. Нельзя было столько людей за собой тащить. Кажется, первый раз они поехали в одну из европейских стран, в Норвегию. Жизнь здесь, в Москве, была трудная, и присылали нам оттуда боны, были такие, слышали? Мы с бабушкой шли в магазин на Сретенке, Торгсин, в нем в обмен на золото и эти боны покупали вкусную-вкусную селедку, что-то еще. Не забывали, присылали боны,

поддерживали. И нашим родственникам тоже немного оставалось. Бабушка Капитолина так всегда радовалась. Она в жизни много чего повидала. Была акушеркой, принимала роды у жен богатых купцов. А ее покойному мужу, медику, присвоили дворянский титул. Но в то, советское время бабушка Капитолина — уже на пенсии, как тогда говорили, «иждивенка». Ей купить селедку в Торгсине и еще чего-то понемножку для себя и внучки — радость. Потом ходили в кино, тут же около магазина. Я смотрела, а бабушка минут через пять засыпала, сопела. Не представляю, как бы и на что мы жили-выживали без мамы Эли и дяди Вилли.

— Вы знали, чем занимался отец?

— Понимала, где он работает, но без подробностей. Знаю его ближайших товарищей. Самый лучший друг — дядя Рудольф Абель. Еще Женя Андреев с женой Ниной. Но он в войну как сгинул. Куда-то его послали и — исчез. Был еще такой Кирилл Хенкин, с дядей Вилли они познакомились, как мне кажется, не во время войны, а еще до нее. Их семья долгое время жила во Франции, потому Кирилл отлично знал французский. Тоже не простая история. Отец Хенкина был актером, а дядя, Владимир Яковлевич Хенкин, народным артистом, веселил правительство на всех государственных праздниках. Мать Кирилла, Елизавета Алексеевна, из дворянского рода. Помогала французскому подполью. Приехала в Москву, и их семья получила квартиру в правительственной высотке на Котельнической набережной. В войну Кирилл учился у дяди Вилли на радиста или нечто в таком роде. Но не получилось. Мы тогда все оказались в эвакуации, и подробности как-то затерялись. Кирилл устроился работать переводчиком французского на иновещании. Жена его, помню, пробивная такая женщина, очень советскую власть не любила. Они уехали в Мюнхен на постоянное место жительства, и Хенкин трудился на радио «Свобода».

Он в Мюнхене написал книгу про Вильяма Генриховича Фишера — «Охотник вверх ногами». Я от нее не в восторге. Автор уверял, будто еще до отъезда Вилли признавался ему, что «едет проверять Орлова». Того самого сбежавшего от Сталина резидента, который, по мнению некоторых, никого не выдал, а по утверждению других — все-таки выдал. К чему было дяде Вилли его проверять, подставляясь ради этого арестом? И хотя Орлов своего старого радиста американцам не выдал, отношусь к нему, да и к Хенкину, без всякой симпатии. А вот Эвелина, несмотря на хенкинскую книгу, относилась к Кириллу с пиететом.

Эвелине он откуда-то из Германии до последних лет названивал. Сестра умерла, а он звонил, не знал, что она уже

ушла. Теперь вот скончался и Хенкин… Но были люди, которые остались, с которыми семья и дядя Вилли дружили годами. До войны и после оставался Вилли Мартенс-младший, взрослые его звали «Маленький».

— Это сын того самого австрийца, который наладил в ЧК производство всяческих документов — по ним выезжали разведчики-нелегалы. Лидия Борисовна, давайте к знакомым полковника Фишера вернемся попозднее, а сейчас о войне: как ее пережили?

— В эвакуацию в 1941-м в Куйбышев мы всей семьей поехали в вагонах-теплушках… Но любимого пса тоже прихватили. Приехали, и дядя Вилли исчез по своим обычным делам, кажется, готовил радистов. Устраивались мы без него. Потом, по-моему, был в партизанском отряде. Мама Эля попала в Куйбышеве в театр оперетты, она ведь хорошая арфистка, окончила консерваторию. А мы с Эвелиной и бабушкой остались в городке Серноводске. Жили в каких-то домах типа общежития. Мне было 17, и с учебой как-то после переезда из Москвы не складывалось. До школы ли, когда вокруг громыхает? Зато я была деятельной, энергичной. Иногда поручали мне достать грузовик, что-то перевезти. И доставала — не знаю почему, но люди мне всегда шли навстречу, помогали. И были мы все такие патриоты-комсомольцы. Я пошла в военкомат и говорю: хочу на фронт добровольцем. Не взяли: мне только 17. Сказали, что, учитывая желание, пришлют мне повестку через год. В марте у меня день рождения, и я моментально в военкомат: всё, мне 18 уже исполнилось, и 30 мая призвали. Бабушка плакать. Мама Эля тоже: как ты могла так сделать, ничего никому не сказала, папа расстроится. Он и правда огорчился. А меня привезли в Новороссийск. Полгода училась и окончила на отлично радиошколу в Кутаиси, и меня прикрепили к командному флагманскому пункту Черноморского флота. И дальше так и пошло, куда флагман — туда и я. Прослужила до конца войны.

— В каком звании?

— Краснофлотца. И тут, когда еще служила, собеседование с людьми из Смерша. В конце войны, чуть не в День Победы, приехал молодой офицер-смершевец: отбирали они работников для Москвы, тех, у кого было, где в столице жить, потому что приказ — никакой жилплощади не выдавать, и так не хватало. Преимущество — москвичам, и мы, несколько человек отобранных, согласились. Повезли нас в Москву. Потом полгода учебы и восемь лет работы в органах. Уволилась в звании лейтенанта.

— Почему уволились?

— Потому что у меня муж там же. Занимал значительный пост. И когда в 1953-м или 1954-м вышло указание, что нельзя вместе и мужу и жене работать в органах, то я решила: уходить мне. Я устроюсь, а муж кроме этой работы ничего не умеет. Пошла после стольких лет в армии и в органах на гражданку. Пристроили в военную академию химзащиты, где долго была заместителем начальника отдела кадров.

— Лидия Борисовна, на этой фотографии у вас весь китель в орденах и медалях. Это за КГБ или за войну?

— Только за войну — и ордена, и медали, а за КГБ ничего не давали.

— Как отнесся дядя Вилли к тому, что кто-то из семьи пошел по его стопам?

— Он был всегда против. Однажды и у Эвелины была такая возможность — во время его отпуска, когда он вырвался из США в 1955-м. Дядя Вилли сказал: одного человека на семейство хватит. Да и Эвелина не проходила по здоровью. Она закончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков и устроилась переводчицей английского в журнал «Новое время». Со мной другой случай. Я домой им написала письмо из армии, что скоро буду в Москве, преподнесу один сюрприз. И вся семья подумала, что я жду ребенка. Приехала не беременная, и дядя Вилли сразу: что происходит? Я ему: буду работать в органах, уже учусь. Ничего он мне не сказал, хотя воспринято это было без энтузиазма.

— С Вильямом Генриховичем наверняка можно было и посоветоваться насчет такой работы.

— Я как-то стеснялась. Однажды он спросил меня: «Лид, кем ты у нас?» А я засмущалась: «Дядя Вилли, даже вам не скажу, подписку давала». Вот дурочка. Так и не сказала. А он засмеялся.

— Вы знали, что он скоро уедет на долгие годы?

— Говорили глухо-глухо: отец готовится к отъезду… И мне все было понятно. Не догадывалась, что в США, но понимала — едет в длительную командировку.

— Перед отъездом в Америку собирали семью, как-то прощались?

— Уезжал тихо, без всяких прощаний, потому что не надо было этого делать.

— Письма из Штатов приходили?

— Он писал на маму Элю очень коротко, и нам приносили, передавали. А мама ему тоже так же. Однажды и я приписала. Не знаю уж, разрешалось это или нет.

— Вы догадывались, что он нелегал?

— Конечно. Из Америки он один раз, я вам говорила,

приезжал в отпуск. Нам привез подарки, Эвуне и мне, одинаковые.

— И что за подарки?

— Часы ручные и по отрезу панбархата, тонкий такой. Часы у меня до сих пор… Затем дядя Вилли исчез. Начались какие-то домыслы, пошли разговоры, будто его посадили. Мама Эля говорила: «Смотрят косо, словно он предал родину». Знаете, очень трудно, когда на тебя вот так смотрят. Но потом все это переросло в сочувствие: люди слушали радио «Свобода», появились какие-то статьи в чужих газетах об аресте. В нашем поселке старых большевиков в свое время многих пересажали — почти у всех родственники сидели, и потому люди, такое пережившие, очень тонко все понимали. А знакомые сострадали вместе. На нашей улице с самого возникновения поселка поселилось много старых большевиков из латышских стрелков. Их столько по тюрьмам и ссылкам! Конечно, они, в шестидесятые вернувшиеся и не сгинувшие, сочувствовали. Или до начала войны каких-то людей еще из ленинских времен вдруг объявляли эсерами, троцкистами, куда-то увозили. У всех, почти у всех, родственники помучились. Сколько же народу перемололо, редко у кого близкие не пострадали…

— Давайте о более светлом. В 1962 году ваш отец вернулся домой. Вы тогда на обмен в Берлин с Эвелиной и матерью не поехали. Почему?

— Так кто ж меня бы отпустил? Вернулся дядя Вилли после стольких лет работы, тюрьмы — и встреча дома. Никаких пышностей и вечеринок. Даже старых друзей не звали. Хотелось вместе, только мы своей семьей и еще двое его друзей. Дяди Рудольфа Абеля уже не было — умер. И вот, смотрите: Абеля теперь — ну, настоящего — везде упоминают.

— Он подполковник разведки, столько орденов, и особенно за войну…

— Но никто не знал, где его могила. Ко мне приходили, и я их возила недавно. Похоронен он с женой на Немецком кладбище. Умер от сердечного приступа, жена Ася скончалась в пансионате для престарелых, там и жила, потому что детей у них не было. Осталась только племянница.

— Был и племянник, Авангард Абель. Ветеран войны, жил в Волгограде.

— Мы его звали Авка. Он у нас на даче в первые месяцы войны жил. Озорной такой мальчишка, мы с ним дружили.

— Лидия Борисовна, а что рассказывал Вильям Генрихович о тюрьме? Жаловался на порядки, на американских уголовников?

— Никогда! И никого не честил. А про уголовников — только

то, что учил их французскому, и некоторые действительно научились. Еще о том, что рисовал в камере — давали ему рисовать, я видела его картины, рисунки, наброски. Там стояли его кисти. Человеку фактически грозило пожизненное заключение, это могло выбить из колеи любого. А он рисовал, научился шелкографии.

— Ничего не говорил о новой работе на Лубянке?

— Даже не знаю, как вам сказать. По-моему, обижался, что той, своей основной, работой больше не занимается. Читал лекции молодым. А мог бы и больше. Но как только Эвуня начнет говорить, что вот это и то плохо, он спокойным таким голосом ее поправлял.

— А с кем он общался? Рассказывают, дружил с Кононом Молодым…

— Дружил? Возможно. Хотя Конон был гораздо моложе. Нет, встречались они нечасто. Сблизились на съемках фильма «Мертвый сезон». Помните? С кем дружили, так с Коэнами. Ездили мы всей семьей к Лоне и Моррису. Иногда и Коэны к нам наезжали. Моррис был добрейшим человеком. Общались они все время на английском. И взаимопонимание осталось отличное еще с тех времен, когда Коэны работали в Нью-Йорке с дядей Вилли. Дружили до самых последних дней. Но с нами Моррис говорил и по-русски. С акцентом, но друг друга понимали. Это было уже после возвращения… А еще до войны на Самотеке в нашем же доме жила худенькая австрийка Ивонна. Заходила к дяде Вилли, и так подолгу они беседовали. Легко догадаться о чем: она тоже из разведки. Потом оттрубила 18 лет на лесоповале, но прожила жизнь долгую, умерла лет восемь назад в какой-то республике. Еще появлялась в ту пору красавица Милена — болгарка или венгерка. Я тоже так понимаю, что по работе. И муж ее мелькнул пару раз и быстро пропал, думаю, арестовали.

— А чем занимался Вильям Генрихович, когда его внезапно уволили из органов?

— Нашлись добрые люди, которые помогли. Жил в первом подъезде нашего дома инженер Женя Брохис. По-моему, он и устроил дядю Вилли на завод после 1938-го. Мой приемный отец был человеком, который не умел скучать, с удовольствием находил для себя много дел. Не мог и не умел сидеть просто так. Рисовал, по самоучителю освоил гитару, да так, что мог играть Баха. О радиоделе вы знаете, но были и высшая математика, и фотография, и литература, когда он написал повесть, пьесу…

Играл в шахматы с соседом — захаживал к нам такой журналист Степан Архипович Чумак. И когда дядя Вилли работал на заводе, то возвращался домой вечерами не поздно и частенько

они с Чумаком засаживались за шахматами. И тоже до войны, когда появилось больше времени, все соседские дети-школьники ходили к нам домой. Получали от дяди Вилли разъяснения по всем предметам: математике, физике, химии, иностранному языку, музыке… Из соседнего дома регулярно наведывался мальчик Толик — интересовался радиоделом. И дядя Вилли ему подробно все разъяснял.

— Уверен, Толик и предположить не мог, что занимается с ним лучший специалист по радиоделу в советской разведке.

— И занимается, и еще снабжает разными радиодеталями. Он и к Толику, и к другим был требователен, как к себе. Заставлял всех, кому помогал, по многу раз переделывать работу, если она оказывалась смазанной. И так до тех пор, пока не достигалось нужное качество. За что бы ни брался, подходил к делу серьезно, изучал предмет досконально и учил этому других. Сердился, когда люди делали что-то тяп-ляп. Относился с уважением к тем, кто свою работу освоил досконально, и был готов поучиться у них, неважно, профессор это или рабочий. После американской тюрьмы чувствовал себя устало. И редкий раз у него не получилось: появилось неосуществимое желание заняться гравюрой. Уже и пластины для офортов получил в подарок от друга мамы Эли — был такой профессор Академии художеств из Ленинграда, Левин. Однако не вышло, здоровье было не то. Но чтобы сидел без дела — нет! На даче топил печи, выгребал уголь, канализацию очищал. Не считал себя всезнайкой, обожал постигать нечто новое. Научил Эвуню шелкографии, наверху устроил для этого мастерскую. И плотничать любил. Вы же были у нас на даче, и ту беседку он построил своими руками. А для Эвуни сооружал какие-то фонтанчики — прямо там, где сидели ее цветы, вода била, а фонтанчик маленький, симпатичный, с бассейном. У меня рос сынишка Андрюша, и по четыре-пять месяцев мы жили на даче. Дядя Вилли не особенно любил маленьких детей, даже не то что не любил, а относился к ним как-то равнодушно, не понимал он дошколят. Мне кажется, они его даже раздражали. Но дети подрастали, вылезали из коляски, и интереса, любви к ребятишкам у него сразу прибавлялось. Помню, мой Андрюша все пытался пускать кораблики, а они у него ломались. Смотрю, дядя Вилли пошел в сарай, серьезно взялся за инструмент и через несколько часов приносит сынишке кораблик: «Иди сюда, Андрей. Вот, дарю тебе корабль, но ты смотри, с ним аккуратно». Через 30 минут корабль был сломан, а дядя Вилли обижен. А еще он пристрастил меня к кроссвордам.

— На каком языке решал их?

— На любом — русском, английском — моментально. Во

время обеда, смены блюд, не мог терять время. Всегда что-то читал, решал — и с какой скоростью! Но все замечал и подмечал. Помогал многим — советом, рекомендацией, чем только мог. Ему было безразлично, занимает человек какое-то положение, нет ли. К маме Эле ездила заниматься на дачу девочка-арфистка Ниночка. Ее мама готовила к музыкальной школе. Ниночка ее закончила, собиралась поступать в консерваторию. Но арфы у нее не было — слишком дорогой инструмент. Мама Эля привезла арфу на дачу, и эта девочка приезжала, занималась с мамой по два-три часа. Моталась туда-сюда. И тогда дядя Вилли предложил: не дело это так мотаться, собери, Нинуля, какие-то необходимые вещи, поживи у нас. Предложение было принято, и она у нас прожила все лето. И в консерваторию поступила. Конечно, ни о какой плате за уроки речи идти не могло. Ниночка потом играла в Свердловском театре оперы и балета. Жил тут на даче профессор, специалист по Индии — вместе они много времени проводили, даже сдружились. Такой был дядя Вилли человек. Вы не поверите, но я расскажу вам о Карлуше. В доме всегда было по две-три кошки, собачки разные. Он какую-то дворняжку нашел, так она только его признавала. Нет ни одного его письма, где бы в конце дядя Вилли не спрашивал, «как чувствуют себя “животы”» — животные, и всегда передавал им приветы. Из сочинского санатория «Приморье» в августе 1964-го пишет мне: «Бишку (собака) и Тайку (кот) погладьте. А Карлуше дайте лакомку».

— Кто такой Карлуша?

— Карлуша — это ворон. И птички, собачки и кошки отвечали дяде Вилли той же любовью. Карлушу принесли нам соседи со сломанным крылом, и мы всей семьей во главе с дядей Вилли птичку выходили. Ворон так его любил, что только дядя Вилли, возвращаясь с работы, заходил на нашу улицу и сворачивал в переулок, как Карлуша уже все чувствовал — подпрыгивал, каркал. Мы знали: папа идет домой. Иногда Карлуша садился к нему на плечо. Не хочу идиллий, но дядю Вилли все любили. Вся семья была славная. Как бы я без них справилась? Даже когда замуж вышла, помогали. Лежу в роддоме на проспекте Мира, и мама Эля мне письмо: «Скорей, доченька, выходи. Я уже кроватку приготовила». Какое-то одеяло шелковое сама настегала, все распашонки на руках шила, чтобы швы ему, маленькому, не врезались. Я боялась малыша купать, он так пищал. А мама Эля: «Ты что, боишься? Давай вот так…» Учила меня многому, помогала. Как и дядя Вилли — всем родственникам жены помогал, чем только мог.

— В каком году родился у вас сынишка?

— В 1959-м. Потом дядя Вилли приехал, и ему предложили улучшение жилищных условий, ведь в двухкомнатной квартирке благодаря моему Андрюше людей прибавилось. Хотели заменить эту на трехкомнатную. Все дома посовещались, и дядя Вилли, чуткий бессребреник, попросил: «Если вы можете, то нельзя ли мою старшую дочь отселить с ребенком в какую-нибудь небольшую однокомнатную?» Муж-то был прописан у родителей. И дали нам ордер на Вернадского. Если бы не дядя Вилли… Он не о себе просил, обо мне. И никогда не пользовался своим именем. Напрочь отсутствовало в нем это, как и коммерческие таланты. Всем делал только добро. Всем. Всю жизнь прожили душа в душу.

— Как вы думаете, такое отношение к людям, умение найти с ними общий язык, помочь — это не от профессии? Не от разведки?

— По-моему, это от души. Не уверена, что в разведке работают сплошные ангелы, точно нет. Просто некоторым дано, иным…

— Лидия Борисовна, остался ли кто-нибудь еще, кроме вас и сына Андрея, хорошо знавший Вильяма Генриховича? Понимаете, я встречал немало с ним друживших. Но почти все ушли…

— Да, время идет. Наверное, я — из самых последних. Муж мой тоже ушел в 68 лет. Еще маму Элю лечил очень приятный врач, напоминающий иногда Дон Жуана. Наша семья с Борисом Олеговичем Толокновым познакомилась, такой был веселый, одаренный, доктор чудесный и художник тоже. Часто он и его знакомая Лиля Михайловна, жена певца Бернеса, заезжали к нам на дачу. В основном все знакомые были от мамы Эли. Еще есть такая медсестра — Света. Негде ей оказалось жить, и мама Эля с дядей Вилли предложили нашу дачу. Она два года там прожила. И к нашей семье потом отношение трепетное. И сейчас медсестра Света жива. Когда дядя Вилли умирал в онкологической больнице, он кроме нас подпускал только ее…

Эпилог

— Лидия Борисовна, а вы знаете, как он умер?

— 8 октября 1971-го к Эвуне надень рождения приехали на дачу гости. Я тоже там была и даже не заметила, что с дядей Вилли происходит что-то плохое. Был он, как всегда, приветлив, на болезнь его ничто впрямую не указывало. Тут и собранность, и воля железная. Но вскоре ему стало плохо, положили в онкологическую больницу.

А за день до смерти, 14 ноября, мы с Эвуней дежурили в его палате. Дядя Вилли лежал один, и около него постоянно находился сотрудник из разведки. Дядя Вилли был без сознания, состояние — ужасное. Судя по всему, мучили его ужасные сны. Нам казалось — моменты ареста, допроса, суда… Он все время метался, стонал, хватался за голову и порывался встать. Даже упал на пол, и мы втроем не смогли его удержать. В сознание он так и не пришел.

Скончался 15 ноября 1971 года.

Некролог тоже необычный.

Даже после смерти настоящего имени разведчика Вильяма Генриховича Фишера до поры до времени раскрывать не стали. Вот отрывок из некролога в «Красной звезде» от 17 ноября 1971 года:

«…Находящийся за рубежом в тяжелых и сложных условиях Р. И. Абель проявлял исключительный патриотизм, имел выдержку и стойкость. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и многими медалями.

До самых последних дней оставался на боевых постах…»

Приложения

Семейные хроники

А потом мы разбирали семейные архивы.

Сколько фотографий, документов, писем. Есть даже свидетельство о браке В. Г. Фишера и Е. С. Лебедевой № 2416 от 7 апреля 1927 года.

Среди бумаг и короткие записи дочери Эвелины Вильямовны. Приведу их без купюр и редакторской правки. Они такие искренние, что ни в чем таком не нуждаются.

«Воспоминания отрывочные. Основные, в закутке папа, у нас была такая комната маленькая, поперек шкаф, и там был буквально такой закуточек, где у него стоял приемник, и он там целый день сидел за шкафом, с радиоаппаратурой, из которой несется невероятный хрюкающий шум, множество непонятных железок, которые трогать было нельзя. Если мама Эля там убиралась, то потом был скандал. Реже папа за мольбертом. Фотографии, первые уроки рисования. Учил давать сдачи мальчишкам.

В эти годы контакты редкие. Первые уроки рисования и общение со сверстниками. Младших не обижать, старшим и мальчишкам давать сдачи. Помощь в школьных занятиях. Математика, физика, химия, музыка.

Всегда готов прийти на помощь. Все соседские дети получали разъяснения по математике, физике, химии, иностранному языку, музыке. Вспыльчивый характер, больше трех раз подряд объяснять одно и то же не мог, начинал сердиться, и это нас очень развлекало.

Немного молодежи из нашего дома приходили консультироваться по курсовым работам, дипломным проектам и т. д. Высокая требовательность к самому себе и к людям. Заставлял по многу раз переделывать работу, пока не достигалось нужное качество.

Честность, отсутствие коммерческих талантов. Это уже точно. Украли карточки, решили продать на рынке яблоки. В результате яблоки разобрали, а денег почти никто не заплатил.

В последние годы чрезвычайное разнообразие интересов, профессиональный подход к любому увлечению. Музыка, живопись, фотография, математика, астрономия, астрофизика, столярные работы, кулинария, рыбная ловля. Любознательность во всем, отношение к людям — главное, их личные качества.

Ценил честность, серьезное отношение к делу, глубокие интересы, доброту. Осуждал корыстолюбие, верхоглядство, чванливость и жестокость. При внешней суровости большая чуткость и доброта. В семье сдержанный, никаких сентиментальностей».

Родословная

О роде Фишеров — в деталях в начале повествования. Здесь же еще раз коротко напомню о непосредственных героях этой книги.

Тут особая благодарность Лидии Борисовне Боярской. Без нее никогда бы разобраться в родственных связях, семейных именах, сложных отношениях.

В свои 86 Лидия Борисовна «расшифровала» наиболее интересные письма. Переписала их в две отдельные тетрадочки. По моей просьбе четким и разборчивым почерком поделилась своими воспоминаниями о приемном отце и всех родственниках и многих знакомых. Все это приводится в приложении. Огромная вам, Лидия Борисовна, благодарность!

«Родители моего приемного отца Вильяма Генриховича Фишера:

Отец — Фишер Генрих Матвеевич.

Мать — Фишер (Корнеева) Любовь Васильевна.

Два сына Генрих (Гарри) и Вилли (Вильям)».

Главное действующее лицо нашего повествования Вильям Генрихович Фишер родился в Англии в городе Ньюкасл-он-Тайн.

Уж если так подробно рассказал о семействе Фишеров, то неплохо бы упомянуть и о родственниках его супруги Елены Степановны Лебедевой, 1906 года рождения. В семейных именах, забавных, а иногда и ласкательных, без Лидии Борисовны Боярской мне было никак не разобраться. И однажды во время очередной встречи у нее в Измайлове попросил коротко написать о родственниках. Ну никак не шла работа без этой родословной. Да и письма из семейного архива читались трудно, я несколько терялся в именах и событиях.

И Лидия Борисовна пришла мне на подмогу. Она человек позитивный, понимающий, отзывчивый. Редко таких встретишь. Завела огромную зеленую тетрадь в клетку и ровным, круглым, хорошо понятным почерком составила своеобразное древо семьи. Записала, как кого звали и как друг к другу обращались. Припомнила несколько эпизодов из жизни дяди Вилли и мамы Эли. И даже переписала в тетрадку их письма. Всё или почти всё

это привожу в книге, оставляя бесхитростный стиль. Правки здесь ни к чему.

Итак, семья Лебедевых.

Бабушка и дедушка Капитолина Ивановна и Степан. В семье бабушку, бывшую акушерку, называли Копа, а мать Вильяма Фишера Любовь Васильевну — Буля. Семья Лебедевых — из Осташкова, куда летом и до, и после войны любили ездить отдыхать все члены рода Лебедевых и Фишеров.

Дети Лебедевых

Елена Степановна, 1906 года рождения. Ее, жену Вильяма Генриховича, называли только Эля и никогда — Еленой или Леной. Выпускница Московской консерватории, арфистка.

Серафима Степановна, которую называли Морэн, работала в органах. Это она рекомендовала туда переводчиком Вильяма Фишера — мужа сестры Эли.

Клавдия Степановна, ее прозвали Кобулька, всю жизнь прожила в Калининской области, работала фармацевтом в аптеке, где заведующим был ее муж.

Борис Степанович — отец Лидии Борисовны. Работал шофером. Воевал на Ленинградском фронте.

Иван Степанович во время войны одно время оставался в блокадном Ленинграде. Скончался в больнице в Новосибирске 7 января 1942 года.

Из писем

1929 год, после рождения дочери Эвелины

Вильям Фишер — жене Эле

«Дорогая Эля! Очень рад, что у тебя все благополучно. Как мне сказала мама, 8-го родилась дочка. И я сразу подумал: “Что же я буду с ней делать?” И сейчас не знаю. У нас на службе (Фишер уже в органах. — Н. Д.) думали, как мне ее назвать. Говорят, нужно что-нибудь короткое. Я предлагаю — Рада или что-нибудь вроде. Можно и твоим именем. В общем, это не важно… Мама думает, что ее можно назвать Элеонорой или Эвелиной.

Твой Вилли».

Письмо Вилли Фишера — жене Эле

«…Я сейчас в Семипалатинске, только что вернулся из 500-верстной поездки в старом автомобиле. Был сильный холод, но я был в валенках и тулупе, т. что было не так страшно. Был я в горах, в ауле, но снимать не удалось из-за холода. Мне очень хочется повидать дочку. Как она растет? Ведь ей должно быть уже

3 мес…»

В 1929–1930 годах Вильям Фишер мотается по командировкам. И из каждой — письмо своей Эле. В послании из Тифлиса он неожиданно берется за описание красот Кавказа. В письме из Хабаровска от 7 августа 1929 года просто извещает: «Ну вот я и в Хабаровске…» Далее следует: «… В Ростове мы осматривали завод Сельмашстроя, потом Табачную фабрику.

Осталось поехать на Днепрострой и в Харьков и 10 вечером мы будем в Москве».

Примерно в это же время поработал во Владивостоке и Сталинграде.

1930-е годы

Письмо Вилли и Эли Фишер своим близким в Москву из Норвегии

«Добрый день, мои родненькие!

Конечно, как водится, мы от вас опять ничего не имеем. Очень и очень жаль, но ничего не поделаешь, будем опять ожидать… У нас пока всё хорошо, все здоровы, всё благополучно… Единственная печальная действительность — это рождественские подарки и гости, а нам сейчас это совсем будет не кстати, а придется… Уже очень много разговоров “а вы что дарите такому-то? такой-то? Я дарю то-то и то-то…” Приятно было бы подарить близким, а здесь дарят всем, даже если ненавидят друг друга, но все же дарят ради приличия… Ужасно глупо… Вот, мои родненькие, такие-то дела…

Мои дела пока без изменений за малыми исключениями… Буду в декабре играть на концерте со скрипкой. Сейчас явилась возможность поучиться аккомпанировать, это очень интересно, да и полезно, так что я очень рада этому обстоятельству. Неприятность есть тоже, ужасно болят руки, когда играю, успокаивают тем, что (арфа. — Н. Д.) очень большой тяжелый инструмент.

…Эвуня растет не по дням, а по часам, как говорится, и развивается, только здорово худеет, вытянулась и похудела, думаю, это рост, но все же немного волнуюсь. У нас на шейке ниже ушек очень увеличены желёзки, совсем легко можно прощупать шарики — это нехорошо… Надеюсь, что летом мы опять сумеем ее поправить и укрепить. А сейчас она гулять не любит, едва сумеем уговорить и то на пять минут и аппетит плохой. Ну, вот и все наши новости. А теперь так бы хотелось узнать, как вы там живете… Что у вас нового? Как здоровье? Всех-всех без исключения…

Пишите все подробно, все мелочи, это все так интересно для нас… Мы каждый день слушаем радио от вас и Ленинград, знакомы с вашим житием. Это тоже немного успокаивает. Ну вот, кажется, и все, что могу написать, да и приходится кончать, т. к. уже поздно и папа должен ехать. Целую вас всех, всех, моих родненьких крепехонько, Эвуня сейчас трещит о том, что мы с ней тоже должны ехать по делам, а кстати, и прогуляться… Она посылает вам сводных картиночек, сведенных

для вас, а не сведенных для Лидочки. Ну вот, пока, целую крепко, а Эвуня пишет вам сама вместе со мной.

Копу, Булю целую и всех родненьких,

Evelin Fi и рара».

А вот это письмо из той же первой командировки пишет уже сам Вильям Фишер. Обратите внимание еще раз: отца с матерью он, и так всегда в письмах, величает по имени-отчеству. Причем отца, как и говорилось, называет Андреем.

«Дорогие Любовь Васильевна и Андрей Матвеевич!

Давненько от вас не было писем — но по всей вероятности не по вашей вине. Надеюсь, что у вас там все благополучно и все здоровы, поправляются и т. д. Мы по обыкновению продолжаем в том же духе, здоровы, живем, кушаем, спим и проч., все как полагается. Гуляем на берегу моря, фотографируемся, ругаем погоду и удивляемся на мягкость зимы. Вообще, кроме дождя и слякоти ничего зимнего — настоящего — не видали, а туземцы божатся, что это только недавно так стряслось и то “ей-богу” всегда было много снега и льда и проч. атрибутов зимы. Дошло до того, что даже возят снег для лыжных гор в поездах!

Мы регулярно слушаем русские станции и поэтому держимся в курсе событий там, а то по газетам ничего нельзя судить. Речь Сталина мы прослушали целиком, и хотя один из чтецов читал скверно, все-таки имели удовольствие узнать о наших успехах и видах на вторую пятилетку.

Дочка продолжает расти и теперь даже занимается писательством — примеры посылаются. Дальнейшие успехи в этой области будут посылаться по мере возможности.

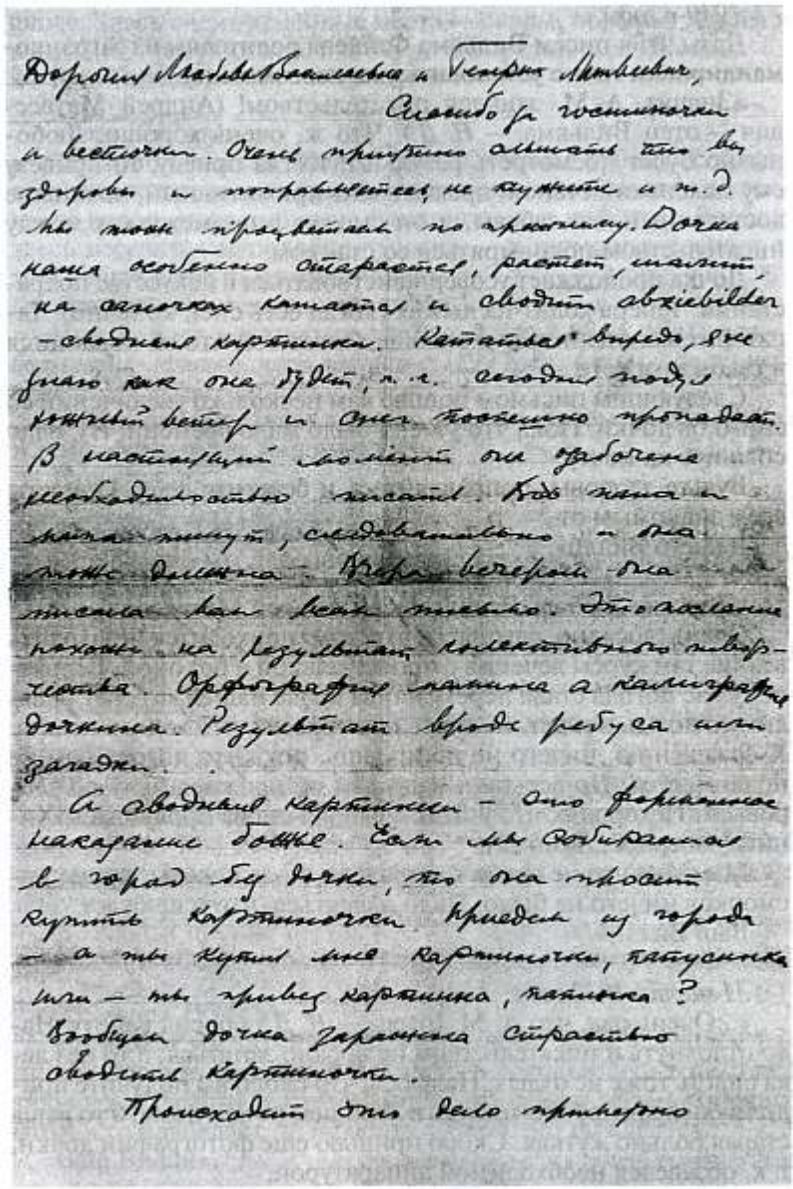
Дочка теперь имеет свой специальный карандаш, с резинкой, чем она очень довольна. Нарисует и сотрет. Сейчас у нас в квартире холодно, т. к. центральное отопление изволило потухнуть. В камине затоплено, и Эля и Грок (собака) оба лезут туда. Дочка тоже захотела побыть там, но также хотела рисовать. Вопрос разрешился очень просто: спина Грока широкая и наклонена под подходящим углом — так чего проще? Книга на спине и дочка рисует себе на здоровье. Пес очень спокойно

относится к дочкиным проказам и очень многое терпит от нее. Ну, надо кончать. Приветы всем старым знакомым. Поправляйтесь и пишите чаще

Любящий вас Вилли».

«Пользуюсь случаем, что остался маленький клочок бумаги, и пишу привет Любовь Васильевне и Андрею Матвеевичу. Простите, что так мало наше послание».

(Это дописала несколько строк родителям мужа Елена Степановна — Эля. — Н. Д.)



Откуда бы ни шли письма на русском или на английском от Вильяма Генриховича, они всегда были написаны разборчивым, четким почерком. А родителей он величал по имени-отчеству. Правда, к отцу обращался то Генрих Матвеевич, то Андрей Матвеевич. Путаница с именами — это в семействе Фишеров — чисто семейное

1930-е годы

Даты этих писем Вильяма Фишера родителям из загранкомандировки точно установить уже невозможно.

«Значит, А. М. занялся писательством! (Андрей Матвеевич — отец Вильяма. — Н. Д.). Что ж, очень хорошо. Любопытно будет посмотреть результат! Когда приеду, то привезу ему маленький станок, правда очень примитивный, но вполне достаточный для забавы, и он сможет в промежутках между писательством поковыряться со станком.

Дочка продолжает усовершенствоваться в искусстве подрастания. Теперь ходит на лыжах (когда есть снег, конечно). Тараторит, капризничает и вообще делает все, что ей полагается в таком возрасте.

Следующим письмом пошлю вам несколько увеличений со снимков дочки. Пока что у меня было мало времени. Ну, надо спешить на почту.

Будьте здоровы, поправляйтесь и берегите себя. Приветы всем знакомым от

Вашего Вилли».

«Дорогие Любовь Васильевна и Андрей Матвеевич!

Очень досадно слышать, что вам приходится проходить всякие там курсы лечения с ишкекуалькой и без оной. Вероятно, у вас погода стала переменчива вроде нашей, то снег навалит, то дождь пойдет, то опять подморозит, что ходить нельзя. К сожалению, ничего не попишешь, пока что погода нам не подчиняется. Но все-таки надо вам осторожнее быть со здоровьем. Нехорошо, что у Л. В. малярия снова проявилась. Хинин, наверное, поможет.

Мы пока что не очень пострадали из-за погоды; кроме насморков ничего не было. Надо надеяться, что и не будет.

Ваш Вилли».

31 марта 1932 года

«…Очень рад, что А. М. (отец. — Н. Д.) бросил работу. Надо отдохнуть и писательством не вредно заняться, а то без дела сидеть тоже не отдых. Надеюсь, что скоро вы получите приличную квартиру где-нибудь в хорошем новом доме, а то ваша старая больно жуткая. Скоро пришлю еще фотографии дочки, т. к.

обзавелся необходимой аппаратурой.

Погода прескверная. Сейчас читаю Гоголя и очень увлекаюсь. Больно здорово писал — и даже теперь он не потерял своей остроты…

Теперь мы начинаем страдать от белых ночей. Сейчас 2 ч. ночи, а на улице уже светло. И это продолжится около 2-х месяцев. Здесь очень красивые места — скалы, обрывы. Ходим и в дальние прогулки верст за 5 с дочкой, едой и собакой…

Ваш Вилли».

Лето 1932 года

«… Приближается Иванов день, и местная публика собирается весело проводить время. Будет весьма любопытно со всякими народными танцами, фокстротами и кофеями. Вообще здесь веселятся наподобие русских — и гармошка трещит, и только что кофе пьют вместо чая…

Эля делает успехи в англ. языке…

Ну как идет писательство с Вас. Андр.? (В. А. Шелгунов — большевик-ленинец, член партии с 1892 года, близкий знакомый семейства Фишеров).

… Иногда мы ездим в город. Мы же живем за городом и ждем собственную землянику…

Ваш Вилли».

23 декабря 1932 года

«…Недавно мы перебрались в новое помещение и блаженствуем с ванной, душем и центральным отоплением.

…Построил, наконец, себе приемник, иногда удается принимать Москву, только местная станция больно здорово гудит, все заглушает…

Ваш Вилли».

12 мая 1933 года

Письмо Вилли Фишера родителям из загранкомандировки

«…Дочка растет, танцует и забавляет себя и нас…Большая фантазерка. Мы получаем от нее “подарки”. Протягивается пустая рука и мы как бы получаем подарок — на самом деле не получая ничего».

В каждом письме оттуда Вильям Генрихович много пишет о дочери. Иногда — только о ней. Эвелина в центре внимания.

25 января 1934 года

«…Живем мы по-прежнему спокойно, тихо. Слушаем радио из России, готовимся к приему о партсъезде и т. д. Дочка

продолжает расти и трещит с утра до вечера. Нам, конечно, это часто надоедает, да и работа из-за этого не клеится…

Ваш Вилли».

31 октября 1934 года

«…Справили “пятилетку” дочке, посылаю снимки… У дочки завелась подруга на полгода моложе ее, и они стали совсем неразлучными… Время идет. Мы уже 3 года как уехали.

Ваш Вилли».

А вот отрывки из «норвежских» писем Елены — Эли Фишер

Январь 1932 года

Письмо Эли матери, именуемой ею «тетя Копа»

«…Милая тетя Копа, очень прошу тебя пойти и взять все мои бумаги и удостоверения, выданные мне после замужества, для определения моей платы за обучение. Если будут затруднения, попроси кого-нибудь помочь тебе в этом. Сделай это как можно скорее и сообщи. Это очень важно для меня…

Праздники встретили весело и шумно. Новый Год встречали за городом у одного художника, там и ночевали. Еще очень хорошо провели вечер у своих соседей. Эвелиночке очень понравился Дед Мороз, которого изображал папа… Над изготовлением хлопушек ушло 2 дня… Над этим работали Грок (собака), Васька (кот), Эвелина и папа…

…Меня попросили обучить для благотворительного вечера 6 девочек какому-либо танцу, и я с удовольствием согласилась (Елена Лебедева училась в балетной школе. Быть бы ей балериной, но здоровье не позволило. — Н. Д.). А теперь мне советуют просто-напросто открыть небольшую балетную школу. Я очень довольна, ребятки ко мне привязались и, хотя я не знаю языка, — отлично меня понимают.

Мужу работу найти здесь невозможно, а дело открыть пока что только пробует… Вряд ли из этого что-то выйдет.

Эвелина тоже принимает участие в танцах, все это ей очень нравится. У нее удивительно хороший слух и память. Я очень рада, что мы с мужем нашли 2 семьи, где мы можем быть более естественными…»

1 июня 1932 года

Эля Фишер — родителям мужа

«…Недавно чуть было не получили хлопоты по переезду на новую квартиру, но сейчас все уладилось. Жаль было бы бросать эту квартиру и наших симпатичных соседей. Бог знает, какие люди попались бы, а так мы имеем очень хороших простых

сердечных друзей, которые нам во многом помогают. А потом мы с мужем много сил положили на работу в садике — посадили цветы, кустарники, клубнику и т. д.

Недавно нашли ежа, окрестили его “Тютя”, и теперь он останется у нас жить…»

22 июня 1932 года

Эля Фишер пишет родителям мужа

«У меня в доме было небольшое происшествие. В день моих именин у моей прислуги открылся аппендицит, и ее увезли в больницу. Без оной остаться было невозможно и мне с трудом разыскали девочку, но замужнюю. Она работает у меня до сих пор, делает все быстро и умело, а главное — чисто и с Эвелинкой — приятели…

Понемногу занимаюсь, но одной очень трудно. Повторяю старые вещи, учу новые… Мои языковые успехи кое-как двигаются. По-английски болтаю с грехом пополам в основном с соседкой через забор».

Июль — август 1933 года

Эля маме — Капитолине Ивановне

«… Собрали очень много грибов, здесь их не едят, зато мы наслаждаемся белыми грибами. Напиши — хватает ли тебе денег, не голодаешь ли? Живет ли с тобой Лидуша?..

Мы надеялись Эвунино 5-летие провести вместе с вами, но опять ничего не выйдет, будем справлять здесь…»

Март 1934 года

Еще одно письмо Эли родственникам

«Здравствуйте, мои любимые. В сотый раз перечитываю ваши дорогие строки и мне радостно, что вы все здоровы, бодры и жизнерадостны, строите какие-то планы, мечтаете…

А у меня муж, как вы знаете, не любит мечтать… Скажу откровенно — тяжко, бывает ух как тяжко! Ведь почти 3 года. А ты — моя любимая хозяюшка (обращается к маме. — Н. Д.), получи большую благодарность от нас за исправную работу. Мыс мужем удивляемся, как ты ухитряешься со всем справляться. Конечно, хорошо, что Борис (отец Лиды) платит, но если опять начнет безобразничать, так уж ты Лидусю к нему обратно не отдавай, ведь ей и так бедняжке досталось много плохого в ее коротенькой жизни. Пусть живет с тобой. Она и так платит нам за это, так как хорошо учится и такая милая девочка. Мое большое желание подыскать Лидуне учителя или учительницу музыки. Рояль у нас есть, пусть учится, если есть желание. Для меня это

будет тоже большая радость. Эвуня с осени тоже начнет — так хочет отец. Понемногу с ней занимаемся. Она, как и Лидуся, рано начала читать. С трудом достали русский букварь. С книгами очень плохо, недостать. Пиши мне, как выглядит Лидуся, худенькая? Высокая? Смерьте ее и пришлите, ведь как-никак, а она моя названая дочурка и муж к ней очень привязался. Мы ее очень, очень любим!

Дорогую Лидусю благодарим за письмо и поздравляем с днем рождения, посылаем 3 дол. Пусть мои две старенькие приятельницы подумают вместе и решат, что лучше всего ей купить на эти деньги. Вас обеих я очень люблю (имеет в виду свою мать и мать мужа. — Н. Д.) и благодарю за то, что вы так дружно и хорошо живете…»

Письмо родным от Эли

«… Часто вижу вас во сне…

У нас все благополучно, живем спокойно. Сейчас у нас потеплело, начинаем отходить от зимушки, греемся под теплым солнышком. Я купила себе швейную машинку и начинаю шить себе и дочке домашние платья. Я думаю, что Эвунины туалеты будут выглядеть хорошо, но относительно своих — сомневаюсь…

Занимаюсь на своем инструменте (арфа. — Н. Д.), но очень возмущаюсь тем, что предлагают учить фокстроты, т. к. тут другой музыки не понимают, она сейчас не в моде. Врач, который лечит у нас в доме, не может отличить танцы из оперы “Князь Игорь” Бородина от музыки, которую играют во время комедий в кинофильмах. И это культурный человек с высшим образованием…»

25 марта 1939 года

Письма Вильяма Фишера жене на Дальний Восток

«…Пишу тебе через день, а ответа от тебя нет. Меня очень огорчает, что ты не получаешь мои письма!.. У Эвуни ухо проходит, но медленно. Завтра идем на кварц… Не знаю, как устроить Лидуше день рождения. Куплю ей пластинок, проявитель, бумаги и пр. А вот какой будет сам праздник — не знаю. Думаю, что проще договориться с ней самой. Пойдем вместе покупать закуси и т. д. Ей это будет, пожалуй, интересней…»

26 марта 1939 года

Вилли Фишер — жене

«…С Эвуней дела обстоят лучше. (У нее после скарлатины была трепанация черепа.) Она идет на поправку. Сегодня сняли

повязку, и теперь она ходит с открытыми ушами. Краснота еще есть. На кварц ходит регулярно, но ведет себя заносчиво…

Лида принесла хорошие отметки, пела в хоре на двух концертах. Завтра надеюсь получить деньги, ведь у нее 29-го день рождения, надо купить подарок, что-нибудь из фото, да дать 20–30 руб., пусть сама покупает себе для угощения гостей, как настоящая хозяйка…

С арфой новостей нет, когда будет суд — неизвестно…»

14 апреля 1939 года

Вилли Фишер — жене

«…Получил твое письмо из Тюмени…

Во-первых, о деньгах: мы заняли уже 420 руб. 16-го я должен получить около 360 р., но желательно было бы отдать долг Герде 120 р., т. ч. останется 240. Как-нибудь протянем. Очень не хочется продавать твое платье, ведь у меня с ним так много связано… и это ведь единственное платье, которое у тебя есть (имеется в виду приличное платье, выходное), которое ты еще не одевала, идя куда-нибудь со мной. Очень жалко и обидно…

…Теперь об арфе (из поездки за рубеж они привезли американскую арфу, которая сгорела при пожаре в Центральном детском театре — был суд. — Н. Д.). Вчера была экспертиза, выступал Чертков, из себя выдавил 25.000. Говорил с арфистами — они говорят, что мало. Не знаю, что и делать. Конечно, такую арфу не купишь за 25.000…

…Сейчас спросил у Кап. Ив. (бабушки), сколько у нее осталось денег — оказывается 17 руб. Достал еще 30 и надеемся до 16-го протянуть. За квартиру мы полностью заплатили, но долгов у нас с тобой куча — 2.500. Клавде за дачу, 120 — Герде и, наверное, еще наберется. А за дачу надо заплатить еще 2000 р. Положение пиковое. Да еще предстоит ремонт дачи. Придется нам с тобой здорово экономить. А если мы продадим амер. арфу за 25.000, то пока не купим хоть какую-то арфу для тебя — эти деньги трогать нельзя. Что останется, распределим как нужно. Это твердо, Эля. Тебе нельзя терять свою работу. Вдруг со мной что-нибудь случится?! Скучное вышло письмо, но на душе тоскливо и тяжело…»

16 апреля 1939 года

Вильям Фишер — жене

«…Был только что в Палате. Относил перевод. И тут мне преподнесли сюрприз. Ввиду того, что я сейчас нигде не работаю, они должны сообщать о моем заработке финансисту. Я передал своим заказчикам, что пока этот вопрос улажен не будет, я

отказываюсь от работы. Пусть Палата оформит все как положено, если они в этом заинтересованы…»

(В это время он работал внештатно (подрабатывал) в Торговой палате переводчиком.)

Весна 1939 года

Письмо Вилли Фишера жене Эле, уехавшей на гастроли со своим оркестром

«…Сейчас думаю о том, что будем делать летом. Хорошо было бы действительно поехать подальше в глушь, забрать еды, краски, удочку и т. д., поехать туда, где можно никого не увидеть. Хочется немного отдохнуть на природе, где никто не мешает тебе своими разговорами, где можно просто вздохнуть полной грудью чистого воздуха, где не надо считаться с мнением кого-либо другого, просто вести себя как хочешь… А пока мне необходимо искать постоянную работу, т. к. с деньгами у нас не так-то шикарно, а арфовые деньги — когда мы их получим — нужно будет беречь, покуда не купим тебе инструмента. Без арфы никак нельзя…

На даче я думаю сделать беседку из хмеля или чего-либо другого быстрорастущего, чтобы иметь уголок, защищенный от чужих взоров. А еще я все-таки хочу заняться рисованием фигур, а ты будешь моей натурщицей. Недавно я смотрел твои снимки и думаю, что надо было бы еще сделать в отношении твоей фигуры. А ты мне не очень-то веришь. Но при небольшом усилии с твоей стороны можно иметь действительно хорошую фигуру. А ты, мне кажется, придерживаешься такой точки зрения, что для того, чтобы мне нравиться, не нужно прикладывать какие-либо усилия. Но ведь если я тебя прошу что-либо сделать в этом смысле, то это лишь для того, чтобы ты была лучше и дороже в моих глазах. Разве это плохо? Вообще должен тебе признаться, что хочется видеть тебя и хорошо одетой и красивой.

…Мы с тобой еще мало жили для себя по-настоящему, именно для себя. Сейчас, конечно, полностью отдаться себе мы не можем. Есть Эвуня и Лида, о которых нельзя забывать. Но с другой стороны, подчиняя все им, мы их чрезмерно балуем, а этого бы не следовало делать.

Когда я рассматривал твои снимки, то представлял тебя в разных одеждах *(описывает, что необходимо сшить из одежды для Эли, даже подробно фасон и из какого материала)*… И Лидусе с Эвуней надо что-нибудь сделать. Но на этот счет у тебя фантазия и так хорошо работает…

Об арфе не беспокойся, хлопочу и бегаю всюду, где нужно…»

Из письма Вилли Фишера — жене

«…Сейчас Эвуня у Були (напомню, Буля — это Любовь Васильевна — мать Фишера. — Н. Д.). Буля очень просила, чтобы Эвуня погостила у нее, т. к. ей очень тяжело в связи с болезнью папы. Он очень плох. Она была у него в больнице в выходной день. Он заговаривается, глаза часто делаются бессмысленными, надежды, видимо, нет никакой. Очень жаль его…»

10 октября 1940 года

Письмо Вилли Фишера жене, которая, как это часто в те годы бывало, находится на гастролях

«…С деньгами как будто виден просвет. Говорят, что будет премия за 3-й квартал, а кроме того, в Палате обещали перевод — на сколько, не знаю, но что-нибудь перепадет. Да еще завод, с которым я говорил, как будто вплотную заинтересовался установкой (Вильям Генрихович предложил небольшое техническое усовершенствование. — Н. Д.). Взяли мой адрес.

Вот как будто и с деньгами налаживается, а расходы все растут. Скоро придется за Лиду вносить 100 руб. — первый взнос за 40–41 г. (в музыкальное училище, где Лидия училась играть на гобое. — Н. Д.).

Сегодня заплатил квартплату. Ну ладно, деньги скучное дело… Лида болела ангиной, на гобое бросила заниматься, говорит — губы болят. От рук отбивается девка, не слушается… Эвуня ничего, учится неплохо, но с виолончелью трудненько, приходится заставлять».

16 октября 1940 года

Письмо Вилли Фишера тому же адресату

«…Под выходной, в субботу, собралась вся радиобратва — Женя (*Андреев*), Вилли (*Мартенс*), Рудольф (*Абель*) и Гладков (все — бывшие коллеги по службе уволенного Фишера. Значит, не боялись, встречались с опальным Вилли. Хотя в тот период и у Рудольфа Абеля были немалые неприятности. — Н. Д.). Гладков, так же как и раньше, передергивает свое лицо. Потолстел и жрет, что слон. Один слопал около кило копченой трески. Смотреть страшно. Конечно, выпили немного. Но не густо. Все ходят с пустыми карманами. У меня осталось в наличии 300 руб. Могу себе представить ужас и страх К. И. (*бабушки*) по поводу хоз. расходов. У меня самого волосы становятся дыбом. Одна надежда на премию, а жалованье я получу только 22 ноября.

Сейчас целыми днями сижу за постройкой малого приемника. Может быть, удастся к твоему приезду сделать и большой приемник. Отпуск мой уже наполовину прошел. Чувствую себя

бодрее, свежее, но очень скучаю. Пиши мне о своем житье-бытье более подробно. Пиши, какие вещи ты репетируешь, как проходят концерты, аккомпанируешь ли ты певцу, будешь ли солировать и т. д.

Лиде ты пишешь более подробно, а мне обидно…»

20 октября 1940 года

Вилли Фишер — жене, находящейся в командировке во Владивостоке

«…Зоря (*сосед по дому, инженер*) привез мне большой громкоговоритель, неплохой, уже пробовал. К твоему приезду водворю его в большой приемник вместе со спец. усилителем…

…Дочка учится неплохо, правда приходится наседать на нее в отношении виолончели (Эвелина недолго училась музыке. — Н. Д.). Да и Лида не очень усердна. Нужно прямо сказать — хуже Эвуни. То горло болит, затем собрания, дежурства, помощь отстающим ученикам. Правда, в отношении учебы старается. Все время ругаются между собой. Друг от друга не отстают. Так что и той, и другой попадает…

…У Зори на работе есть вакансия инженера, но когда я предложил свои услуги с тем, чтобы они сами похлопотали через ЦК или еще каким-либо путем о моем переводе к ним, они спасовали и сказали, что разговор может быть лишь в том случае, если я сам смогу это сделать. Так что ничего не вышло. А там и работа интересная, и оклад посолиднее. А в общем-то и на заводе неплохо. Всегда что-нибудь подбрасывают. Вот сейчас, например, будет премия. Как вовремя!..»

В конце 1938 года Фишер, уволенный из органов, с трудом устроился работать на завод.

3 ноября 1940 года

Вилли Фишер — Эле

«…Муж скучает по жене. Нарочно много работаю. Весь отпуск почти целиком просидел в “закутке” (*рабочее место за шкафом в спальне*).

…Хватает ли тебе твоих суточных? Смотри! Нарочно себя не ограничивай, мы как-нибудь перебьемся. Сейчас веду переговоры с другим заводом о халтуре. Запросил 5000, а думаю, согласятся на 3000. Вот хорошо бы получить. Лида опять загуляла вечерами. Получила плохую отметку по химии. Дети часто грубят бабушке…»

11 ноября 1940 года

«…Праздники прошли тихо, мирно. Один вечер гулял у Вилли (*Мартенса*) и, признаюсь, надрался. После весь день ходил как отравленный. Больше водки ни-ни! Натуральные вина — другое дело. Не правда ли?..

…Теперь Лида будет учиться во вторую смену, т. что она сможет намного меньше помогать бабушке… Скучаю, пиши чаще…»

Письмо Фишера жене в Хабаровск (точная дата неизвестна, приблизительно 1940-й)

«…Не знаю, получила ли ты мои письма. Я написал туда 4 шт. и Лида столько же… (*Подробно пишет о здоровье Эвуни.)*

…Я подписал договор с тем заводом на 3.500 руб. Надеюсь часть получить до твоего приезда — надо расплатиться с долгами — 100 р. Зоре, около 300 — за дачу и т. д. На остаток постараюсь купить себе костюм. Очень скучаю без тебя, чувствую большую неудовлетворенность во всем, хожу злой, легко раздражаюсь. Приезжай скорее домой!..

(Письма писались мелким почерком, на четырех страницах тетради, со всеми подробностями.)

1940 год

Из писем Лиды маме Эле, уехавшей на гастроли по Дальнему Востоку

«Бабушка на кухне печет оладьи… На тахте сидят наш дядя Вилли, Вилли Мартенс и Женя Андреев. Сидят и болтают по-английски… Ивонна (соседка по дому, раньше тоже работала на Лубянке. — Н. Д.) бывает редко. Любовь Васильевна уехала на курорт».

29 марта 1940 года

«Сегодня день моего рождения. Дядя Вилли преподнес мне фотоаппарат. А бабушка испекла пироги».

8 октября 1940 года

«Недавно у нас были Рудольф и Ася. Рудольф и дядя Вилли поиграли на струнных инструментах. Чумак же был пять раз. Играл с дядей Вилли в шахматы».

1943 год

Эвакуация. Куйбышев

Из письма мамы Эли родственникам

«Эвуня заболела туберкулезом костей (пальчиков). Всю зиму лежала с температурой. Несмотря на болезнь, занималась дома

сама и перешла в 7-й класс на отлично.

Лидочка попала в военно-морскую школу Новороссийска. Она ушла в армию добровольцем. Очень скучаю без нее и очень ее люблю за прямой характер».

Из письма бабушки Капитолины Ивановны своим родственникам

«Элечка много работает, с десяти до трех — репетиции, а вечером — спектакли и концерты, приходит в час ночи.

Сейчас мы с Элечкой остались вдвоем. Эвелину отправили в лагерь. Она очень скучает, просится домой, но ей необходим воздух, нужно поправлять здоровье.

Твою просьбу исполнить не могу, ведь нам сообщили, что мы должны эвакуироваться только за два часа, и почти все вещи остались в Москве. Хорошо, что нам удалось привезти сюда арфу. И теперь у Элечки хорошая работа. Ею очень дорожат.

От Лидочки получили письмо. Она учится на радистку, находится на Черноморском флоте.

Вилли в Москве.

… Дорогие мои, вчера получили пропуск в Москву, т. что скоро уедем!..»

13 января 1943 года

Письмо Вильяма Фишера в Куйбышев, где живет семья в ожидании пропуска для возвращения в Москву

«…Насчет приезда в Москву… Ждал, надеялся, что смогу уже послать тебе пропуск, но пока все задерживается. По этому вопросу у нас создалось товарищество с Мишей Яриковым (коллега по разведке. — Н. Д.) и еще одним товарищем. У меня ведь есть веская причина ускорить ваш приезд — это болезнь Эвуни. Все, что можно, я делаю и буду делать. Хочу видеть Вас дома.

Не зря я год уже прожил монахом и не ищу другую семью или связь… Ты тоже должна подготовиться. Надо подумать, как упаковать арфу. Без арфы тебе переезжать нельзя…

Я достал для Вали Мартенс (жена Вилли Мартенса. — Н. Д.) немного дров и елку, а она мне одолжила валенки, так что ноги в тепле. В квартире (московской. — Н. Д.) у нас холодно, газ не действует. Когда ты приедешь, я раздобуду печурку и немного дров, и ты сразу же будешь иметь действующую кухню. Рудольф (Абель. — Н. Д.) еще не приехал….

Я строю планы уйти из Наркомата. Либо на завод, либо заняться живописью. Сяду тебе на шею на годик и подучусь. Я буду не хуже, если не лучше этих мазил, которые забрали себе

власть в этой области. А можно заняться и работой на заводе. Только не Наркомат. Хватит!..»

15 ноября 1944 года

Вильям Фишер руководит радиоигрой с немцами во время операции «Березино». Вот что пишет он жене из далекого партизанского отряда:

«…Я тебе писал, что здесь славный врач, известный спортсмен Знаменский (*бегун*). Он из простой крестьянской семьи, своим упорством добился докторского диплома и немалых результатов как спортсмен. Еще есть Ермолаев — фотограф, охотник и рыболов. Он сможет устроить пропуска на Учинское водохранилище — о чем сообщи Яше Шварцу — мы будем иметь рыбу, а осенью — уток.

Живем мы здесь примитивно. Рабочий день у меня начинается в 3 ч. утра. Это только недавно в связи с изменением обстановки. Дежурю. С 10-ти работаю с перерывами, периодически сплю. Кушаем в 10, 16.00 и 21.00, причем обед очень хороший, но завтраки и ужины слабоваты. Главным образом по жирам. В связи с большой нагрузкой я получил дополнительный паек. Живем в крестьянских шубах и усиленно кормим блох. Пятна на бумаге от керосина, течет лампа… Шубы здесь добротные и большие, но очень грязные. Какой только хлам не найдешь на полках, в закутках и на чердаках — целое и битое, нужное и ненужное — все свалено вместе…»

8 декабря 1944 года

Письмо из отряда в Белоруссии

«…Видимо, 12 декабря будет машина на Москву. С ней едет наш охотник Ермолаев, который очевидно занесет тебе это письмо… Как с моим жалованьем? Я дал Ермолаеву доверенность и, может быть, ему удастся получить деньги за декабрь м-ц и передать тебе. Вообще вопрос связи с тобой нужно разрешить, т. к. по всем признакам дело приняло форму длительной операции и насколько она затянется — трудно предвидеть. Похоже, что Новый Год я буду встречать в дебрях Белоруссии. Загрузка работой несколько снизилась, делать нечего, книг нет. Если сможешь — пришли мне 3 книги по радио (*перечисляет книги*), хочу вспомнить старое и еще историю ВКП(б). Ермолаев расскажет о нашем житье-бытье подробнее…»

17 декабря 1944 года.

И еще одно письмо из белорусских лесов

«Дорогая Элечка! Сегодня получил твою посылку и письма…

Это свое письмо я передал через товарища, который сюда уже не вернется. Это мой старый знакомый по школе 1937 года, симпатичный, пожилой человек Белов Алексей Иванович. Он после Рудольфа преподавал Морзе… Скоро начнем передвигаться, но не думай, что мы где-то у фронта. До ближайшей точки фронта не меньше 400 км и кроме обычных житейских опасностей, никаких больше нет. Простудиться я могу и в Москве, т. что за меня ты не волнуйся… Посылаю ночник, который я нашел в брошенном немцами хламе. Если подбавлять воска, то фитиль почти что вечный. Попробуй использовать жидкий парафин, он должен гореть. Мы здесь тоже колдуем над всякими источниками света. Но у нас все-таки лучше — есть керосин, но нет стекол к лампочкам, да и фитили изобретаем из кусков одеял или тряпок… Принесли завтрак — карт, пюре и копченую селедку, 2 куска сахара и чай. Буду варить кофе. Кофе! Мечта осуществляется. Очень рад, что ты наконец добралась до оркестра, даже если и в цирке. Это будет только началом, тем более что там бывают неплохие дирижеры. Цирк имеет еще и то преимущество, что он стоит на месте, а Игорь Моисеев хотя и более высокой марки, на месте не сидит. Только ты зря связалась с вязанием, подумай о том, что нужно беречь здоровье».

(Далее Вильям Генрихович продолжает письмо по-английски — это уже для дочери Эвелины.)

4 октября 1946 года

Из письма Вилли Фишера жене Эле. Он в командировке в Таллине

«Сдал в ремонт свои туфли — американские. Будут стоить 30 рублей с моими подметками. Другие туфли тоже сносились, но отремонтировать дорого. Может быть, сам сделаю в Москве.

Как ты регулируешь свой бюджет? Мы здесь совсем разорились. По твердым ценам в столовой выходит по 30 р. в день за завтрак, обед и ужин, а командировочные 26 руб. А ведь есть и другие расходы — стирка и прочее…»

28 января 1949 года

Из письма Вилли Фишера жене Эле (нелегал уже в Штатах)

«…В свободное время хожу в кино. Не могу сказать, что это бывает часто. До сих пор не могу приучить себя к этому виду искусства. Много читаю. Занимаюсь фотографией.

…Элечка, надеюсь, ты уже приступила, а если нет, то скоро приступишь к занятиям по языкам».

В 1949 году Вильям Генрихович прислал из США для семьи посылку.

30 августа 1964 года

Из сочинского санатория «Приморье» домашним

«За эти дни прочел «“Сатурн” почти не виден». Книга неудачная. Автору не удалось связать все вместе и получилась сборная солянка. Люди у него — схема. Они не дышат, а изрекают. События придуманы неплохо, но все слишком удачно для наших. А под конец автор, по-моему, просто выдохся, и фантазия его захромала…

… Свой рассказ пишу…»

9 сентября 1964 года

«…Пишу и переписываю свою повесть…

…<О картине «Кто вы, доктор Зорге?»> — Хорошо, что она выйдет на экран у нас. Зато обидно, что написали о нем и картину сделали иностранцы! Видимо, теперь слова “советский разведчик” получили права гражданства…

Сосед по комнате совсем заговорил меня. Сегодня он уезжает, и, наверно, дадут нового — кого, не знаю, но уже заранее боюсь».

18 сентября 1964 года

«Мои дорогие! Прибываю в Москву 24-го в 19.36. Надоели мне Сочи!

…Повесть, название которой я еще не придумал, готова.

Надо дать ей отлежаться и посмотреть. Из нее может получиться хорошая кинокартина. Надо собрать гонорары и купить машинку».

Октябрь 1966 года

Эвелина с отцом совершают речной круиз по Каме и Волге. Побывали в Горьком, Перми, Чистополе, Угличе.

Из письма на дачу, отправленного отцом и дочерью на дачу из города Чайковский:

«…Кладем пасьянсы».

И почти в каждом письме отовсюду: «… Всем привет, животам (животным. — Н. Д.) особо».

Живой уголок

И тут не утерплю, расскажу при помощи Лидии Борисовны Боярской о «живом уголке», который всегда был у семейства Фишеров.

Даже в Кремле, где жили родители Генрих Матвеевич и Любовь Васильевна с сыновьями Генрихом (Гарри) и Вильямом (Вилли) после возвращения из Англии, у них всегда были домашние животные. Много кошек и здоровая собака — немецкая овчарка Волушка. Когда там на короткое время поселилась с Вилли и его молоденькая жена Эля, она к этому быстро привыкла.

И уже вскоре в Троицком переулке ухаживала и за кошками, и за собакой Спотиком. Одно время в коммуналке даже жил кролик Флонсик, который изгрыз всю хозяйскую обувь.

На даче всегда было много «животов». Беспородного Грога сменяли спаниели Карина и Гошка. Дворняжка Пегги отличалась особой трусливостью и о собственных собачьих достоинствах вспоминала, только когда гуляла в обществе любимого хозяина. Долго жила любимая всеми сиамская кошка Тайка. О вороне Карлуше мы говорили, а кроме него периодически появлялись и другие зверушки, как то: ежики, белочки, птички. И только немецкая овчарка Волк на даче не прижилась, очень уж оказалась злая. А злобных в семье Фишеров не любили.

Отправляясь в Норвегию, это уже рассказывала Лидия Борисовна, дядя Вилли, мама Эля и Эвелина прихватили с собой собаку и кота. А там, живя за городом, ухитрились завести ежика.

Только в США хозяин отправился без всякой живности. Нет никаких намеков, что там он хоть на время заводил животных. Не до того было, обстановка не располагала.

Основные даты жизни В. Г. Фишера (Р. И. Абеля)

1903, 11 июля — в английском городе Ньюкасл-он-Тайн, в семье русского политэмигранта, немца по национальности, Генриха Матвеевича Фишера и его жены Любови Васильевны, урожденной Корнеевой, родился второй сын — Вильям.

1914 — семья Фишеров получила британское гражданство.

1919 — Вильям поступает в Лондонский университет (версия).

1920 — семья Фишеров возвращается в Россию, в Москву.

1921, лето — утонул старший брат Вильяма — Гарри.

1925, октябрь — 1926, ноябрь — служба в РККА, в 1-м радиотелеграфном полку Московского военного округа.

1927, 7 апреля — женитьба на Елене Степановне Лебедевой, студентке Московской консерватории.

2 мая — зачислен в ИНО ОГПУ (внешняя разведка); помощник уполномоченного 8-го отделения (научно-техническая разведка).

1929 — работа в Пекине, знакомство с Р. И. Абелем (версия).

8 октября — рождение дочери Эвелины.

1930 или начало 1931 — выезд по английским документам в долгосрочную командировку с женой и дочерью; жили в Норвегии.

1932 — после смерти ее матери в семью Фишеров взяли на воспитание племянницу — Лидию Борисовну Лебедеву.

1935 — возвращение в Москву; выезд в долгосрочную командировку в Англию, работа в Лондоне.

1937 — отзыв в Москву. Знакомство с Р. И. Абелем (версия).

1938, 31 декабря — увольнение из органов госбезопасности.

1941, сентябрь — поступил в распоряжение 4-го управления НКВД.

Во время Великой Отечественной войны занимался организацией разведывательно-диверсионной работы в немецком тылу.

1942, 17 февраля — началась операция «Монастырь», первоначально имевшая цель проникнуть в агентурную сеть абвера, а затем превратившаяся в оперативную радиоигру.

1944, 18 августа — началась чекистско-разведывательная операция «Березино».

1948, 14 ноября — под именем Эндрю Кайотиса, американского гражданина, прибыл на пароходе в Канаду, откуда

перебрался в США.

1949, май — легализовался в Нью-Йорке под именем Эмиля Роберта Гольдфуса, художника и изобретателя. Возглавил нелегальную резидентуру; оперативный псевдоним «Марк». За успешную легализацию награжден орденом Красной Звезды.

Конец года — 1950, до середины года — работа с группой «Волонтеры» — Моррисом и Леонтиной Коэн.

1953, середина года — на связь с резидентом выходит его связник — майор Рейно Хейханен, оперативный псевдоним «Вик».

1955, август — декабрь (примерно) — приезд в отпуск в СССР.

1957, май — отозванный в Москву, Хейханен приходит в американское посольство в Париже и признается в работе на советскую разведку.

21 июня — Вильям Фишер арестован в гостинице «Латам»; назвал себя Рудольфом Ивановичем Абелем.

7 августа — заключенному сообщили о выдвинутых против него обвинениях. По первому пункту: «За доставку Советскому Союзу сообщений секретного характера, содержащих атомную и военную информацию» — максимальным наказанием была смертная казнь.

13 августа — Вильям Фишер первый раз появился в федеральном суде Бруклина, где начался процесс, названный «Рудольф Иванович Абель, также известный как “Марк” и также известный как Мартин Коллинз и Эмиль Р. Гольдфус, против Соединенных Штатов Америки».

15 ноября — оглашен приговор суда; «человек, назвавшийся Рудольфом Абелем», осуждался на 30 лет тюрьмы.

1960, 1 мая — в районе Свердловска зенитной ракетой сбит американский самолет-шпион У-2; летчик Ф. Пауэрс выбросился с парашютом.

Июнь — Верховный суд США оставил приговор Рудольфу Абелю без изменений.

1962, 31 января — президент США Джон Кеннеди подписал помилование Рудольфу Абелю, которое вступало в силу после передачи американской стороне капитана Френсиса Гарри Пауэрса.

10 февраля — обмен на мосту Глинике через реку Шпрее, в Западном Берлине.

1964 — вышла в свет книга адвоката Джеймса Донована, защитника Рудольфа Абеля, «Незнакомцы на мосту».

В одном из первых номеров журнала «Кругозор» опубликована повесть В. Г. Фишера, подписанная «Полковник ***».

1967, начало — в «Библиотечке журнала “Пограничник”»

вышла книга «Конец “черных рыцарей”», выпущенная под псевдонимом «Иван Степанович Лебедев».

1968 — выход на экраны художественного фильма «Мертвый сезон» — появление разведчика Р. И. Абеля на всесоюзном экране.

Сентябрь — по Первому каналу Центрального телевидения был показан телеспектакль «Конец “черных рыцарей”» по его повести.

1971, 15 ноября — Вильям Генрихович Фишер скончался.

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

notes

Примечания

1

«Наружка» — служба наружного наблюдения; в данном случае — слежка.

2

КИМ — Коммунистический интернационал молодежи — международная молодежная организация, действовавшая как секция Коминтерна в 1919–1943 годах.

3

Эрнест Резерфорд (1871–1937) — английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, лауреат Нобелевской премии (1908).

4

Александр Михайлович Коротков (1909–1961) — в разные периоды с 1946 по 1957 год руководил нелегальной разведкой, в то время неоднократно реорганизовывавшейся.

5

Александр Михайлович Сахаровский (1909–1983) — начальник внешней разведки в 1956–1971 годах.

6

Павел Михайлович Фитин (1907–1971) — начальник внешней разведки в 1939–1946 годах.

7

Сергей Михайлович Шпигельглас (1897–1941) — и.о. начальника внешней разведки в начале 1938 года.

8

П. Г. Громушкин (1913–2008) — сотрудник внешней разведки, художник.

9

Н К Г Б — Народный комиссариат государственной безопасности; существовал в 1941-м и 1943–1946 годах. Внешняя разведка входила в НКГБ в качестве 1-го управления.

10

Джордж Блейк — сотрудник британской Сикрет интеллидженс сервис; советский разведчик.

11

Наум Исаакович Эйтингон (1899–1981) — кадровый разведчик, генерал-майор; заместитель начальника Особой группы НКВД СССР (П. А. Судоплатова).

12

Аналогичные команды по-русски: «Заправиться! Становись! Равнение налево! Полковник Ангелов…»

13

Борис Михайлович Шапошников (1882–1945) — Маршал Советского Союза, в то время — начальник Генерального штаба.

14

На Ржевском направлении в это время под руководством генерала армии Г. К. Жукова проводилась отвлекающая войсковая операция «Марс». Действия армии и разведки можно считать звеньями одной цепи.

15

Легендированная чекистами во время проведения операции «Трест» подпольная организация «Монархическое объединение Центральной России».